

НОВЫЙ МИР

3

НОВЫЙ
МИР

3

1937

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ж у р н а л

К Н И Г А

Т Р Е Т Ь Я

М А Р Т

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполном. Главлита В—9619. Объем 18 печ. лист. по 64.000 знаков. Одано в набор 3/IV—37 г.

Подписано к печати 17/V—37 г. Техн. ред. С. Кривцов. Тир. 70.000. Зак. 741.

Тип. им. тов. И. И. Сквордова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Резолюция Пленума ЦК	5
2. Доклад тов. СТАЛИНА	11
3. Заключительное слово тов. СТАЛИНА	30

РОМАНЫ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ:

4. МАТЭ ЗАЛКА. — Добердо, <i>роман</i>	42
5. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Простые вещи, <i>стихотворение</i>	104
6. ИВ. РАХИЛЛО. — Чугунные часы, <i>рассказ</i>	108
7. МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ. — Мечта, <i>пьеса</i>	112
8. ИВ. ДРЕМОВ. — Утро в районе, <i>стихотворение</i>	135
9. ЕВГЕНИЙ ЭРН. — День на Средней Пресне, <i>рассказ</i>	136
10. ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ. — Мастера, <i>роман</i> , продолжение	147

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

11. Я. ГАНЕЦКИЙ. — Февральская революция	182
12. МАКС ЗИНГЕР. — Сквозной рейс	192

ЗА РУБЕЖОМ:

13. АЛ. ХАМАДАН. — Японская разведка	218
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Приветствие А. С. Новикову-Прибою	235
14. В. КРАСИЛЬНИКОВ. — Творчество А. С. Новикова-Прибои	236
15. П. РОЖКОВ. — «Головоногие человеки» и «вдохновенные гуси»	251
16. ПЛАТОН КЕШЕЛАВА. — Пушкин и Грузия	254
17. Б. БРАЙНИНА. — Новелла о любви	257
18. Х. ХЕРСОНСКИЙ. — Фильмы о Пушкине	266

БИБЛИОГРАФИЯ:

19. Гл. ГЛЕБОВ. — Массовые издания произведений Пушкина	272
20. С. И. — К. Батюшков, «Стихотворения»	275
21. Г. ЛОМИДЗЕ. — Т. Табидзе, «Избранные стихи»	277
22. Р. ФАТУЕВ. — Поэты советского Дагестана	279
23. ПАНФИЛОВА. — С. Сергеев-Ценский, «Искать, всегда искать»	281
24. ТАРАТУТА. — Биографические повести для детей	283
25. С. ИВАНОВ. — Жорж Санд, «Консуэло»	284
26. З—ов и Л—ов. — «О Рембрандте»	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Информационное сообщение об очередном Пленуме ЦК ВКП(б)

НА ДНЯХ ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б). ПЛЕНУМ ОБСУДИЛ ВОПРОС О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР НА ОСНОВЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ. ПЛЕНУМ ПРИНЯЛ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ, ПУБЛИКУЕМУЮ НИЖЕ. ПЛЕНУМ ОБСУДИЛ ДАЛЕЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ ТАКЖЕ ВОПРОС ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХАРИНА И РЫКОВА И ПОСТАНОВИЛ ИСКЛЮЧИТЬ ИХ ИЗ РЯДОВ ВКП(б).

Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой избирательной системе и соответствующая перестройка партийно-политической работы

Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу т. Жданова, принятая 27 февраля 1937 года.

Введение новой Конституции Союза ССР означает поворот в политической жизни страны. Существование этого поворота заключается в проведении дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле замены не вполне равных выборов в советы равными, многостепенными — прямыми, открытых — закрытыми.

Если до введения новой Конституции существовали ограничения избирательного права для служителей культа, бывших белогвардейцев, бывших людей и лиц, не занимающихся общепольным трудом, то новая Конституция отбрасывает всякие ограничения избирательного права для этих категорий граждан, делая выборы депутатов всеобщими.

Если раньше выборы депутатов являлись не равными, так как существовали разные нормы выборов для городского и сельского населения, то теперь необходимость ограничения равенства выборов отпала

и все граждане имеют право участвовать в выборах на равных основаниях.

Если раньше выборы средних и высших органов Советской власти были многостепенными, то теперь, по новой Конституции, выборы во все советы от сельских и городских вплоть до Верховного Совета будут производиться гражданами непосредственно путем прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов в советы производились открытым голосованием и по спискам, то теперь голосование при выборах депутатов будет тайным и не по спискам, а по отдельным кандидатурам, выдвигаемым по избирательным округам.

Наконец, Конституцией вводится всенародный опрос (референдум).

Эти изменения в избирательной системе означают усиление контроля масс в отношении советских органов и усиление ответственности советских органов в отношении масс.

Следствием введения всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании будет дальнейшее усиление политической активности масс, вовлечение новых слоев трудящихся в управление государством. Тем самым диктатура пролетариата становится более гибкой, а, стало быть, более мощной системой государственного руководства рабочего класса обществом, база диктатуры рабочего класса расширяется, ее основа становится более прочной.

Чтобы встретить этот поворот во всеоружии, партия должна стать во главе этого поворота и обеспечить полностью свою руководящую роль в предстоящих выборах высших органов страны.

Готовы ли партийные организации к такого рода руководству?

Что требуется от партии для того, чтобы она могла стать во главе этого поворота, во главе новых, до конца демократических выборов?

Для этого требуется, чтобы партия сама проводила последовательную демократическую практику, чтобы она проводила до конца во внутрипартийной жизни основы демократического централизма, как этого требует устав партии, чтобы она сама имела необходимые условия, в силу которых все органы партии являлись бы выборными, чтобы критика и самокритика развивалась в полной мере, чтобы ответственность партийных органов перед партийной массой была полной и чтобы сама партийная масса была полностью активизирована.

Можно ли сказать, что все партийные организации уже готовы выполнить эти условия, что они уже перестроились полностью на демократический лад?

К сожалению, нельзя этого сказать с полной уверенностью.

Об этом говорит имеющаяся в некоторых организациях практика нарушения устава партии и основ внутрипартийного демократизма.

Каковы эти нарушения?

Выборность партийных органов, установленная уставом партии, в ряде организаций нарушена. Установленные уставом партии сроки вы-

боров парторганов парторганизациями не соблюдаются. Широкое распространение получила ничем не оправдываемая практика кооптации различных руководящих работников в члены пленумов райкомов, горкомов, крайкомов, обкомов, ЦК нацкомпартий.

Установленный уставом партии порядок утверждения вышестоящими партийными органами секретарей парткомитетов в ряде парторганизаций фактически превращен в назначенство. Утверждение секретарей парткомов нередко происходит до избрания их в местных парторганизациях, а это на практике приводит к тому, что местные парторганизации не имеют возможности обсудить кандидатуру рекомендуемого работника.

Утверждение на выборных должностях и снятие с работы часто происходит в порядке опросных решений парторганов и без рекомендации новых работников пленуму партийного комитета, а также без раз'яснения парторганизациям мотивов снятия того или иного партийного руководителя.

Что касается выборов парторганов, то все еще существует практика, в силу которой обсуждение списков кандидатов происходит лишь на предварительных совещаниях, советах старейшин, собраниях делегаций, причем, как правило, прения по кандидатурам на самых пленумах и конференциях не открываются, голосование производится списком, а не персонально, и, таким образом, выборная процедура превращается в простую формальность.

Все эти факты нарушения основ демократического централизма наносят партии вред, так как они тормозят рост активности членов партии, лишают актив, имеющий особое политическое значение в жизни нашей партии, возможности участия в руководящей работе, лишают членов партии их законных прав контроля над деятельностью парторганов и тем самым нарушают правильные взаимоотношения между руководителями и партийными массами.

Яркими примерами такой практики являются вскрытые ЦК ВКП(б) за последнее время факты вопиющей запущенности партийно-политической работы в Азово-Черноморском крайкоме, Киевском обкоме и ЦК КП(б)У и других парторганизациях, выражающиеся в грубых нарушениях устава партии и принципов демократического централизма в смысле отхода от выборности парторганов и введения нетерпимой практики кооптации.

Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает, что примеры неправильного руководства, вскрытые в Киевском обкоме и Азово-Черноморском крае, не единичны, а присущи в той или иной мере всем краевым и областным парторганизациям.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что ликвидация этих и подобных им недостатков является тем необходимым условием, без которого не могут быть выполнены новые задачи партии, возникшие в связи с фактом поворота в политической жизни страны, с принятием новой Кон-

ституции и с предстоящими выборами верховных органов страны на началах всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Необходимо, поэтому, перестроить партийную работу на основе безусловного и полного проведения в жизнь начал внутривластного демократизма, предписываемого уставом партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым осуществить и обязывает все парторганизации провести в жизнь следующие мероприятия:

1. Ликвидировать практику кооптации в члены парткомитетов и восстановить, в соответствии с уставом партии, выборность руководящих органов парторганизаций.

2. Воспретить при выборах парторганов голосование списком. Голосование производить по отдельным кандидатурам, обеспечив при этом за всеми членами партии неограниченное право отвода кандидатов и критики последних.

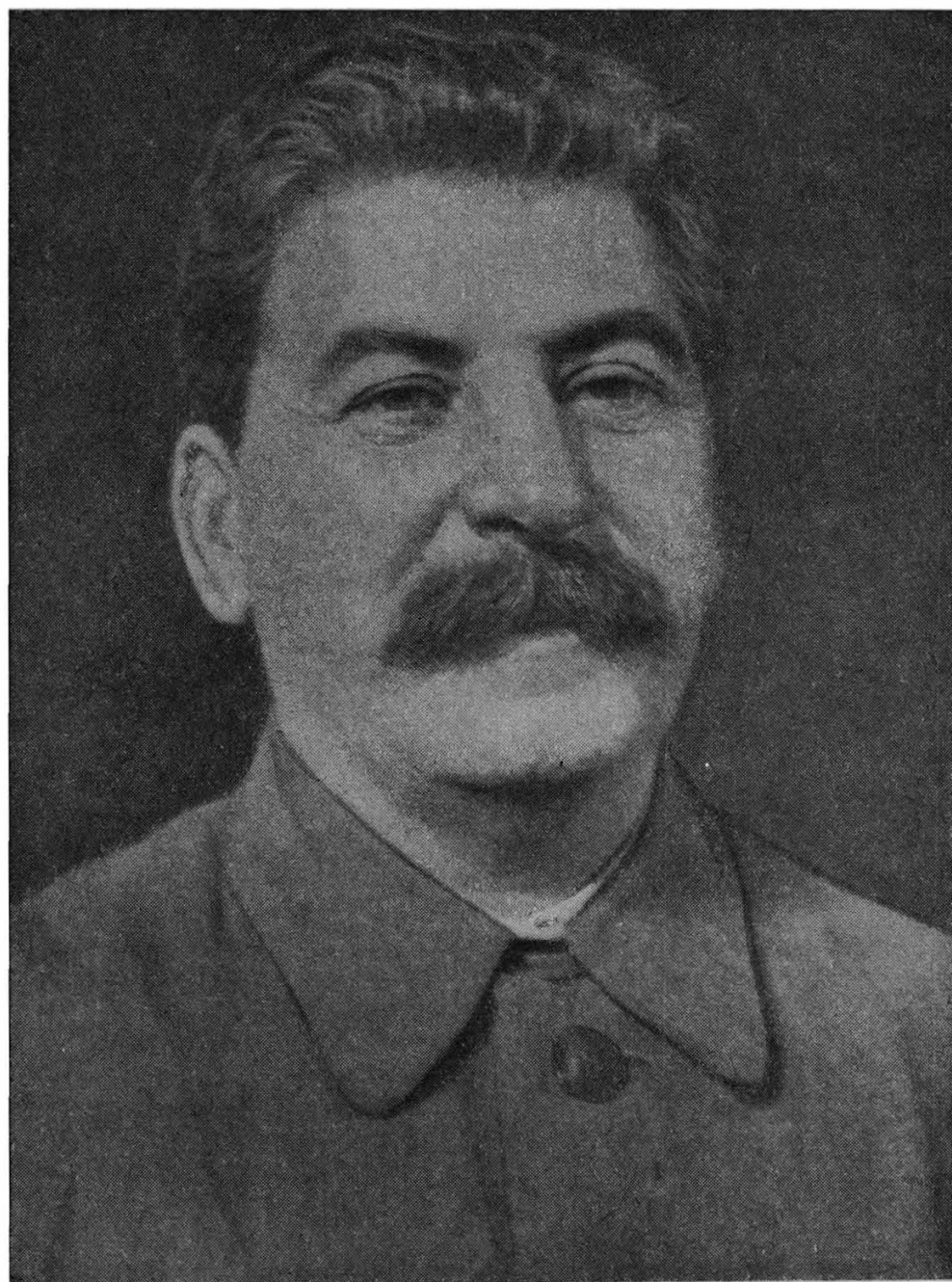
3. Установить при выборах парторганов закрытое (тайное) голосование кандидатов.

4. Провести во всех парторганизациях выборы парторганов, начиная от парткомитетов первичных парторганизаций и кончая крайвыми, областными комитетами и ЦК нацкомпартий, закончив выборы не позже 20 мая.

5. Обязать все парторганизации строго соблюдать в соответствии с уставом партии сроки выборов парторганов: в первичных парторганизациях — 1 раз в год, в районных и городских организациях — 1 раз в год, в областных, краевых и республиканских — 1 раз в 1½ года.

6. Обеспечить в первичных парторганизациях строгое соблюдение порядка выборов парткомов на общезаводских собраниях, не допуская подмены последних конференциями.

7. Ликвидировать имеющую место в ряде первичных парторганизаций практику фактической отмены общих собраний и подмены общего собрания цеховыми собраниями и конференциями.



О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников

**ДОКЛАД т. СТАЛИНА НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)
3 МАРТА 1937 г.**

Товарищи!

Из докладов и прений по ним, заслушанных на Пленуме, видно, что мы имеем здесь дело со следующими тремя основными фактами.

Во-первых, вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль играли троцкисты, задела в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные.

Во-вторых, агенты иностранных государств, в том числе троцкисты, проникли не только в низовые организации, но и на некоторые ответственные посты.

В-третьих, некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты.

Таковы три бесспорных факта, естественно вытекающих из докладов и прений по ним.

I.

Политическая беспечность

Чем объяснить, что наши руководящие товарищи, имеющие богатый опыт борьбы со всякого рода антипартийными и антисоветскими течениями, оказались в данном случае столь наивными и слепыми, что не сумели разглядеть настоящее лицо врагов народа, не сумели распознать волков в овечьей шкуре, не сумели сорвать с них маску?

Можно ли утверждать, что вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, действующих на терри-

тории СССР, может являться для нас чем-либо неожиданным и необычным? Нет, нельзя этого утверждать. Об этом говорят вредительские акты в разных отраслях народного хозяйства за последние 10 лет, начиная с шахтинского периода, зафиксированные в официальных документах.

Можно ли утверждать, что за последнее время не было у нас каких-либо предостерегающих сигналов и предупреждающих указаний насчет вредительской, шпионской или террористической деятельности троцкистско-зиновьевских агентов фашизма? Нет, нельзя этого утверждать. Такие сигналы были, и большевики не имеют права забывать о них.

Злодейское убийство товарища Кирова было первым серьезным предупреждением, говорящим о том, что враги народа будут двурушничать и, двурушничая, будут маскироваться под большевика, под партийца, для того, чтобы втереться в доверие и открыть себе доступ в наши организации.

Судебный процесс «Ленинградского центра» равно как судебный процесс «Зиновьева — Каменева», дал новое обоснование урокам, вытекающим из факта злодейского убийства товарища Кирова.

Судебный процесс «Зиновьевско-троцкистского блока» расширил уроки предыдущих процессов, показав воочию, что зиновьевцы и троцкисты объединяют вокруг себя все враждебные буржуазные элементы, что они превратились в шпионскую и диверсионно-террористическую агентуру германской полицейской охраны, что двурушничество и маскировка являются единственным средством зиновьевцев и троцкистов для проникновения в наши организации, что бдительность и политическая прозорливость представляют наиболее верное средство для предотвращения такого проникновения, для ликвидации зиновьевско-троцкистской шайки.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем закрытом письме от 18 января 1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова решительно предостерегал партийные организации от политического благодушия и обывательского ротозейства. В закрытом письме сказано:

«Надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил враг становится будто-бы все более ручным и безобидным. Такое предположение в корне неправильно. Оно является отрывкой правого уклона, уверяющего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут в конце концов настоящими социалистами. Не дело большевиков почивать на лаврах и ротозействовать. Не благодушие нам нужно, а бдительность, настоящая большевистская революционная бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства, как единствен-

ные средства обреченных в их борьбе с советской властью. Надо помнить это и быть бдительным».

В своем закрытом письме от 29 июля 1936 года по поводу шпионско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока Центральный Комитет ВКП(б) вновь призывал партийные организации к максимальной бдительности, к умению распознавать врагов народа, как бы хорошо они ни были замаскированы. В закрытом письме сказано:

«Теперь, когда доказано, что троцкистско-зиновьевские изверги объединяют в борьбе против советской власти всех наиболее озлобленных и заклятых врагов трудящихся нашей страны, — шпионов, провокаторов, диверсантов, белогвардейцев, кулаков и т. д., когда между этими элементами, с одной стороны, и троцкистами и зиновьевцами, с другой стороны, стерлись всякие грани, — все наши партийные организации, все члены партии должны понять, что бдительность коммунистов необходима на любом участке и во всякой обстановке. Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован».

Значит, сигналы и предупреждения были.

К чему призывали эти сигналы и предупреждения?

Они призывали к тому, чтобы ликвидировать слабость партийно-организационной работы и превратить партию в неприступную крепость, куда не мог бы проникнуть ни один двурушник.

Они призывали к тому, чтобы покончить с недооценкой партийно-политической работы и сделать решительный поворот в сторону всемерного усиления такой работы, в сторону усиления политической бдительности.

И что же? Факты показали, что сигналы и предупреждения воспринимались нашими товарищами более чем туго.

Об этом красноречиво говорят всем известные факты из области кампании по проверке и обмену партийных документов.

Чем объяснить, что эти предостережения и сигналы не возымели должного действия?

Чем объяснить, что наши партийные товарищи, несмотря на их опыт борьбы с антисоветскими элементами, несмотря на целый ряд предостерегающих сигналов и предупреждающих указаний, оказались политически близорукими перед лицом вредительской и шпионско-диверсионной работы врагов народа?

Может быть наши партийные товарищи стали хуже, чем они были раньше, стали менее сознательными и дисциплинированными? Нет, конечно, нет!

Может быть они стали перерождаться? Опять же нет! Такое предположение лишено всякого основания.

Так в чем же дело? Откуда такое ротозейство, беспечность, благодушие, слепота?

Дело в том, что наши партийные товарищи, будучи увлечены хозяйственными кампаниями и колоссальными успехами на фронте хозяйственного строительства, забыли просто о некоторых очень важных фактах, о которых большевики не имеют права забывать. Они забыли об одном основном факте из области международного положения СССР и не заметили двух очень важных фактов, имеющих прямое отношение к нынешним вредителям, шпионам, диверсантам и убийцам, прикрывающимся партийным билетом и маскирующимся под большевика.

II.

Капиталистическое окружение

Что это за факты, о которых забыли или которых просто не заметили наши партийные товарищи?

Они забыли о том, что советская власть победила только на одной шестой части света, что пять шестых света составляют владения капиталистических государств. Они забыли, что Советский Союз находится в обстановке капиталистического окружения. У нас принято болтать о капиталистическом окружении, но не хотят вдуматься, что это за штука — капиталистическое окружение. Капиталистическое окружение — это не пустая фраза, это очень реальное и неприятное явление. Капиталистическое окружение — это значит, что имеется одна страна, Советский Союз, которая установила у себя социалистические порядки, и имеется, кроме того, много стран — буржуазные страны, которые продолжают вести капиталистический образ жизни и которые окружают Советский Союз, выжидая случая для того, чтобы напасть на него, разбить его или, во всяком случае — подорвать его мощь и ослабить его.

Об этом основном факте забыли наши товарищи. А ведь он именно и определяет основу взаимоотношений между капиталистическим окружением и Советским Союзом.

Взять, например, буржуазные государства. Наивные люди могут подумать, что между ними существуют исключительно добрые отношения, как между государствами однотипными. Но так могут думать только наивные люди. На самом деле отношения между ними более чем далеки от добрососедских отношений. Доказано, как дважды два четыре, что буржуазные государства засылают друг к другу в тыл своих шпионов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц, дают им задание внедриться в учреждения и предприятия этих государств, создать там свою сеть и «в случае необходимости» — взорвать их тылы, чтобы ослабить их и подорвать их мощь. Так обстоит дело в настоящее время. Так обстояло дело и в прошлом. Взять, например, государ-

ства в Европе времен Наполеона I. Франция кишела тогда шпионами и диверсантами из лагеря русских, немцев, австрийцев, англичан. И, наоборот, Англия, немецкие государства, Австрия, Россия имели тогда в своем тылу не меньшее количество шпионов и диверсантов из французского лагеря. Агенты Англии дважды устраивали покушение на жизнь Наполеона и несколько раз подымали вандейских крестьян во Франции против правительства Наполеона. А что из себя представляло наполеоновское правительство? Буржуазное правительство, которое задушило французскую революцию и сохранило только те результаты революции, которые были выгодны крупной буржуазии. Нечего и говорить, что наполеоновское правительство не оставалось в долгу у своих соседей и тоже предпринимало свои диверсионные мероприятия. Так было в прошлом, 130 лет тому назад. Так обстоит дело теперь, спустя 130 лет после Наполеона I. Сейчас Франция и Англия кишат немецкими шпионами и диверсантами и, наоборот, в Германии в свою очередь подвизаются англо-французские шпионы и диверсанты. Америка кишит японскими шпионами и диверсантами, а Япония — американскими.

Таков закон взаимоотношений между буржуазными государствами.

Спрашивается, почему буржуазные государства должны относиться к советскому социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к одготипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли? Не вернее ли будет, с точки зрения марксизма, предположить, что в тылы Советского Союза буржуазные государства должны засылать вдвое и втрое больше вредителей, шпионов, диверсантов и убийц, чем в тылы любого буржуазного государства?

Не ясно ли, что пока существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы агентами иностранных государств?

Обо всем этом забыли наши партийные товарищи и, забыв об этом, оказались застигнутыми врасплох.

Вот почему шпионско-диверсионная работа троцкистских агентов японо-немецкой полицейской охраны оказалась для некоторых наших товарищей полной неожиданностью.

III.

Современный троцкизм

Далее. Ведя борьбу с троцкистскими агентами, наши партийные товарищи не заметили, проглядели, что нынешний троцкизм уже не тот, чем он был, скажем, лет 7—8 тому назад, что троцкизм и троц-

кисты претерпели за это время серьезную эволюцию, в корне изменившую лицо троцкизма, что ввиду этого и борьба с троцкизмом, методы борьбы с ним должны быть изменены в корне. Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, что из политического течения в рабочем классе, каким он был 7—8 лет тому назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств.

Что такое политическое течение в рабочем классе? Политическое течение в рабочем классе — это такая группа или партия, которая имеет свою определенную политическую физиономию, платформу, программу, которая не прячет и не может прятать своих взглядов от рабочего класса, а наоборот, пропагандирует свои взгляды открыто и честно, на глазах у рабочего класса, которая не боится показать свое политическое лицо рабочему классу, не боится демонстрировать своих действительных целей и задач перед рабочим классом, а наоборот, с открытым забралом идет в рабочий класс для того, чтобы убедить его в правоте своих взглядов. Троцкизм в прошлом, лет 7—8 тому назад, был одним из таких политических течений в рабочем классе, правда, антиленинским и потому глубоко ошибочным, но все же политическим течением.

Можно ли сказать, что нынешний троцкизм, троцкизм, скажем, 1936 года, является политическим течением в рабочем классе? Нет, нельзя этого говорить. Почему? Потому, что современные троцкисты боятся показать рабочему классу свое действительное лицо, боятся открыть ему свои действительные цели и задачи, старательно прячут от рабочего класса свою политическую физиономию, опасаясь, что, если рабочий класс узнает об их действительных намерениях, он проклянет их, как людей чуждых, и прогонит их от себя. Этим, собственно, и объясняется, что основным методом троцкистской работы является теперь не открытая и честная пропаганда своих взглядов в рабочем классе, а маскировка своих взглядов, подобострастное и подхалимское восхваление взглядов своих противников, фарисейское и фальшивое втаптывание в грязь своих собственных взглядов.

На судебном процессе 1936 года, если вспомните, Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы. У них была полная возможность развернуть на судебном процессе свою политическую платформу. Однако они этого не сделали, заявив, что у них нет никакой политической платформы. Не может быть сомнения, что оба они лгали, отрицая наличие у них платформы. Теперь даже слепые видят, что у них была своя политическая платформа. Но почему они отрицали наличие у них какой-либо политической платформы? Потому что они боялись открыть свое подлинное политическое лицо, они боялись продемонстрировать свою действи-

тельную платформу реставрации капитализма в СССР, опасаясь, что такая платформа вызовет в рабочем классе отвращение.

На судебном процессе в 1937 году Пятаков, Радек и Сокольников стали на другой путь. Они не отрицали наличия политической платформы у троцкистов и зиновьевцев. Они признали наличие у них определенной политической платформы, признали и развернули ее в своих показаниях. Но развернули ее не для того, чтобы призвать рабочий класс, призвать народ к поддержке троцкистской платформы, а для того, чтобы проклясть и заклеить ее, как платформу антинародную и антипролетарскую. Реставрация капитализма, ликвидация колхозов и совхозов, восстановление системы эксплуатации, союз с фашистскими силами Германии и Японии для приближения войны с Советским Союзом, борьба за войну и против политики мира, территориальное расчленение Советского Союза с отдачей Украины немцам, а Приморья — японцам, подготовка военного поражения Советского Союза в случае нападения на него враждебных государств и, как средство достижения этих задач, — вредительство, диверсия, индивидуальный террор против руководителей советской власти, шпионаж в пользу японо-немецких фашистских сил, — такова развернутая Пятаковым, Радеком и Сокольниковым политическая платформа нынешнего троцкизма. Понятно, что такую платформу не могли не прятать троцкисты от народа, от рабочего класса. И они прятали ее не только от рабочего класса, но и от троцкистской массы, и не только от троцкистской массы, но даже от руководящей троцкистской верхушки, состоявшей из небольшой кучки людей в 30—40 человек. Когда Радек и Пятаков потребовали от Троцкого разрешения на созыв маленькой конференции троцкистов в 30—40 человек для информации о характере этой платформы, Троцкий запретил им это, сказав, что нецелесообразно говорить о действительном характере платформы даже маленькой кучке троцкистов, так как такая «операция» может вызвать раскол.

«Политические деятели», прячущие свои взгляды, свою платформу не только от рабочего класса, но и от троцкистской массы, и не только от троцкистской массы, но и от руководящей верхушки троцкистов, — такова физиономия современного троцкизма.

Но из этого вытекает, что современный троцкизм нельзя уже называть политическим течением в рабочем классе.

Современный троцкизм есть не политическое течение в рабочем классе, а беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, действующих по найму у разведывательных органов иностранных государств.

Таков неоспоримый результат эволюции троцкизма за последние 7—8 лет.

Такова разница между троцкизмом в прошлом и троцкизмом в настоящем.

Ошибка наших партийных товарищей состоит в том, что они не заметили этой глубокой разницы между троцкизмом в прошлом и троцкизмом в настоящем. Они не заметили, что троцкисты давно уже перестали быть идейными людьми, что троцкисты давно уже превратились в разбойников с большой дороги, способных на любую гадость, способных на все мерзкое вплоть до шпионажа и прямой измены своей родине, лишь бы напакостить советскому государству и советской власти. Они не заметили этого и не сумели поэтому вовремя перестроиться для того, чтобы повести борьбу с троцкистами по-новому, более решительно.

Вот почему мерзости троцкистов за последние годы явились для некоторых наших партийных товарищей полной неожиданностью.

Дальше. Наконец, наши партийные товарищи не заметили того, что между нынешними вредителями и диверсантами, среди которых троцкистские агенты фашизма играют довольно активную роль, с одной стороны, и вредителями и диверсантами времен шахтинского периода, с другой стороны, имеется существенная разница.

Во-первых. Шахтинцы и промпартийцы были открыто чуждыми нам людьми. Это были большей частью бывшие владельцы предприятий, бывшие управляющие при старых хозяевах, бывшие компаньоны старых акционерных обществ, либо просто старые буржуазные специалисты, открыто враждебные нам политически. Никто из наших людей не сомневался в подлинности политического лица этих господ. Да и сами шахтинцы не скрывали своего неприязненного отношения к советскому строю. Нельзя то же самое сказать о нынешних вредителях и диверсантах, о троцкистах. Нынешние вредители и диверсанты, троцкисты, — это большей частью люди партийные, с партийным билетом в кармане, — стало быть, люди формально не чужие. Если старые вредители шли против наших людей, то новые вредители, наоборот, лебезят перед нашими людьми, восхваляют наших людей, подхалимничают перед ними для того, чтобы втереться в доверие. Разница, как видите, существенная.

Во-вторых. Сила шахтинцев и промпартийцев состояла в том, что они обладали в большей или меньшей степени необходимыми техническими знаниями, в то время, как наши люди, не имевшие таких знаний, вынуждены были учиться у них. Это обстоятельство давало вредителям шахтинского периода большое преимущество, давало им возможность вредить свободно и беспрепятственно, давало им возможность обманывать наших людей **технически**. Не то с нынешними вредителями, с троцкистами. У нынешних вредителей нет никаких технических преимуществ по отношению к нашим людям. Наоборот, технически наши люди более подготовлены, чем нынешние вредители, чем троцкисты. За время от шахтинского периода до наших дней у нас выросли десятки тысяч настоящих технически подкованных большевистских кадров. Можно было бы назвать тысячи и десятки тысяч

технически выросших большевистских руководителей, в сравнении с которыми все эти Пятаковы и Лившицы, Шестовы и Богуславские, Мураловы и Дробнисы являются пустыми болтунами и приготовишками с точки зрения технической подготовки. В чем же в таком случае состоит сила современных вредителей, троцкистов? Их сила состоит в партийном билете, в обладании партийным билетом. Их сила состоит в том, что партийный билет дает им политическое доверие и открывает им доступ во все наши учреждения и организации. Их преимущество состоит в том, что, имея партийные билеты и прикидываясь друзьями советской власти, они обманывали наших людей **политически**, злоупотребляли доверием, вредили втихомолку и открывали наши государственные секреты врагам Советского Союза. «Преимущество» сомнительное по своей политической и моральной ценности, но все же «преимущество». Этим «преимуществом» и объясняется, собственно, то обстоятельство, что троцкистские вредители, как люди с партбилетом, имеющие доступ во все места наших учреждений и организаций, оказались прямой находкой для разведывательных органов иностранных государств.

Ошибка некоторых наших партийных товарищей состоит в том, что они не заметили, не поняли всей этой разницы между старыми и новыми вредителями, между шахтинцами и троцкистами, и, не заметив этого, не сумели во-время перестроиться для того, чтобы повести борьбу с новыми вредителями по-новому.

IV.

Теневые стороны хозяйственных успехов

Таковы основные факты из области нашего международного и внутреннего положения, о которых забыли или которых не заметили многие наши партийные товарищи.

Вот почему наши люди оказались застигнутыми врасплох событиями последних лет по части вредительства и диверсий.

Могут спросить: но почему наши люди не заметили всего этого, почему они забыли обо всем этом?

Откуда взялись все эти забывчивость, слепота, беспечность, благодушие?

Не есть ли это органический порок в работе наших людей?

Нет, это не органический порок. Это — временное явление, которое может быть быстро ликвидировано при наличии некоторых усилий со стороны наших людей.

В чем же тогда дело?

Дело в том, что наши партийные товарищи за последние годы были всецело поглощены хозяйственной работой, они были до край-

ности увлечены хозяйственными успехами и, будучи увлечены всем этим делом, — забыли обо всем другом, забросили все остальное.

Дело в том, что, будучи увлечены хозяйственными успехами, они стали видеть в этом деле начало и конец всего, а на такие дела, как международное положение Советского Союза, капиталистическое окружение, усиление политической работы партии, борьба с вредительством и т. п. — не стали просто обращать внимания, полагая, что все эти вопросы представляют второстепенное или даже третьестепенное дело.

Успехи и достижения — дело, конечно, великое. Наши успехи в области социалистического строительства действительно огромны. Но успехи, как и все на свете, имеют и свои теневые стороны. У людей, мало искушенных в политике, большие успехи и большие достижения нередко порождают беспечность, благодушие, самодовольство, чрезмерную самоуверенность, зазнайство, хвастовство. Вы не можете отрицать, что за последнее время хвастунов у нас развелось видимо-невидимо. Неудивительно, что в этой обстановке больших и серьезных успехов в области социалистического строительства создаются настроения бахвальства, настроения парадных манифестаций наших успехов, создаются настроения недооценки сил наших врагов, настроения переоценки своих сил и, как следствие всего этого, — появляется политическая слепота.

Тут я должен сказать несколько слов об опасностях, связанных с успехами, об опасностях, связанных с достижениями.

Об опасностях, связанных с трудностями, мы знаем по опыту. Вот уже несколько лет ведем борьбу с такого рода опасностями и, надо сказать, не без успеха. Опасности, связанные с трудностями, у людей нестойких порождают нередко настроения уныния, неверия в свои силы, настроения пессимизма. И, наоборот, там, где дело идет о том, чтобы побороть опасности, проистекающие из трудностей, люди закаляются в этой борьбе и выходят из борьбы действительно твердокаменными большевиками. Такова природа опасностей, связанных с трудностями. Таковы результаты преодоления трудностей.

Но есть другого рода опасности, опасности, связанные с успехами, опасности, связанные с достижениями. Да, да, товарищи, опасности, связанные с успехами, с достижениями. Опасности эти состоят в том, что у людей, мало искушенных в политике и не очень много видавших, обстановка успехов — успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением, — порождает настроения беспечности и самодовольства, создает атмосферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чувство меры и притупляющих политическое чутье, размагничивает людей и толкает их на то, чтобы почить на лаврах.

Неудивительно, что в этой одуряющей атмосфере зазнайства и самодовольства, атмосфере парадных манифестаций и шумливых само-

восхвалений люди забывают о некоторых существенных фактах, имеющих первостепенное значение для судеб нашей страны, люди начинают не замечать таких неприятных фактов, как капиталистическое окружение, новые формы вредительства, опасности, связанные с нашими успехами и т. п. Капиталистическое окружение? Да это же чепуха! Какое значение может иметь какое-то капиталистическое окружение, если мы выполняем и перевыполняем наши хозяйственные планы? Новые формы вредительства, борьба с троцкизмом? Все это пустяки! Какое значение могут иметь все эти мелочи, когда мы выполняем и перевыполняем наши хозяйственные планы? Партийный устав, выборность парторганов, отчетность партийных руководителей перед партийной массой? Да есть ли во всем этом нужда? Стоит ли вообще возиться с этими мелочами, если хозяйство у нас растет, а материальное положение рабочих и крестьян все более и более улучшается? Пустяки все это! Планы перевыполняем, партия у нас неплохая, ЦК партий тоже неплохой, — какого рожна еще нам нужно? Странные люди сидят там в Москве, в ЦК партии: выдумывают какие-то вопросы, толкуют о каком-то вредительстве, сами не спят, другим спать не дают...

Вот вам наглядный пример того, как легко и «просто» заражаются политической слепотой некоторые наши неопытные товарищи в результате головокружительного увлечения хозяйственными успехами.

Таковы опасности, связанные с успехами, с достижениями.

Таковы причины того, что наши партийные товарищи, увлекшись хозяйственными успехами, забыли о фактах международного и внутреннего характера, имеющих существенное значение для Советского Союза, и не заметили целого ряда опасностей, окружающих нашу страну.

Таковы корни нашей беспечности, забывчивости, благодушия, политической слепоты.

Таковы корни недостатков нашей хозяйственной и партийной работы.

V.

Наши задачи

Как ликвидировать эти недостатки нашей работы?

Что нужно сделать для этого?

Необходимо осуществить следующие мероприятия.

1) Необходимо прежде всего повернуть внимание наших партийных товарищей, увязающих в «текущих вопросах» по линии того или иного ведомства, — в сторону больших политических вопросов международного и внутреннего характера.

2) Необходимо поднять политическую работу нашей партии на должную высоту, поставив во главу угла задачу политического про-

свещения и большевистской закалки партийных, советских и хозяйственных кадров.

3) Необходимо раз'яснить нашим партийным товарищам, что хозяйственные успехи, значение которых бесспорно очень велико и которых мы будем добиваться и впредь, изо дня в день, из года в год, — все же не исчерпывают всего дела нашего социалистического строительства.

Раз'яснить, что теневые стороны, связанные с хозяйственными успехами и выражающиеся в самодовольстве, беспечности, в притуплении политического чутья, могут быть ликвидированы лишь в том случае, если хозяйственные успехи сочетаются с успехами партийного строительства и развернутой политической работы нашей партии.

Раз'яснить, что сами хозяйственные успехи, их прочность и длительность целиком и полностью зависят от успехов партийно-организационной и партийно-политической работы, что без этого условия хозяйственные успехи могут оказаться построенными на песке.

4) Необходимо помнить и никогда не забывать, что капиталистическое окружение является основным фактом, определяющим международное положение Советского Союза.

Помнить и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое окружение, — будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, засылаемые в тылы Советского Союза разведывательными органами иностранных государств, помнить об этом и вести борьбу с теми товарищами, которые недооценивают значения факта капиталистического окружения, которые недооценивают силы и значения вредительства.

Раз'яснить нашим партийным товарищам, что никакие хозяйственные успехи, как бы они ни были велики, не могут аннулировать факта капиталистического окружения и вытекающих из этого факта результатов.

Принять необходимые меры для того, чтобы наши товарищи, партийные и беспартийные большевики, имели возможность знакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительно-диверсионной и шпионской работы иностранных разведывательных органов.

5) Необходимо раз'яснить нашим партийным товарищам, что троцкисты, представляющие активные элементы диверсионно-вредительской и шпионской работы иностранных разведывательных органов, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем классе, что они давно уже перестали служить какой-либо идее, совместимой с интересами рабочего класса, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду вредителей, диверсантов, шпионов, убийц, работающих по найму у иностранных разведывательных органов.

Раз'яснить, что в борьбе с современным троцкизмом нужны теперь не старые методы, не методы дискуссий, а новые методы, методы выкорчевывания и разгрома.

6) Необходимо раз'яснить нашим партийным товарищам разницу между современными вредителями и вредителями шахтинского периода, раз'яснить, что если вредители шахтинского периода обманывали наших людей на технике, используя их техническую отсталость, то современные вредители, обладающие партийным билетом, обманывают наших людей на политическом доверии к ним, как к членам партии, используя политическую беспечность наших людей.

Необходимо дополнить старый лозунг об овладении техникой, соответствующий периоду шахтинских времен, новым лозунгом о политическом воспитании кадров, об овладении большевизмом и ликвидации нашей политической доверчивости, лозунгом, вполне соответствующим нынешнему переживаемому периоду.

Могут спросить: разве нельзя было лет десять тому назад, в период шахтинских времен, дать сразу оба лозунга, и первый лозунг об овладении техникой, и второй лозунг о политическом воспитании кадров? Нет, нельзя было. Так у нас дела не делаются в большевистской партии. В поворотные моменты революционного движения всегда выдвигается один какой-либо основной лозунг, как узловой, для того, чтобы, ухватившись за него, вытянуть через него всю цепь. Ленин так учил нас: найдите основное звено в цепи нашей работы, ухватитесь за него и вытягивайте его для того, чтобы через него вытянуть всю цепь и идти вперед. История революционного движения показывает, что эта тактика является единственно правильной тактикой. В шахтинский период слабость наших людей состояла в их технической отсталости. Не политические, а технические вопросы составляли тогда для нас слабое место. Что касается наших политических отношений к тогдашним вредителям, то они были совершенно ясны, как отношения большевиков к политически чуждым людям. Эту нашу техническую слабость мы ликвидировали тем, что дали лозунг об овладении техникой и воспитали за истекший период десятки и сотни тысяч технически подкованных большевистских кадров. Другое дело теперь, когда мы имеем уже технически подкованные большевистские кадры и когда в роли вредителей выступают не открыто чуждые люди, не имеющие к тому же никаких технических преимуществ в сравнении с нашими людьми, а люди, обладающие партийным билетом и пользующиеся всеми правами членов партии. Теперь слабость наших людей составляет не техническая отсталость, а политическая беспечность, слепое доверие к людям, случайно получившим партийный билет, отсутствие проверки людей не по их политическим декларациям, а по результатам их работы. Теперь узловым вопросом для нас является не ликвидация технической отсталости наших кадров, ибо она в основном уже ликвидирована, а ликвидация политической беспечности и политической доверчивости к вредителям, случайно заполучившим партийный билет.

Такова коренная разница между узловым вопросом в деле борьбы

за кадры в период шахтинских времен и узловым вопросом настоящего периода.

Вот почему мы не могли и не должны были давать лет десять тому назад сразу оба лозунга, и лозунг об овладении техникой, и лозунг о политическом воспитании кадров.

Вот почему старый лозунг об овладении техникой необходимо теперь дополнить новым лозунгом об овладении большевизмом, о политическом воспитании кадров и ликвидации нашей политической беспечности.

7) Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным.

Это — не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с советской властью.

Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последние средства обреченных.

Надо иметь в виду, что остатки разбитых классов в СССР неодинокки. Они имеют прямую поддержку со стороны наших врагов за пределами СССР. Ошибочно было бы думать, что сфера классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в рамках СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств. Об этом не могут не знать остатки разбитых классов. И именно потому, что они об этом знают, они будут и впредь продолжать свои отчаянные вылазки.

Так учит нас история. Так учит нас ленинизм.

Необходимо помнить все это и быть на-чеку.

8) Необходимо разбить и отбросить прочь другую гнилую теорию, говорящую о том, что не может быть будто бы вредителем тот, кто не всегда вредит и кто хоть иногда показывает успехи в своей работе.

Эта странная теория изобличает наивность ее авторов. Ни один вредитель не будет все время вредить, если он не хочет быть разоблаченным в самый короткий срок. Наоборот, настоящий вредитель должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это — единственное средство сохраниться ему, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вредительскую работу.

Я думаю, что вопрос этот ясен и не нуждается в дальнейших разъяснениях.

9) Необходимо разбить и отбросить прочь третью гнилую теорию,

говорящую о том, что систематическое выполнение хозяйственных планов сводит будто бы на-нет вредительство и результаты вредительства.

Подобная теория может преследовать лишь одну цель: пощекотать ведомственное самолюбие наших работников, успокоить их и ослабить их борьбу с вредительством.

Что значит — «систематическое выполнение наших хозяйственных планов»?

Во-первых, доказано, что все наши хозяйственные планы являются заниженными, ибо они не учитывают огромных резервов и возможностей, тающихся в недрах нашего народного хозяйства.

Во-вторых, суммарное выполнение хозяйственных планов по наркоматам в целом еще не значит, что по некоторым очень важным отраслям так же выполняются планы. Наоборот, факты говорят, что целый ряд наркоматов, выполнивших и даже перевыполнивших годовые хозяйственные планы, систематически не выполняет планов по некоторым очень важным отраслям народного хозяйства.

В-третьих, не может быть сомнения в том, что если бы вредители не были разоблачены и выброшены вон, с выполнением хозяйственных планов дело обстояло бы куда хуже, о чем следовало бы помнить близоруким авторам разбираемой теории.

В-четвертых, вредители обычно приурочивают главную свою вредительскую работу не к периоду мирного времени, а к периоду кануна войны или самой войны. Допустим, что мы стали бы убаюкивать себя гнилой теорией о «систематическом выполнении хозяйственных планов» и не трогали бы вредителей. Представляют ли авторы этой гнилой теории, какой колоссальный вред нанесли бы нашему государству вредители в случае войны, если бы дали им остаться в недрах нашего народного хозяйства под сенью гнилой теории о «систематическом выполнении хозяйственных планов».

Не ясно ли, что теория о «систематическом выполнении хозяйственных планов» есть теория, выгодная для вредителей?

10) Необходимо разбить и отбросить прочь четвертую гнилую теорию, говорящую о том, что стахановское движение является будто бы основным средством ликвидации вредительства.

Эта теория выдумана для того, чтобы под шумок болтовни о стахановцах и стахановском движении отвести удар от вредителей.

Тов. Молотов в своем докладе демонстрировал целый ряд фактов, говорящих о том, как троцкистские и не-троцкистские вредители в Кузбассе и Донбассе, злоупотребляя доверием наших политически беспечных товарищей, систематически водили за нос стахановцев, ставили им палки в колеса, искусственно создавали целый ряд препятствий для их успешной работы и добились, наконец, того, что расстроили их работу. Что могут сделать одни лишь стахановцы, если вредительское ведение капитального строительства, скажем, в Донбассе привело к

разрыву между подготовительными работами по добыче угля, которые отстают от темпов, и всеми другими работами? Не ясно ли, что само стахановское движение нуждается в реальной помощи с нашей стороны против всех и всяких махинаций вредителей для того, чтобы двинуть вперед дело и выполнить свою великую миссию? Не ясно ли, что борьба с вредительством, борьба за ликвидацию вредительства, обуздание вредительства является условием, необходимым для того, чтобы стахановское движение могло развернуться во всю ширь?

Я думаю, что вопрос этот так же ясен и не нуждается в дальнейших раз'яснениях.

11) Необходимо разбить и отбросить прочь пятую гнилую теорию, говорящую о том, что у троцкистских вредителей нет будто бы больше резервов, что они добирают будто бы свои последние кадры.

Это неверно, товарищи. Такую теорию могли выдумать только наивные люди. У троцкистских вредителей есть свои резервы. Они состоят прежде всего из остатков разбитых эксплуататорских классов в СССР. Они состоят из целого ряда групп и организаций за пределами СССР, враждебных Советскому Союзу.

Взять, например, троцкистский контрреволюционный IV интернационал, состоящий на две трети из шпионов и диверсантов. Чем это не резерв? Разве не ясно, что этот шпионский интернационал будет выделять кадры для шпионско-вредительской работы троцкистов?

Или еще, взять, например, группу пройдохи Шефло в Норвегии, приютившую у себя обер-шпиона Троцкого и помогавшую ему паковать Советскому Союзу. Чем эта группа не резерв? Кто может отрицать, что эта контрреволюционная группа будет и впредь оказывать услуги троцкистским шпионам и вредителям?

Или еще, взять, например, другую группу такого же пройдохи, как Шефло, группу Суварина во Франции. Чем она не резерв? Разве можно отрицать, что эта группа пройдох также будет помогать троцкистам в их шпионско-вредительской работе против Советского Союза?

А все эти господа из Германии, всякие там Рут Фишеры, Масловы, Урбансы, продавшие душу и тело фашистам, — чем они не резерв для троцкистской шпионско-вредительской работы?

Или, например, известная орда писателей из Америки во главе с известным жуликом Истменом, все эти разбойники пера, которые тем и живут, что клеветают на рабочий класс СССР, — чем они не резерв для троцкизма?

Нет, надо отбросить прочь гнилую теорию о том, что троцкисты добирают будто бы последние кадры.

12) Наконец, необходимо разбить и отбросить прочь еще одну гнилую теорию, говорящую о том, что так как нас, большевиков, много, а вредителей мало, так как нас, большевиков, поддерживают десятки миллионов людей, а троцкистских вредителей лишь единицы и

десятки, то мы, большевики, могли бы и не обращать внимания на какую-то кучку вредителей.

Это неверно, товарищи. Эта более чем странная теория придумана для того, чтобы утешить некоторых наших руководящих товарищей, провалившихся на работе ввиду их неумения бороться с вредительством, и усыпить их бдительность, дать им спокойно спать.

Что троцкистских вредителей поддерживают единицы, а большевиков десятки миллионов людей — это, конечно, верно. Но из этого вовсе не следует, что вредители не могут нанести нашему делу серьезнейший вред. Для того, чтобы напакостить и навредить, для этого вовсе не требуется большое количество людей. Чтобы построить Днепрострой, надо пустить в ход десятки тысяч рабочих. А чтобы его взорвать, для этого требуется может быть несколько десятков человек, не больше. Чтобы выиграть сражение во время войны, для этого может потребоваться несколько корпусов красноармейцев. А для того, чтобы провалить этот выигрыш на фронте, для этого достаточно несколько человек шпионов где-нибудь в штабе армии или даже в штабе дивизии, могущих выкрасть оперативный план и передать его противнику. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого требуются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько человек. Таких примеров можно было бы привести десятки и сотни.

Стало быть, нельзя утешать себя тем, что нас много, а их, троцкистских вредителей, мало.

Надо добиться того, чтобы их, троцкистских вредителей, не было вовсе в наших рядах.

Так обстоит дело с вопросом о том, как ликвидировать недостатки нашей работы, общие для всех наших организаций, как хозяйственных и советских, так и административных и партийных.

Таковы меры, необходимые для того, чтобы ликвидировать эти недостатки.

Что касается специально партийных организаций и недостатков в их работе, то о мерах ликвидации этих недостатков достаточно подробно говорится в представляемом на ваше усмотрение проекте резолюции. Я думаю, поэтому, что нет необходимости распространяться здесь об этой стороне дела.

Хотелось бы только сказать несколько слов по вопросу о политической подготовке и усовершенствовании наших партийных кадров.

Я думаю, что если бы мы смогли, если бы мы сумели наши партийные кадры, снизу доверху, подготовить идеологически и закалить их политически таким образом, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми ленинцами, марксистами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной, то мы разрешили бы этим девять десятых всех наших задач.

Как обстоит дело с руководящим составом нашей партии?

В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около 3—4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, — генералитет нашей партии.

Далее идут 30 — 40 тысяч средних руководителей. Это — наше партийное офицерство.

Дальше идут около 100—150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство.

Поднять идеологический уровень и политическую закалку этих командных кадров, влить в эти кадры свежие силы, ждущие своего выдвижения, и расширить таким образом состав руководящих кадров, — вот задача.

Что требуется для этого?

Прежде всего необходимо предложить нашим партийным руководителям, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских партийных организаций, подобрать себе в течение известного периода по два человека, по два партийных работника, способных быть их действительными заместителями. Могут сказать: а где их достать, двух заместителей на каждого, у нас нет таких людей, нет соответствующих работников. Это неверно, товарищи. Людей способных, людей талантливых у нас десятки тысяч. Надо только их знать и во-время выдвигать, чтобы они не переставали на старом месте и не начинали гнить. Ищите да обрящете.

Далее. Для партийного обучения и переподготовки секретарей ячеек необходимо создать в каждом областном центре четырехмесячные **«Партийные курсы»**. На эти курсы надо направлять секретарей всех первичных партийных организаций (ячеек), а потом, по прохождении курсов и возвращении их на место, — их заместителей и наиболее способных членов первичных парторганизаций.

Дальше. Для политической переподготовки первых секретарей районных организаций необходимо создать по СССР, скажем, в 10-ти наиболее важных центрах, восьмимесячные **«Ленинские курсы»**. На эти курсы следует направлять первых секретарей районных и окружных партийных организаций, а потом, по прохождении курсов и возвращении их на место, — их заместителей и наиболее способных членов районных и окружных организаций.

Дальше. Для идеологической переподготовки и политического усовершенствования секретарей городских организаций необходимо создать при ЦК ВКП(б) шестимесячные **«Курсы по истории и политике партии»**. На эти курсы следует направлять первых или вторых секретарей городских организаций, а потом, по прохождении курсов и возвращении их на место, — наиболее способных членов городских организаций.

Наконец, необходимо создать при ЦК ВКП(б) шестимесячное **«Совещание по вопросам внутренней и международной политики»**.

Сюда надо направлять первых секретарей областных и краевых организаций и центральных комитетов национальных коммунистических партий. Эти товарищи должны дать не одну, а несколько смен, могущих заменить руководителей Центрального Комитета нашей партии. Это необходимо и это должно быть сделано.

Я кончаю, товарищи.

Мы изложили таким образом основные недостатки нашей работы, как те, которые общи для всех наших организаций, хозяйственных, административных, партийных, так и те, которые свойственны лишь специально партийным организациям, недостатки, используемые врагами рабочего класса для своей диверсионно-вредительской и шпионско-террористической работы.

Мы наметили, далее, основные мероприятия, необходимые для того, чтобы ликвидировать эти недостатки и обезвредить диверсионно-вредительские и шпионско-террористические вылазки троцкистско-фашистских агентов иностранных разведывательных органов.

Спрашивается, можем ли осуществить все эти мероприятия, есть ли у нас для этого все необходимые возможности?

Безусловно, можем. Можем, так как у нас есть в нашем распоряжении все средства, необходимые для того, чтобы осуществить эти мероприятия.

Чего же нехватает у нас?

Нехватает только одного: готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное благодушие, свою собственную политическую близорукость.

В этом загвоздка.

Но неужели мы не сумеем разделаться с этой смешной и идиотской болезнью, мы, которые свергли капитализм, построили в основном социализм и подняли великое знамя мирового коммунизма?

У нас нет оснований сомневаться в том, что безусловно разделаемся с ней, если, конечно, захотим этого. Разделаемся не просто, а по-большевистски, по-настоящему.

И когда мы разделаемся с этой идиотской болезнью, мы можем сказать с полной уверенностью, что нам не страшны никакие враги, ни внутренние, ни внешние, нам не страшны их вылазки, ибо мы будем их разбивать в будущем так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом. (Аплодисменты).

Заключительное слово товарища СТАЛИНА

на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 г.

Товарищи!

Я говорил в своем докладе об основных вопросах обсуждаемого дела. Прения показали, что у нас имеется теперь полная ясность, имеется понимание задач и есть готовность ликвидировать недостатки нашей работы. Но прения показали также, что есть некоторые конкретные вопросы нашей организационно-политической практики, по которым нет еще у нас вполне ясного понимания. Таких вопросов я насчитал семь.

Разрешите сказать несколько слов об этих вопросах.

1) Теперь, надо полагать, все поняли, осознали, что чрезмерное увлечение хозяйственными кампаниями и хозяйственными успехами при недооценке и забвении партийно-политических вопросов — ведет к тупику. Необходимо, стало быть, повернуть внимание работников в сторону партийно-политических вопросов с тем, чтобы успехи хозяйственные сочетались и шли рядом с успехами партийно-политической работы.

Как практически осуществить задачу усиления партийно-политической работы, задачу освобождения партийных организаций от хозяйственных мелочей? Как видно из прений, некоторые товарищи склонны делать из этого неправильный вывод о том, что теперь придется будто бы отойти вовсе от хозяйственной работы. По крайней мере были голоса: ну, теперь, слава богу, освободимся от хозяйственных дел, теперь можно заняться и партийно-политической работой. Правильен ли этот вывод? Нет, неправилен. Когда наши партийные товарищи, увлекаясь хозяйственными успехами, отходили от политики, это была крайность, стоившая нам больших жертв. Если теперь некоторые наши товарищи, берясь за усиление партийно-политической работы, вздумают отойти от хозяйства, то это будет другая крайность, которая будет нам стоить не меньших жертв. Нельзя шархаться от одной крайности к другой. Нельзя отделять политику от хозяйства. Мы не можем уйти от хозяйства так же, как не можем уйти от политики. Для удобства изучения люди обычно отделяют ме-

тодологически вопросы хозяйства от вопросов политики. Но это делается лишь методологически, искусственно, только для удобства изучения. В жизни, наоборот, на практике политика и хозяйство неотделимы. Они существуют вместе и действуют вместе. И тот, кто думает в нашей практической работе отделить хозяйство от политики, усилить хозяйственную работу ценой умаления политической работы, или, наоборот, усилить политическую работу ценой умаления хозяйственной работы, — тот обязательно попадает в тупик.

Смысл известного пункта проекта резолюции об освобождении партийных организаций от хозяйственных мелочей и усилении партийно-политической работы состоит не в том, чтобы отойти от хозяйственной работы и хозяйственного руководства, а только лишь в том, чтобы не допускать больше практики подмены и обезличения хозяйственных органов, в том числе и особенно земельных органов, нашими партийными организациями. Необходимо, стало быть, усвоить метод большевистского руководства хозяйственными органами, состоящий в том, чтобы систематически помогать этим органам, систематически укреплять их и руководить хозяйством не помимо этих органов, а через них. Нужно дать хозяйственным органам и прежде всего земельным органам лучших людей, нужно укомплектовать эти органы новыми лучшими работниками, способными выполнять возложенные на них задачи. Только после того, как будет проделана эта работа, можно будет рассчитывать на то, что партийные организации будут полностью освобождены от хозяйственных мелочей. Понятно, что дело это серьезное и требует известного времени. Но пока это не сделано, партийным организациям придется и впредь, на определенно короткий срок, заниматься вплотную сельскохозяйственными делами со всеми их мелочами, пахотой, севом, уборкой и т. д.

2) Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений.

Но вот вопрос: как практически осуществить задачу разгрома и выкорчевывания японо-германских агентов троцкизма? Значит ли это, что надо бить и выкорчевывать не только действительных троцкистов, но и тех, которые когда-то колебались в сторону троцкизма, а потом, давно уже, отошли от троцкизма, не только тех, которые действительно являются троцкистскими агентами вредительства, но и тех, которые имели когда-то случай пройти по улице, по которой когда-то проходил тот или иной троцкист? По крайней мере такие голоса раз-

давались здесь на пленуме. Можно ли считать такое толкование резолюции правильным? Нет, нельзя считать правильным. В этом вопросе, как и во всех других вопросах, необходим индивидуальный, дифференцированный подход. Нельзя стричь всех под одну гребенку. Такой огульный подход может только повредить делу борьбы с действительными троцкистскими вредителями и шпионами.

Среди наших ответственных товарищей имеется некоторое количество бывших троцкистов, которые давно уже отошли от троцкизма и ведут борьбу с троцкизмом не хуже, а лучше некоторых наших уважаемых товарищей, не имевших случая колебаться в сторону троцкизма. Было бы глупо опрачивать теперь таких товарищей.

Среди наших товарищей есть и такие, которые идеологически стояли всегда против троцкизма, но, несмотря на это, поддерживали личную связь с отдельными троцкистами, которую они не замедлили ликвидировать, как только стала для них ясной практическая физиономия троцкизма. Не хорошо, конечно, что они прервали свою личную приятельскую связь с отдельными троцкистами не сразу, а с опозданием. Но было бы глупо валить таких товарищей в одну кучу с троцкистами.

3) Что значит — правильно подбирать работников и правильно расставлять их на работе?

Это значит подбирать работников, во-первых, по политическому признаку, т. е. заслуживают ли они политического доверия и, во-вторых, по деловому признаку, т. е. пригодны ли они для такой-то конкретной работы.

Это значит не превращать деловой подход в деляческий подход, когда люди интересуются деловыми качествами работников, но не интересуются их политической физиономией.

Это значит не превращать политический подход в единственный и исчерпывающий подход, когда люди интересуются политической физиономией работников, но не интересуются их деловыми качествами.

Можно ли сказать, что это большевистское правило выполняется нашими партийными товарищами? К сожалению, нельзя этого сказать. Здесь на пленуме уже говорили об этом. Но не сказали всего. Дело в том, что это испытанное правило нарушается в нашей практике сплошь и рядом и при том самым грубым образом. Чаще всего подбирают работников не по объективным признакам, а по признакам случайным, субъективным, обывательски-мещанским. Подбирают чаще всего так называемых знакомых, приятелей, земляков, лично преданных людей, мастеров по восхвалению своих шефов — безотносительно к их политической и деловой пригодности.

Понятно, что вместо руководящей группы ответственных работников получается семейка близких людей, артель, члены которой стараются жить в мире, не обижать друг друга, не выносить сора из избы,

восхвалять друг друга и время от времени посылать в центр пустопожоние и тошнотворные рапорта об успехах.

Не трудно понять, что в такой семейственной обстановке не может быть места ни для критики недостатков работы, ни для самокритики руководителей работой.

Понятно, что такая семейственная обстановка создает благоприятную среду для выращивания подхалимов, людей, лишенных чувства своего достоинства и потому не имеющих ничего общего с большевизмом.

Взять, например, товарищей Мирзояна и Вайнова. Первый из них является секретарем краевой партийной организации Казахстана, второй — секретарем Ярославской областной партийной организации. Эти люди в нашей среде — не последние работники. А как они подбирают работников? Первый перетащил с собой в Казахстан из Азербайджана и Урала, где он раньше работал, 30—40 «своих» людей и расставил их на ответственные посты в Казахстане. Второй перетащил с собой в Ярославль из Донбасса, где он раньше работал, свыше десятка тоже «своих» людей и расставил их тоже на ответственные посты. Есть, стало быть, своя артель у товарища Мирзояна. Есть она и у товарища Вайнова. Разве нельзя было подобрать работников из местных людей, руководствуясь известным большевистским правилом о подборе и расстановке людей? Конечно, можно было бы. Почему же они этого не сделали? Потому, что они нарушают большевистское правило подбора работников, которое исключает возможность обывательски-мещанского подхода, исключает возможность подбора работников по признакам семейственности и артельности. Кроме того, подбирая в качестве работников лично преданных людей, эти товарищи хотели, видимо, создать для себя обстановку некоторой независимости как в отношении местных людей, так и в отношении ЦК партии. Допустим, что товарищи Мирзоян и Вайнов в силу тех или иных обстоятельств будут переведены из места нынешней их работы в какие-либо другие места. Как они должны поступать в таком случае в отношении своих «хвостов»? Неужели им придется снова перетаскивать их в новые места своей работы?

Вот к какому абсурду приводит нарушение большевистского правила о правильном подборе и расстановке работников.

4) Что значит — проверять работников, проверять исполнение заданий?

Проверять работников, это значит проверять их не по их обещаниям и декларациям, а по результатам их работы.

Проверять исполнение заданий, это значит проверять их не только в канцелярии и не только по формальным отчетам, но прежде всего проверять их на месте работы по фактическим результатам исполнения.

Нужна ли вообще такая проверка? Безусловно, нужна. Нужна, во-

первых, потому, что только такая проверка дает возможность распознать работника, определить его действительные качества. Нужна, во-вторых, потому, что только такая проверка дает возможность определить достоинства и недостатки исполнительского аппарата. Нужна, в-третьих, потому, что только такая проверка дает возможность определить достоинства и недостатки самих заданий.

Некоторые товарищи думают, что проверять людей можно только сверху, когда руководители проверяют руководимых по результатам их работы. Это неверно. Проверка сверху, конечно, нужна, как одна из действительных мер проверки людей и проверки исполнения заданий. Но проверка сверху далеко еще не исчерпывает всего дела проверки. Существует еще другого рода проверка, проверка снизу, когда массы, когда руководимые проверяют руководителей, отмечают их ошибки и указывают пути их исправления. Этого рода проверка является одним из самых действительных способов проверки людей.

Партийные массы проверяют своих руководителей на активах, на конференциях, на съездах путем заслушивания их отчетов, путем критики недостатков, наконец, путем избрания или неизбрания в руководящие органы тех или иных руководящих товарищей. Точное проведение демократического централизма в партии, как этого требует устав нашей партии, безусловная выборность партийных органов, право выставления и отвода кандидатов, закрытое голосование, свобода критики и самокритики,—все эти и подобные им мероприятия необходимо провести в жизнь для того, между прочим, чтобы облегчить проверку и контроль руководителей партии со стороны партийных масс.

Беспартийные массы проверяют своих хозяйственных, профессионалистских и иных руководителей на беспартийных активах, на массовых совещаниях всякого рода, где они заслушивают отчеты своих руководителей, критикуют недостатки и намечают пути их исправления.

Наконец, народ проверяет руководителей страны во время выборов в органы власти Советского Союза путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

Задача состоит в том, чтобы соединить проверку сверху с проверкой снизу.

5) Что значит — обучать кадры на их собственных ошибках?

Ленин учил, что добросовестное вскрытие ошибок партии, изучение причин, породивших эти ошибки, и намечение путей, необходимых для исправления этих ошибок, является одним из вернейших средств правильного обучения и воспитания партийных кадров, правильного обучения и воспитания рабочего класса и трудящихся масс. Ленин говорит:

«Отношение политической партии к ее ошибкам есть один из важнейших и вернейших критериев серьезности партии и исполнения ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины, проанали-

зировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку — вот это признак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это — воспитание и обучение класса, а затем и массы».

Это значит, что обязанностью большевиков является не замазывание своих ошибок, не уваливание от вопроса об их ошибках, как это бывает у нас часто, а честное и открытое признание своих ошибок, честное и открытое намерение путей для исправления этих ошибок, честное и открытое исправление своих ошибок.

Я бы не сказал, чтобы многие из наших товарищей с удовольствием пошли на это дело. Но большевики, если они действительно хотят быть большевиками, должны найти в себе мужество открыто признать свои ошибки, вскрыть их причины, наметить пути их исправления и тем помочь партии дать кадрам правильное обучение и правильное политическое воспитание. Ибо только на этом пути, только в обстановке открытой и честной самокритики можно воспитать действительно большевистские кадры, можно воспитать действительных большевистских лидеров.

Два примера, демонстрирующие правильность положения Ленина.

Взять, например, наши ошибки с колхозным строительством. Вы помните, должно быть, 1930 год, когда наши партийные товарищи думали разрешить сложный вопрос перевода крестьянства на колхозное строительство в какие-нибудь 3—4 месяца и когда Центральный Комитет партии оказался вынужденным осадить увлекающихся товарищей. Это был один из самых опасных периодов в жизни нашей партии. Ошибка состояла в том, что наши партийные товарищи забыли о добровольности колхозного строительства, забыли, что нельзя переводить крестьян на колхозный путь путем административного нажима, забыли, что колхозное строительство требует не нескольких месяцев, а нескольких лет тщательной и продуманной работы. Они забыли об этом и не хотели признавать своих ошибок. Вы помните, должно быть, что указание ЦК о головокружении от успехов и о том, чтобы наши товарищи на местах не забегали вперед, игнорируя реальную обстановку, — было встречено в штыки. Но это не удержало ЦК от того, чтобы пойти против течения и повернуть наших партийных товарищей на правильный путь. И что же? Теперь ясно для всех, что партия добилась своего, повернув наших партийных товарищей на правильный путь. Сейчас у нас имеются десятки тысяч великолепных кадров из крестьян по колхозному строительству и колхозному руководству. Эти кадры обучались и воспитались на ошибках 1930 года. Но этих кадров не было бы у нас теперь, если бы партия не осознала тогда своих ошибок и не исправила их своевременно.

Другой пример уже из области промышленного строительства. Я имею в виду наши ошибки в период шахтинского вредительства.

Наши ошибки состояли в том, что мы не учитывали всей опасности технической отсталости наших кадров в промышленности, мы мирились с этой отсталостью и думали развернуть широкое социалистическое промышленное строительство при помощи враждебно настроенных специалистов, обрекая наши хозяйственные кадры на роль плохих комиссаров при буржуазных специалистах. Вы помните, должно быть, как неохотно признавали тогда наши хозяйственные кадры свои ошибки, как неохотно признавали они свою техническую отсталость и до чего туго усваивали они лозунг — «овладеть техникой». И что же? Факты показывают, что лозунг «овладеть техникой» возымел свое действие и дал свои благие результаты. Теперь у нас имеются десятки и сотни тысяч великолепных большевистских хозяйственных кадров, уже овладевших техникой и двигающих вперед нашу промышленность. Но этих кадров не было бы у нас теперь, если бы партия спасовала перед упорством хозяйственников, не желавших признать свою техническую отсталость, если бы партия не осознала тогда своих ошибок и не исправила их своевременно.

Некоторые товарищи говорят, что нецелесообразно говорить открыто о своих ошибках, так как открытое признание своих ошибок может быть расценено нашими врагами, как наша слабость, и может быть использовано ими. Это пустяки, товарищи, сущие пустяки. Открытое признание наших ошибок и честное их исправление, наоборот, может лишь усилить нашу партию, поднять авторитет нашей партии в глазах рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, поднять силу и мощь нашего государства. А это главное. Были бы с нами рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, а все остальное приложится.

Другие товарищи говорят, что открытое признание наших ошибок может привести не к обучению и укреплению наших кадров, а к их ослаблению и расстройству, что мы должны щадить и беречь свои кадры, что мы должны щадить их самолюбие и спокойствие. Для этого они предлагают замазывать ошибки наших товарищей, ослабить силу критики, а еще лучше — пройти мимо этих ошибок. Такая установка является не только в корне неправильной, но и в высшей степени опасной, опасной прежде всего для кадров, которые хотят «щадить» и «беречь». Щадить и сохранить кадры при помощи замазывания их ошибок, — это значит наверняка погубить эти самые кадры. Мы бы наверняка загубили свои колхозные большевистские кадры, если бы не вскрыли ошибок 1930 года и не обучили их на этих ошибках. Мы бы наверняка загубили свои промышленные большевистские кадры, если бы мы не вскрыли ошибок наших товарищей в период шахтинского вредительства и не обучили наши промышленные кадры на этих ошибках. Кто думает щадить самолюбие наших кадров путем замазывания их ошибок, тот губит и кадры, и самолюбие кадров, ибо он замазыванием их ошибок облегчает повторение

новых, может быть более серьезных ошибок, которые, надо полагать, приведут к полному провалу кадров в ущерб их «самолюбию» и «спокойствию».

б) Ленин учил нас не только учить массы, но и учиться у масс. Что это значит?

Это значит, что мы, руководители, не должны зазнаваться и должны понимать, что если мы являемся членами ЦК или наркомов, то это еще не значит, что мы обладаем всеми знаниями, необходимыми для того, чтобы правильно руководить. Чин сам по себе не дает знаний и опыта. Звание — тем более.

Это значит, что одного лишь нашего опыта, опыта руководителей недостаточно для того, чтобы правильно руководить, что необходимо, стало быть, дополнять свой опыт, опыт руководителей, опытом масс, опытом партийной массы, опытом рабочего класса, опытом народа.

Это значит ни на минуту не ослаблять, а тем более не разрывать наших связей с массами.

Это значит, наконец, чутко прислушиваться к голосу масс, к голосу рядовых членов партии, к голосу так называемых «маленьких людей», к голосу народа.

Что значит правильно руководить?

Это вовсе не значит сидеть в канцелярии и строчить директивы.

Правильно руководить — это значит:

во-первых, найти правильное решение вопроса. А правильное решение невозможно найти без учета опыта масс, которые на своей собственной спине испытывают результаты нашего руководства;

во-вторых, организовать исполнение правильного решения, чего, однако, нельзя сделать без прямой помощи со стороны масс;

в-третьих, организовать проверку исполнения этого решения, чего, опять-таки, невозможно сделать без прямой помощи масс.

Мы, руководители, видим вещи, события, людей только с одной стороны, я бы сказал — сверху, наше поле зрения стало быть, более или менее ограничено. Массы, наоборот, видят вещи, события, людей с другой стороны, я бы сказал — снизу, их поле зрения тоже стало быть, в известной степени ограничено. Чтобы получить правильное решение вопроса, надо объединить эти два опыта. Только в таком случае руководство будет правильным.

Вот что значит не только учить массы, но и учиться у масс. Два примера, демонстрирующие правильность этого подхода Ленина.

Это было несколько лет тому назад. Мы, члены ЦК, обсуждали вопрос об улучшении положения в Донбассе. Проект мероприятий, представленный Наркомтяжём, был явно неудовлетворительный. Трижды возвращали проект в Наркомтяж. Трижды получали из Нарком

тяжа все разные проекты. И все же нельзя было признать их удовлетворительными. Наконец, мы решили вызвать из Донбасса несколько рабочих и рядовых хозяйственных и профессиональных работников. Три дня беседовали с этими товарищами. И все мы, члены ЦК, должны были признать, что только они, эти рядовые работники, эти «маленькие люди» сумели подсказать нам правильное решение. Вы помните должно быть известное решение ЦК и Совнаркома о мерах усиления добычи угля в Донбассе. Так вот это решение ЦК и Совнаркома, которое признано всеми нашими товарищами правильным и даже знаменитым решением, подсказали нам простые люди из низов.

Другой пример. Я имею в виду пример с тов. Николаенко. Кто такая Николаенко? Николаенко — это рядовой член партии. Она — обыкновенный «маленький человек». Целый год она подавала сигналы о неблагополучии в партийной организации в Киеве, разоблачала семейственность, мещанско-обывательский подход к работникам, зажим самокритики, засилье троцкистских вредителей. От нее отмахивались, как от назойливой мухи. Наконец, чтобы отбиться от нее, взяли и исключили ее из партии. Ни Киевская организация, ни ЦК КП(б)У не помогли ей добиться правды. Только вмешательство Центрального Комитета партии помогло распутать этот запутанный узел. А что выяснилось после разбора дела? Выяснилось, что Николаенко была права, а Киевская организация была неправа. Ни больше, ни меньше. А ведь кто такая Николаенко? Она, конечно, не член ЦК, она не нарком, она не секретарь Киевской областной организации, она даже не секретарь какой-либо ячейки, она только простой рядовой член партии.

Как видите, простые люди оказываются иногда куда ближе к истине, чем некоторые высокие учреждения.

Можно было бы привести еще десятки и сотни таких примеров.

Выходит таким образом, что для руководства нашим делом одного лишь нашего опыта, опыта руководителей, далеко еще недостаточно. Для того, чтобы правильно руководить, необходимо опыт руководителей дополнить опытом партийной массы, опытом рабочего класса, опытом трудящихся, опытом так называемых «маленьких людей».

А когда это возможно?

Это возможно лишь в том случае, если руководители связаны с массами теснейшим образом, если они связаны с партийными массами, с рабочим классом, с крестьянством, с трудовой интеллигенцией.

Связь с массами, укрепление этой связи, готовность прислушиваться к голосу масс, — вот в чем сила и непобедимость большевистского руководства.

Можно признать как правило, что пока большевики сохраняют связь с широкими массами народа, они будут непобедимыми. И наоборот, стоит большевикам оторваться от масс и потерять связь с ними,

стоит им покрыться бюрократической ржавчиной, чтобы они лишились всякой силы и превратились в пустышку.

У древних греков в системе их мифологии был один знаменитый герой — Антей, который был, как повествует мифология, сыном Посейдона — бога морей и Геи — богини земли. Он питал особую привязанность к матери своей, которая его родила, вскормила и воспитала. Не было такого героя, которого бы он не победил — этот Антей. Он считался непобедимым героем. В чем состояла его сила? Она состояла в том, что каждый раз, когда ему в борьбе с противником приходилось туго, он прикасался к земле, к своей матери, которая родила и вскормила его, и получал новую силу. Но у него было все-таки свое слабое место — это опасность быть каким-либо образом оторванным от земли. Враги учитывали эту его слабость и подкарауливали его. И вот нашелся враг, который использовал эту его слабость и победил его. Это был Геркулес. Но как он его победил? Он оторвал его от земли, поднял на воздух, отнял у него возможность прикоснуться к земле и задушил его таким образом в воздухе.

Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии, Антея. Они, так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми.

В этом ключ непобедимости большевистского руководства.

7) Наконец, еще один вопрос. Я имею в виду вопрос о формальном и бездушно-бюрократическом отношении некоторых наших партийных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об исключении из партии членов партии, или к вопросу о восстановлении исключенных в правах членов партии. Дело в том, что некоторые наши партийные руководители страдают отсутствием внимания к людям, к членам партии, к работникам. Более того, они не изучают членов партии, не знают чем они живут и как они растут, не знают вообще работников. Поэтому у них нет индивидуального подхода к членам партии, к работникам партии. И именно потому, что у них нет индивидуального подхода при оценке членов партии и партийных работников, они обычно действуют наобум: либо хвалят их огулом, без меры, либо избивают их также огулом и без меры, исключают из партии тысячами и десятками тысяч. Такие руководители вообще стараются мыслить десятками тысяч, не заботясь об «единицах», об отдельных членах партии, об их судьбе. Исключить из партии тысячи и десятки тысяч людей они считают пустяковым делом, утешая себя тем, что партия у нас двухмиллионная и десятки тысяч исключенных не могут что-либо изменить в положении партии. Но так могут подходить к членам партии лишь люди, по сути дела, глубоко антипартийные.

В результате такого бездушного отношения к людям, к членам

партии и партийным работникам искусственно создается недовольство и озлобление в одной части партии, а троцкистские двурушники ловко подцепляют таких озлобленных товарищей и умело тащат их за собой в болото троцкистского вредительства.

Сами по себе троцкисты никогда не представляли большой силы в нашей партии. Вспомните последнюю дискуссию в нашей партии в 1927 году. Это был настоящий партийный референдум. Из 854 тысяч членов партии голосовало тогда 730 тысяч членов партии. Из них за большевиков, за Центральный Комитет партии против троцкистов голосовало 724 тысячи членов партии, за троцкистов — 4 тысячи членов партии, то-есть около полпроцента, и воздержалось 2600 членов партии. Не приняло участия в голосовании 123 тысячи членов партии. Не приняли они участия либо потому, что были в отъезде, либо потому, что были в сменах. Если к 4 тысячам, голосовавших за троцкистов, прибавить всех воздержавшихся, — полагая, что они тоже сочувствовали троцкистам, — и если к этой сумме прибавить не полпроцента не участвовавших в голосовании, как это следовало бы сделать по правилу, а пять процентов не участвовавших, то-есть около 6 тысяч членов партии, то получится около 12 тысяч членов партии, сочувствовавших так или иначе троцкизму. Вот вам вся сила господ троцкистов. Добавьте к этому то обстоятельство, что многие из этого числа разочаровались в троцкизме и отошли от него, и вы получите представление о ничтожности троцкистских сил. И если, несмотря на это, троцкистские вредители все же имеют кое-какие резервы около нашей партии, то это потому, что неправильная политика некоторых наших товарищей по вопросу об исключении из партии и восстановлении исключенных, бездушное отношение некоторых наших товарищей к судьбе отдельных членов партии и отдельных работников искусственно плодят количество недовольных и озлобленных и создают, таким образом, троцкистам эти резервы.

Исключают большей частью за так называемую пассивность. Что такое пассивность? Считают, оказывается, что ежели член партии не усвоил программу партии, то он пассивен и подлежит исключению. Но это же неправильно, товарищи. Нельзя же так буквоедски толковать устав нашей партии. Чтобы усвоить программу партии, надо быть настоящим марксистом, проверенным и теоретически подготовленным марксистом. Я не знаю, много ли найдется у нас членов партии, которые уже усвоили нашу программу, стали настоящими марксистами, теоретически подготовленными и проверенными. Если идти дальше по этому пути, то нам пришлось бы оставить в партии только интеллигентов и вообще людей ученых. Кому нужна такая партия? У нас имеется проверенная и выдержавшая все испытания ленинская формула о членстве в партии. По этой формуле членом партии считается тот, кто признает программу партии, платит членские взносы и работает в одной из ее организаций. Обратите внимание: в ле-

нинской формуле говорится не об усвоении программы, а о признании программы. Это две совершенно различные вещи. Нечего и доказывать, что прав здесь Ленин, а не наши партийные товарищи, все болтающие об усвоении программы. Оно и понятно. Если бы партия исходила из того, что членами партии могут быть только такие товарищи, которые уже усвоили программу и стали теоретически подготовленными марксистами, то она не создавала бы в партии тысячи партийных кружков, сотни партийных школ, где членов партии обучают марксизму и помогают им усвоить нашу программу. Совершенно ясно, что если партия организует такие школы и кружки среди членов партии, то это потому, что она знает, что члены партии не успели еще усвоить партийную программу, не успели еще стать теоретически подготовленными марксистами.

Стало быть, чтобы выправить нашу политику по вопросу о членстве в партии и об исключении из партии, необходимо покончить с нынешним головотяпским толкованием вопроса о пассивности.

Но у нас есть еще другая погрешность в этой области. Дело в том, что наши товарищи не признают середины между двумя крайностями. Стоит рабочему, члену партии слегка провиниться, опоздать раз — два на партийное собрание, не заплатить почему-либо членских взносов, чтобы его мигом выкинули вон из партии. Не интересуются степенью его провинности, причиной неявки на собрание, причиной неплатежа членских взносов. Бюрократизм в этих вопросах прямо невиданный. Не трудно понять, что именно в результате такой бездушной политики оказались выброшенными из партии замечательные кадровые рабочие, великолепные стахановцы. А разве нельзя было, раньше чем исключить из партии, сделать предупреждение, если это не действует — поставить на вид или вынести выговор, а если и это не действует — поставить срок для исправления или, в крайнем случае, перевести в кандидаты, но не исключать с маху из партии? Конечно, можно было. Но для этого требуется внимательное отношение к людям, к членам партии, к судьбе членов партии. А этого-то именно и не хватает у некоторых наших товарищей.

Пора, товарищи, давно пора покончить с этим безобразием. (Аплодисменты).

Добердо

МАТЭ ЗАЛКА

Роман

Перевод с венгерского

1. Снова воинский эшелон

Я возвращался в действующую армию. Надвигался уже третий год войны. И вот снова длинный смешанный поезд из двадцати шести теплушек и двух потрепанных классных вагонов везет меня на фронт.

Весна одела зеленью всходов венгерские равнины.

Когда у Чакторья наш поезд, оставив венгерскую землю, повернул к Польстрау, сердце сжалось, и я почувствовал странное беспокойство. Это было новое ощущение. Сначала оно испугало меня, а потом заставило призадуматься.

В первый день войны я ехал на сербский фронт со строгой решимостью и наивным возмущением обиженного. Прошлой весной в Карпатах я защищал от русских войск выходы к венгерским равнинам. На Волыни я испытывал спокойствие победителя, ведь мы находились на завоеванной земле. И вот снова на фронт, теперь на итальянский фронт, на мрачное Добердо.

Грустная ассоциация: по этой дороге я уже ехал однажды, ехал с друзьями в Италию. Когда это было? Да всего три года назад. И все же как это было давно! Да, тогда был мир, а теперь...

Добердо! Странное слово... В нем слышится грохот барабана и мрачная

угроза. Но, хоть я и не знаком с происхождением этого слова, все же, думаю, оно не означает ничего особенного, как вообще мало что означают названия большинства сел и городов.

Добердо — это небольшое словенское село на Карзо к северо-западу от полуострова Истрия. Когда я прибыл на фронт, село уже было разрушено дотла и казалось вымершим, как и вся прилегающая к нему местность. Но для нас Добердо было названием не только села, но и всего плоского плато, на котором было расположено село и все окрестности на двенадцать-пятнадцать километров к югу. Это унылое каменистое плато со скудной растительностью было одним из самых кровавых участков итальянского фронта, так называемого Ишонзовского плацдарма.

Правда, кровь лилась не только под селом Добердо, она лилась и под Вермежлиано, Полазо, Монте-дей-Сэй-Бузи, не менее кровавыми были Сан-Мартино и Сан-Михеле, и все же весь этот печальный участок фронта имел для венгерских солдат общее название Добердо. «Добердо» напоминает венгерское слово «доболо», то-есть «барабанищий», и это слово невольно ассоциировалось с неумолкаемым ураганным огнем и кровопролитными боями. Уже в конце 1915 года Добердо пользовалось в армии печальной славой, а в 1916 году оно означало поле смерти.

Если бы меня попросили описать, как выглядело это село в мирной обстановке, была ли там церковь или какая-нибудь старинная римская капелла, как в большинстве словенско-итальянских деревень, где находилась базарная площадь и задымленная сельская корчма, или как выглядела улица, ведущая в поле, откуда расходятся дороги на Триест и Набрезину, я бы оказался в большом затруднении, хотя целых пять месяцев пробыл на этом участке. Но зато с величайшей отчетливостью я могу воспроизвести в памяти карту этой местности, правда, карту не обычную, а искаженную войной.

Вот по высохшему руслу реки идет крытая дорога от Опачиосело до Нови-Ваш, к подошве возвышенности 81. Отсюда широкий ход сообщения ведет к северному концу села Добердо, где в уцелевших подвалах разрушенных домов разместились склад боевого питания и первый этап снабжения фронтового участка. Сюда движутся по ночам нагруженные термосами мулы и приходят с передовой линии дежурные взводы, которые разносят по окопам патроны, черный кофе, гуляш, строительные материалы, почту, медикаменты и приказы. Почта часто не находит адресатов, но исполнители приказов всегда на местах, а гуляш никогда не остается несъеденным.

От Добердо, как из фокуса, расходятся по четырем направлениям хитроумно выстроенные ходы сообщения: влево — на Вермежлиано и к 104-й высоте, на юг — среди каменного хаоса к сутулой возвышенности Монте-дей-Сэй-Бузи, или, как мы ее называли, Монте-Клара, и направо — к последним отрогам Альп на Сан-Мартино. Так, приближаясь к Полазовскому участку, идут зигзагами эти вырубленные в камне, замаскированные дороги смерти.

Ясно вижу я превращенную в щепы жалкую рощу, посередине которой у заваленного камнями озера торчат останки изящной летней дачи. Вижу громадные четырехугольники бетонированных братских могил, искусно скрытые позиции, почти доходящие до батарей тяжелой артиллерии, и все изгибы и

складки местности, прячась в которых мы могли относиться с пренебрежением к бешеному огню неприятеля.

И так же хорошо я помню подземную карту участка Добердо. Эту карту много лет назад с преступным легкомыслием и исключительной бессовестностью составили гидрогеологические экспедиции штаба австро-венгерской армии. Они составляли ее, разезжая по словенским и итальянским деревням, где весело проводили командировки, пробуя истринское вино и беспечно тратя казенные суточные. Как путешествующий любитель литературы записывает на ходу в тетрадь несколько занимательных анекдотов местного фольклора, так эти господа без проверки заносили на карту сведения о том, где протекает в этой плоской возвышенности, в каменистых горах, в почве юры и лавы, бесконечное количество подпочвенных ручейков и речек, где разбросано множество мелких и крупных гротов и подземных лабиринтов. А между тем эти гроты и подпочвенные речки нередко играли решающую роль в войне среди камней.

Итак, в начале 1916 года с очередным, очень торопливо собранным маршевым батальоном я попал на итальянский фронт. С залихватским пенъем промаршировали мы через Лайбах, но в Сан-Петере на неделю нас задержали, чтобы дать шривыкнуть к местности Краины.

Наши войска только-что выдержали четвертый ишонзовский бой. На позициях мы нашли наполовину уничтоженные роты, измученные штабы, битком набитые госпитальные бараки и свежие, невиданные по размерам братские могилы. Целые отряды, усердно работая кирками и лопатами, засыпали хлорной известью эти гигантские «королевско-кесарские» консервы, и каменщики тут же наглухо замуровывали их бетонными крышками. А рядом подрывники уже рвали каменистую почву, с казенной предусмотрительностью готовя новые могилы.

Я был назначен во вторую ишонзовскую армию начальником саперно-подрывного отряда десятого батальона гон-

ведской горной бригады. Сапер! Какой мог быть из меня сапер? Правда, в сутолоке и хаосе прошел я и краткосрочные курсы саперно-подрывной службы. А здесь на Добердо эта специальность считалась одной из самых важных.

На третий день в бараках Опачио-сельского лагеря, куда прибыл на очередной отдых смененный с фронта мой батальон, я встретился со своим отрядом. Отряд состоял из полутора взводов. Большинство солдат было из мастеровых: плотники, каменщики, электромонтеры — народ сообразительный, ловкий и серьезный. Люди только-что вернулись из бани, чистые, выбритые, так что внешний вид отряда произвел на меня благоприятное впечатление, хотя у многих одежда была сильно потрепана. В особенности пострадали брюки на коленях, у всех они были заштопаны и заплатаны самым фантастическим образом, но на это не обращали внимания.

Мой помощник, кадет¹⁾ Шпиц, был розовый, пухлый, очень подвижной юноша. Совсем зеленый реалист выпуска военного времени. На шутовском фронтовом жаргоне он характеризовал меня моих подчиненных:

— Вот унтер Гаал. Да разве это унтер? Это ж отец родной! Мы все так и называем его «папаша Гаал». Так звал его и бедный лейтенант Тушай.

— Мой предшественник?

— Да, господин лейтенант. Он погиб две недели тому назад от взрыва фугаса. Очень уж любил лейтенант Тушай лично закладывать фугасы. А что касается Гаала, то он у нас в бригаде первый специалист по этой части. Он шалготарьянский шахтер и с камнем обращается, как баба с тестом. В его руках все хозяйство отряда.

Шпиц представил мне еще несколько характерных фигур, в том числе худощавого пожилого солдата, предназначавшего мне в денщики. Кадет назвал его дадей Андришем. Мне понравилась хорошо налаженная жизнь отряда и как бы семейные взаимоотношения. От меня не ускользнуло, что солдаты рассма-

тривали меня с любопытством, пытаюсь определить, что я за птица. Хитрые, испытующие взгляды скользили по моему лицу, аккуратно подстриженным по-английски усам, золотой лейтенантской звезде и ленточке орденов — результате двухлетнего скитания по фронтам.

Я старался производить впечатление спокойного, опытного фронтового командира. Расспрашивал о хозяйстве, о техническом вооружении отряда, но при этом не пытался казаться умнее своих подчиненных. Мы беседовали просто и дружески.

Распровавшись с отрядом, я направился в общество своего подвижного помощника к офицерскому собранию, где фронтовое офицерство готовило товарищеский прием прибывшему пополнению. В столовой собрания меня ждал приятный сюрприз. В просторном бараке, заставленном столами с белоснежными скатертями, вдали от шумного общества знакомящихся офицеров, у крайнего окна сидел обер-лейтенант, углубившись в чтение только-что полученной почты, подмышкой у него торчала пачка газет. Его профиль показался мне знакомым. Пораженный и взволнованный, я приблизился к нему.

— Господин обер-лейтенант! Господин профессор! Арнольд! Это ты? Давно тут?

— Шестой месяц, — сдержанно ответил обер-лейтенант Шик, подавая мне руку, но не отрываясь от письма. — Сервус¹⁾! Я знал о твоем прибытии: видел твою фамилию в приказе по штабу батальона.

Я сжал его руку, моей радости не было границ.

Арнольд, мой дорогой профессор! Опытный наставник, руководивший мною при вступлении в жизнь, любимый старый друг, с которым я расстался в первый же месяц войны.

— Какая встреча! Это замечательно! Арнольд, неужели это ты?

— Да, к сожалению, это я. Но, право, я с удовольствием уступил бы кому-нибудь эту честь пребывания

¹⁾ Прапорщик.

¹⁾ Привет!

здесь; — сказал Арнольд со свойственной ему улыбкой сдержанной иронии.

Я не выпускал руку Арнольда, хотя знал, что он не повернет ко мне голову, пока не прочтет письма. Его оригинальные привычки были мне хорошо известны. Я знал Арнольда, знал особенности его характера, его ум и изумительное благородство. И знал, что он не меньше меня рад встрече, но он все тот же уравновешенный, крайне сдержанный, внешне холодный доктор Арнольд Шик, профессор национальной экономики, истории и политической географии. Да, это он, Арнольд, снисходительный философ-скептик, демократ и ученый социолог. Он даже здесь элегантен, безукоризненно выбрит и внешне спокоен, но сейчас его руки влажны и слегка дрожат. Мне стало не по себе, и я с тревогой смотрел на его английский профиль. Он, наконец, закончил письмо и поднял на меня серые глаза. В этих всегда спокойных, умных глазах я увидел усталость и еще какое-то новое, незнакомое мне выражение. Да, взгляд Арнольда стал другим, изменилось и лицо его, подернутое нездоровой желтизной, и у рта залегли две глубокие тяжелые складки.

«Как после большого кутежа, — подумал я, но тут же отбросил эту мысль. — Ну да, фронт».

Арнольд снисходительно и горько улыбнулся.

— Что, очень изменился?

— Да, немного, — сказал я, пытаюсь отогнать закравшееся подозрение о кутежах, но оно упрямо возвращалось и мешало мне. — Фронт, видно, потрепал тебя, Арнольд. Но как удивительно, что мы встретились! Я так рад!

— Конечно. Я тоже очень рад, — сказал Арнольд расхолаживающим тоном и вскрыл следующее письмо. — Я тоже очень рад, дорогой Тибби, — повторил он, пробегая глазами строки. — Хотя не знаю, есть ли у нас основание радоваться. Радоваться нечему, мой маленький друг.

— Маленький друг! Милый! Ты еще не забыл, как называл меня? — спросил я со всей теплотой, на какую был

способен. Но вдруг мой взгляд упал на письмо, которое держал Арнольд, и в сердце моем остро кольнуло. Я узнал округленный почерк Эллы Шик, вернее, теперь уже не Шик, а Эллы Окулычевской, жены полковника польского легиона Окулычевского. Сестра Арнольда, красавица Элла, была моей первой любовью.

Обер-лейтенант почувствовал мою растерянность и, оторвавшись от письма, посмотрел на меня удивленно и неодобрительно, как смотрит отец поверх очков на провинившегося сына.

— Ты все еще, мой друг? — заметил он, покачивая головой.

— Да, — покраснел я. — Понимаешь, Арнольд, это выше моих сил.

— Можешь прочесть, — сказал Арнольд, протягивая письмо. Краска бросилась мне в лицо, я растерялся и отстранил письмо. Арнольд спокойно сложил его и сунул в конверт.

— Мог бы смело прочесть, многому бы научился. Казимир Окулычевский все еще дерется за польскую свободу в унгарском штабе. Элла во многом разочаровалась. Казимир оказался сладеньким Мефистофелем, теперь это ясно. Впрочем, я в их дела не вмешиваюсь, как ты знаешь. Но, если хочешь, можешь все-таки прочесть письмо и ковать железо, пока горячо, то есть, вернее, не горячо, а пока оно холодно: Элла несчастна.

Раздалось щелканье подкованных каблучков, офицеры вытянулись: вошел командир полка, за ним свита штабных и адъютантов.

— Смирно!

Полковник выжидательно остановился в дверях. Мелькнул широкий лампас, заблестело золото воротников, и в зал хлынула новая стая штабных.

— Бригадный генерал!

— Прошу занимать места, господа.

За столом я оказался почти визави с Арнольдом. Когда был провозглашен первый тост, мы подняли бокалы и мысленно чокнулись. Подавались венгерские вина, коньяк. На правом фланге стола, где сидело начальство, мелькали бутылки со звездочками, а на левом преобладали бутылки с улыбающи-

мися неграми, ямайский ром. Кадеты же получили дешевые густые ликеры и наливки.

Бригадный был лихой кавалерийский генерал, небольшого роста, с коротко подстриженными седыми усами, настоящий венгерский офицер, веселый, непосредственный, брызжущий юмором и непринужденным весельем. Штабные задавали тон. Пили за здоровье командующего фронтовым участком его королевского высочества эрцгерцога Йосифа, который безусловно приведет войска к блестящей победе. Пили за молодежь, за боевой дух армии, и при этом тосте генерал приветствовал наполненным стаканом левый фланг стола. Обрадованная молодежь подняла невообразимый шум. Кадеты и фенрихи¹⁾ кричали «ура», «райта», чокались с лейтенантами, а наиболее смелые побежали на правый фланг стола и чокались со всеми без разбора. В зале царило искреннее веселье.

Офицерское собрание помещалось в длинном бараке у подножья опачиосельской скалы, на самом северном участке лагеря, за ним уже шли хорошо замаскированные виллы штабных и врубленные в скалу штабные прикрития — бомбоубежища. Прибывшие с фронта на отдых войска размещались в плоских, врытых в землю и замаскированных камнями длинных бараках. Здесь отдыхала, мылась, чистилась и приводила себя в порядок солдатская масса, готовясь к новому двухнедельному аду на передовых линиях. Этот ад не требовал ни героизма, ни боевого темперамента, там нужны были только животная выносливость, фаталистическое равнодушие к чужой смерти и нервы, нервы, нервы.

Я много слышал о Добердо и раньше, да и сам уже перенес кое-что на войне. Сербская кампания 1914 года, Галиция, Карпаты... Но последние два месяца перед отправкой на фронт я провел на саперно-пулеметных курсах в Винер-Нейштадте и еще чувствовал запах разлагающегося тыла, — тыла, потявшего моральные устои.

Я подошел к окну. Жара в столовой становилось нестерпимой. От потолка, как от раскаленной печи, струились волны размаривающего тепла. На лагерной площади слонялись группами и одиночками гонведы¹⁾. На шоссе прогрохотал грузовик, набитый стрелками. В резко очерченной тени зданий и жидких деревьев, сбившись в кучу, играли в карты томящиеся от бездействия солдаты. Все кругом было монотонно-серого цвета: камни, дорожная пыль, мундиры солдат и даже листья деревьев. Только глубокое небо поражало своей синевой, как смеющийся контраст с мрачностью окружающей природы.

Арнольд часто поднимал свой бокал и пил молча, не чокаясь со своим соседом, краснолицым артиллерийским капитаном. Это было для меня новостью: дома Арнольд почти не притрагивался к алкоголю, пил редко, только в компании, и то неохотно. Мое удивление постепенно стало сменяться беспокойством. Арнольд пил, как настоящий алкоголик, быстро, дрожащей рукой опрокидывал он рюмку за рюмкой в широко открытый рот. Я посмотрел на него с явным неодобрением, он это заметил, и по его лицу проползла смущенная улыбка.

Моим соседом по столу был молодой лейтенант с открытым, смелым лицом и лихо закрученными по-венгерски усами. Его высокий лоб и беззаботные глаза напоминали мне образ бравого испанца из романа рыцарских времен. Он пил и наслаждался, часто чокался со мной, но не принуждал пить с ним наравне. Улыбка у него была веселая и юношески-непосредственная.

Вдруг лейтенант толкнул меня локтем в бок и кивком указал на окно.

— В чем дело?

— Посмотри, что сейчас будет.

Сначала я не заметил ничего особенного, но вот сидевшая в тени ближайшего барака группа солдат вскочила и рассыпалась в разные стороны, рассеялись и картежники, как будто порыв ветра разметал людей. Все бежали и прятались, кто в барак, кто куда.

¹⁾ Подпоручики.

¹⁾ Венгерские национальные пехотинцы.

— Наверное, начальство приехало,— сказал я.

Лейтенант Бачо рассмеялся и чокнулся со мной.

— Самое высокое начальство, дружище. Смерть. Слушай.

Очень близко, казалось, рядом с нашим баракom, начала бить артиллерия. По сухому, визгливому тону я сразу узнал зенитную батарею. В нескольких местах сразу заговорили пулеметы. К бригадному генералу подошел один из адъютантов и, отдав честь, доложил о чем-то. Генерал недовольно поморщился, быстро встал и направился к двери. На правом фланге стола офицеры встали и вытянулись, провожая бригадного.

Вскоре после генерала ушел и полковник, и старшим по чину остался командир батальона, тучный черноволосый майор Мадараш.

— Садитесь, господа, — сказал он без церемоний. — Ну, если ударит сюда, так ударит, ничего не поделаешь.

Он прибавил еще что-то, очевидно, смешное, потому что сидящие рядом рассмеялись, но ни смех, ни звон посуды не были слышны из-за салютов батареи.

— Это крепкий парень, — орал лейтенант Бачо над моим ухом. — Это, брат, фронтовой офицер, наш батальонный. А ты что, с обер-лейтенантом Шик знаком с мирного времени?

Я хотел ответить, но в этот момент какой-то тяжелый предмет грохнул о плоскую крышу нашего барака. В собрании наступила тишина. Несколько человек метнулось к дверям, остальные остались сидеть, пригнув головы. Пулеметы трещали безостановочно. Многие офицеры заметно побледнели. Кадет Торма, прибывший с моим маршевым батальоном, сидел с восковым лицом, упершись взглядом в тарелку. Часть офицеров бросилась к открытым окнам, и двое выпрыгнули. Я подскочил к окну и выглянул. На безоблачном небе высоко, но угрожающе кружились три итальянских самолета. Тучки шрапнельных разрывов, как игрушечные, таяли в чистой лазури. Кто-то взлез на крышу барака, и в тишине гулко отдавались шаги по накату.

— Что случилось? Что такое? — кричали отовсюду.

— Ничего особенного. Стакан от шрапнели.

И высокий молодой кадет протянул в окно фуражку, в которой лежал стакан.

— Осторожней, еще горячий.

Испытывая чувство громадного облегчения, офицеры с шутками и смехом поднесли шрапнельный стакан майору. Сидевший рядом с батальонным обер-лейтенант наполнил стакан вином и при криках овации выпил его до дна. Тогда из-за шрапнели начался буквально бой, каждый хотел выпить из нее. Стакан пошел по рукам. В зале началось движение. Я подсел к Арнольду. Сначала он сделал вид, что не замечает меня, но потом, глядя перед собой, спросил:

— Ну, как тебе нравится у нас?

Вестовые подали черный кофе с пирожными.

— Я хотел бы с тобой поговорить, если ты ничего не имеешь против, — обратился я к Арнольду.

Арнольд с удовольствием потягивал свой кофе. Я быстро покончил с грубым солдатским пирожным. Начальник штаба батальона, белокурый лейтенант в пенсне, объявил:

— Внимание, господа! Помещение оставлять только поодиночке, ни в каком случае не образовывать групп.

— Ну, пойдём, — сказал Арнольд и направился к дверям.

На эстраде в углу столовой выстроился цыганский оркестр. Молодой цугсфюрер-цыган играл первую скрипку. Оркестр грянул лихую песню «Тонкий дощатый забор».

Лейтенант Бачо выскочил перед цыганами:

— Ачи! Сначала!

Майор одобрительно улыбнулся. Оркестр тихо заиграл, а Бачо задорно запел:

Тонкий дощатый забор,
Слышен пушек перебор,
Мадьяр гонвед, элере!¹⁾

Снаружи у двери вдруг раздался

¹⁾ Венгерский гонвед, вперед!

страшный захлебывающийся крик. Я сразу узнал животный крик тяжело раненого:

— О-ах! О-о-ах!!!

Арнольд быстро вышел, я за ним. В двух шагах от входа, обливаясь кровью, с помертвевшим лицом бился на земле вестовой. Рядом с ним валялась рассыпавшаяся посуда. Судорожно вздрагивающей рукой он держался за плечо, и по его пальцам текли ручейки черной крови.

— Что случилось?

— Шрапнель, господин лейтенант, — крикнул кто-то.

Раненый, дрожа всем телом, утих. Арнольд приказал было вызвать санитаров, но они уже быстро приближались с носилками. Лицо раненого приняло зеленоватый оттенок. Собрав последние силы, он с детской покорностью взобрался на носилки, и санитары унесли его.

Из столовой доносились бравурные звуки чардаша. Арнольд, по привычке немного втягивая голову в плечи, пошел по направлению к шоссе, я безмолвно последовал за ним.

— Не хочешь ли прогуляться? — бросил он сухо.

— Но, видишь ли... перестрелка... самолеты...

— Не обращай внимания. Мы будем совершенно одни на шоссе, в таких случаях все живое старается спрятаться. Я это учитываю.

Мы вышли на шоссе, и тогда только я заметил, что зенитная батарея находится вовсе не около офицерского собрания, как мне казалось, а по ту сторону лагеря. Эта отвесная скала, у подножья которой находился лагерь, наполняла столовую эхом выстрелов. У поворота шоссе, под группой уцелевших деревьев, Арнольд остановился. В небе все еще возникали и таяли круглые облачка разрывов. В вышине мягко разрывались снаряды, с грохотом и улюлюканием падали на землю пустые стаканы. Пулеметы то умолкали на несколько секунд, то снова выпускали длинные очереди в сторону врага.

— А где же наши летчики? — удивленно спросил я.

Итальянские аэропланы кружились с орлиным спокойствием. Временами с белым блеском молнии от них отрывались какие-то предметы, а затем слышался сухой звук сильного разрыва. Но это было далеко от нас, в направлении Выпахского шоссе. Вдруг один из аэропланов круто завернул под прямым углом и со все возрастающей быстротой направился к линии фронта на юг. Второй самолет, накренившись, перевернулся и начал падать. Раз, два, три — описывал он спирали, летя носом вниз. Арнольд выхватил бинокль и стал наблюдать за аэропланами со спокойствием завсегдатая театральной ложи. Я нервничал: «Упадет, упадет!». Третий аэроплан, попрежнему величественно кружась, сбросил бомбу. Падающий самолет вдруг выпрямился и, выпустив пышный хвост дыма, устремился за удаляющимся первым аэропланом. Бомба разорвалась на южном конце лагеря, посередине маленького озера. Грязная вода взлетела фонтаном, гул, и скрежет покатались вдоль скалы. В эту секунду со стороны Констаньевиче выпорхнули два маленьких «Таубе». Застрочили пулеметы и началось преследование итальянцев, нырнувших на юг.

— Пронесло, — равнодушно сказал Арнольд и спрятал бинокль. Я следил за удаляющимся воздушным боем. По пути следования аэропланов появились новые тучки шрапнельных разрывов, и через несколько минут со стороны фронта к нам донесся отдаленный гул винтовочных залпов.

— Давай подыдемся туда, — предложил Арнольд, указывая на скалу. Арнольд был спортсменом, альпинистом и любителем татринских круч.

— Пойдем, — согласился я без особого воодушевления. Хотя скала казалась невысокой, но была отвесной и совершенно голой.

Отдуваясь, мы добрались до вершины скалы. Я был зол на Арнольда. За каким чортом нам надо было сюда карабкаться? Для тренировки, что ли? Но когда мы достигли вершины и перед нами во всем своем мрачном величии

раскрылось плато Добердо, мое раздражение улеглось. Несмотря на солнечное сияние, Добердо казалось окутанным серым маревом. Слева в ослепляющем блеске сливалась с небом Адриатика. Справа в фиолетовой дали вздымались свои фантастические отроги Восточные Альпы. На переднем плане невооруженным глазом можно было различить бока двух отрогов — Сан-Мартино и Сан-Михеле, за горами которых находились расстрелянные города Герц, Градышка, Монте-Сабботино и кровавая Ославия — ключи к Ишонзо. В южном направлении что-то темнело, там разрывались артиллерийские очереди. Мы взяли за бинокли.

— На Монте-Кларе опять беспокойно, наши никак не угомонятся, — пробормотал Арнольд, и на его скулах заходили желваки.

Я оторвался от бинокля и посмотрел на своего друга. Да, это был настоящий друг, много раз протягивавший мне руку помощи, всегда делившийся своими знаниями и сыгравший большую роль в моем развитии. Между нами было пятнадцать лет разницы. Когда мы встретились, мне еще не было двадцати лет. Многим я был обязан Арнольду. От больших разочарований уберегли меня его холодные, порой даже слегка циничные, суждения. Он поучал, что ни людей, ни жизнь нельзя воспринимать буквально, что сильные цельные натуры должны перекраивать жизнь по-своему, что никогда не следует считать себя слабее своего противника. Я вспоминал наши длинные, казавшиеся мне бесмертными, беседы в саду у Арнольда. Каким это все сейчас кажется далеким!

В обществе нашего провинциального университетского города семья Шик играла особую роль. Профессор доктор Шик резко выделялся из среды нашей университетской профессуры. Прежде всего он был независим материально. (Всем было известно, что после смерти отца Арнольд и Элла немедленно ликвидировали столетнюю отцовскую фирму суконной торговли и поместили ее актив в самый солидный банк столицы.) Арнольд и Элла не могли продолжать

отцовскую и прадедовскую торговлю сукном. Последнее поколение Шик шло совсем по другому пути. Помимо своей профессорской деятельности в университете, где он преподавал социальные науки, Арнольд был известным журналистом, и его сдержанные статьи с простыми, но бьющими в цель выводами приводили в восторг ту часть молодежи, которая считала себя прогрессивной. Статьи Шика печатала не только столичная пресса, но и венская, берлинская, лондонская, и заграничная печать служила щитом бунтарю-профессору. Правда, его статьи касались чисто академических тем, и, благодаря этому, он стал членом-корреспондентом Гейдельбергского и Оксфордского университетов.

Профессор Шик был очень дружен с молодежью, которая высоко ценила его и считала своим вождем. Городское и университетское начальство только впоследствии поняло, что работа молодого профессора являлась и пропагандой политических идей, но не могло ни к чему придаться, потому что споры на вилле Шик были весьма отвлеченными и собрания молодежи были лишены какой бы то ни было революционности. Хотя бунтарство молодого профессора вызывало глубокие симпатии и в среде рабочей демократии города, тем не менее промышленные слои и мелкие городские служащие считали, что он со своей смелой критикой мог бы быть лучшим выразителем их интересов в парламенте. Арнольд сам не отрицал возможности принять, если ему это предложат, демократическую программу на предстоящих выборах. Как-раз поэтому в последнее время все чаще появлялись в местной губернской социал-демократической печати не только «академические», но и популярно-политические статьи Арнольда.

Я был любимцем Арнольда, он возлагал на меня большие надежды. Он ценил мои способности к лингвистике, когда я был еще в гимназии (где Арнольд преподавал в старших классах историю). Юный романтик, я решил вступить на путь лингвистики и закончить тибетские изыскания знаменитого

Шандора Кереши-Чома¹⁾). Арнольд горячо поддерживал эту идею, потому что во всем любил смелость и целеустремленность. Ему нравилось, что сын мастерового упорно пробивается на такое поприще, путь к которому не является проторенной тропой молодежи. Арнольд всегда, где только мог, подчеркивал мое происхождение сына мастерового и проносил это с гордостью, противопоставляя его потомственной аристократии.

Арнольд и Элла взяли меня с собой в заграничное путешествие. Мы вместе объездили весь юг Европы и Швейцарию и стали большими друзьями. Я был ежедневным посетителем виллы Шик и одним из наиболее преданных поклонников очаровательной сестры Арнольда — Эллы.

Элла тоже была заметной фигурой нашего города. Пленительная блондинка, она была лишена ложной скромности и глуповатого кокетства. Это была умная, спокойная, самостоятельная девушка. Элла заканчивала свое образование за границей. Уже в университете она обратила на себя внимание своими выдающимися способностями. Ее доклад по искусствоведению, с которым она выступила перед мюнхенской профессурой, произвел очень выгодное впечатление. Арнольд во всем помогал сестре, и, строго говоря, успехи Эллы можно приписать тому, что она во всех вопросах искусствоведения использовала социальные воззрения своего брата, под влиянием которого абстрактные до того понятия зазвучали для нее жизненно-практически. Несмотря на все это, в Элле не было и следа суффражизма. Это была элегантная, блестящая, веселая девушка. Она никогда не отказалась бы от интересного флирта, но своей требовательностью обескураживала поклонников.

Я тайно обожал Эллу, которая знала и не знала об этом. Ей нравилась моя роль пажа, моя преданность, и она добродушно посмеивалась над моей робостью.

В 1914 году я должен был окончить университет, а весной того же года Арнольд уже вел оживленную переписку с английским научным обществом, чтобы оно оказало мне содействие в предстоящем тибетском путешествии. Англичане проявили большой интерес и одобрили мое решение. Уже было условлено, что летом перед каникулами мы с Арнольдом поедем в Оксфорд и там приступим к практическому обсуждению вопроса.

А теперь мы сидим на раскаленных солнцем камнях на краю обрыва, у наших ног простирается этот угрюмый, неприветливый пейзаж, живой частью которого я стал с сегодняшнего дня. Арнольд уже изведal то, что мне предстоит испытать. Он уже был там, он знает условия Добердо, изучил его недостатки и преимущества. И я ждал, что Арнольд сделает для меня то, что всегда делал: сообщит самое важное, поделится своим опытом, чтобы завтра я знал, как держать себя в новой обстановке. Ведь через пять дней наш батальон отправится на линию огня, чтобы сменить другую, измученную, расстрепанную часть в одной из кровавых топей Добердо.

Где-то, совсем близко, среди камней затрещал кузнечик. Это трещание показало мне страшной дерзостью.

— Слышишь? — тронул я за плечо Арнольда.

— Монте-Клару? Слышу.

— Нет, кузнечика.

— А, это интересно! — Арнольд прислушался. Кузнечик издал еще два три звука и умолк.

— Испугался малыш, почувствовал, что мы его слышим. А хорошо чирикал чертенок, совсем, как...

— В мирное время.

— Вот именно.

Мы замолчали. Арнольд закурил папиросу. Глубоко затягиваясь, он пускал кольца дыма и стряхивал пепел на камень.

— Ну, вот мы встретились. Не думай, что я рад меньше тебя. Как же не радоваться! Но я хорошо знаю, что, в сущности, радоваться нечему. Вот если

¹⁾ Знаменитый венгерский этнограф начала XIX столетия.

бы наша встреча произошла в иных условиях и не здесь, а где-нибудь в Венеции... Помнишь Венецию? Падуя? Помнишь, как ты отстал от поезда в Пистоле? — спросил Арнольд, оживившись.

— Арно, в каком направлении отсюда Венеция? Ведь по прямой должно быть совсем недалеко.

— Расстояние до Венеции, мой друг, сейчас понятие не географическое, а политическое, — с внезапной холодностью отвител Арнольд и, подняв бинокль, посмотрел вдаль. — Сегодня, дорогой мой, путь в Венецию лежит не через Триест, а через Монте-Клару и Добердо. Пожалуйста, сворачивай напрямик через Добердо и попадешь в Удинэ. Но от Добердо до Удинэ столько же, сколько от детской кровати до могилы.

— Венеция, Падуя... опоздание в Пистоле... Мне казалось, что я совсем уже забыл все это. Я догнал вас тогда у Рима. Помнишь, как нас принял д'Аннунцио? Что ты скажешь об Италии? Чем она была для нас до сих пор? Рим, цезаризм, прекрасные республики, христианство от катакомб до Ватикана, Рафаэль, Микель-Анджело... И вот эта грубая измена союзникам...

— А итальянские мальчики неплохо летают.

— Правда, что д'Аннунцио обер-лейтенант воздушного флота?

— От этого кретина всего можно ожидать. Я бы ни за что не сел с ним в один аппарат.

— Как ты думаешь, если бы Карузо стал на бруствер и запел, стали бы по нем стрелять?

— На Монте-Кларе? Будь покоен... залпом.

— Откуда сейчас сменился батальон?

— Вот видишь, направо, подножье Сан-Мартин? Вонючее место. Две недели мы просидели там без смены. Во многих местах я побывал, но такого еще не видел, то-есть, может быть, и видел, но за последнее время уж очень опротивело. Наверное, под Монте-Кларой еще хуже. Мы там еще не были, но разговоров об этом местечке много. Слышишь?

С юго-восточной стороны простиравшегося перед нами плато докатывались очереди мощных, сердитых разрывов.

— По мнению многих, Монте-Клара неприступна. Итальянцы собаку с'ели на фортификации, ведь этот народ — сплошь каменщики, они в любой точке могут возвести форт, а Монте-Клара для них особенно удобна: ведь они сидят наверху, а наши внизу. Но не в этом дело, не в этом дело... Надо смотреть глубже, мой милый друг. Ты никогда не думал о том, что война словно зашла в тупик?

Шел третий год войны. Третий год колесил я по ее неизведанным и немеченым путям. Иногда я воспринимал ее, как личную судьбу, а порой она казалась мне страшным массовым принуждением.

— Как так в тупик?

— Знаешь, я порою чувствую себя обманутым ребенком.

— Кто же тебя обманул?

— Не скрою, прежде всего собственная наивность. Ведь я был уже зрелым мужчиной, когда началась эта война, и никогда особенно не восхищался тем общественным строем, в котором жил. Судьбы человечества вершит кучка бесовственных дилетантов. То, что эти люди совершают, лишено всякой целеустремленности, как будто человечество совершает веселую прогулку, следуя за шайкой мило лепечущих обманщиков. Но куда мы придем в конце этой прогулки, никто не знает, а где отсутствует твердое знание, там начинается авантюра.

Арнольд поднял камень и швырнул его в пропасть.

— Я думал, что те, кто втянул нас в эту историю, хоть подготовились как следует. Ничуть не бывало. Готовились двадцать пять лет, затрачивали колоссальные суммы, нагромождали стратегические планы и по уши увязли в шпионаже. Помнишь историю полковника Редля? Но не в этом дело. Ведь готовились совсем к другому. Итальянцы должны были быть нашими союзниками, а на деле что вышло? И вот сидим в этой каше...

— По шею.

— Да, одна половина мира увязла по шею, а другая только и делает, что подставляет карманы. Америка и все невоюющие страны порядочно поживились на этом деле. Война должна иметь свою политику и экономику, это называется стратегией, а мы и по сей день не имеем своей стратегии.

— А генеральные штабы?

— Эти-то? Они менее всего разбираются в создавшемся положении, вот в чем ужас. Генштабы растеряны и изумлены больше всех.

Что обещали нам высокоавторитетные руководители — кайзер Вильгельм и Конрад фон-Гетцендорф? Закончить войну к рождеству 1914 года, когда опадут листья. А на деле что вышло?

Кайзер Вильгельм занимался очковитирательством, Гетцендорф просто врал, и наша развалина Франц-Иосиф отправился в Баден-Баден лечить свой ревматизм. И, как видишь, никто из них не сгорает от стыда, что обещание не исполнено, слово не сдержано.

Да. Войну выиграет тот, у кого выдержат нервы. Ха-ха! Гинденбург стал специалистом по нервам! Не спорю, нервы, конечно, один из элементов борьбы, но, когда фельдмаршал начинает говорить о нервах, дело плохо. А когда на этом строятся и стратегические планы, это уж из рук вон. Когда я прочел эту ересь, то чуть не упал в обморок. Более циничного свинства я не слышал еще никогда в жизни. И это говорится на третий год войны. Что же они преподнесут на четвертый и пятый?

— Ну, ну, ведь не думаешь же ты серьезно, что война продлится еще год. Это же безумие.

— Год? Я не только думаю, но глубоко уверен, что она будет длиться не год и не два, а четыре, пять, а если понадобится, то и шесть лет. Если выдержат нервы! Ха-ха! Друг мой! Ты представляешь себе, как это звучит в устах доблестного фельдмаршала?

Вместо короткой войны извольте готовиться к долгой позиционной войне с нервами, Тибор. Позиционная война. Газовая война с длительными артилле-

рийскими подготовками, война прорывов и осад. Вся страна в осаде. Вот где тупик, понимаешь теперь или нет? Что ты таращишь на меня глаза? Не понимаешь?

— Собоображаю, — промолвил я тихо.

— Лейтенант Матраи, вы ничего не понимаете. Уважаемый восьмиклассник, вы не поняли задания. Чтобы вам было ясно, я еще раз суммирую все обстоятельства. Слушайте внимательно. Генштабы и государственные деятели просчитались, обещали быструю маневренную войну, а вместо этого мы сидим в этих проклятых, врытых в землю, камень и человеческие мозги, окопах, перед которыми вместо колючей проволоки натягиваем на колышки заграждений собственные нервы. Это вонючее, вшивое, мучительное, полное безумного страха прозябание, а не борьба. А если борьба, то скажи, за что?

Арнольд согнулся, как будто на него навалилась невыносимая тяжесть, и так, сгорбившись, сидел несколько секунд, потом вдруг выпрямился.

— За что? Гм... Это уж, конечно, другой вопрос. Вы меня поняли? — спросил он, подымая на меня мутные глаза.

— Начинаю понимать, — в раздумьи сказал я.

— Начинаешь? Хм... В том-то и дело, что только начинаешь. А известно ли тебе, в чем выражается экономика одного, двух, ста дней позиционной войны? Знаешь, сколько это в людях, материалах и деньгах? Колоссальные цифры. Монако, гигантская рулетка. Монако, Монте-Карло, Монте-Клара, Дוברдо — рулетка.

— Это звучит цинично, Арнольд.

— Что?

— Ну вот твое сравнение экономики войны, людских жертв с рулеткой.

— Не будь ребенком, не будь ребенком. Я рассержусь. Тебе необходимо понять, ты должен ужаснуться. Ведь мы летим навстречу таким потрясениям, перед нами раскрывают пасть такие адские глубины, что у десяти Данте нехватало бы фантазии представить себе это страшное падение.

У меня болела голова. Солнце начало припекать спину, и я чувствовал на шее его томящие лучи. Меня огорчало, что я многого не понимаю из того, что говорит Арнольд, мой дорогой учитель, который с такой силой открывал сейчас передо мной свое большое измученное сердце.

— Ну, а все-таки за что? Об'ясни,— сказал я, надеясь, что его ответ раз'яснит мне некоторые непонятные вещи.

— Я тебе уже сказал, что это иной вопрос, совсем другая тема. Здесь уж начинается область социальная, и эта тема стара, как само человечество. Но все же это тоже небезыңтересная тема.

Вдруг Арнольд прервал свои рассуждения и с охотничьей настороженностью прислушался.

— Тсс! Спрячемся за этот камень: сюда идут.

Опустившись на четвереньки, он ловко пополз за большой голый камень, я последовал его примеру. Меня забавляла мысль, как, должно быть, сейчас смешны мы, взрослые люди, ползущие на четвереньках. Наш камень находился на самом краю крутой террасы, но мы очень удобно расположились за ним. Только когда я взглянул вниз, то невольно ухватился за острый выступ своего прикрытия.

Внизу змеей бежала белая лента шоссе. Мне казалось, что мы на громадной высоте, хотя на самом деле скала была не выше сорока метров. У меня закружилась голова, и я зажмурился.

Послышались шаги и голоса. Под тяжелыми подошвами хрустел щебень. Я услышал венгерскую речь, и хотя не видел собеседников, но ясно представлял их: это солдаты, одетые в мундиры венгерские крестьяне с загорелыми, обветренными лицами фронтовиков.

— Тсс, слушай, — шепнул Арнольд, насторожившись.

— ... Попробовать можно, да как бы хуже не было.

— ... Вот и я то же говорю. Был тут один цугсфюрер, так он рассказывал, что знает одну словацкую бабу из по-

левой прачечной, от которой сразу можно заболеть. Да что толку? Заберут тебя в Лайбах, посприндуют месяц-полтора, а потом прямым маршем обратно, сюда же. А болезнь уж известно какая, от нее ввек по-настоящему не отделаешься, обязательно домой привезешь остаток. То-то жене радость!

Двое разговаривающих громко рассмеялись, третий молчал.

— ... Да-а-а... Если бы знать, что за тот месяц, пока тебя будут лечить, коңчится эта проклятая война, я бы рискнул.

— ... Да, жди, когда святой Петр затрубит в трубу мира.

— ... Верно.

Молчание, вздох. Один из собеседников катает ногой камень.

— ... Что ж, значит, никакого спасения?

— ... Хотя бы на другой фронт послали. На русском фронте все же не так воюют, нет этой проклятой жары и тесноты не такая, а тут от наших позиций до итальянских доплунуть можно.

Солдат длинно, витиевато выругался.

— ... тому, кто эту чортову войну выдумал. Ух, вогнал бы я ему в брюхо штык по самую рукоятку. И заснувшему господа богу тоже.

— ... Больно ты горяч, приятель. Бог? Бог с ним. Знаем мы, кто хозяин этому делу. Бог далеко, а люди тут, под руками.

— ... Значит, дальше Лайбаха никого не отправляют?

— ... Нет, отправляют, если останешься без рук и без ног начисто. Слепых тоже, если глаза вытекут до дна, ну, и раненных в живот, тех увозят в Инсбрук, а то и в самую Вену. А раненных в грудь, в руку или ногу дальше Лайбаха никак. А из Лайбаха одна дорога: сюда, назад. Даже сумасшедших, и то в Лайбахе держат, пока не решат, что он притворяется. Многих гонят обратно, возни тут с ними не оберешься. На-днях один из них выскочил прямо на проволоку. А говорили — симулянт.

— ... Да, братишка, нет спасения. Одна у нас жизнь и одна смерть, жизнь проклятая, а смерть верная, только не знаешь, за что.

Арнольд выразительно посмотрел на меня.

— ... За господ, — произнес голос солдата, молчавшего до сих пор.

Арнольд вздрогнул и заметно побледнел. Вдруг он шепнул:

— Оставайся здесь, пока я тебя не позову.

И прежде, чем я успел что-нибудь предпринять, он стремительно выскочил из-за камня.

— Что тут за разговоры? — послышался его грозный оклик. — Как стоишь? Смирно! Так тебе словачка понадобилась, ранение в живот, симуляция? А присягу забыл? «В огонь, в воду, на смерть пойду за высшего представителя родины, за короля и кесаря». А ты что говоришь? За господ? За каких господ? Кто это сказал? Ну?

Тишина. Из своего убежища я вижу только спины трех рослых солдат. Один из них унтер-офицер, это он сказал про господ. Солдаты стоят испуганные, оторопевшие, а перед ними, лицом ко мне, в бешеном иступлении обер-лейтенант, на его поясе открытая кобура двенадцатизарядного «Штеера». На поясах солдат короткие штyki.

— Разрешите доложить, господин обер-лейтенант, — заговорил унтер-офицер, — мы тут... по своей надобности... на прогулке... Так только между собой разговаривали.

— Так только? Между собой, на прогулке? О чем разговаривали?

— Про домашних говорили, господин обер-лейтенант, про семью, про страдания... Вот тут землячок повстречался, только-что прибыл с маршевым батальоном, неопытный человек в здешних делах, так мы ему объясняли, какой это проклятый фронт Добердо.

— Проклятый фронт?

— Прошу прощения, господин обер-лейтенант, верно, не из легких. Но ничего не поделаешь, надо терпеть, раз приказ есть.

— Ну, ладно, — сказал Арнольд, вдруг изменив тон, и улыбнулся. — Однако, ловко я вас поймал.

Он достал из верхнего кармана кителя бумажник и вынул из него три банкнота.

— Ну, подойдите поближе. Нате вам, старички фронтовики, отправляйтесь в кантин¹⁾ и выпейте по кружке холодного пива. И не болтайте лишнего.

— За здоровье господина обер-лейтенанта, — сказал один из солдат, отдавая честь.

— Покорно благодарим.

— Вы, двое, идите вперед, а ты, унтер, останься на несколько слов.

Двое солдат стремительно ринулись к спуску. Унтер-офицер стоял неподвижно.

— Из какой роты? — спросил Арнольд.

— Из третьей господина лейтенанта Дортенберга.

— Фамилия?

— Габор Хусар, капрал.

— Ты меня знаешь?

— Так точно, господин обер-лейтенант.

— Давно на Добердо?

— Четыре месяца, господин обер-лейтенант.

— Значит, в последних двух ишонзовских боях участвовал? Да, понимаю, это любого может вывернуть наизнанку.

Арнольд, улыбаясь, погрозил солдату пальцем.

— Я ничего не слышал и никого не видел, но тебе, унтер-офицеру, должно быть стыдно.

— Господин обер-лейтенант...

— Брось, — махнул рукой Арнольд.

— Служба очень тяжелая, господин обер-лейтенант.

— Так, говоришь, за господ?

— Я разумел господ министров, господин обер-лейтенант.

Арнольд громко рассмеялся.

— Хитрец! Ведь ты еще не перед полевым судом, чего же изворачиваешься? Ладно, можешь итти.

¹⁾ Буфет.

Унтер помчался, как зверь, выпущенный из клетки, его подкованные бутсы подымали облака мелкой каменной пыли. Арнольд застегнул кобур и позвал меня.

— Слышал? Вот ответ на твой вопрос «за что».

В эту секунду снизу до нас донесся веселый призыв трубача и запели сирены. Мы взглянули на шоссе: из-за поворота один за другим выплыли пять автомобилей. Золоченые воротники, высокие штабные фуражки, лампы, дамы в серых дорожных костюмах с весело развевающимися вуалями.

— Дамы? Здесь?

— И господа, — сказал Арнольд. — Настоящие господа, штабные, высшее начальство. Да, много есть господ, за которых приходится страдать нашему унтеру. Его королевское высочество, господа генералы... впрочем... не только они, полковники тоже господа, так же, как и капитаны. А чем не господа лейтенанты? Все господа и все одинаковые виновники войны.

— Прости, Арнольд, я отказываюсь от этого дела, я его не вызывал и не хотел, нет, нет, — закричал я взволнованно. — Я не хотел, понимаешь?

Едкий смех Арнольда остановил мое многословие.

— О, Тибике, не так-то легко отмежеваться, как ты думаешь. Никто с твоими декларациями считаться не будет. Это, брат, не пройдет.

— Кто, кто не будет считаться? — спросил я недоуменно.

— Ну, например, этот унтер-офицер и его приятели, они не посчитаются, да, да, будь уверен.

Автомобили давно уже исчезли, и сигнал трубача послышался где-то в стороне лагеря. Сирены хором запели.

Медленно спустившись с кручи, погруженные в свои мысли, молчаливо возвращались мы в лагерь.

2. Монте-Клара

Пока мы были на скале, веселье в офицерском собрании развернулось всю. Обед уже давно кончился, но цы-

гане только сейчас взялись по-настоящему за смычки. По одному движению бровей буфетчика все было убрано со столов, и теперь каждый мог заказывать, что хочет, за свой счет. Но это не мешало веселью: офицеры были при деньгах, и каждый хотел отпраздновать отдых.

Перед входом в лагерь Арнольд нарушил молчанье:

— Я собирался рассказать тебе кое-что об особенностях нашего фронта, охарактеризовать части, офицеров и способы ведения здесь войны. Ну, солдат ты уже видел, вернее, слышал. От наших окопов до итальянских доплунуть можно. Гм... Люблю такие народные определения, точнее установить расстояние между окопами не смог бы инженер. Доплунуть... Так и есть. Что касается болезней, ранений и самоубежия, солдаты говорили правду, не преувеличивая. А господ офицеров, своих коллег, ты сам скоро изучишь. Большинство из них еще неопределившиеся в жизни молодые люди, которым война дала большие права, большие возможности и, самое главное, право безнаказанно убивать. Поэтому золотые офицерские звездочки так импонируют многим, и в этом кроется немало чисто «экзистенциальных» проблем.

Арнольд говорил тихим, усталым голосом, он был гораздо спокойнее, чем перед прогулкой.

— Вечером увидимся? — спросил я, расставаясь со своим другом.

— Если у тебя найдется время, прошу. Кстати, не привез ли ты с собой интересной книжки?

Мимо нас прошел молоденький круглолицый лейтенант. Денщик старательно поддерживал его, пытаясь сохранить почтительное расстояние между собой и офицером. Лейтенант отчаянно ругался, глядя прямо перед собой, и старался ступить уверенно. Арнольд посмотрел на меня, и я увидел в его взгляде тоску и смущение.

— Так прошу, не забудь, если найдется действительно интересная книжка. — И, втянув голову в плечи, ссутулившись, он зашагал к своему барраку.

В этот вечер я не пошел к Арнольду — взводный Гаал занял мое свободное время, знакомя меня с делами отряда. Шпиц вернулся домой поздно. Он, видимо, много выпил, но старался держаться прилично. Я отослал его спать. К девяти часам ему стало дурно. Мой пухлый помощник смущенно признался мне, что он выпил совсем мало, но не умеет пить. Это казалось ему невыносимым позором. Оказывается, он едва успел кончить реальное училище, как попал в строй.

Когда Гаал ушел, я решил привести в порядок свои записи в дневнике. Давно уже не прикасался я к дневнику, но в эту ночь записал очень много, и первая фраза была: «Элла, наконец, дала о себе знать».

С новой силой вспыхнули в сердце казавшиеся умершими чувства, и тихая тоска, овладевшая мной, так соответствовала всему настроению этого одинокого фронтового вечера.

Долго не мог я заснуть. Около полуночи со стороны Добердо послышалась глухая канонада. Я вышел и остановился в дверях барака. Знойный день сменила сырая, холодная ночь. Небо над фронтом, как над большим городом, было озарено красными отблесками тысячи ракет.

«Вот я снова на фронте» — подумал я и с ужасом ощутил свою обособленность и одиночество в окружающей сутолоке. Такого чувства беспокойства и тоски я никогда до сих пор не испытывал. Что-то будет?

Утром меня разбудил дядя Хонок. Его вчера предложил мне в денщики взводный Гаал, поражавший меня своей хозяйственностью и самостоятельностью, которую он временами даже подчеркивал, давая понять, что он тут значит не меньше любого младшего офицера.

— Он прислуживал господину лейтенанту Тушаи, — сказал Гаал. — Вы будете им довольны. Понятливый человек, не мальчишка какой-нибудь, а хозяйственный мужик, да и научился кое-чему у двух офицеров, которых прежде обслуживал.

Хонок был сухой плечистый человек

с проседью, у него были отвисшие усы и спокойные, невозмутимые глаза.

— В одиннадцать часов, господин лейтенант, назначено офицерское совещание, а сейчас уже около десяти, — сказал он, тронув меня за плечо.

Он говорил неторопливо, по-крестьянски, без всякого заискивания, и мне казалось, что когда-то я уже слышал этот голос.

— Хорошо, дядя Андриш, я сейчас.

— Кофе как предпочитаете, господин лейтенант, с ромом или только с сахаром? — спросил Хонок во время умывания.

«Ну, этот будет мне настоящей нянькой», — подумал я и улыбнулся, закрывшись полотенцем, чтобы Хонок не видел.

Бледные, с помятыми лицами офицеры вяло собирались в большом, вычищенном и проветренном зале офицерского собрания. Непокрытые столы были составлены в один угол, перед эстрадой рядами расставлены стулья, на эстраде стояла школьная черная доска.

Среди барачков слонялись группы солдат. В одном месте под наблюдением унтер-офицеров происходила проверка снаряжения: налицо ли в солдатских ранцах запасные бутсы, белье, консервы. Это нелепое запасное снаряжение почти никогда не приходилось использовать, оно имело смысл в маневренной войне, но не в этой застывшей позиционной. Но в австро-венгерской армии очень увлекались запасным снаряжением, которое доходило иногда до пятнадцати-двадцати килограммов лишнего груза и изнуряло солдат до последней степени. И на Добердо находились люди, которые оправдывали это «дальновидное» мероприятие: ведь фронт застыл только временно, завтра все может тронуться с места и мы ринемся к долине По.

— Ах, долина По!

Собравшиеся офицеры, разбившись на группы, тихо разговаривали. Два кадета стоя начали играть в карты, но пожилой обер-лейтенант «цукнул» их. В эту минуту в зал вошел майор Мадараш и за ним Арнольд.

Майор приветливо улыбался, здоровался со всеми за руку и ни слова не проронил о том, что «господа офицеры вели себя вчера недостойно». Арнольд был мрачен. Я подошел к нему.

— Ого, уважаемое начальство сегодня настроено милостиво, — развязно крикнул Бачо, так, чтобы майор слышал его. — А вы знаете, друзья, что в таких случаях говорит гонвед?

— А что? — спросил, улыбаясь, майор.

— Пехотинец говорит, — смеялся Бачо, — если уважаемое начальство очень снисходительно, значит, обязательно готовит какую-нибудь пакость.

Офицеры расхохотались. Лицо Арнольда оставалось неподвижным, только в глазах блеснула искорка иронии. Майора, видимо, покорила развязность Бачо, но смех был настолько единодушен, что он тоже улыбнулся, правда, улыбка была кислая и вынужденная. Маленькими черными глазами он исподлобья враждебно и пытливо оглядел своих офицеров. Майор Мадараши был неглупым человеком и, как старый кадровый офицер, считал себя знатоком военной психологии. Сейчас, очевидно, он был заинтересован в том, чтобы сохранить с офицерами дружеский тон, поэтому, сменив свою кислую улыбку на открытую, он обратился к Бачо:

— Ты сегодня ночью, конечно, ничего не слышал, кроме собственного храпа?

— А что случилось, господин майор? — заинтересовался Бачо.

— То, что двенадцатый батальон окончательно осрамился.

— Где? Как? — посыпались вопросы со всех сторон.

— Под Кларочкой. Представьте, они на сегодня в ночь назначили атаку, начали кричать «райта, райта!», но никто не двинулся с места. Господа офицеры не сумели вытащить солдат из окопов. От шума итальянцы сначала растерялись, а потом, сообразив, в чем дело, открыли по ним ураганный огонь и к утру с Монте-Клары пустили газы.

Майор говорил презрительно и высокомерно о позоре двенадцатого батальона.

— И много там осталось? — спросил командир второй роты обер-лейтенант Сексарди.

— Больше половины, — не задумываясь, выпалил майор. — Но так им и надо.

Это заявление произвело совершенно неожиданный для майора эффект: офицеры нахмурились, а фенрих Шпрингер хрипло заметил:

— Половина! Хорош позор!

Наступила тишина, та траурная тишина, в которой обнажают голову перед могилой. Майор настороженно изучал своих подчиненных.

«Неужели я их не знаю и сделал ошибку? Проклятые шпаки!»

Дверь открылась, послышался легкий звон шпор, вошел высокий, не по-фронтному эlegantный капитан. Любезно поздоровавшись с офицерами, капитан подошел к майору и что-то тихо сказал ему.

— Это начальник штаба второго сводного полка, — шепнул мне Шпиц, ни на минуту не отстававший от меня.

— Господа офицеры, внимание! — сказал майор. — Сейчас к нам придут гости. Господин полковник Коша желает провести с нами беседу. Смирно!

Перед собранием остановился автомобиль. В зал вошел полковник Коша, короткий, подвижной, энергичный человек. Улыбаясь, он отвечал на приветствия.

— Вольно, господа. Сервус, сервус! — махал он рукой старшим офицерам.

За полковником тенью следовал рыжий веснучатый фенрих. Подмышкой у фенриха торчала свернутая трубкой карта, на боку висела адъютантская сумка, а в руке он держал длинную, тонкую палочку.

Коша в сопровождении майора поднялся на эстраду. Почтительно склонившись перед коротеньким полковником, майор Мадараши о чем-то тихо докладывал ему. По мере рапорта майора на подвижном лице полковника

улыбка сменилась выражением озабоченности.

— Что это будет? — спросил я Арнольда, с которым за все время обменялся только двумя незначительными фразами.

— Гм, очевидно, господин полковник прочтет нам лекцию об эстетических взглядах Канта под названием «Кантианство и эстетика войны», — процедил сквозь зубы Арнольд.

Мне было не до смеха.

— Не бойся, доклад будет популярный, господин полковник постарается облегчить сложность своей темы общепринятыми примерами.

Шпиц давился от смеха, зажав рот руками, я тоже невольно улыбнулся. Тем временем рыжий фенрих вынул из сумки коробку с кнопками, развернул карту и прикрепил ее к доске. Ему помогали стоявшие поблизости кадеты.

Полковник, майор и начальник штаба полка оживленно совещались о чем-то. Сидящая голова полковника была острижена бобриком, что придавало его лицу строгие, четкие линии.

Штабные офицеры были чисто выбриты, от них веяло комфортом мирного времени. Фронтовое офицерство разглядывало их с нескрываемой завистью.

Я посмотрел на карту. Это была подробная карта участка фронта. Наверху капризными зигзагами шла линия итальянских окопов, на северной стороне, местами забираясь на террасу, потом бессильно падая вниз, тянулась линия австро-венгерских позиций.

— Монте-Клара, Монте-Клара, — прошло по рядам офицеров. Некоторые криво улыбались.

Стройный капитан Беренд, начальник штаба полка, подошел к краю эстрады и, блеснув безукоризненными зубами, предложил придвинуть стулья поближе. Офицеры задвигали стульями и среди этого шума быстро обменивались мнениями. Вокруг доктора Аахима весело посмеивались сторонники фенриха Шпрингера. Лейтенант Бачо громко заметил:

— Мне все равно — так или этак, как свидетель, я имею право на извест-

ную долю выигрыша. Я думаю, доктор, мы сегодня выпьем, а?

Доктор укоризненно взглянул в беззаботные глаза лейтенанта и испуганно отвел взор, как будто заглянул в пропасть. С возмущением доктор констатировал, что Бачо совершенно равнодушен к тому обстоятельству, что батальон могут сегодня перебросить на Монте-Клару. Я услышал недовольное бормотание Аахима:

— Прямо удивительно, до чего у нас легкомысленна молодежь!

Окружающие рассмеялись, по-своему истолковав неодобрительный возглас доктора. Майор Мадараши спустился с эстрады, рыжий фенрих стал сбоку доски, все уселись, и полковник подошел к карте.

— Господин майор уже информировал вас о том, что один из батальонов нашей сводной горной бригады сегодня ночью постигло несчастье. Да, иначе, чем несчастьем, этого нельзя назвать, да, да, — задумчиво повторил несколько раз полковник, как бы уверяя себя в том, что происшествие с двенадцатым батальоном именно несчастье, а не позор.

Офицеры взволнованно задвигали стульями.

— Да, господа, это несчастье, ибо если бы командование батальона лучше подготовило атаку, вернее, если бы господа ротные и взводные командиры проявили большую инициативу в проведении плана внезапного нападения, их мероприятия безусловно увенчались бы успехом. Ротным командирам необходимо было вывести из окопов и направить вперед своих подчиненных. Офицеры должны были, подавая героический пример, увлечь за собой солдат и ни секунды не топтаться на месте. Но, к сожалению, господа, вышло не так. Когда настало условленное время и штурмовые колонны заняли все выходы у подножья Монте-Клары, господа офицеры, вместо того, чтобы выйти вперед и с могучим «райта» ворваться в окопы ничего не подозревающего противника, начали кричать «ура», не двигаясь с места, и попрыгали головы в песок наподобие страусов. Это все равно, гос-

пода, что ловить воробья с барабанным боем. Конечно, шум разбудил итальянцев, и напрасны были героические усилия обер-лейтенанта Хегедюша, ринувшегося в атаку со своей ротой. Эта рота была скошена на брустверах своих же окопов. Обер-лейтенант Хегедюш отдал свою жизнь за родину. Больше половины рядового и командного состава роты осталось на месте. Остальные роты тоже не избежали печальной участи, с той, однако, разницей, что они не проявили в этом деле даже намека на мужество. На них посыпался дождь гранат и мин, и вконец расвирепевший враг атаковал их газами. Из этого, господа, вы должны сделать несколько выводов. Во-первых, мужество и храбрость импонируют врагу больше, чем неуверенность и нерешительность, во-вторых, приказы надо исполнять точно, не допуская ни малейших изменений, извращение смысла приказа чревато большими последствиями. Так это случилось с двенадцатым батальоном, который не сумел выполнить полученный непосредственно из штаба приказ. Двадцать семь офицеров и четыреста восемьдесят три человека солдат и унтер-офицеров выбыло из строя убитыми, ранеными и отравленными в этом печальном бою, если вообще это можно назвать боем: ведь противнику не причинили ни малейшего вреда. Ну-с, господа, а теперь я хочу вам задать один вопрос, — сказал полковник, вызывая еще оглядывающая офицеров.

— Ну, теперь шло покажется из мешка, — шепнул над моим ухом Шпрингер.

— Во, во, — согласился Бачо.

— Итак, господа, — продолжал полковник, раскачиваясь на носках, — как вы полагаете, Монте-дей-Сэй-Бузи, или, как мы ее называем, Монте-Клара, действительно неприступная крепость? Нет, господа, нет. Во-первых, неприступных крепостей в принципе не существует, во-вторых, раз итальянцам удалось взять ее от нас, так нам, венгерцам, и по-давню надо отобрать от врага свою крепость. Нельзя же ставить на одну доску венгерских и итальянских солдат. Итальянцам удалось завладеть Кларой

только благодаря измене Моравско-Островского полка. От чешских героев отбить ее, конечно, было не трудно.

— Ого, господин полковник бросается крупными козырями, интересно, как будет ремиз в конце, — шепнул Бачо Арнольду.

— Да, взяли у чехов. И такова уж судьба, господа: что чехи легко отдают, то мы, венгерцы, должны отбирать назад, хотя бы и с большими трудностями. И мы возьмем Монте-Клару в самом непродолжительном времени. Приходится только удивляться тому, что мы так долго возмисся с этим ничтожным делом. Высота всего сорок пять метров, голый щебенчатый холм, и столько из-за него неприятностей. Неужели мы еще будем это терпеть?

Полковник впился глазами в слушателей, но в собрании царила такая тишина, что было слышно, как в соседнем бараке забивают гвозди. Методичные удары молотка гулко отдавались в тишине, и мне казалось, что забивают крышку гроба. Полковник вынул носовой платок, вытер вспотевший лоб и бросил удивленно неодобрительный взгляд на сидящего в первом ряду майора Мадараша. Потом, как бы что-то вспомнив, он взглянул на свои ручные часы и быстро подступил к доске.

— Прошу слушать внимательно, господа, — сухо сказал он, заметно торопясь. — Благодаря своему расположению Клара является для нас очень неприятным пунктом. Отсюда итальянцы беспокоят фланкирующим огнем наши Сельские позиции, а при ясной погоде с Монте-Клары можно видеть, как на ладони, низкие Косичские позиции. Выдающемуся сильно вперед Вермежлианскому участку Клара может грозить даже тыловым огнем. Кроме того, Монте-дей-Сэй-Бузи является последней крупной возвышенностью перед выходом в долину Ишонзо. Если мы одним энергичным ударом выйдем оттуда итальянцев, перед нами откроются возможности широких операций.

— Гм, широкие операции!

— Мечты и действительность! — перешептывались офицеры.

Я взглянул на Арнольда, но он отвернулся от меня, зажав лоб ладонями. Я никак не мог понять, для чего разгрызается эта комедия, для чего нам читают лекцию. Ведь в конце-концов все равно последует приказ, и мы должны будем идти на фронт занимать возвышенность. Это нам удастся, или нас постигнет участь двенадцатого батальона. К чему же это длинное предисловие? Но полковник продолжал свою бесконечную и ненужную лекцию.

— Одним словом, господа, ясно, что командование фронтом дальше такого положения терпеть не может. Необходимо решительные действия, мужество и инициатива, которых вправе ожидать командование от венгерских гонведских частей. Командование бригады решило выслушать мнение офицерства, наделенного боевым опытом и хорошо знакомого с особенностями данного фронта. Это отнюдь не означает, господа, что штаб фронта не имеет своего, разработанного в мельчайших деталях плана. Но мы все же полагаем, что командный состав боевых частей сможет дать нам ряд ценных предложений, основанных на опыте, наблюдении и практике. Итак, господа, прошу высказаться по этому поводу, не считаясь с чинами, положением и старшинством.

Доктор Аахим заметно повеселел, но Фенрих Шпрингер вызывающе взглянул на него.

— Ого, это еще не все, — сказал Бачо, лукаво подмигивая.

Капитан Беренд вынул из кармана блокнот и, раскрыв его, громко возгласил:

— Прошу записываться, господа.

Все это было очень непривычно и странно. Офицерское совещание! О чем? Об еще не проведенном бое?

Со своего места поднялся обер-лейтенант Сексарди, командир роты из запасных. Его любовь к многословию давала пищу многим забавным анекдотам, но он слыл храбрым офицером. В мирное время обер-лейтенант был мелким губернским чиновником.

— Разрешите, господин полковник, — начал Сексарди. — Если я вас правильно понял, речь идет о том, что нам

надо сейчас детально обсудить, каким образом мы сможем перехитрить этих проклятых предателей и изменников италяшек и как скорее турнуть этих сукиных детей макаронщиков, вцепившихся в гриву старой ведьмы Монте-Клары. Разрешите мне рассказать вам вкратце печальную историю этой возвышенности. К вашему сведению, господа, я уже шестой месяц нахожусь на этом гнусном фронте и позволю себе сказать, что знаю здесь каждый угол и каждую дыру. Монте-дей-Сэй-Бузи в первый раз назвали Klarой не мы, венгерцы, а венские ландверы, когда в сентябре прошлого года пошли на нее приступом. Храбрые венские ребята, идя в атаку, пели:

Клара, вас ист мит инен гешеен?
Клара, ист инен ниht ганц беквем?
Клара медхен, Клара мерхен...

И зря пели бедные мальчишки, все они сложили голову под Klarой. А когда мы шли в атаку на Монте-Фальконе, то тоже пели:

Пискальд ки, пискальд ки,
Пискальд ки — белбле...

Полковник и майор стояли в глубине эстрады и, видимо, нервничая, о чем-то спорили. Очевидно, майора что-то взорвало, потому что он вдруг повернулся к Сексарди и резко сказал:

— Господин обер-лейтенант, ближе к делу. Говорите по существу.

— Оставьте, майор, — миролюбиво сказал полковник. — Но все же, господин обер-лейтенант, я попрошу вас держаться ближе к теме.

Сексарди растерялся, ведь он только что почувствовал настоящее воодушевление. Он смущенно посмотрел на офицеров, лица которых выражали и напряжение, и досаду, и иронию.

«Ну, ну, посмотрим, чем это кончится» — казалось, говорили их взгляды.

Сексарди откашлялся и уже глубоко вобрал воздух, как неожиданно открылась дверь, и в зал вошел хромой гусарский обер-лейтенант. Он быстро двинулся, стуча металлическим наконечником большой палки. Полковник и майор

поспешили к дверям, где в окружении свиты штабных показалась генеральская фуражка и мелькнул красный лампас.

— Эрцгерцог!

Эрцгерцог был блондин высокого роста, голова его с мягким овалом розового лица была наклонена набок. За эрцгерцогом следовал бригадный генерал, адъютанты и штабные офицеры. Все вытянулись и застыли. Эрцгерцог приветливо поздоровался с полковником и майором и обвел нас улыбающимися глазами. Нас подкупило то, что Иосиф, чистокровный Габсбург, сносно говорил по-венгерски. Обменявшись несколькими словами с полковником, эрцгерцог в сопровождении штабных поднялся на эстраду, легкой и решительной походкой вышел вперед и заговорил приятным голосом:

— Наверное, господин полковник уже сообщил вам о причинах настоящего совещания. Дело в том, что Монте-дей-Сэй-Бузи необходимо ликвидировать, дальше такое положение терпеть невозможно. Надо прогнать оттуда собак Кадорна, и это нужно сделать одним ударом, лихо, по-мадьярски. Не правда ли? — Эрцгерцог Иосиф подарил нас пленительной улыбкой. — Это надо сделать неожиданным, так называемым групповым, ударом. Каждый доброволец из офицеров сформирует себе группу из добровольцев солдат. Группы должны быть не больше двадцати — двадцати пяти человек. Эти группы в одно и то же установленное время, но каждая совершенно самостоятельно, должны ворваться в окопы итальянцев. Задача внезапного удара — сковать и парализовать действия противника. Когда это будет сделано, находящиеся в окопах дежурные части завершают разгром позиций. Та группа, которая первой ворвется в неприятельские окопы, будет представлена мною к высшей награде, так же, как будут награждены все, проявившие мужество и энергию, будь то рядовой или унтер-офицер. Это надо будет особо разъяснить нижним чинам. Вот и все, господа. Желающих прошу записываться у господина адъютанта.

Капитан Беренд передал свою записную книжку хромому гусару, который

стал на краю эстрады. Эрцгерцог отошел вглубь, к нему подошел бригадный генерал, говоря, очевидно, что-то лестное по поводу выступления его высочества. По залу прошло нервное движение. Полковник испытующе смотрел на офицеров, майор тщетно ловил взгляды лейтенанта Бачо и обер-лейтенанта Сексарди. По рядам офицеров пробежал шопот. Некоторые недоумевающим пожатием плеч выражали свою полную растерянность. Арнольд сидел у окна, подперев кулаком подбородок, и смотрел на улицу.

— Ну-с, господа? — поднял голос бригадный.

Все повернулись к генералу, но с враждебной холодностью избегали его взгляда. Эрцгерцог удивленно посмотрел на офицеров. Недалеко от эстрады стоял взволнованный маленький Торма. Взгляд эрцгерцога поймал жертву, Торма невольно сделал шаг вперед.

— Ну? — сказал эрцгерцог с ободряющей улыбкой.

Торма сделал еще один шаг, стоящие рядом офицеры инстинктивно подались назад, и маленький кадет оказался на несколько шагов впереди остальных. Все смотрели на него, многие улыбались. Арнольд, к роте которого был причислен Торма, сухо кашлянул.

— Ты? — сказал эрцгерцог благосклонно. — Ты давно на фронте?

— Только-что прибыл, ваше королевское высочество.

— Ах, зо! Это очень хорошо, очень красиво, — протянул эрцгерцог, не пытаясь скрыть своего разочарования.

Проползло несколько мучительных минут. Группа офицеров оставалась неподвижной. Лицо эрцгерцога омрачилось, он что-то сказал бригадному. Хромой обер-лейтенант проковылял к двери. Заиграл рожок автомобиля. Штабные вышли вслед за эрцгерцогом. Я выглянул в окно. Со стороны моря клубились черные грозовые тучи, вереница автомобилей катила по дороге в Констаневнице.

Капитан Беренд захлопнул записную книжку и демонстративно сунул ее в адъютантскую сумку. Полковник сошел с эстрады и, не отвечая на приветствия,

вышел из зала. Рыжий фенрих сорвал с доски карту, свернул ее и, оглядев офицеров с непередаваемым презрением штабной крысы, поспешил за своим начальником.

— Ох, если бы я мог откланяться этой роже увесистой оплеухой, — пробормотал рядом со мной лейтенант с золотыми зубами.

Майор ушел вслед за полковником.

— Ну, что теперь будет?

— Ничего, — весело крикнул Бачо. — Вопрос был поставлен ясно: нужны добровольцы. Таковых не нашлось.

— Стыд и позор! — вздохнул доктор Аахим.

— Пожалуйста, доктор, еще не поздно. Добровольцем может быть кто угодно, а ведь вы офицер, — неожиданно резко сказал Арнольд.

— Ну, уж от тебя я этого не ожидал, — обиделся доктор.

Майор вернулся. Видимо, он получил основательную нахлобучку, но против ожидания не был мрачен. Отозвав Арнольда, он взял его под руку и прошел с ним в другой конец зала. Их сопровождал капитан Беренд. В зал вошли вестовые и начали расставлять столы:

— Господа, прошу не расходиться, — крикнул майор. — Будем обедать.

— Вот это да! — щелкнул языком Бачо.

Фенрих Шпрингер подошел к батальонному врачу и отвесил ему изящный поклон.

— Надеюсь, вы не станете оспаривать, что пари мною выиграно?

— Что тебе нужно? — хмуро спросил доктор.

— Простите, положение, кажется, ясное.

— Было бы ясное, если бы нашлись добровольцы, — пробормотал Аахим и сердито отвернулся.

Вестовые накрывали столы, звенела посуда. Многие офицеры вышли за двери барака покурить. Тучи легли на крутую спину горы Дебеллы, окутав ее верхушку.

Майора и Арнольда окружила группа офицеров. Я подошел к ним.

— Эх, не так надо было это сделать, — с досадой говорил доктор. — Надо было устроить небольшой веселый обед и между вином и коньяком поговорить серьезно.

Глаза Арнольда потемнели.

— Психологический метод доктора Аахима! Ну-ну!

— Бросьте, — сказал майор. — Все равно дело уже испорчено. А впрочем, доктор прав: надо было создать соответствующие условия для известного настроения.

— Вчера эти условия были, — с'язвил Арнольд. — Вчера бы все шло, как по маслу. Итак, дорогой доктор, мы тебя осрамили. Не знаю, как ты переживешь это.

Офицеры заняли места за столом. К великому облегчению доктора Аахима, у буфетчика нашлось только три бутылки шампанского. Бачо уговаривал Шпрингера получить остаток выигрыша коньяком. Доктор торговался, как цыган на конском базаре.

Хотя майор всячески подчеркивал свою полную солидарность с офицерами, все же каждый чувствовал себя не в своей тарелке, и атмосфера за столом была натянутая. Арнольд много пил. Я несколько раз пытался удержать его руку, но он зло вырывал ее и наполнял свой бокал. Я видел, что он с усилием льет в себя густое, почти черное истринское вино.

— Для чего ты это делаешь? — спросил я.

Арнольд улыбнулся пьяно и вяло, его взгляд уже стал мутным.

— Когда ты пробудешь здесь шесть месяцев, пожалуйста, задай мне снова этот вопрос.

— Нет, со мной этого никогда не будет, — вспыхнул я.

В продолжение всего обеда мы почти не разговаривали, и только под конец, когда за столом уже стало шумно, Арнольд вдруг обратился ко мне как будто совершенно трезвым голосом:

— Ты никогда не думал о том, что такое человек? Мне кажется, что человек — это брожение, распухание, газы.

сплошь функции желудка и немного движения. Да, движения немного... Впрочем, человек создал кое-что умное и красивое.

— Музыку? — спросил я, думая об Элле.

— Да, верно, музыку. И все же люди создали больше скверного, чем хорошего. Ты не согласен?

На эстраду, крадучись, пробралась цыгане. Тихо, незаметно, как бы угадывая нюхом настроение собрания, еле слышным пиано они начали грустную венгерскую песню.

Маленького Торму с шумом и криками овации потащили в другой конец стола к майору. Мальчик упирался, но видно было, что общее внимание ему льстит. Майор торжественно чокнулся с кадетом.

— Ты один, сынок, попытался спасти честь моего батальона. Спасибо.

После этих слов за столом наступила тишина, только около Бачо смеялось несколько человек: наверно, Бачо отпустил хлесткое замечание по поводу выпада майора, так как сидевшие рядом молодые люди задыхались от смеха. Майор, видимо, сервезно решил сделать Торму героем дня и без конца наполнял его бокал. Очевидно, батальонный все еще не терял надежды поправить дело.

— Господин майор и офицеры играют в прятки, — сказал я Арнольду.

Арнольд пожал мою руку под столом.

— Bravo!

Торма быстро пьянел. После пятого бокала он попросил слова. Затихший зал с удивлением и любопытством повернулся к нему. Еще не установившимся, ломающимся голосом Торма взволнованно начал:

— Господа офицеры, коллеги! Венгерские королевские гонведы! Друзья! Я самый молодой и неопытный среди вас, но если его королевскому высочеству, командующему фронтом, так угодно, то я, Карл Торма, кадет-аспирант-фельдфебель, я... Дайте мне сотню солдат, пять унтер-офицеров, ручные гранаты и штурмовые ножи, и я

переверну эту проклятую, грязную Клару!..

— Bravo, bravo! — закричал капитан Беренд, несколько человек поддержало его, батальонный врач и заведующий офицерским собранием аплодировали, цыгане играли туш. Майор отвернулся, увидев, что не клюнуло.

На середину зала вышел основательно выпивший обер-лейтенант Сексарди и высоко поднял бокал:

— Господа, вношу предложение: давайте поговорим откровенно.

Беренд и майор переглянулись. Адъютант махнул оркестру, чтобы он замолчал. Цыгане и вестовые вышли, за ними заперли дверь.

Майор встал.

— Господа, не будем долго разговаривать. Я расстался с господином полковником с тем, что через час передам ему ответ офицерского собрания нашего батальона. Предложение его королевского высочества застало нас врасплох, было бы даже странно, если бы сразу нашлись добровольцы. Я так и объяснил командиру бригады. Предложение, конечно, нелегкое, господа, но, с другой стороны, вы сами понимаете, какое неприятное впечатление произвела ваша нерешительность. Вопрос был поставлен прямо: батальон должен доказать свое геройство и преданность, этого требуют от нас его королевское высочество и честь гонведства. Я простой солдат, господа, и не умею разглагольствовать. Слово за вами.

— Ну, карты открыты, — тихо сказал Шпиц.

— Обер-лейтенант Шик, каково ваше мнение? — спросил майор, боясь, что опять наступит молчание. Арнольд вышел из-за стола, и по тому, как он втянул голову в плечи, я видел, что он предпочел бы молчать.

— Господин майор упомянул слово «геройство». По мнению моего любимого философа героизм можно проявить только тогда, когда для этого настал момент, тот же, кто пытается искусственно создать такую ситуацию, легко может превратить трагедию в комедию, а по утверждению того же философа,

от трагического до смешного всего один шаг.

Вдруг сидящий на краю стола Торма громко зарыдал. Майор сердито буркнул:

— Господин обер-лейтенант, тут не место философии. Мне нужно дать ответ господину полковнику: найдется ли в моем батальоне десять человек офицеров, которые возьмутся за это дело?

Арнольд резко повернулся к майору и коротко ответил:

— Не чувствую в себе призвания, господин майор.

Поднялся шум, в котором можно было различить возгласы:

— Уж лучше бы отдали приказ!

— Чего тут действовать на самолюбие!

— Добровольцев не найдется. Нужно знать положение под Монте-Кларой.

В дверь постучали, капитан Беренд открыл, на пороге стоял рыжий фенрих.

— Господин полковник просит господина майора к телефону.

— Иду, — с тяжелым вздохом сказал майор. Выходя через дверь, он инстинктивно пригнул голову, хотя притолока была довольно высока.

Цыгане снова пробрались на эстраду. Один офицер схватил рыжего фенриха за руку и втянул его в зал. Откуда-то появился вчерашний шрапнельный стакан, его наполнили вином и сунули в руки фенриху. После небольшого сопротивления фенрих сдался.

— Ну как, нашлись у вас добровольцы? — спросил он.

— Весь батальон сломя голову ринется на штурм, если ты поведешь нас, — ответил Бачо.

— Да, — вздохнул фенрих. — В девятнадцатом батальоне, который стоит на отдыхе в Меноли, тоже пробовали, ничего не вышло, даже ни один кадет-аспирант не вызвался, как у вас. Скандал!

Он взглянул на шрапнельный стакан и с отчаянием поднес его к губам. Офицеры смеялись, оркестр играл туш. В зал заглянул дежурный по батальону и крикнул:

— Господин лейтенант Матраи!

У дверей столовой меня ждал Гаал. Он протянул мне бумажку, на которой каллиграфическим писарским почерком было выведено:

«Спешно, лично лейтенанту Матраи, саперно-подрывной отряд.

По получении сего прошу немедленно явиться ко мне в Констаньевичский лагерь, аллея кронпринцессы Зиты, 60. Начальник саперно-подрывного отдела штаба бригады капитан Лантош».

— Только-что передали из канцелярии, — сказал Гаал.

Я быстро направился к своему бараку, оставив шумное офицерское собрание.

— Хомоку уже приказано седлать, хотя не знаю, может быть, вы пожелаете ехать в бричке?

Я одобрительно кивнул Гаалу, и он исчез в направлении к конюшне.

Хотя в штабе бригады я еще не был, но капитана Лантоша уже имел честь видеть. Это был полный, выхоленный, надменный человек. В первый же день я узнал, что он пользуется широкой известностью в армии и состоит одним из приближенных эрцгерцога. Капитан Лантош был автором целого ряда военных изобретений и, кроме всего прочего, весьма деловым человеком. Самой большой известностью и широким распространением на этом участке фронта пользовались ручные гранаты его имени. Принцип этих гранат был прост, как Колумбово яйцо.

За это изобретение капитан получил крупную сумму и, будучи практичным человеком, в компании с одним знакомым инженером открыл около Лайбаха сначала небольшой, но постепенно все более расширяющийся завод для изготовления своих гранат. Конечно, это было сделано с полного одобрения высшего начальства. Официально капитан Лантош возглавлял саперно-подрывной отряд нашей сводной гонведской бригады и являлся моим непосредственным начальником.

Когда нас распределяли по бригадам в Опачиосело, я представился начальнику всех саперно-подрывных частей дивизии полковнику Хруна, старику небольшого роста с пышными седыми бровями. Полковник, военный инженер по

специальности, считался крупным военным авторитетом. Он принял меня очень любезно и слегка проэкзаменовал. Полковник был одним из тех немногих офицеров, которым удалось во время сдачи Перемышля после взрыва основных укреплений благодаря прекрасному знанию местности и недостаточной бдительности русского командования вывести из окружения целый батальон сапер и со множеством приключений отступить к Карпатам. За этот подвиг старик Хруна был лично принят императором и награжден крестом Железной Короны, после чего его послали на итальянский фронт, где позиционная война приняла совершенно особые формы.

«Зачем я понадобился капитану Лантошу?» — ломал я голову.

Под окном послышался стук копыт, я вышел. Дядя Андриш лихо спрыгнул с седла и доложил, что все готово. Я смущенно посмотрел на свои тяжелые подкованные бутсы, но Хомок успокоил меня:

— Осмелюсь доложить, тут все ездят в бутсах, оттого мы и похожи на конных моряков.

Устыдившись своих колебаний, я вскочил в седло. Мой норовистый конь «Серый» стал бросаться в стороны, чувствуя по моим шенкелям, что я давно не ездил верхом.

— В Констаньевице! — сказал я Хомоку.

Мы вылетели на шоссе. Я отвык от верховой езды и первое время чувствовал себя неуверенно, но дорога оказалась прекрасной. Лагерь скоро остался позади. Чередующиеся вдоль дороги скалы бросали на шоссе густую тень, спасающую от зноя. Дорога в Констаньевице вела прямо на север, то-есть вглубь страны.

Вглубь страны, в тыл! Еще существует тыл, где люди не одеты в форму, не воюют, а работают, живут не в бараках, а в своих домах, и спят не на ящиках, а на мягких постелях. Особенно остро чувствуешь это, когда поворачиваешься спиной к фронту и едешь вглубь страны, хотя бы тыл и отстоял

в десяти километрах от позиций и ты только позавчера приехал на фронт.

Дорога в Констаньевице идет по левой стороне обширной долины. Посреди долины, обвитая кустами, гонит свои быстрые струи маленькая речка, местами, расширяясь, она образует небольшие озера. По правой стороне лесистые склоны, зеленые мшистые луга, на которых то тут, то там, как серая кожа из-под стертой шерсти коня, выглядит каменистая почва.

С трудом заставил я «Серого» перейти на шаг, он все рвался в галоп. Хомок не по годам молодцевато сидел в седле. Я разглядывал пейзаж и никак не мог собрать своих мыслей и чувств.

— И за каким чортом нам это нужно? — вдруг расслышал я сердитое бормотание дяди Хомока.

— Что такое?

— Да вот я говорю, за каким чортом нам это все нужно, — повторил старик и враждебно посмотрел на окружающую его, чуждую для венгерского взгляда, природу.

— Как вас понимать, дядя Андриш?

— Да ведь мы — венгерские гонведы¹⁾, господин лейтенант. За каким же, я извиняюсь, дьяволом мы находимся тут, на этом проклятом Добердо? Какое нам дело до него? Да если бы мне его даром отдали, я бы не взял. — И Хомок с остервенением плюнул. — Ведь тут вершка не найдешь, куда бы мог честный человек врыться своим плугом. Не край, а, извиняюсь, сплошное недоразумение. И ведь сколько честных венгерских солдат здесь погибает!

Вместо ответа я тронул каблуком бок «Серого» и сделал вид, что лошадь понесла меня. Мне не хотелось отвечать старику: я уже отчетливо сознавал, что

1) По народному поверью, венгерские гонведы не обязаны выходить за пределы венгерских границ. Во время мировой войны, когда гонведские части стояли на позициях, далеких от своей границы, среди гонведов шел тайный ропот по поводу того, что командование использует венгерские гонведские части не по назначению.

кроется за его венгерским крестьянским высокомерием.

У одного из поворотов шоссе мы наткнулись на группу солдат, отдыхающих в тени отвесной скалы. При нашем приближении солдаты встали и вытянулись. Выяснилось, что несколько гонведов конвоируют группу пленных итальянцев и остановились тут на привал. Конвойный капрал доложил, что идут они изпод Сельца, что итальянцев захватили в плен сегодня утром. С деланным равнодушием я жадно разглядывал пленных. Итальянцы были разных возрастов, одеты в такие же рваные, изношенные мундиры, как и наши солдаты. Вид у них был утомленный. С подчеркнутым безразличием они сносили мой испытующий взгляд, но нет, нет, они тоже не были равнодушны, в их взорах я улавливал торжество и насмешливое сочувствие, как бы говорящее: «Ты еще воюешь, а мы уже кончили, мы перешли рубеж».

— Что, у вас большой бой был? — спросил я капрала.

— Нет, господин лейтенант, была только небольшая перепалка. Сегодня на рассвете итальянцы начали бить по нашим окопам. Уже две недели они нас щупают. Ну, мы, конечно, тоже на-чеку. К девяти часам стрельба прекратилась, и началась атака. «Аванти!» Туттифрутти! Идут. Мы подождали их, да и всыпали, как следует. Атакующие побежали, а эти (он кивнул на пленных) остались между окопами, и, прежде чем итальянцы успели открыть заградительный огонь, они сдались. Итальянцы, обнаружив их пропажу, со зла крепко начали бить артиллерией по нашим окопам. Мы терпели, терпели, а потом попросили наших артиллеристов взяться за них, ну, итальянцы тут же и затихли. И, как только замолкли последние выстрелы, пленные стали просить начальство вывести их из сферы огня, подальше от греха. Мы проводили их в штаб батальона, а сейчас ведем в дивизию. Занятные они ребята, господин лейтенант, и здорово поют, я их уже заставлял петь. Хотите, и сейчас прикажу. Замечательные звукоподражатели среди

них есть. Вот этот маленький, черный, и муху может изобразить, и окарину, и как тарелками бьют в оркестре. А еще как собака с кошкой дерутся, прямо со смеху помереть можно.

Капрал выжидательно и как бы гордись своими пленными посмотрел на меня.

— Не надо, капрал, — сказал я. — Лучше смотрите, чтобы никто из них не удрал.

— Они-то? Не такие это парни, господин лейтенант, — сказал капрал убежденно, и в его голосе ясно прозвучало: «Нет дураков, чтобы бежать».

Я тронул «Серого» и оставил за собой этих смуглых вооруженных и безоружных солдат. Долго еще стояли передо мной глаза пленных с их странным выражением, хитрым и в то же время сочувствующим, успокоенным и насмешливым, и настроение мое незаметно испортилось.

Лантош занимал целый особняк в западном конце Констаньевичского лагеря. В сравнении с Опачиосело Констаньевиче буквально казалось городом. Солдатские бараки, госпитали, склады и различные этапные учреждения тянулись вдоль широких улиц по обе стороны шоссе. Вход в особняк Лантоша был замаскирован маленьким деревенским домиком, а самый особняк вкопан в глинистый бок горы. Убежище капитана было совершенно безопасно от бомб, но большую часть времени, свободного от воздушных налетов, капитан проводил в надземной части своей виллы, в деревенском домике.

На северном конце лагеря в узкой и тенистой долине стояли уцелевшие домики бывшего села Констаньевиче, превращенные искусством саперов в изящные коттеджи штабных. Вообще Констаньевиче после Опачиосело производило на меня впечатление курорта.

Лантош принял меня сонный, пригласил сесть и долго молчал, уставившись глазами перед собой.

— Ну-с, ваш батальон тоже отличился. — наконец, заговорил он с возмущением. — В связи с этим причина, по ко-

торой я тебя вызвал, перестала быть актуальной.

Из открытого воротника кителя Лантоша, как тесто, выпирала рыхлая белая шея, стриженные усы подчеркивали вспухший жадный рот, маленькие карие глазки вызывающе впились в меня.

— Весьма сожалею, господин капитан, — сказал я, с усилием заставляя себя быть вежливым. — Но все же я очень рад вашему приказанию явиться, так как желал лично представиться вам прежде, чем по-настоящему приступить к исполнению своих обязанностей.

Капитан исподлобья взглянул на меня, потом, вдруг оживившись, вынул из ящика стола коробку с сигарами и предложил мне закурить. Я выбрал короткую «Порторико» и надкусил кончик.

— Барин даже в аду остается барином, — сказал я, наивно улыбаясь, и серьезно взглянул в беспокойные глаза капитана.

— Ты кто — инженер или техник?

Я рассмеялся.

— Филолог, господин капитан, филолог и вот сапер.

Но Лантош не оценил пикантности этого сочетания. Он задумчиво заговорил:

— Ты знаешь, этот фронт очень труден, и саперное дело здесь нужно, как нигде. Почва каменистая, окопы приходится сперва строить из мешков со щебнем, а потом уже с большим трудом врываться в камень. Подрывное дело тут — вопрос первостепенной важности. Надо следить, чтобы взрывы не были очень сильны, так как иначе можно разнести свои же окопы. Твой предшественник Тушаи был очень храбрый человек, но однажды он чуть не взорвал целый взвод. Словом, нужна большая осторожность.

Капитан задумался, пожевал губами и вдруг горячо заговорил:

— Но все же то, что вы позволили себе сегодня по отношению к его королевскому высочеству, это форменный скандал. Тебе лично я не делаю никакого замечания, так как ты тут новый человек. Но если бы ты знал, как был огорчен эрцгерцог. Он, бедный, за обе-

дом несколько раз повторил: «Даже венгерцы, и те уже испортились».

— Говорят, что в девятнадцатом батальоне попытка тоже не увенчалась успехом, — невинно заметил я.

— А ты откуда знаешь? — вскинулся капитан.

— Кухонная почта, — махнул я и вызывающе посмотрел на капитана.

Вдруг дверь соседней комнаты неожиданно отворилась, и вошел капрал в офицерском кители. Не обращая на меня никакого внимания, он запросто подошел к капитану и сказал что-то по-немецки. Я отошел к окну и с деланным безразличием стал рассматривать улицу.

«Почему на нем офицерский китель? — размышлял я. — И как он смеет игнорировать мое присутствие?»

— Так он сомневается в точности наших данных? — спросил Лантош по-венгерски. — А ты показал ему накладную, подписанную комендантом станции Сан-Петер? Там указан тоннаж с точностью до одного килограмма, и мы принимаем груз не по весу отправления, а по весу прибытия. Какое нам дело до того, что от Вены до Сан-Петера груз уменьшился?

Дверь снова открылась, но уже осторожно, и в комнату вошел толстый штатский с подстриженными усами и взволнованным потным лицом.

— Абер нейн, мейн герр капитэн, — заговорил он, смешивая немецкие и венгерские слова. — Герр Богданович показал мне накладную, и там товар был в точном количестве отправления.

— Господин Грендль думает, что мы его обманываем, — резко сказал капитан, обращаясь к капралу Богдановичу. — Вы думаете, господин Грендль, что я торгую старым железом?

— Вы не торгуете, господин капитэн, но я торгую, — ответил Грендль с умильной улыбкой. — Я — торговец старым железом и при вашем благосклонном содействии являюсь поставщиком армии. Я знаю, что весьма обязан господину капитэну, но в делах люблю абсолютную точность. Герр Богданович, видимо, просто ошибся, но я вас понимаю, это дело можно уладить.

Я почувствовал, что меня начинает мутить, как перед приступом морской болезни, и сухо, нетерпеливо кашлянул. Капитан, заметив мое неудовольствие, бросил неодобрительный взгляд на кап-рала и холодно сказал:

— Прошу вас, господа, подождать меня в бюро.

Грендль и Богданович удалились. Лантош нервно затянулся сигарой. Заметное смущение капитана настроило меня иронически.

— Ну, да, — произнес Лантош скороговоркой, стгоняя рукой густой табачный дым. — Ну да, да. Хотя дело, по которому я тебя вызвал, уже утратило свое значение, все же давай поговорим о нем. Я тут недавно кое-что придумал.

Он выложил на стол чертеж.

— В случае внезапной атаки на Монте-Клару эта штука могла бы оказать неоценимые услуги. Это не что иное, как простая водопроводная труба длиной в три-четыре, а если понадобится, то и в пять метров. Трубка туго набивается взрывчатым веществом, в данном случае порохом, только не бездымным, наоборот, сильно дымящим. Теперь — один конец трубки наглухо заделывается, на другой надевается взрывающий аппарат. В общем, это тот же принцип моей ручной гранаты, только удлиненной формы. Накануне атаки мы заблаговременно подводим эту трубку под заграждения неприятеля и присоединяем магнето. Перед началом атаки трубы лопаются, взрыв очищает дорогу от проволочных заграждений и заполняет междоукопное пространство густым дымом. Чтобы дым принимал маскирующие формы, необходимо примешивать к пороку некоторые сгущающие вещества. Вот это я хотел тебе предложить, если бы в вашем батальоне нашлись добровольцы на Монте-Клару.

Я разглядывал чертеж, кивал головой и с трудом пытался подавить клокочущее возмущение. Как он смеет, как смеет этот ничтожный паразит так цинично раскрывать передо мной свои бездарные замыслы! Я взглянул на капитана и с небывалой отчетливостью почувствовал,

что мы с ним — заклятые враги, такие же враги, как дикий зверь и укротитель, как раб и господин, как побежденный и победитель.

Быстро, уже без церемоний, я отклонился своему начальнику и, выйдя на улицу, подумал: «Может быть, капитан персонально и не виноват. Не в том дело. Но господин капитан очень ревностно служит тому, на чем зиждется война, а это самое главное».

Расставаясь с Хомоком, я условился, что он с лошадьми будет ждать меня в крайней конюшне. Было душно, хотя стоял пасмурный, обещающий дождь весенний день. Я искал конюшни, ориентируясь по запаху. Они находились в южном конце лагеря. Завернув в один из замусоренных и пустынных конюшечных дворов, я заметил в глубине двора трех лошадей. Две из них лежали на старой, грязной соломе, третья стояла. На ее груди зияла огромная гноившаяся рана. Лежащие лошади были похожи на выбившихся из сил старух. При моем приближении все три подняли головы и посмотрели на меня. Выражение глаз умных животных, полное горечи, одиночества и отчаянного упрека, потрясло меня. Я невольно громко застонал. Расширенные глаза раненого коня, казалось, спрашивали: «Ну, что же со мной будет? Видишь, как мучают мухи, они с'едят меня». Одна из лежащих лошадей бессильно уронила голову на солому, другая, крупная вороная, пристально смотрела на меня, и в ее глубоких зрачках стояла печаль. Я опрометью выбежал из конюшни, как будто за мной кто-то гнался, и на улице столкнулся с искавшим меня Хомоком.

Всю обратную дорогу мы ехали молча. Хомок был уверен в том, что я получил головомойку от начальства и потому так мрачен. Кони, чуя дорогу домой, бежали неутомимой рысью. Незаметно прошедший теплый дождь прибил пыль на дороге.

Вымытое дождем Опачиосело встретило нас небывалым оживлением. Шпиц и Гаал доложили мне, что батальон получил приказ немедленно выступить на

фронт. Всюду кипели приготовления. Солдаты стягивали с веревок непросохшее белье, перед бараками шло пополнение боевого снаряжения, раздавались патроны и ручные гранаты, производился смотр оружия, выстраивались бойные.

— Это внеочередная смена, — сказал Шпиц, раздувая щеки. — Наказание за сегодняшний скандал.

Ходило множество слухов, большинство из них говорило за то, что мы будем посланы прямо под Клару. Батальон должен сняться в семь-восемь часов вечера, до фронта два часа марша, смена произойдет, как обычно, ночью.

Гаал пополнял свое хозяйство недостающими инструментами и взрывчатыми веществами. Солдаты суетились. Никто из них не сделал ни одного замечания по поводу внеочередной отправки на фронт. Они знали все и подчеркивали свою солидарность с офицерами. По их мнению, офицеры поступили правильно, так как, в конце-концов, больше всего пострадал бы в этой затее рядовой состав.

Я разыскал Арнольда. Он тоже был занят сборами. Перед ним стоял навязчивку старший фельдфебель его роты Новак. Почтительно, с рвением настоящего кадрового унтер-офицера, он докладывал о состоянии больных роты, характеризуя их всех, как симулянтов и трусов, и усердно вычеркивал фамилии из списка остающихся в лагере. Арнольд с нескрываемой скукой слушал своего фельдфебеля, делая иногда замечания после той или иной фамилии.

— А может быть, он в самом деле болен?

Фельдфебель торговался, упорствовал и очень неохотно соглашался с мнениями своего ротного командира. Новак говорил с сильным словацким акцентом, старательно выговаривая венгерские слова. Это был тяжелый круглолицый человек с короткой рыжей бородой, которую он пощипывал, когда командир роты ставил его в тупик. В нем было что-то неприятное и отталкивающее. Хотя разговор шел в официальном тоне, чувствовалось, что отношения ме-

жду Арнольдом и его унтер-офицером таковы, как между прокурором и защитником. Арнольд гуманичал, издевательски придирался к фельдфебелю и заставлял его восстанавливать уже вычеркнутые фамилии.

— Ну, Новак, на сегодня хватит. Я знаю, что вы верный слуга королю и кайзеру, и это очень похвально с вашей стороны, — сказал Арнольд, нервно хрустнув пальцами.

— Рад стараться, господин оберлейтенант.

Новак приложил к козырьку свою короткую ладонь, похожую на молоток. Когда фельдфебель ушел, Арнольд поднялся, смерил шагами два раза комнату по диагонали и остановился передо мной.

— Итак, мой друг, сегодня ночью мы будем на Добердо. Где именно — даже майор пока не знает. Но это все равно. Если хочешь, до ходов сообщения пойдем вместе, надеюсь, я тебе не помешаю.

День близился к концу. Перед бараками выстраивались роты.

3. Камни, пушки, господа офицеры и солдаты

Батальон тысяченогой гусеницей выполз на шоссе. Сквозь облака еще проглядывало солнце, но в мягкости его косых лучей чувствовался близкий закат.

Опачиосело мы покинули в боевом порядке, роты шли мерным шагом, в полном молчании. Все шли пешком, только майор и главный врач ехали верхом во главе колонн.

— Эта извилистая черная громадина, у подножья которой мы идем, называется Горя-Заря — объяснял мне мой помощник Мартуша Шпиц. — А там, видишь, неуклюжая горища — это Дебелла. Не правда ли, подходящее название?

— Куда мы идем, Мартуша, как ты думаешь?

— Видишь ли, господин лейтенант, это можно будет определить только тогда, когда мы дойдем до конца Зари.

Если оттуда свернем опять налево, то, очевидно, направимся в Сельц или на Монте-Косич, а может быть, куда-нибудь и в другое место.

— Оттуда нас могут повернуть и на Клару тоже, — заметил, козыряя, Гаал.

Бурые выступы Зари скоро остались позади. Тени гор окутали нас сумерками, и только изредка сквозь расщелины неожиданно пробивались лучи заходящего солнца.

На одном из поворотов Гаал указал мне на маленький лесок.

— Видите эти деревья? Это апельсиновая и фиговая роща, а за ней — отсюда не видно — под самой горой роскошная вилла. Летом здесь сущий рай. Во время третьего ишонзовского боя одна графиня из Лайбаха открыла здесь госпиталь. Итальянские летчики не любят и не доверяют Красному Кресту: как где увидят красный крест, обязательно сбросят бомбу.

Мой отряд шел в хвосте второй роты. Ряды уже давно сбились с ноги, строй сломался, и солдаты шли вольно. Спешить было некуда: до ходов сообщения осталось всего два километра, а там нельзя было показываться до наступления полной темноты.

Я оставил отряд на Шпица и пошел разыскивать Арнольда, предупредив, чтобы в случае надобности меня искали в его роте.

В рядах второй роты мелькнуло лицо солдата, показавшееся мне знакомым. Я присмотрелся. Где я видел этого высокого, статного капрала с густыми свисающими усами? Почувствовав мой взгляд, капрал невольно подтянулся, и я сразу узнал его: это был капрал Хусап, тот самый капрал, который «не считается» с тем, что я только лейтенант, для него я прежде всего господин. «За господ» — ведь это он сказал. Гм... за господ министров.

Разыскивая Арнольда, я несколько раз вспоминал пленных итальянцев и их взгляды, сочувственные, но смешанные со злорадством, взгляды людей, вышедших целыми из испытания. И странное беспокойство сжало мое сердце, наполнив его тревогой. До сих пор я созна-

тельно не хотел анализировать свои чувства и подвергать критике свое отношение к войне.

«О войне нечего думать, войну надо делать, раз уж мы втянуты в нее».

Да, раз уж мы втянуты. Мы вошли в нее достаточно глубоко, и вот я опять на фронте, на знаменитом кровавом Добердо, иду на передовую линию, которая, прячась где-то здесь вправо между складками каменистого плато, крадется длинными сплошными шанцами от моря к горам... и завтра итальянцы могут начать пятый ишонзовский бой. С безумными глазами, со штыками наперевес мы заорем «райта» и не будем слышать, как закричат итальянцы «аванти». Мы бросимся друг на друга, и каждый постарается первым нанести удар. Пулеметы, ручные гранаты, штыки, штурмовые ножи... А в сердцах и нервах один трепещущий бесцельный вопрос: «Когда же это кончится?».

Агентство Хёфер опубликует в своих сообщениях, что прошел пятый ишонзовский бой, а моя мать будет говорить:

— В этом бою погиб мой сын.

Я остановился и вытер влажный лоб. Мимо меня непрерывным потоком безостановочно шли солдаты. Тихий говор, звяканье алюминиевых фляжек и скрип ремней сливались в характерный для похода заглушенный шум.

Идут, идут люди... и я иду... Куда? Идем в историю продолжать дело наших воинственных предков, драться. Неужели они проделывали это так же печально и бессмысленно, как мы?

Чья-то рука легла на мое плечо. Это был Арнольд, уже искавший меня.

— Ну, как тебе нравится экскурсия, мой друг? — спросил он с искусственным оживлением.

По левой обочине шоссе шла тропинка, Арнольд свернул на нее. Я вслушивался в монотонный шум тихо гремящего снаряжения, в ритм шагов и заглушенный говор солдат.

— Не думай, что у меня плохое настроение, потому что мы идем на передовую линию. Я ведь даже не знаю,

куда мы идем, — сказал я вместо ответа.

— В этом нет ничего удивительного, — кивнул Арнольд, и я почувствовал, что он понимает меня.

Я рассказал ему о своей встрече с пленными, о Лантоше, о лошадях. Арнольд сжал губы, и голова его ушла в плечи. Он шел ровным, упругим шагом тренированного спортсмена. Меня взволновал разговор, и шаг мой был неровен и сбивчив, я то останавливался, то спешил, но Арнольд ни на секунду не выпадал из взятого ритма. Посасывая свою короткую деревянную трубку, он внимательно слушал меня, одобрительно хмыкал и поощрял теплым, дружеским взглядом.

— Идут, идут... — сказал я почти печально. — И мы с тобой, мы, которым полагалось бы лучше разбираться в происходящем, тоже идем.

— Тебе не кажется иногда, что все это похоже на грандиозный спектакль? Мы — статисты, масса. Мы иногда пробегаем через ярко освещенную сцену, где ревет оркестр, стреляем, орем, а потом — марш за кулисы.

— А сегодняшние пленные? — спросил я.

В эту секунду, как бы в подтверждение слов Арнольда, со стороны итальянцев дерзко поднялся и скользнул по темнеющему небу ослепительный луч прожектора.

Батальон растянулся, ряды рассыпались, но в этом беспорядке я заметил какую-то закономерность.

— Что случилось? — спросил я Арнольда. — Почему такой беспорядок?

— Ага, мы, видимо, приближаемся к Зело. Здесь есть одно местечко, совершенно открытое, если итальянцам вздумается посмотреть сюда и они увидят движущихся людей, то немедленно заставят работать свою артиллерию. Вот ты сейчас увидишь, как тут выглядит шоссе: сплошные воронки.

— Ко всему может привыкнуть человек. Чрезвычайно развита у нас эта способность приспособляться к любым обстоятельствам, — сказал я задумчиво.

— Философствуешь, мой друг? Ино-

гда для разнообразия это не мешает. Но я перед тобой в долгу: ведь я обещал рассказать тебе историю нашего фронта.

— Очень обяжешь.

В голове колонны образовался затор. Люди по-одному спускались в глубокий, тщательно замаскированный ход сообщения, тянувшийся вдоль разбитого шоссе. Дорога, действительно, была в сплошных воронках от гранат и выглядела так, как будто ее изрыли гигантские свиньи. Майор и доктор слезли с лошадей и пошли вперед пешком. Солдаты, ожидая своей очереди, расселись вдоль шоссе. Мы с Арнольдом отошли в сторону:

— До 23 марта прошлого года итальянцы считались нашими союзниками, а уже 25 мая нашу часть сняли с сербского фронта и перебросили сюда, на Добердо. С первого же дня было ясно, что здесь придется вести оборонительную войну, так оно и вышло, и, собственно говоря, наше счастье, что высшее командование именно так поняло нашу задачу, иначе мы бы давным-давно уже были на берегах Дравы.

Итальянцы открыли военные действия с большой интенсивностью. Генерал Кадорна обещал быстрые успехи. До 20 июня бои шли только за размещение на плацдарме, а 23-го начался первый ишонзовский бой.

С 23 июня по 7 июля длился этот первый ишонзовский бой. Итальянцы провели восемьдесят шесть атак из своих окопов. Атаки следовали после умножительной артиллерийской подготовки. Артиллерия всех калибров бьет сосредоточенным ураганным огнем по нашим позициям. Потом по команде огонь моментально прекращается, и итальянцы лавиной движутся из своих окопов в штыковую атаку. Во время первого ишонзовского боя я семнадцать раз участвовал в рукопашных схватках. Мы дрались тут же в окопах. Итальянцы не ожидали такого сопротивления, и часто атакующие сдавались нам в наших же траншеях.

Ты говоришь, что человек обладает удивительной способностью приспосабливаться ко всему. Это верно. Мы уже не горячились, а выжидали и с каким-то дьявольским спокойствием, даже расчетом, вонзали штыки в прыгающих с наших брустверов обезумевших врагов. Такого количества убитых, сколько было в этом бою, я еще никогда не видал. Итальянское командование рвало и метало. Когда итальянцы отступали под нашим огнем, их брала под обстрел собственная артиллерия. 30 июня два итальянских батальона с поднятыми руками перебежали к нам под огнем своей артиллерии. Итальянское командование получило хороший урок.

Так проходили месяцы за месяцами. За это время мы выдержали четыре ишонзовских боя, четыре тяжелых кровопролитных сражения.

Четвертый бой прогремел совсем недавно. Для пополнения наших потерь и был послан маршевый батальон, с которым ты прибыл. Теперь, конечно, надо ожидать пятого боя. По сведениям нашей воздушной разведки, у итальянцев сосредоточена большая материальная база в гёрдском направлении, значит, там что-то готовится. Монте-Сабботино не менее кровавое место, чем Добердо.

Во время третьего боя наш батальон стоял под Ославией. На Певно и Подгоре в один день берсальеры¹⁾ произвели двенадцать атак. К вечеру их осталось очень мало, и все же они сделали еще одну попытку атаковать. И вот тогда я был свидетелем любопытной сцены.

Представь себе: артиллерия бьет безостановочно часа полтора, потом вдруг все смолкает. Мы вырываемся вверх, размещаемся среди обломков наших траншей, занимаем бойницы. Улеглись. Тишина. Атакующие от нас не далее чем в сорока шагах, мы видим, как они занимают исходное положение. Вдруг отчетливо слышим повелительный голос:

— Аванти, берсальери!

Тишина. Потом снова:

— Аванти, берсальери!

Передаю по цепи:

— По брустверу неприятеля — постоянный прицел.

Но итальянцы не показываются. Ждем. Слышится длинное итальянское ругательство с упоминанием мадонны и Христа и под конец:

— Аванти, берсальери!!!

Тишина. Потом сразу поднимается невероятный галдеж, в котором можно разобрать сердитые выкрики:

— Аванти, капитано!

Тишина. Ждем, что будет. Вдруг на бруствере итальянцев показывается высокая офицерская фуражка и решительно появляется сам офицер. Офицер прыгает с бруствера и расчищает себе дорогу среди разбитых артиллерийским огнем проволочных заграждений. неподдающуюся проволоку рубит шашкой, стальной звон которой долетает до нас в мертвой тишине. Мои солдаты смотрят на меня. Я отдаю приказ — выждать. Капитан уже пробрался сквозь проволочное заграждение итальянцев и смотрит в нашу сторону. Лицо у него мертвенно-серое. Вдруг, как разъяренный петух, подымается на носки, поворачивается в картинной позе к своим окопам и кричит:

— Аванти, берсальери!!!

Тишина. Потом сразу из сотни глоток вырывается крик: «Аванти!», и бруствер врага покрывается людьми. Залп, пулеметы косят, берсальеры бесильно падают в свои окопы. Капитан опускается на колени, роняет шашку и тихо валится на бок. Тишина, в которой ясно слышатся протяжные стоны капитана. В итальянских окопах возня: уносят раненых. Я приказываю выбросить флаг Красного Креста, итальянцы выходят за своим офицером. Это была последняя атака. На следующий день обе стороны шла «генеральная уборка». Моя рота убыла наполовину. Когда нас сменили, в бараках болталось всего несколько человек. Вот как мы тут воюем, дорогой Тиби.

Арнольд закурил. Мы укрылись под выступом крайней скалы. Солдаты гуськом спускались в ход сообщения. Шпиц подошел ко мне и доложил, что сейчас

¹⁾ Итальянские стрелки.

проходит мой отряд. Люди, нагнувшись, быстро пробежали опасное место. Мы тоже спустились и, пройдя ход сообщения, снова выбрались на шоссе под прикрытие горы Дебеллы.

Сумерки, сгущаясь, окутывали окружающие предметы, и, когда мы дошли до конца Дебеллы, стало совсем темно. За горой нас встретили проводники сменяемого батальона.

— Куда нас? — был наш первый вопрос.

— На котэ 121 к Ларокке.

— Что за место? — тихо спросил я Арнольда.

— Среднсе, в основном довольно спокойное. Оно находится за линией самых сильных столкновений, и, главное, там земляной грунт.

Майор попросил к себе офицеров и отдал стереотипные указания насчет поведения. После короткого совещания батальон был разбит на три колонны, проводники стали во главе их и в темноте, по им одним известной дороге, повели людей к ходам сообщения.

Люди, как тени, двигались в абсолютной, ничем не нарушаемой тишине. Ни шопота, ни вздоха. Приказали свернуть направо, свернули направо. Команда подавалась знаками. Начался подъем, потом спуск влево. Кто-то упал, никто даже не зашипал, не остановился. Дальше, дальше. В топком, вязком месте прошли деревянный, покрытый соломой мостик, опять спуск и, наконец, ходы сообщения. Под ногами скользко, прошедший утром дождь размыл глинистую почву, но никто не ругается, все рады, что, наконец-то, под ногами не камень, а земля. Хомок тихо бормотал: «Слава богу, земля!». И эта почва кажется солдатам, крестьянам, неразрывно связанным с землей, родной и близкой.

Мой отряд идет с первой ротой. Сменяемые принимают нас с нескрываемой радостью. Происходит сложная операция приема и сдачи большого хозяйства. И все это без единого звука, только тихо шаркают подкованные бутсы.

Сменившиеся неслышно исчезают, и в низеньком офицерском блиндаже, ку-

да меня пригласил дядя Хомок, я еще чувствую дым сигары, смешанный с запахом мужского одеклона и хорошего мыла, — устоявший запах моего предшественника. На секунду мне кажется, что после долгого, утомительного путешествия я приехал в провинциальный отель, услужливый портье ведет меня на второй этаж, распаивает двери комнаты с балконом, выходящим на старинную площадь, и говорит:

— Вот вы и приехали, сеньор. Пожалуйста, располагайтесь.

Этот ночной марш и смена своей тишиной и таинственностью произвели на меня впечатление полуденной мессы. Так делаем мы, так делают итальянцы. Кажущаяся мертвой местность не спит, бодрствует. Тысячи взвившихся ракет освещают холмы и долины. Этот фейерверк — сигнал бодрствования. С обеих сторон то-и-дело поднимаются к черному бархатному небу, описывая печальные дуги, зеленые ракеты, и возможно, что издали это даже красиво.

Я пытаюсь чувствовать себя, как дома, в этой новой обстановке и прежде всего употребляю все усилия на то, чтобы сохранить тот небрежно-равнодушный вид, который так импонирует моим коллегам и в особенности моему круглолицему помощнику Мартуше Шпиц.

Утро было пасмурное и дождливое. Поставные завернулись в куски палаточного брезента, незанятые люди укрылись в кавернах. Мой отряд трудился над водостоками. Низкие места заливало, и люди измучились в борьбе с дождевыми водами. Глиняный грунт 121-й высоты оказался весьма обманчивым: достаточно было ударить заступом, чтобы за тонким слоем земли наткнуться на мертвенно-белый костяк горы.

Я прошел по линии батальона и, промочив ноги до колен, вернулся в свое прикрытие, которому дядя Хомок уже успел придать некоторый уют. К вечеру дождь прошел, и небо покрылось яркими южными звездами. Я взглянул на них, и снова с прежней силой нахлынули воспоминания: поездка в Италию, мой юношеский роман, Элла... Чудесные, чистые воспоминания! От них

струился тонкий, еле слышный аромат, как от засушенного цветка, вложенного в страницы дневника рукой любимой.

В этот вечер я долго сидел над дневником, писал много и высокопарно, как влюбленный гимназист, но, перечитав написанное, в первый раз понял, как смешна моя тоска и неестественна односторонняя, молчаливая любовь.

Мое чувство не было тайной для Арнольда, но — странно — он никогда не относился к нему серьезно, считая его студенческой романтикой. Часто он говорил мне, что Элла очень капризное существо, что она способна беззаветно любить и стать рабой своего чувства, но также может только позволить обожать себя и быть тираном своего возлюбленного.

Две лекции, прочитанные Эллой перед римскими искусствоведами, произвели на слушателей громадное впечатление. «Эстетика Канта и материалистическое мировоззрение».

После второй лекции, когда успех уже был очевидным, мы весь вечер бродили по Риму. На Фортуна ди Требье фривольный мальчик венецианского фонтана неустанно пускал струи воды. Мы долго стояли перед храмом Агриппины. Осевшие колонны Пантеона, похожие на ноги слонов, бросали резкие тени на ровные квадраты площади. Узкими и удушливыми казались нам улицы современного Рима. Мне не хватало воздуха, и я поднял голову к небу. Оно горело таким же фейерверком звезд, как и в этот вечер. Элла, желая выслушать мой восхищенный отзыв о лекции, спросила:

— Ну, вы довольны, мой паж?

Надо было собрать все свои силы, чтобы ответить в том же стиле, и тут мне пришел на помощь Арнольд. Он заставил меня стать на колени и поцеловать руку моей дамы.

Ярко вспомнил я эту сцену, и меня охватила печаль, как будто я прощался с чем-то дорогим и бесконечно милым. Я почувствовал всю наивность и унижительность моего отношения к Элле и нереальность своих мечтаний. Теперь я знал, что Элла несчастна, что Окулы-

чевский спокойно отнял ее у меня и так же спокойно оттолкнул. Но когда Арнольд сказал мне: «Куй железо, пока оно холодно», я растерялся. Почему? Да потому, что Элла всегда была только моей юношеской грезой, а не реальной целью. Я с болью убедился в этом сегодня. Да, пора покончить с мечтами, с этими остатками мальчишеской сентиментальности.

Первый день и вторая ночь прошли удивительно спокойно, но на рассвете второго дня сначала с итальянской, потом с нашей стороны затрещали выстрелы. Несколько гранат, с бешеным ревом описав в небе стальные дуги, ударили далеко за нашими окопами около резервов.

Вечером я навестил Арнольда. Его рота расположилась на склоне и в низине. Расстояние между окопами тут довольно большое. Сегодня итальянцы что-то часто обстреливают эту местность с удивительной точностью: в час — два выстрела, шрапнелью и гранатами попеременно. Окопы здесь глубокие, сырые. Бурными рядами тянутся перед бойницами проволочные заграждения.

Когда я пришел, Арнольд спал. Меня принял его денщик Чутора, хмурый, смуглый рядовой. Он производит впечатление полунинтеллигентного человека, с Арнольдом знаком еще до войны, да и я, кажется, раньше где-то видел его.

Чутора принял меня со всей любовью, на какую был способен.

— Я вас помню, господин лейтенант, еще гимназистом, — сказал он и немного погодя осторожно прибавил: — И вашего папашу господина Матраи тоже знаю. Одно время мы с ним часто встречались в клубе «Прогресс».

Этот молчаливый черноглазый человек вдруг ворвался в мое сердце и воскресил в памяти невозвратное солнечное прошлое. Я провел у Арнольда весь вечер. Чутора усердно угощал нас кофе, в котором, видно, знал толк. Он выжился проводить меня домой.

— Скажите... гм... господин Чутора, чем вы занимались до войны?

— Я простой печатник, господин лейтенант, — ответил он смиренно.

Вот как, он простой печатник! А я кто? Простой... студент? Эта мысль вызывает во мне вихрь вопросов, но я молчу, мне ведь нельзя обо всем расспрашивать рядового.

Арнольд пробудил во мне жгучий интерес к солдатам, я сразу увидел их в ином свете. Когда кто-нибудь из них проходит мимо меня, я невольно вглядываюсь в лицо и думаю: «Кто он такой? Кем был в мирное время? О чем он думает и что чувствует?». Но прежде всего я пытаюсь разобраться в самом себе и теряюсь в хаосе сомнений. Чем все это кончится, я тоже не могу предугадать. А главное — кто они, эти солдаты, сотнями и тысячами гибнущие здесь? Думают ли они о войне, о себе и обо мне, господине лейтенанте, который заставляет их воевать? И вдруг мне становится ясно, что, если бы я не заставлял их оставаться здесь, они бы побросали свои винтовки и разбежались по домам. Дядя Хомак вчера неожиданно сказал мне, что, если бы его заставили на коленях ползти до дому, он бы охотно это выполнил. Да, ясно, что так поступили бы все, все эти солдаты. Но кто же такой я, заставляющий их воевать? Кто я?

Был ясный, солнечный день. В окопы на длинных шестах понесли в термосах пищу для солдат.

— Обед, обед!!

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...». Я вырвал из зубов папиросу, с силой швырнул к проволокам и решил итти к Арнольду. Надо разобраться в этих вопросах, договориться до конца и перестать терзаться.

Я уже двинулся, но у первого поворота вынырнул лейтенант Бачо и, весело улыбаясь, протянул мне руку.

— Хорошая погода, дружище. Вчера у доктора Аахима весь день резались в шмен-де-фер. А ты, говорят, не играешь? Ты философ, что ли?

— Нет, не философ, а филолог, — ответил я с улыбкой.

Бачо рассмеялся и схватил меня за локоть.

— Если не занят, проводи меня. Я иду в разведку.

— Как, сейчас? Днем?

— Вот именно. Ты думаешь, туда? — показал он через плечо на линию итальянцев. — Нет, туда итти не стоит, там все ясно.

Видя мое недоумение, Бачо снова засмеялся и хлопнул по футляру громадного бинокля, висящего у него на плече.

— Двадцатипятикратный. Цейсс. Стоит двух лошадей с кучером в придачу. На, взгляни, только не падай в обморок. Ну как, пойдём?

Недолго думая, я согласился и послал Хомака за Шпицем. Мой помощник явился моментально и, увидев Бачо, неодобрительно покачал головой.

— В разведку сманиваешь моего лейтенанта? Ты и Тушаи вечно таскал с собой.

— Ну, и что же? Ведь ничего плохого с нами не случилось.

— А у Редыгулы чуть не влопались, когда вылезли на возвышенность. Помнишь, как вас обстреляли итальянцы? Ты тогда еще ногу разбил, — спорил Мартын.

Я отдал Шпицу необходимые распоряжения, взял свой бинокль, газовую маску, Хомак всучил мне термос, наполненный кофе, и мы с Бачо двинулись.

— Мы тут ходим в разведку не перед линией, как полагается в честной войне, а назад, вот что забавно. Между окопами все ясно: сорок-пятьдесят шагов. Здесь на сто двадцать первой еще ничего, а вот внизу, где стоит наша рота, на бывшем стрельбище монтефальконского гарнизона, — сто пятьдесят шагов. Небывалое расстояние для нашего фронта. Это из-за разлива маленькой Пиетро-Розы. Вот туда-то я и хочу взглянуть сегодня.

— Значит, для того, чтобы взглянуть вперед, надо итти назад? Вот так так!

— Ну да. А теперь смотри в оба: итальянцам не показываться ни под каким видом. Они зорко следят. Нам надо использовать каждую складку местности, каждый выступ, чтобы укрыться. Теперь мы подыдемся на этот горбик.

видишь, напротив? Это — Пиетро-Роза. Гора ли называется по имени реки, или речка получила название от горы, не знаю, — я на крестинах не присутствовал.

Я взглянул на Пиетро-Розу. Это был невысокий холм, покрытый зеленым кустарником. В районе расположения второй роты мы вошли в ход сообщения, идущий капризными зигзагами вниз по склону. У подошвы тянулась узкая долина. Некоторое время мы шли ходом сообщения, потом у одного поворота Бачо с мальчишеской ловкостью вскарабкался наверх и побежал по склону. Я тенью следовал за ним, наклоняясь там, где он наклонялся, и вращая в землю, когда он останавливался. У подножья нашей возвышенности Бачо выпрямился и потянулся.

— Эх, хорошо, когда человек может смело поднять голову, вот так! Это не то, что постоянно ходить под низким потолком смерти.

Я посмотрел наверх. По гребню возвышенности безобразной линией тянулись наши окопы. Так вот котэ 121! Как это громко звучит! Видны кучи мусора, солома, бумага, щепки и местами разрытая земля. И вот там, «под низким потолком смерти», прячутся люди. Сколько их здесь! Каждый из них жил когда-то своей жизнью, имел семью, а теперь они согнаны сюда, как стадо. Сейчас это не люди, а солдаты, номера в ротных списках.

Бачо налаживал свой бинокль, вглядываясь куда-то влево, где между гор виднелся зелено-голубой кусочек Адриатики.

— Посмотри, — сказал он, протягивая мне бинокль.

Я взглянул. В волшебной коробке сильных чистых стекол расстилалось море, по его поверхности скользило небольшое быстроходное судно.

— Канонерка, — сказал Бачо. — А ну-ка, теперь попробуй без бинокля.

— Великолечно!

Действительно, невооруженным глазом ничего нельзя было рассмотреть.

— Вот с помощью этого инструмента мы сейчас заглянем в карту итальян-

цев, если сможем найти хорошее место, — сказал Бачо с охотничьим азартом.

Мы тронулись дальше. У подножья лесистой горы Бачо, ловко орудуя штурмовым ножом, сделал две палки. Мы тихо беседовали, так тихо, как будто находились в непосредственной близости неприятеля. Бачо рассказывал о себе. Он кончил агрономическую школу в провинции, два года проходил практику в одном из имений баронов Фельдвари и как-раз должен был получить самостоятельное имение для руководства, как грянула война. Бачо был женихом и не особенно досадовал на то, что свадьбу пришлось отложить до окончания войны.

— Хорошо, что не женился, а то замучился бы от ревности, все думал бы, что за молодой женой там без меня кто-нибудь ухлестывает, — говорил он, смеясь. Он производил впечатление прямого, откровенного, немного примитивного парня, но за этой грубоватой непосредственностью крылась подлинная сила, уверенность в себе и необычайно развитое чувство товарищества. Бачо слыл в батальоне храбрым офицером, но никогда не хвастался, — достаточно красноречиво говорили четыре шелковых ленточки, украшающие грудь лейтенанта. Видно было, что он несколько не задумывается над проблемами войны и на фронте чувствует себя в своей стихии.

Перепрыгнув через речушку, мы вскарабкались на первую террасу горы. Бачо часто оборачивался и повторял, что надо быть осторожными и не показываться на открытом месте. Мы ползли между кустами, укрываясь за камнями, и поминутно натывались на глубокие воронки, вывороченные взрывом глыбы камней и стволы деревьев.

— Итальянцы не экономят снарядов. Достаточно им заметить хоть одного человека, чтобы целая батарея начала бить по этой местности.

Где-то наверху зашумело, затрещало: с нарастающим грохотом приближались сползающие камни. Мы побежали, делая бешеные скачки, и притаились в

кустах, наблюдая за страшной каменной лавиной, оставлявшей за собой глубокую борозду. Бачо вздохнул.

— Видишь, тут и без выстрела можно остаться на месте.

Лавина достигла вершины Пиетро-Розы, шлепнулась в речку, подскочила и тут же утонула в ненасытной топи болота.

— Теперь я понимаю, почему дядя Хомок не любит камней, — сказал я. Бачо сделался серьезным.

— Знаешь, если бы меня тут кормили инжиром в молоке и поили натуральным апельсиновым соком, я бы и то не согласился здесь жить. Вот только боюсь, как бы не остаться мне здесь совсем и не скушать вместо апельсина итальянскую пулю.

Кустарник кончился, начался большой строевой лес и после него голый скалистый подъем. Мы часто останавливались и смотрели на открывающийся перед нами пейзаж. Слева гладкой равниной тянулись болота Пиетро-Розы, речка, огибая нашу гору, поворачивала к Дебелле и оттуда, как бы передумав, устремлялась на юг, чтобы у Монте-Фальконе слиться с Ишонзо. За болотами между двумя холмами открылся красивый пятисводный виадук Триесто-Венецианской железной дороги. Он казался отсюда изящной игрушкой. Когда-то по этому виадуку с веселым грохотом мчались на юг роскошные поезда, а сейчас все кругом кажется вымершим. Мы подымались все выше и уже невостроженным глазом различали на спящей глади морской воды быстро движущиеся точки.

— Эх, к Триесту идут, — вздохнул Бачо.

— А ты что, уже побывал в Триесте? — спросил я, пытаюсь вызвать в памяти оживленную суету этого города, солнечное море, сутолоку судов и характерный шум и яркость порта, соединяющего пестрые Балканы с Европой.

Рассказывая, Бачо внимательно рассматривал в бинокль лежащую перед нами местность, иногда отрывался и взглядывал на меня, и его живые, ясные

глаза казались сейчас задумчивыми и грустными. Разговаривая, мы достигли вершины Пиетро-Розы и, укрывшись за небольшим выщербленным камнем, вынули карты и сверили наше местонахождение.

— Итальянцы часто пытаются проваться здесь неожиданными атаками. Выбираются ночью из своих окопов, прокрадываются под наши проволочные заграждения и под утро бросаются на штурм. «Аванти, аванти!». И каждый раз, бедняги, получают как следует по морде. Половина из них остается на месте.

— Как ты думаешь, итальянцы хорошие солдаты? — спросил я.

— Солдаты? Все солдаты при первой возможности сдаются в плен, это мое глубокое убеждение.

Несколько минут мы молча рассматривали в бинокль местность.

— Вот это 110-я, — указал Бачо на возвышенность, находящуюся напротив нашей 121-й высоты.

— Это там итальянские окопы? — спросил я.

— Да. Правда, здорово? Насчет маскировки они большие мастера.

Действительно, на возвышенности итальянцев почти ничего не было видно, наши же окопы были очень заметны.

— Нигде ни живой души, все под землей, под камнями. И мы, и итальянцы.

— Мы боимся, а они еще больше. Вот это и есть война, — засмеялся Бачо.

Слева послышалось глухое урчанье, перешедшее в грохот. Недалеко от нас, где-то за плечами трех холмов, с хриплым воем подымались невидимые, но ощутимые тяжелые снаряды. Воздух завизжал, как листовая сталь под сверлом. Потом все умолкает, граната достигает своего зенита и через секунду с удесятенной силой и ревом летит вниз. Мы нервно гадаем, куда ударит это чудовище.

— Под Сельцем кладут яички, — лениво сказал Бачо.

У Сельца уже грохотали итальянские пушки. На одну гранату итальянцы от-

ветили целой батареей, осыпавшей огнем Сельцские позиции.

— Вот видишь, так всегда начинается: наши щупают, пристреливаются, а итальянцы уже бьют по самым позициям.

Я напряженно наблюдал за сельцской артиллерийской дуэлью. Чистое небо было запятнано дымками разрывов. Вдруг Бачо взял меня за локоть. Я прислушался: за нашими спинами слышались голоса. Мы притаились. Приближающиеся говорили по-немецки, но я сразу почувствовал, что это не австрийцы: они говорили не на мягком венском диалекте, а твердо, обрубая слова. Вскоре мы их увидели: на узкую тропинку вышли два немецких офицера, за ними три солдата-телефониста тянули проволоку.

— Немцы! Откуда они взялись?

— Тише!

Немцы беседовали о фронте. Старший офицер с большим презрением отзывался об австро-венгерской армии, которая не может справиться «мит дize дрекиге макаронерей». Другой офицер вдруг заметил нас и толкнул в бок своего товарища.

— Унгарн! — сказал он быстро и поднес руку к бескозырке.

Я сухо ответил на приветствие, но Бачо, который плохо понимал по-немецки, был очень обрадован этой встречей. Немцы поднялись к нам. Мы представились. Немецкий лейтенант, рыжеватый молодой человек с неподвижным надменным лицом, держался прямо, как будто проглотил палку. Его товарищ был вольноопределяющийся-фейерверкер, маленький, смуглый, с живым и открытым лицом. Ему было неловко, что мы слышали высокомерные рассуждения его лейтенанта, я видел это по его глазам.

Я был подчеркнута холоден с ними. Бачо мычал, коверкая немецкие слова, и в результате мне пришлось переводить всю его речь. Немцы рассказали нам, что они офицеры прусского артиллерийского отряда, что их тяжелая батарея уже заняла позицию около виадука на Набрезинском шоссе и сейчас они вышли сюда на разведку. Артилле-

ристов перебросили сюда с русского фронта. Вольноопределяющийся в прошлом году принимал участие в карпатских боях. Он очень хвалил гонведов, бранил чехов и, конечно, с удовольствием ругал бы и австрийцев, если бы не боялся, что мы обидимся за них.

— Теперь мы пришли сюда, — сказал он, — чтобы привести в порядок этих итальянцев. Очень уж долго с ними тут возятся.

— Надо слегка потревожить их и заставить отступить, — сказал лейтенант.

— Вы, конечно, недели через две три думаете быть в Венеции? — спросил я невинно.

— А почему бы и нет? — ответил вольноопределяющийся с искренним удивлением.

Вдруг Бачо попросил меня перевести пруссакам следующую историю: в прошлом году он дрался вместе с германскими войсками под Ивангородом, где немцы неожиданно отступили, оставив открытым фланг венгерцев. Это был скандал на весь фронт, и в конце-концов немецкое командование вынуждено было послать венгерцам двенадцать железных крестов для восстановления контакта. Меня удивил неожиданный выпад Бачо, но оказалось, что до его сознания только сейчас дошли высокомерные слова лейтенанта. Однако я был очень благодарен Бачо. Выслушав рассказ, немецкий лейтенант сухо кивнул и, очевидно, понял, что тут его высокомерие не к месту. Они рассказали нам, что сюда перебрасываются два германских корпуса из армии Фалькенхейма и скоро здесь начнутся решительные схватки.

Бачо завязал дружбу с вольноопределяющимся, отдал ему свой Цейсс, и они попеременно разглядывали местность. Вдруг Бачо обратил внимание артиллериста на темнеющую на берегу моря группу строений.

— Будь другом, Тибор, переведи им, что это — доки Адриа-Верке, какой-то заброшенный судостроительный завод. По нашим данным, там сосредоточены крупные части итальянцев, и они себя чувствуют, как у Христа за пазухой.

Наша артиллерия никак не может их обстрелять, не умеет, что ли. Посмотри, как они там разгуливают.

В призме Цейсса я, действительно, видел вокруг корпусов довольно сильное движение.

— Взгляни, автомобиль выкатил из ворот.

— Ауто?

— Яволь, ейн ганц гевонлихес ауто.

— Ди ферфлюхте!..

— Попроси их, чтобы они пальнули туда.

Немцы развернули карту и быстро начали обмерять. Лейтенант смерил, подсчитал, фейерверкер позвал связистов и взял трубку.

— Надо бабахнуть туда, чорт бы их подрал. Знаешь, наши никогда не стреляют по этому месту, скажи им, что наши просто не умеют. А итальянцы, видя, что мы не стреляем, до того обнагтели, что собираются там совершенно открыто и так шумят по ночам, что даже на фронте слышно в тихую погоду.

— Халло! Халло! Хир беобхатунг номер фюнф. Да, да. Господин лейтенант, прошу данные, — крикнул фейерверкер.

Лейтенант отрывисто начал диктовать цифры: расстояние, прицел, очередь.

— Скажи-ка, Бела, — обратился я к Бачо, — а что, если у нашего командования есть особые соображения по поводу этого завода, и потому отдано распоряжение не стрелять?

— А брось, — отмахнулся Бачо, и я увидел на его лице смесь мальчишеского задора, хитрости и беспощадного злорадства.

Немцы уже отдали приказ, и из-за виадука послышались глухие пушечные салюты, потом до нас донеслось знакомое скрежетание тяжелых снарядов. Лейтенант быстро проверил свои расчеты и спокойно заметил:

— Эс ист ганц рихтиг.

Мы, как по команде, подняли свои бинокли. Гранаты ложились вправо от заводского здания в каком-то болотистом месте, и оттуда подымались гро-

мадные фонтаны грязи. Вокруг завода царило заметное оживление, маленькие, как букашки, люди разбегались в разных направлениях. Лейтенант бесстрастно диктовал исправленные цифры, и пушки сразу по три отвечали на команду.

Несколько секунд томительного ожидания, и граната полным попаданием ударяет в высокий корпус. Летят кирпичи, стропила, куски крыши. Лейтенант самодовольно улыбается. Мы подносим руки к козырькам, отдавая дань восхищения его таланту. Батарей посылают еще несколько тяжелых гранат, и мы наблюдаем за паникой, творящейся вокруг корпусов.

— Какой там сейчас ад, — говорю я Бачо.

— А, брось, я не хочу их жалеть, — сердито отвечает Бачо.

Артиллеристы заняты своим делом: лейтенант подсчитывает, и фейерверкер фиксирует его данные на карте. Бачо тронул меня за локоть. Мы прощаемся. И прежде, чем итальянцы успевают начать беглый обстрел Пиетро-Розы, мы уже находимся в долине. По склону Пиетро-Розы стелется дым, шрапнельные разрывы наполняют узкую долину визгливыми звуками, но снарядами, посылаемые на вершину, дают перелеты, вряд ли они могут повредить нашим немцам.

Когда мы уже пробираемся по ходу сообщения наверх, Бачо останавливает меня и с хитрой физиономией говорит:

— А теперь, дорогой Матраи, послушай меня: никому не говори ни одного слова о штуке, какую мы сегодня выкинули с немцами.

На мой удивленный вопрос он шаловливо поднимает указательный палец.

— Тсс... слушай. Прошлой осенью одна венгерская батарея не утерпела и слегка обстреляла Адриа-Верке. Ой, какие были неприятности! Мы тогда сами не знали, в чем дело, но потом выяснилось, что этот завод находится под высоким покровительством какого-то лица, близко стоящего к нашему высшему командованию. Итальянцы, зная об этом, нахально использовали этот завод

для своих целей. Ты же видел, что там сейчас находится не меньше полка.

— Но, скажи, пожалуйста, как же нашим не стрелять, если завод находится на той стороне?

— В том-то и дело, потому нас и разобрало. Представь себе, на наших глазах там собираются итальянцы, и стрелять нельзя. Ну, наша батарея прошлой осенью и саданула. Тогда паника была почище сегодняшней. Итальянцы, очевидно, держали там боеприпасы, которые после первого же попадания начали взрываться. Веселая была штука. А наших бедных артиллеристов сцапали, и началось расследование, полевая прокуратура и тому подобное. Но мы, фронтовые, тоже не молчали и целыми охапками посылали рапорты о прекрасной работе нашей артиллерии. Ну, наверху поняли и замяли дело, но, видно, тут большая собака зарыта. С тех пор прошло полгода, и Верке никто не трогал. И теперь мы с тобой с легкой руки наших немецких коллег... Ого-го! Вот будет комедия, если наше командование налетит на них за эту штуку.

Бачо весело смеялся, а я не мог притти в себя от удивления. Вот как! Война имеет свои международные ограничения. Я высказал это вслух, но Бачо не обратил внимания на мои слова, он был всецело поглощен мыслью о своей удачной проделке. Ему, простому фронтовому лейтенанту, удалось провести за нос высшее командование. В этом сознании он находил особое удовольствие. Я, конечно, обещал молчать.

Дни проходят под землей и под камнями. Между нами и неприятелем брустверы и ржавые изгороди колючих проволоч. Часовые день и ночь стояли за высокими стальными щитами, пулеметчики сменяются каждые шесть часов, как на карауле. Остальные прячутся в кавернах и врытых в землю окопах, как в лисьих норах. Мы тут кишим, как земляные черви, и это называется фронтом. А фронт — это наша жизнь, особая жизнь со своей системой, донесениями, отчетами, текущими делами и заботами. Жизнь перед лицом смерти.

Неделями мы не видим неприятеля, так же, как и он нас. Иногда итальянцы стреляют, иной раз с нашей стороны подымается нервная стрельба. Артиллеристы — особая категория: у них свои привычки и свои взаимоотношения. Когда итальянские батареи начинают щупать наши резервы, наша артиллерия бьет по их позициям. Потом обе стороны умолкают, и все погружается в тишину. И вдруг неожиданно откуда-то сзади, издали, вдруг ухаает тяжелая пушка...

Я не рассказывал Арнольду о случае с немцами, но, когда через день он спросил меня, не встречались ли мы во время разведки с немецкими артиллеристами, я многозначительно промолчал. Арнольд нахмурился и начал выстукивать своими длинными пальцами какой-то марш на столе. Этот стол, грубо сколоченный из досок ящика, так же похож на стол, как наше прозябание на жизнь. Я почувствовал, что Арнольд тоже о чем-то умалчивает передо мной.

Возникло целое дело. Расследование, отписки... Гранаты демецев ударили по чувствительному месту. Если бы снаряды попали в итальянские или даже наши окопы, все было бы в порядке, и никому не пришлось бы в голову допытываться, кто указал цель обстрела. А тут, видите ли, произошла ошибка.

Обстрел итальянцами виадука обошелся нам дорого: полным попаданием снаряда сорвало один пролет моста, который похоронил под собой четырнадцать человек из резервной роты.

Восьмой день стоим на 121-й. «Санаторий, — говорят офицеры, — добавочный отдых». За все время только одиннадцать раненых и двое убитых. Фенрих Шпрингер говорит:

— В Лондоне в один день погибает в среднем пятнадцать человек — жертвы уличного движения, а тут за восемь дней двое убитых и одиннадцать раненых. Пустяки, санаторий.

Чутора вернулся из Брестовице, где находится батальонный обоз, привез Арнольду письма и газеты. В Брестовице стоят немецкие солдаты. Чутора

возмущенно рассказывает, что эти дураки еще не пресытились войной. Патриоты!

Я с большим интересом прислушиваюсь к новым для меня рассуждениям Чутора о вреде патриотических заблуждений. Но Арнольд торопится смягчить впечатление, поддразнивая Чутору:

— В Германии пятнадцать миллионов организованных рабочих, и все они вдруг стали патриотами. В чем же дело?

Чутора хотел возразить, но замялся и нерешительно посмотрел на меня.

— Господин лейтенант — свой человек, — сказал Арнольд. — Можете без стеснения выкладывать перед ним свои социал-демократические иллюзии.

Чутора смотрит на меня с удивлением, как будто видит в первый раз, и щурит свои черные глаза.

— Да, правда, ведь я знаю господина Матраи, можно сказать, с малых лет. Но ведь вам известно, господин доктор, что, пока ходишь в этом мундире, надо считаться со взглядами начальства. Ох, сколько мне пришлось вынести, пока я к вам попал. И поневоле в конце-концов я пришел к убеждению, что молчание — золото. Да, вот какова судьба. Думали ли мы с вами, что я стану вашим денщиком, господин доктор?

Арнольда очень развеселили горькие рассуждения Чутора. Между ними установился какой-то странный полутоварищеский тон, и было ясно, что Арнольд взял Чутору в денщики не для того, чтобы иметь внимательного слугу, а исключительно с целью спасти старо-го знакомого.

Чутора — очень интересный человек. До войны он был популярным профсоюзным деятелем в нашем городе и близко стоял к редакции радикальной газеты, в которой работал Арнольд. В 1914 году Чутора разошелся с местным комитетом социал-демократической партии из-за вопроса о войне. Этот конфликт принес ему много неприятностей и огорчений. Несмотря на его возраст (ему было тогда тридцать восемь лет), его «выдали военным властям», то-есть применили к нему общегражданский по-

рядок и мобилизовали на фронт. О том, как это произошло, Чутора не любит рассказывать. Он называет социал-демократов лакеями и предателями и полшутя, полусерьезно грозит создать новую партию. Арнольд с большим уважением относится к своему денщику, и полшутливый тон между ними существует только для посторонних.

— Ну, а что будет, если в один прекрасный день вас освободят от военной службы и старые партийные друзья вновь примут вас в свое лоно?

— Ну, нет, — возмущенно говорит Чутора, — этому не бывать. Теперь я здесь собственными глазами вижу, собственными ушами слышу и на своей шкуре испытываю, что такое война. Вначале я тут много проповедывал против войны, но это была только теория, пустые слова, а всякая теория без практики то же, что церковная проповедь. Теперь другое дело. За каждым словом я вижу действие, чувствую страдание, и если, уважаемые господа, я это время переживу, то будет потом, о чем поговорить и что подсчитать. Вы думаете, мои единомышленники немногочисленны? Ошибаетесь, нас уже очень много. Ох, и крепкая же будет организация, организация с готовыми традициями.

Чутора длинно, с солдатскими завитушками ругается, что ему явно не идет, а Арнольд громко смеется. Я никогда не видел его таким веселым.

Среди писем Арнольду есть ответ от Эллы. Я тоже получил несколько строк. Типичное женское письмо. Очень рада, что мы вместе с Арнольдом, просит присматривать друг за другом. «Мои дорогие, ведь вы одни остались у меня. С Казимиром, слава богу, все кончено».

В дверь каверны постучали, и вошел телефонист роты Арнольда — Фридман. Тщательно закрыв за собой дверь, он тихим голосом, не по-солдатски, сказал:

— Господин обер-лейтенант, я совершенно случайно подслушал один телефонный разговор. Разговаривали где-то в тылу полковник и еще один офицер, чина которого я не мог разобрать. Дело в том, господин обер-лейтенант, — тут Фридман оглянулся на дверь и еще

более понизил голос, — дело в том, что мы с часу на час можем ожидать пятого ишонзовского боя.

Арнольд поднял голову. Телефонист стоял у двери с лицом заговорщика. Кроме нас троих, в каверне был еще Чутора.

— Когда был этот разговор, вчера или позавчера? — спросил Чутора.

— Первый разговор был позавчера, но сегодня я опять слышал то же самое. На этот раз говорил начальник штаба полка, господин капитан Беренд, с командиром нашего батальона, господином майором Мадараши. Очевидно, линия не в порядке, так как я великолепно все слышал, — сказал телефонист с явно притворной наивностью.

— Значит, можно ждать манны небесной, — пробурчал Чутора.

— Хорошо, Фридман, спасибо. Но вы немедленно должны сообщить кому следует о неисправности линии.

— Я уже сообщил, господин обер-лейтенант, — ответил Фридман, но в его голосе прозвучала фальшь.

Арнольд несколько раз прошелся по каверне, взяв подбородок в кулак, что всегда у него было признаком глубокой задумчивости.

— Гм... Значит, надо готовиться, Тибор. Необходимо приготовить позиции, укрепить слабые места, удвоить число наблюдательных пунктов и, главное, обеспечить входы в каверны от обвалов. Отдай приказание Гаалу насчет ходов сообщения и прочего. Но самое главное, по-моему, это проволочные заграждения, на них надо обратить особое внимание. Как бы итальянская артиллерия не растрепала их. Все же самые губительные атаки разбиваются у этих проволочек. Они не один раз уже оказывали нам неоценимые услуги.

Фридман нервно оглянулся и начал терзать свои желтые усы.

— Простите, господин обер-лейтенант, вы меня не поняли, — сказал он, не спуская глаз с Чуторы.

Арнольд в ожидании остановился.

— На этот раз, господин обер-лейтенант, речь идет не о наступлении итальянцев. Атаку должны будем начать мы, а не они.

Слова телефониста произвели необычайное впечатление на моего сдержанного флегматика: глаза Арнольда выкатились из орбит, он вытянулся, как-то по-звериному прыгнул к Фридману и резко схватил за плечо насмерть перепуганного телефониста.

— Чутора, взгляните, есть ли кто-нибудь в передней. Живо!

В первом помещении каверны обычно толпились ординарцы и телефонисты, но сейчас по случаю хорошей погоды все они находились на воздухе. Чутора исчез за дверью.

— Ну, Фридман, говорите толком, расскажите подробно, кто что говорил, а главное, объясните, почему вы думаете, что наступать будем мы, а не итальянцы.

Фридман еще не совсем оправился от испуга, но, увидев, что никакой беды нет, спокойно и толково передал, кто что говорил. Случайное замыкание телефонных проводов и болтливость штабных офицеров дали полную картину предстоящих событий. Соединенное германское и австро-венгерское командование решило, не выжидая пятой атаки итальянцев, само перейти в наступление. Атаку должны начать две колонны, но где, еще неизвестно, может быть, на правом фланге, но возможно, что и на одном из участков левого фланга.

— Ну, разумеется, ясно, раз немцы сконцентрировались здесь, значит, задумано наступление. Что тут будет, что тут будет, мой дорогой друг, — сказал Арнольд, неподвижно глядя в ослепительный огонь карбидной лампы. Потом он встряхнулся, сжал кулак, и рот его скривился в презрительной улыбке.

— Спасибо, Фридман, можете идти.

Когда телефонист закрыл за собой дверь, Арнольд в бешенстве топнул ногой.

— Задница чешется у глубокоуважаемого генерального штаба. Ну, чорт возьми, и наложат же ему по этому самому месту.

В дверь постучали, и, крадучись, вошли Чутора и Фридман.

— Господин обер-лейтенант, я вам еще не все сказал.

— Ну говорите, что там еще в этом проклятом телефоне.

— Господин полковник сказал, что наступлением будет руководить крон-принц Карл. Его королевское высочество уже прибыл со своим штабом в Лайбах.

Арнольд молча подошел к стене, снял термос, отвернул головку и, наполнив стакан сливовой, протянул его Фридману.

— Благодарю вас, Фридман, вижу, что вы неглупый человек. Выпейте скорей и исчезайте.

Фридман выпил, крикнул от удовольствия и, поблагодарив Арнольда, вышел из каверны. Чутора взял термос и повесил на прежнее место.

— Ну, Чутора, ваш диагноз? — спросил Арнольд.

— Говорите вы, господин доктор, вы ведь разбираетесь в политике.

— Хорошо, я поставлю диагноз, — засмеялся Арнольд. Он снял термос и жадно потянул из него, потом предложил мне, но я отказался. Арнольд снова коротко рассмеялся, сел на ящик, подобрал ноги и, обхватив руками колени, долго, пристально смотрел на серый каменный потолок. Сердце мое сжалось при виде мучений друга. Так продолжалось несколько тягостных минут, потом Арнольд глубоко вздохнул и встал. Он был спокоен, только лицо его разгорелось, и глаза лихорадочно блестели. Диагноз Арнольда был понятен без слов.

В этот вечер нас тихо сменили. На этот раз мы отправились в Брестовице, где стоял батальонный обоз. Брестовицкий лагерь кишел немцами. Когда мы входили в лагерь, они стояли вдоль шоссе и делали бесцеремонные замечания по нашему адресу, но, узнав, что мы гонимые, стали немного приветливее.

В этот день мы обедали вместе с немецкими офицерами. Они замкнуты и надменны, а мы, как заботливые хозяева, внимательны и предупредительны. Это меня глубоко возмущает. Я пытаюсь объяснить свое чувство Арнольду.

— Они ведут себя так, как будто они хозяева, а мы подчиненный элемент.

Арнольд не в духе и мрачно отвечает:

— Ты даже не подозреваешь, как недалеко ты от истины.

После обеда в батальоне состоялось закрытое офицерское собрание. В последнюю ночь пребывания на 121-й из третьей роты исчезли капрал Флориан и два гонведа. Об этом случае был составлен подробный протокол. Майор Мадараша был раздражен и жестоко придирался к командиру третьей роты, лейтенанту с золотыми зубами.

— Иногда статисты хотят играть самостоятельную роль и этим портят игру остальным, — едко сказал мне Арнольд.

— Ты думаешь?

— Безусловно. Ведь в эту ночь было очень тихо.

Протокол писал фенрих Шпрингер. Когда он огласил его, я почувствовал, что грозные слова, которые в других условиях произвели бы на меня большее впечатление, сейчас звучат совершенно бессмысленно. Изменник, дезертир... Как нелепы эти слова перед лицом смерти!

Интересно, где сейчас капрал Флориан? Каков он собой, высокого или маленького роста, есть ли у него усы? Известно, что он из Трансильвании, по национальности — румын. Он, наверное, теперь шагает со своими товарищами где-нибудь между Монте-Фальконе и Удине, их провожают два итальянских солдата, завистливо поглядывающие на своих пленных. А может быть и то, что в то время, как мы тут составляем этот страшный протокол, они лежат где-нибудь между окопами убитые. Ведь утром, наверное, повторилась обычная перестрелка, хотя во время смены было, правда, необычайно тихо.

Капрал Флориан! Я не чувствую по отношению к нему никакой неприязни. наоборот, он вызывает во мне совсем другие эмоции. Кстати, надо попросить Гаала, чтобы он непременно перетащил в наш отряд капрала Хусара. Хусар, должно быть, из мастеровых, и мне хочется держать его поближе к себе. Я должен изучить его.

На улицах лагеря наши солдаты знакомятся с немцами. Происходят забавные диалоги. Рядовые, владеющие не-

мецким языком, превратились в переводчиков. Немцы с непередаваемым презрением отзываются об итальянцах. Наши с острым венгерским юмором подзуживают их:

— Докажите, кумовья, что немецкие солдаты лучше венгерских, отберите у итальяшек Клару. Вот когда вы ее возьмете, мы поверим.

Долговязый немец с пегим узким лицом, удивительно похожий на тощую иоркширскую свинью, заявил, что взять Клару и спихнуть всю итальянскую банду в воду — для них раз плюнуть, и, конечно, они докажут превосходство немецкого солдата над гонведом. Германский солдат прежде всего умеет выполнять приказы начальства.

Немцы меня раздражают, Арнольда, кажется, тоже. Хорошо, что ему есть на ком сорвать злобу: он изводит Чутору, издеваясь над верхушкой с.-д. партии. С дядей Хоמוком я не могу поделиться своими чувствами. Его интересует в немцах совсем другое. Старик восхищается аккуратными рюкзаками немецких солдат, а короткие добротные сапоги пехотинцев вызывают в нем необычайную зависть.

— Очень аккуратно одеты наши кумовья, и, ей-богу, ничего лишнего, — повторяет Хомок на все лады.

Гаал доложил мне, что ротный с золотыми зубами без всяких разговоров отпустил к нам капрала Хусара, который, действительно, оказался каменщиком по профессии. Взводный очень доволен моим выбором.

Дни в Брестовице проходят серо, монотонно, и вот мы опять идем на смену. Немцев на день раньше перевели в Констаньевице. Снова ночной марш. Шпиц сегодня мрачен и неразговорчив. Наднях несколько молодых офицеров из нашего батальона, в том числе и мой помощник, поехали развлечься в Виллах. Дело в том, что Шпиц и Шпрингер получили, наконец, свое первое офицерское жалование и подёмные, и, как водится в таких случаях, новоиспеченные офицеры решили вспрыснуть это событие. Из Виллаха Шпиц вернулся заметно расстроженный. Я не рас-

спрашиваю его ни о чем, все равно он рано или поздно сам все расскажет.

Теперь мы знаем, куда мы идем: наши проводники ведут нас к Вермежлиано. Солдаты без конца толкуют о Вермежлиано, пугают новичков и издеваются над ними. Путь труден. Местами мы попадаем в районы, освещенные неприятельскими прожекторами. Как только в сноп света попадает живое существо, немедленно начинается жестокий обстрел шрапнелью. Еще при дневном свете в начале марша продельваем несколько упражнений: по команде «Прожектор!» — все должны броситься на землю, на острые камни, в ямы и рытвины, и слиться с мертвой, серой почвой. Во время марша мы несколько раз ложимся на землю. Достаточно одного неосторожного движения, чтобы маршевая колонна была обнаружена.

Итальянцы стреляют, но прицелы неверны, гранаты дают перелеты. Мы только слышим дикое урчанье взрывов и металлическое бречание осколков между камнями. Несколько раз чувствую холодное прикосновение смерти к затылку, и это заставляет меня еще сильнее прижиматься к спасительному серому камню.

Почва по дороге к Вермежлиано исключительно вулканического происхождения. Кругом сплошные торосы из ломких серых камней. Сплошь и рядом попадаются большие воронкообразные углубления, обнесенные заборами из камней. Ветры, время и люди нанесли землю на дно этих «кратеров», и эти кусочки являются единственной плодородной землей местных жителей. Дядя Хомок все время вздыхает:

— И как тут живут люди? Что за негодное существо человек! Во всякую щель забивается, как таракан.

Во время марша фельдфебель Новак, старший унтер роты Арнольда, избил одного моего сапера за то, что тот не лег во-время перед вспыхнувшим лучом прожектора. Возмущению Гаала нет границ. Он жалуется мне в надежде, что я привлеку фельдфебеля к ответственности.

— Бить не полагается, господин лейтенант, этого ни в одном уставе не сказано, — ворчит цугсфюрер.

Когда мы спускаемся в ложбину, он направляет электрический фонарь на лицо избитого солдата. Сапер — молодой человек, я его узнаю, — это наш электромонтер. Из носа и изо рта его капает кровь на висящую на груди газовую маску.

— Почему вы не легли во-время, Кираль? — строго спрашиваю я.

— Согласно инструкции, господин лейтенант, тот, кто не успел лечь, должен оставаться неподвижным, закрыв лицо и блестящие части снаряжения. Я стоял около камня и, нагнувшись, слился с ним.

Гм, он слился с камнем, серым, как солдатское сукно.

— Гаал, подайте рапорт и остановите кровотоечение Киралю.

Гаал очень доволен, он покажет Новаку. Я вспоминаю похожий на молот кулак Новака и представляю, с какой силой он мог ударить солдата. Откуда такая злоба?

Арнольд очень равнодушно отнесся к моему заявлению. Ведь мы идем на фронт, туда, на линию огня, там все уладим. Да, возможно, что завтра жесткая артиллерийская подготовка уладит все наши дела, и мои, и Арнольда, и Новака, и Гаала. А теперь только тихо, тихо, бесшумно, как шайка воров, крадется тысяченогий батальон. Вот мы и в ходе сообщения, таком узком, что в нем с трудом могут разойтись два человека. Окопы тут очень близки друг от друга: тридцать, двадцать шагов, а может быть, и того меньше: «доплюнуть можно».

— Ну, здесь надо будет крепко подвязать штаны и ухо держать востро. Глаза тоже не носи в кармане, а то в другой раз не понадобятся, — говорит старый добердовец «молодому», идущему за ним вслед.

Австрийские кумовья ландверы — очень аккуратный народ. После них даже самые отчаянные позиции имеют какой-то оттенок уюта. Начальник саперного отряда обер-лейтенант приглашает меня в свою каверну. Его денщик, на-

груженный вещами, ждет, пока господин закончит дела, а дядя Хомок уже таскает в каверну наше «оборудование». Обер-лейтенант передает мне подробную карту позиций. Эта работа — плод восьмидневной скуки, в ней видна добросовестная рука гражданского инженера. На чертеже показаны приблизительные расстояния между окопами. Невывала близость. Это даже не параллельные, а какие-то капризно бросающиеся друг на друга, переплетенные линии. В этом страшном лабиринте не сразу можешь ориентироваться. Обер-лейтенант берет с меня слово, что я обязательно сохраню и закончу чертеж и вручу тому, кто меня сменит.

— Главное, коллега, — это тишина. Нельзя собираться, нельзя шуметь, иначе хороший итальянский бомбометчик может натворить здесь дел.

— Ну, что ж, мы тоже умеем бросать бомбы, — раздраженно возражаю я.

Обер-лейтенант секунду удивленно смотрит на меня, потом, рассеянно улыбаясь, говорит:

— Да, твои солдаты еще могут драться. — И быстро откланивается.

Первую ночь никто не спит. Размещаемся, прислушиваемся, ждем утра, чтобы осмотреться в новых окопах. Утро приходит сырое и холодное. Дрожим и ждем обычной утренней перестрелки, чтобы согреться. Но итальянцы молчат, они прекрасно знают, что у нас была смена. Наши не могут утерпеть и постреливают, гулко отдаются отдельные винтовочные выстрелы, но молчание врага вскоре вызывает ощущение бесплодности усилий.

На рассвете в один из поворотов окопов второй роты итальянцы бросили три ручных гранаты. Одна из гранат застряла на бруствере и разорвалась с оглушительным треском, вторая перекапталась через окопы, а третья угодила в ход сообщения, но никто не пострадал. Первая бомба предупредила об опасности, и старые опытные солдаты во-время укрылись. От взрыва по окопам стелется дым и каменная пыль. Светло. Сменяем часовых, и я иду в свою берлогу, чтобы выспаться.

— Ну вот мы и на Вермежлиано, отец, — говорю я Хомоку.

— Хороший кофе с ромом приготовил я господину лейтенанту, — приветствует меня старик, принимая мою португую.

Да, кофе с ромом. Все течет в своих берегах. Живем, значит.

Полуденное солнце стоит над самыми окопами. Окопы здесь глубокие, сырые. Брустверы выстроены из мешков со щебнем и местами подперты большими бревнами. Очень много стальных щитов-бойниц, но они не спасают; итальянские стрелки ухитряются попадать даже в узкие щели этих щитов.

За мной приходит Арнольд. Мы выходим в окопы, где к нам присоединяется Бачо. Небольшой подъем, потом хорошо замаскированный ход сообщения, ведущий к тылу. Только когда мы идем по ходу сообщения, я вижу, что влево от нас, ближе, чем в километре, возвышается бурый лоб Монте-Клары. Несколько секунд, как зачарованные, смотрим на эту мрачную скалу, окутанную предостерегающей тишиной. Отсюда ничего нельзя рассмотреть, Клара кажется мертвой, но, когда глаз привыкает, я различаю рыжие линии проволочных заграждений. Ага, вот поворот окопов, ячеистые стены из мешков. Потом ясно вижу внизу, на боковой террасе, линию наших окопов.

— Что скажешь? — мрачно спрашивает Арнольд.

— Ну, и местечко! — вздыхает Бачо.

Долго разглядываем Бузи. Вдруг над нами что-то сердито цокнуло, от камня подымается облако пыли. Мы нагибаемся и слышим свист летящих пуль.

— Плохо стреляют, — говорит Бачо, вытирая глаза, запорошенные каменной пылью. Он старается быть флегматичным, и это ему удается.

— Почему стреляют разрывными? — возмущаюсь я.

— Пошли жалобу в Гаагу, — зло смеется Арнольд.

Идем назад. За нашими спинами еще шуршат пули между камнями. Иногда останавливаемся и смотрим на Клару.

Нам кажется, что, если бы сию секунду нам велели итти туда, мы пошли бы, не задумываясь, поймали этого стрелка и всыпали бы ему как следует. Мы не на шутку рассержены.

Так вот какова Бузи, вот что из себя представляет Клара. На меня произвела тяжелое впечатление эта голая скала, и, видно, Бачо и Арнольд тоже не остались равнодушными, хотя они уже и не в первый раз видят это знаменитое место.

Мы возвращаемся, подавленные и угрюмые. Кругом мертвая тишина, но тут, даже в тишине, чувствуется напряженность. Есть точки, где без перископа ничего не увидишь. Недели две тому назад у Вермежлиано был местный бой. От трупов, лежащих в междуокопном пространстве, идет тошнотворный, густой запах. Окопы почти пусты, на поверхности находятся только те, кого здесь удерживают обязанности, остальные стараются укрыться в прохладных местах.

Часть моего отряда во главе с Гаалом ремонтирует брустверы. В одном месте рядом с мешками вываливается полуистлевший труп. Пытаемся установить, кто это — итальянец или наш. В другом месте, на уровне человеческого плеча, в тени бруствера, блестя кольцо. Что такое? Конец дула винтовки. Как это сюда попало? Кто его знает. Во время боя не разбирают, из чего возвести бруствер, швыряют все, что попадает под руку: бревна, винтовки, ящики, одеяла. Все это сейчас лежит у наших ног. Разбирая свалившийся бруствер, извлекаем сотни вещей военного обихода и несколько человеческих тел.

У Вермежлиано наши окопы идут выше неприятельских, итальянцы только местами добираются до нашего уровня, поэтому они очень беспокойны и стараются подкопаться под наши позиции. На этот счет они большие мастера. В течение одной ночи они могут вывести из своих окопов маленькое ответвление. Эти ответвления называются на Добердо кишкой или апендиксом. Такой апендикс может незаметно добраться до наших проволочных заграждений и причинить нам серьезные неприятно-

сти. Сегодня ночью Шпиц с половиной нашего взвода будет работать над сооружением контр-апендикса. Наш апендикс должен будет где-нибудь в середине междуокопного пространства настичь апендикс итальянцев и дать бой. Бой окопов обычно начинается метанием ручных гранат и штыковыми атаками. Разрастаясь, он может превратиться в местный бой, пока его не прикончит артиллерия какой-нибудь из сторон.

— Окопы дерутся друг с другом, а не люди, — говорит Шпиц, и его бездумное юношеское лицо сияет от удовольствия. Мой помощник еще всей душой делает войну.

По сравнению с Вермежлиано 121-я высота теперь действительно кажется мне санаторием.

Возвращаясь к себе, еще издали вижу Новака, нерешительно топчущегося перед моей каверной. Новак — широкоплечий и, видно, очень сильный человек, но в нем есть странное уродство: кажется, что он родился нормальным высоким человеком, а потом какая-то сила природы сплющила его и придавила к земле. Новак — грубый, казарменный унтер, солдаты его не любят, но он, говорят, их не боится. Война для него — это полевая служба, казарма — гарнизонная служба, и точка. Заметив меня, он смущенно улыбается и с подчеркнутым уважением козыряет.

— Новак!

— Так точно, господин лейтенант.

Я несколько секунд думаю, что ему сказать. Ну да, с ним можно говорить только на языке устава, и на этом же языке нужно его хорошенько проучить.

— Фельдфебель Новак, вам известно, что устав не предписывает мордобоя?

— Точно так.

— На каком же основании вы удалили сапера Киралья?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, для его же пользы.

— То-есть как для его пользы?

— Ну, если, к примеру, дитя балует, так отец должен его слегка наказать.

— Кираль — не дитя, а солдат,

фельдфебель — не отец, а начальник. Согласно устава это так.

Новак в тупике, он не ожидал такого точного определения. Ведь на телесные наказания в армии смотрят сквозь пальцы, и, очевидно, я, защищая устав в этом пункте, являюсь исключением. Новак смущенно мнетяся.

— Фельдфебель Новак, — говорю я решительно, — обо всей этой истории вы должны подать рапорт командиру вашей роты. Можете идти.

Новак козыряет и поворачивается по уставу. На камне гулко отдаются его тяжелые шаги. За поворотом окопа я вдруг вижу сияющее лицо Гаала. Делаю вид, что не замечаю его, и, войдя в каверну, сердито захопываю дощатую дверь.

В каверне пусто. Хомок куда-то ушел. Я стою в маленькой прихожей и электрическим фонарем освещаю вход в свое убежище. Это настоящая офицерская каверна. Глубоко врытая под камень, она кажется неприступной крепостью. Зажигаю свечу, сбрасываю ремни, и в эту секунду со стороны окопов доносится грохот взрыва. Свеча тухнет, я остаюсь в полной темноте. В поисках электрического фонаря сильно ударяюсь головой обо что-то твердое и острое, из глаз сыплются искры. В окопах слышатся крики, топот ног. Кто-то, тяжело дыша, останавливается перед каверной и открывает дверь. В полусвете я вижу, что наткнулся на каменную стену, думая, что это выход. В открытых дверях каверны стоит батальонный вестовой. Он передает мне книгу приказов. Беру книгу, иду в каверну и, зажигая свечу, спрашиваю:

— Что там случилось, Шуба?

— Итальянцы опять бросают кошек, господин лейтенант. Во второй роте двое раненых.

Поправляю свечу и читаю приказ. На сегодняшнюю ночь я назначен дежурным по батальону. В книге приказов я должен указать место своего пребывания. Конечно, буду у Арнольда, ведь там телефон. Пропуск, пароль... Сколько формальностей.

— Шуба, заходите в каверну, ведь кошки летают, — кричу я вестовому.

Он не отвечает, наверное, не слышит. Ну, пусть немножко отдышитесь, ведь ему, бедняге, пришлось бежать.

Кошками наши солдаты называют мины, которыми и мы, и итальянцы порядком досаждаем друг другу. В нашей позиционной войне окопы обеих сторон точно пристреляны, и надо постоянно быть на-чеку. Эти мины издают в полете особый мяукающий и шипящий звук, поэтому их и называют кошками.

Ищу в книге приказов страницу, где говорится об обстреле Адриа-Верке и упоминается о неизвестных гонведских офицерах. Даже батальонное начальство не очень сочувственно отнеслось к этому делу. Улыбаясь, захопываю книгу и встаю. И вдруг как будто чья-то сильная рука ударяет меня в грудь. Я падаю навзничь. Свеча тухнет, но через полуоткрытую дверь проникает свет. Чувствую, что я цел, что это удар от сотрясения воздуха. Решительно выбегаю в окопы.

— Шуба! Где вы, Шуба?

У поперечного поворота, в пяти шагах от каверны, разорвалась мина. В солнечных лучах тает дым, смешанный с каменной пылью, и чувствуется едкий запах взрыва. Кругом никого нет, но на земле у входа в каверну лежит деревянная трубка ординарца. Трубка дымит, и мундштук еще влажен. Подымаю, смотрю.

— Шуба! — кричу я нетерпеливо.

Из-за поворота выбегает капрал Хусар и мчитя прямо на меня.

— Не видели ли вы Шубу, ординарца? — спрашиваю я.

Хусар изумленно смотрит на меня, потом переводит взгляд на скалу, под которой расположена моя каверна. Не понимаю, чем об'яснить оторопь капрала. Вдруг на руку мне капнуло что-то теплое. Отскакиваю в сторону и вижу: на скале головой вниз лежит Шуба, из его раскроенного черепа льется кровь, тело медленно сползает вниз и прежде, чем мы успеваем что-нибудь предпринять, грохается перед входом в каверну.

Со всех сторон сбегаются люди: Хомок, Гаал, солдаты из взвода. Шуба убит ударом о камень. Его тело на гла-

зах начинает чернеть. Солдаты уносят труп и густо посыпают известью лужу крови, чтобы на нее не насели тучи мух. Я беспомощно держу в руках трубку и книгу приказов.

Натюр-морт.

Сегодня ночью буду дежурить. Надо сидеть у телефона и каждые полчаса давать стереотипные сведения штабу батальона. Пароль, пропуск...

Передаю Хомоку книгу приказов и трубку, прошу сдать в роту для отправки в батальон. Предупреждаю его, чтобы остерегался кошек. Хомок сует трубку в карман и входит в каверну. Я слаб и сухо кашляю, чувствую в легких страшную силу воздушного удара. Перед уходом дядя Андриш открывает бутылку вина, чего никогда раньше не делал без спроса, наполняет стакан и ставит на стол.

— Эх, господин лейтенант, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Да если бы и было две смерти, так нас два раза заставили бы умереть, — философствует старик.

От контузии учащенно бьется сердце. Выпиваю вино залпом, действует хорошо. Хомок ушел. Слышу, как кто-то тщательно счищает перед каверной кровь Шубы. Распоряжается Гаал.

Одна смерть, две смерти... Кто бы мог заставить его умереть два раза? Кто?

Чувствую себя скверно. Но к двенадцати часам надо вступать в дежурство, это связано с рядом церемоний. Прежде всего я должен навестить своего предшественника по дежурству. Это — временный командир третьей роты, лейтенант с золотыми зубами. Его фамилия — Дротенберг или Дортенберг, я все путаю и поэтому избегаю с ним разговаривать. Он очень любезный человек: без всяких фокусов отпустил ко мне капрала Хусара. Дортенберг — старый лейтенант, он давно должен быть произведен в обер-лейтенанты, но это дело почему-то тянут. Говорят, что в начале войны он был замешан в какую-то панаму в связи с поставками в армию. Он очень богат.

Перед тем, как отправиться к Дортенбергу, я должен повидать Шпица и

категорически запретить ему на этот раз участвовать в разработке апендикса.

Где-то недалеко опять рвутся кошки, но по звуку разрывов устанавливаю, что это не ближе, чем в двухстах шагах. Но где же наши бомбометчики, почему они молчат?

Мимо каверны идут санитары, я слышу их тяжелые шаги. Кто-то громко стонет. Несут раненого.

Выхожу в окопы. На бруствере, рядом с наблюдателем, стоит маленький Торма и, глядя в перископ, следит за происходящим в междуокопном пространстве.

— Ну, что ты там видишь? — спрашиваю я, поощрительно улыбаясь.

— Ого, господин лейтенант, наши бомбометчики задали им, — шепчет он, блестя глазами. — Я сейчас видел, как один итальянец летел вверх тормашками и барахтался в воздухе.

У Тормы сверкают глаза от удовольствия, ему нравится эта игра. Я тоже успокаиваюсь и с удовлетворением принимаю к сведению успехи наших бомбометчиков. Значит, наши тоже не спят. Еле успеваю сделать два шага, как вдруг наблюдатель кричит:

— Берегись! Мина!

Стремительно укрываюсь под шрапнельным навесом, и тут же в мозгу мелькает мысль, что от мин это ничтожное прикрытие не спасет, но уже поздно. Мина оглушительно рвется, но, к счастью, за расположением наших окопов, где-то между камнями. Летят доски, щебень, осколки мины. Тут уже гонится и шрапнельный навес.

Шпиц еще спит, — очевидно, всю ночь бодрствовал. Над головой кадета горит слабая керосиновая лампочка. В помещении моего помощника густой, тяжелый воздух, но Мартын спит так сладко, что я не решаюсь его разбудить. Поговорим, когда вернусь.

Солдаты местами выползли из своих нор, их очень интересует работа наших бомбометчиков. Они спорят — можно ли увидеть мину во время полета. Наблюдатели, боясь, что эти разговоры навлекнут несчастье, сердито шикают на стрелков и гонят их обратно в каверны.

Но солдаты не слушают, они непременно хотят увидеть мину. А наши мины шуршат и улюлюкают в воздухе, увидеть их невозможно.

В свете ослепительного солнечного дня видно, как истрепаны наши солдаты. По возрасту они не одинаковы: есть совсем молодые, а есть и почти старики. Но в одном все схожи: бледные, серые лица, как у людей после бессонной ночи, вялые движения, лихорадочно беспокорные взгляды. Но встречаются и безразличные, тупые, а порой даже довольные физиономии.

Солдаты здороваются со мной подомашнему, без казарменной подтянутости, но я замечаю, что несколько человек уклоняются от приветствия, прячась из приличия за остальными. Я понимаю, что эта враждебность направлена не против меня лично, а против моего чина, против господина офицера. А мы, господа офицеры, еще подчеркиваем и с каждым часом углубляем наш разрыв с солдатами. Это наполняет меня глумливым беспокойством.

Дортенберга встречаю в окопах. В расположении второй роты сегодня ночью взорвался ящик ручных гранат. Услышав взрыв, итальянцы начали бешеный обстрел.

«Они боятся, а мы еще больше. Вот дух нашей войны» — думаю я.

Лейтенант приглашает меня к себе. Он — гурман, и час ждет накрытый стол.

В этой роте очень строгая дисциплина. Лейтенант придирчив и требователен, перед ним все тянутся, ходят на носках. Когда такой подтянутый солдат стоит перед тобой, отдавая честь, в его отупевших глазах нет ни искорки мысли.

Ротный писарь приносит переписанный рапорт о сданном дежурстве лейтенанта. Из батальона выбыло свыше двадцати человек, из них семь человек убитых и один исчез. Исчез Антон Моравек.

— Куда он делся? — спрашиваю я лейтенанта.

Дортенберг пожимает плечами и с возмущением смотрит на стоящего перед ним писаря.

— Вы что, с ума сошли, Берталан? Разве слово «касательно» пишется через два «с»? Вы хотите, чтобы я отправил вас в роту?

Писаря бросает в жар и холод.

— Виноват, я очень спешил, господин лейтенант, — лепечет он и убегает с листом, чтобы скорее исправить недопустимую ошибку.

— Ты спрашиваешь, куда он делся, — говорит лейтенант. — Возможно, что он находился в том помещении, где разорвались гранаты, а может быть, просто-напросто дал драпу. Думаешь, мало таких? Да, если бы не держали их в ежовых рукавицах, они бы нам показали.

Дортенберг глубоко убежден в том, что солдаты должны быть под железной пятой. Он говорит об этом так, как будто это само собой разумеется, и не понимает, что его слова являются уничтожающей критикой духа армии. Золотозубый смотрит на войну оптимистически. Он считает, что эта война была неизбежна и нужна. Дортенберг — барин, хотя нет, не барин, а просто очень богатый человек. А богатство делает человека барином, и это барство выражается у богача ярче, чем у представителя какой-нибудь благородной обедневшей фамилии.

Арнольд разбудил во мне до сих пор дремавшие чувства, и теперь я ясно вижу искаженное, но реальное лицо войны. Не знаю, должен ли я быть благодарен Арнольду. До сих пор я не задумывался над происходящим, а сейчас всякое явление действует на меня с остротой новизны. Война здесь — это камни, пушки, солдаты и господа офицеры. Да, да, господа. Мы живем вместе с солдатами, вместе страдаем и вместе умираем, и все же нас разделяет непроходимая пропасть. Сейчас особенно остро чувствуешь несправедливость этой многовековой традиции. Наша армия представляется мне не войском, а громадным, вооруженным до зубов стадом. И мы его погонщики. Но кто же хозяин? Мы, венгерские и итальянские погонщики, гоним друг на друга две разноразличные, но потрясающе похожие массы и следим за тем, чтобы они во-

время разряжали свои винтовки, пушки и пулеметы, во-время бросали гранаты и кололи штыками и... Антон Моравек исчезает. Бывает и так.

Снова робко входит писаря и подает исправленный рапорт.

— Семь солдат выбыло. Чортовски дорогое удовольствие, — говорит лейтенант, пробегая рапорт.

— Дорогое? А что именно дорого? — спрашиваю я.

— Да все дорого: амуниция, обучение, транспорт сюда, ежедневный рацион. Это же стоит денег. И вот какой-то дурацкий взрыв все уничтожает.

Во мне закипает возмущение, с губ готовы сорваться гневные слова, но вместо этого осторожный взгляд на писаря и кислая улыбка.

— Да, предприятие нерентабельное, — говорю я иронически.

Золотозубый громко смеется, видимо, моя ирония не дошла до его сознания.

— Ба, ба, ба, — говорит он с набитым ртом, — но дирекция не останавливается ни перед какими затратами.

— Жаль, что мертвых нельзя ни на что утилизировать, — продолжаю я в том же тоне.

Лейтенант, наконец, понял, что я не разделяю его взглядов, и умолк. Когда мы встали из-за стола, он подписал каллиграфический переписанный рапорт, и мы отправляемся в штаб батальона.

По дороге Дортенберг обстоятельно рассказывает мне, что необходимо делать во время дежурства, предупреждает о капризах начальника штаба батальона, требующего донесений каждые полчаса. Правда, это можно делать только до полуночи, пока он не ляжет спать. Но, конечно, если случится что-нибудь экстраординарное, батальон надо известить немедленно.

Ход сообщения, по которому мы идем, настолько глубок, что его стены тянутся выше головы. Мне кажется, что мы идем по серой улице восточного города. Ходы сообщения ведут к естественным углублениям, которые очень часто встречаются на этом участке добродовского плато. Эти круглые ямы похожи на потухшие кратеры, но ясно,

что они не вулканического происхождения, их вымыли дожди тысячелетий.

В первой воронке разместились в мирном сожительстве огневой склад и перевязочный пункт. Дальше стены хода сообщения со стороны Бузи уже защищены мешками со щебнем. Дортенберга Клара не интересуется, а я то-и-дело останавливаюсь и, взобравшись на гребень стены, пристально вглядываюсь в темную массу камней. Штаб батальона находится в нескольких воронках. Здесь воронки весьма благоустроены, каверны хорошо пробетонированы, и на плодородной земле растут цветы. Цветники окаймлены изгородью из громадных осколков гранат, а местами и целыми, неразорвавшимися гранатами. Эстетика войны.

— По-барски живут в батальоне, — говорит Дортенберг с нескрываемой завистью.

Лейтенанта Кенеза в штабе нет, приходится ждать. Мы удобно устраиваемся в тени шрапнельного навеса и наблюдаем за этим новым, таким не похожим на наш, миром. Это мир штаба, всего только полкилометра в тылу, и уже совсем другая жизнь. Даже рядовые одеты не так, как наши, их форма новее, опрятнее, видно, что люди устроены. Это те из солдат, которым удалось своими сильными локтями проложить дорогу к теплomu местечку.

Это фронт и все-таки не фронт. Сюда мины уже не долетят, гранаты еще могут, но штыковые атаки, пулеметный и ураганный огонь вовсе не беспокоят штаб. И все-таки фронт.

Лейтенант Кенез появляется в ходе сообщения, соединяющем первую воронку со второй, в которой для командира батальона выстроена настоящая подземная вилла. Лейтенант Кенез приглашает нас к себе. Его кабинет свеж выбелен, и свет он получает из окна. Под тем предлогом, что должен ознакомиться с расположением батальона, я прощаюсь с Дортенбергом и иду обратно на передовую линию.

Сегодня я — дежурный по батальону, уполномоченный порядка.

По ходу сообщения гуськом двигается смена батальонных вестовых и орди-

нарцев. Один из вестовых (он видит меня, это ясно) рассказывает остальным историю Шубы, которого застигла смерть перед моей каверной.

— Ну, этот лейтенант весело начинает свое дежурство.

— Шуба сам виноват, ведь господин лейтенант приглашал его в каверну, — говорит другой, тот, что поближе. Потом он обращается ко мне: — Вот Шубу оплакиваем, господин лейтенант.

— Да, ему шуба больше не понадобится, — шутит кто-то из ординарцев.

Я не отвечаю, и солдаты идут некоторое время молча, как провинившиеся дети. Сейчас я не чувствую к ним ни жалости, ни сострадания. Народ — как море. Волны выбрасывают на скалистый берег брызги пены, и не успеет солнце выпить эту влагу, как море уже забыло о ней.

Я замечаю, что начинаю освобождаться от депрессии, которая охватила меня в первое время. Арнольд не прав: сейчас не время философствовать. Над нашими головами меч, и мы прежде всего должны парировать его удар. Вот — война. Но эти твердые, уверенные слова проваливаются в моем сознании, как копейки в дырявом кармане нищего. Я еще не могу смотреть на растерзанное тело солдата с таким равнодушием, с каким смотрят на только-что зарезанного теленка.

«Ты знаешь, сколько стоит обучение солдата, обмундирование и вооружение?».

Кому? А этому солдату сколько стоит? — хотел спросить я золотозубого, но не сделал этого, потому что мы с ним говорим на слишком разных языках.

Я вхожу в тупичок. Здесь ход сообщения настолько узок, что может идти только один человек, и тупики служат для обхода встречных. Карабкаюсь на стену тупика, обложенную серыми карзскими камнями, и смотрю на открывшуюся передо мной картину. Голая, лишенная растительности, каменная пустыня. Над моей головой с пугающим шумом проносится стая быстрых птиц. Небо безоблачно, только около Косича

клубится какой-то бурый туман, но он скорее похож на дым, чем на облака. Из Сельда доносятся частые небольшие взрывы, очевидно, рвут камень для новых окопов, а может быть, это мелкие мины.

Долго смотрю на мертвую верхушку Клары. Никакой жизни. Когда созерцание Монте-Клары надоедает, перехожу на другую сторону окопчика. Здесь тот же безотрадный пейзаж, но дальше синеют отроги романтических, зовущих Тирольских гор. И там, среди этих гор, тоже война. И на Ортлере, у Толмейна, на Капоретто, Трентино и перед чарующей долиной горного Эча — то же самое. Я поднял голову, и захотелось мне вспомнить синеву итальянского неба. Да ведь это и есть итальянское небо! Как дико, как смешно, что между нами и Италией война. Как это могло произойти? Правда, Италия страдает манией величия, это время от времени возвращающийся рецидив славного, но минувшего прошлого.

Как заманчивы, как пленительны и далеки Тирольские горы! Обратно из Италии мы ехали через Швейцарию, Лозанну и Франценсфесте. И нигде я не видел такой зелени лугов.

От забора отскочил небольшой камень и упал к моим ногам. Я спрыгнул, как безумный, и с сильно бьющимся сердцем прислушался. Ничего. Показалось. Но настроение уже испорчено. Война, господин лейтенант, надо быть осторожнее.

На следующий день пишу в штаб батальона рапорт о своем дежурстве.

Когда, приняв дежурство от Дортенберга, я вернулся на передовые позиции, меня уже разыскивал Шпрингер, дежурный левифланговой роты. С Полозо из соседнего батальона к нам пришли два германских офицера с просьбой разрешить им корректировать отсюда пристрелку своей артиллерии. Я сообщил об этом по телефону Кенезу, и лейтенант сейчас же прикатил к нам. Мы очень предупредительны по отношению к нашим союзникам, они же холодны и корректны, очевидно, их утомляет эта чрезмерная любезность. Лейтенант Кенез пробыл с нами недолго.

Прощаясь, он несколько раз повторяет мне, что с гостями надо быть очень внимательным.

Я отвечаю с деланным простодушием:

— Не волнуйся, все будет в порядке, если только какая-нибудь кошка не попадет в них.

Кенез на секунду снимает пенсне и становится до смешного похожим на разнузданную лошадь.

— Мины? — спрашивает он удивленно.

— Да, — говорю я уже серьезно. — За это я не могу принять на себя ответственности.

Кенез — неглупый человек. Он кисло улыбается и крепко жмет мою руку.

— Я пришлю тебе табак и закусок для гостей, может быть, они проголодаются. Куда это направить?

Указываю каверну Арнольда. Кенез важно козыряет и уходит. Я остаюсь с немцами. Упорно молчу. Старший из них — тучный запасный обер-лейтенант с ствисшими усами, другой — небольшого роста, тоненький, бледный лейтенант из молодых. Они тихо совещаются, разглядывая позиции через великолепные перископы. Главным образом их интересует Клара. С офицерами пришли четыре немецких солдата. Наши стрелки смотрят на них без враждебности, но холодно. Гонведы лихо поплевывают и, не выпуская изо рта трубок, с гордой сдержанностью обмениваются впечатлениями о немецких кумовьях. Я подхожу к офицерам, они обрывают свой разговор. Сообщаю им, где я буду, заверяю, что всегда готов к их услугам, и, оставив за себя Шпрингера, ухожу к Арнольду.

Первые три часа моего дежурства проходят в абсолютной тишине. Арнольд сегодня неразговорчив, и я решаю не беспокоить его упреками, хотя многое хотел бы высказать виновнику моего пессимизма.

Лейтенант Кенез присылает целую корзинку разной снеди. Когда вестовой выкладывает ее содержимое на стол, я не могу удержаться при виде шоколадных конфет и начинаю с жадностью поглощать их. Арнольд улыбается.

— Сколько в тебе еще ребячества!

— Угу, — мычу я с полным ртом.

В этот момент открывается дверь, и врывается взволнованный, запыхавшийся вестовой.

— Господин лейтенант, господин обер-лейтенант, скорее!

— Что случилось?

— Немцы под Кларой. Господин Фенрих Шпрингер заметил их.

Мы хватаем бинокли и мчимся сломя голову. В окопах натываемся на Бачо, наблюдающего в перископ за тылом.

Я отдаю на-ходу распоряжение:

— Солдат загнать в каверны!

— Что случилось, Бела?

Бачо подает мне перископ. У подножья Монте-дей-Сэй-Бузи, приблизительно в двухстах шагах от зигзагов наших окопов, по совершенно открытой местности движется, как на учебном плацу, двойная цепь наступающих немцев.

Я рассылаю по всем направлениям ординарцев, приказываю сообщить о происходящем штабу батальона и отдаю распоряжение привести роты в боевую готовность.

Но где же немецкие офицеры?

— Господин Фенрих Шпрингер ушел с ними в ход сообщения. Они находятся у третьего тупика.

Все трое, Бачо, Арнольд и я, спешим туда. Пулеметчики загатавливают воду, стрелки покорно уходят в каверны. Усиливаю наблюдательные пункты. Солдаты взволнованно смотрят нам вслед.

Шпрингера и немцев быстро находим. Мы устраиваем около тупика помост из досок и можем наблюдать за событиями, как из театральной ложи.

Цепь немцев уже в двадцати шагах от наших основных линий. Они идут тремя уступами. Немецкие офицеры следят за ними с непоколебимым спокойствием. У Арнольда расширены зрачки, Бачо покусывает ногти, Шпрингер тяжело дышит. Вдруг перед нашими окопами, там, где тянется темная линия проволочных заграждений, подымается густое дымовое облако, и доносятся тяжелые разрывы. Два, пять, десять.

«Ага, это, наверное, взрывающиеся трубки Лентоша» — думаю я.

Тишина. Немцы подошли уже вплотную к нашим позициям и побежали. Мы слышим их ослабленный расстоянием боевой клич.

Сейчас их не видно, все затянуто дымовой завесой. Я смотрю на Бузи. Что теперь будет? Но Клара молчит, и в этой тишине чувствуется страшная угроза. Отдельные атакующие карабаются на первую террасу. Дым расстилается все дальше и дальше, и вдруг Клара выбрасывает несколько длинных огненных языков.

— Ди швейне хабен фламменверфер! — воскликнул немецкий лейтенант и растерянно заморгал. Атакующие снова закричали, и мы отчетливо видим несколько фигур, выбросившихся из огня и дыма вперед. Огненные языки увеличиваются, и вдруг вся гора, как будто обвитая гигантской гремучей змеей, загрохотала. Отрывисто стучат винтовки, их выстрелы подхватывают бешеные пулеметы; с сухим треском, как будто ломаются громадные доски, рвутся мины; с лаем и ржаньем выбрасывают огонь скорострельные окопные пушки. И все это длится не более пяти страшных минут.

Мы должны покинуть свой наблюдательный пост и укрыться на передовых позициях, чтобы не стать жертвами гудящих вокруг наших голов косых рикошетов. Уже стреляют и итальянцы, стоящие против наших окопов, перестрелка постепенно ширится до самого Полазо. Во многих местах, наверное, даже не знают, в чем дело, но стреляют в безумном страхе. С Полазо и Редьгулы не видно Клары, но все же и там трещит перестрелка. Мы заставили наших стрелков остаться в кавернах, и на поверхности нет никого, кроме наблюдателей и пулеметчиков. От итальянцев льется бешеный винтовочный огонь. Нервничают макарончики..

Мы бегом пробираемся к каверне, с нами все немцы. Тяжеловесный обер-лейтенант некоторое время пытается сохранить хладнокровие, но вскоре не выдерживает и вприпрыжку мчится вместе с нами. Когда добегаем до каверны,

огонь кое-где начинает утихать. Немцы немедленно из'являют желание вернуться и продолжать наблюдение. Они заметно нервничают. Мы находим другой наблюдательный пункт и выставляем свои перископы. Из батальона звонят каждую минуту. Я даю Фридману образец стереотипного ответа: «На нашем участке без перемен».

Клара дымит, как раскаленный паровоз. Дым расстилается по серой почве и сливается с камнем.

— Ад, — говорит Арнольд, не отрываясь от бинокля.

Бачо молчит, только глубоко затягивается папиросой и по фронтовой привычке пропускает дым между колен. Немецкий обер-лейтенант отдает энергичные приказания своим солдатам. Они быстро налаживают телефонную связь. С Клары доносятся одиночные, редкие выстрелы.

— За ранеными охотятся. В этом отношении итальянцы непонятно жестоки, — говорит Бачо.

Обер-лейтенант коротко сообщает по телефону обо всем, что мы видели. Он сухо излагает события, не разукрашивая их и не преувеличивая. Потом обращается к нам и спрашивает, как называется эта местность. Показываю по карте.

— Фермешклиано?

— Нет, Вермежлиано, господин обер-лейтенант.

— Не играет роли. Если вы ничего не будете иметь против, господа, мы слегка обстреляем Монте-дей-Шей-Пуши.

— Пожалуйста, — отвечаем мы хором.

Телефонную трубку взял лейтенант, и через минуту за склоном Дебеллы заговорили пушки. Монте-дей-Сэй-Бузи стонет, потом начинает визжать и хрипеть. Ее террасы сплошь окутаны желтыми, красными и фиолетовыми языками разрывов. Обстрел переходит в ураганный огонь, но макушка горы остается невредимой.

— Будьте любезны, господин обер-лейтенант, сообщите вашей артиллерии, что до сих пор она успешно была по нашим позициям, а на верхушку, где

идут линии итальянцев, не упал еще ни один снаряд.

— Как? — удивленно спрашивает немец.

— Как слышите, господин обер-лейтенант. Ведь итальянские окопы не на террасах, а на самой горе.

Обер-лейтенант хватает телефонную трубку и диктует несколько новых цифр. После небольшого перерыва обстрел возобновляется, но теперь все снаряды летят через Клару и падают за обрывом. Остальные батареи попрежнему бьют по террасам. Несколько раз еще пытаемся направить огонь, но почти безуспешно. Один снаряд ударяет в окопы итальянцев, но дым от остальных разрывов мешает проследить за результатами. И вдруг сразу, как по мановению руки, обстрел прекращается. Клару опоясывает стелющийся дым последних разрывов.

— Ну?

Мы напрасно ищем линию атакующих и вдруг видим их на террасах Клары около наших окопов, через которые они перепрыгивают. Бачо стискивает зубы.

— Ну, смотри теперь. Теперь смотри.

Верхушка Клары, где видна небольшая выемка итальянских окопов, оживает бешеным огнем. Атакующие уже не кричат, все исчезло, только одинокие фигуры, ковыляя, бегут назад.

— Конечно, — вздохнул Арнольд.

— Это не так легко, как некоторым кажется, — говорит по-немецки Шпрингер, и в его тоне звучит нотка удовлетворенности.

— Нет в них азарта. Двигались медленно, как-то бессильно, и кричали без злобы, — задумчиво произнес Бачо.

Обер-лейтенант бросает солдатам короткое «фертиг», и телефонисты отцепляют аппараты, оставляя проволоку. Мы прячем свои бинокли. Четыре часа двадцать минут.

— Может быть, господа проголодались? — обращаюсь я к немцу, разыгрывая хозяина, но без особой настойчивости. К моему удивлению, гости охотно отзываются на приглашение, и мы отправляемся к Арнольду. В окопах

к нам присоединяются Сексарди и золотозубый.

В каверне уже хлопочут Чутора и Хомок. Я вызываю батальон, но Кенез уже все знает.

Завтрак начинается в полном безмолвии, и мне начинает казаться, что мы сидим на поминках. Я поглядываю на Арнольда, зная его искусство завязывать беседу, но он упорно молчит.

— Тяжелый фронт, — произносит немецкий обер-лейтенант.

— Пять рот легло в сегодняшней атаке, — добавляет лейтенант.

— Пардон, — шепчет Сексарди Арнольду, — спроси их, пожалуйста, сколько штыков у них в роте.

Арнольд пожимает плечами, но немец уже справляется, что интересует господина обер-лейтенанта. Сексарди с трудом выдавливает исковерканную немецкую фразу. Обер-лейтенант без всякой задней мысли охотно отвечает:

— Вместе с командиром роты и его помощником двести шестьдесят два человека.

— Ну-с, ты доволен составом, коллега? — спрашивает Арнольд.

— Да, это боевой состав, — наивно говорит Сексарди.

Мы с Арнольдом улыбаемся. Переходим к вину и коньяку, и публика оживляется.

Итальянцы опять бросают кошек на наш участок. Грохочут тяжелые плоские разрывы. Вызываю к телефону наших бомбометчиков. Командир отряда, фенрих жалуется, что у него мало бомб. Властью дежурного я приказываю не жалеть снарядов, бить до последнего, чтобы заткнуть рот итальянцам. Запускаю короткое поощрительное ругательство, а в конце беседы раздражаюсь бранью, как настоящий пьяный офицер. Нервы согревает настоящая злоба, и мне нравится это новое ощущение. Иногда приятно притти в ярость и ругаться всласть, это так же приятно, как в мирное время хороший концерт или блестящая лекция любимого профессора.

Выпивка развязала языки и немцам, они стали общительнее. Молодой лейте-

нант просто болтлив. Он почему зря кроет пехоту и вызывающе спрашивает:

— Скажите, какого вы мнения о нашей артиллерии?

Но прежде, чем мы успеваем ответить, обер-лейтенант резко обрывает его и долго смотрит на него суровыми, свинцовыми глазами. Возникает неловкое молчание, которое мы с Арнольдом остро чувствуем, но ни Сексарди, ни Дортенберг ничего не заметили, а Бачо увлекся наполнением стаканов.

— Будь другом, — просит меня Сексарди, — переведи им, что вначале я тоже презирал итальянцев, но потом пришел к заключению, что не солдат — солдат, а его оружие.

Я не хочу переводить такое бессмысленное определение, но Дортенберг уже сделал это вместо меня. Немецкий обер-лейтенант, как будто очнувшись от тяжелого сна, хватается толстыми пальцами свой бокал и высоко подымает его.

— Господа! Всякому военно-мыслящему человеку уже год тому назад стало ясным, что в этой стадии войны фиксирующие элементы и дефензивное оружие во много раз превосходят силы офензивного, наступательного оружия. Но настоящий солдат никогда не должен забывать, что это — только временное явление. Надо твердо и, если нужно, слепо верить в гениальность того руководства, которое дало уже нам в этой войне такие средства прорыва, как газы и огнеметы. Это руководство неустанно работает над средством, которое выведет ваш фронт из застывшего состояния и раскроет его наглухо закрытые ворота.

— Если я не ошибаюсь, — вдруг заговорил Арнольд, — сегодняшняя атака, свидетелями которой мы были, есть не что иное, как любезное постукивание германской армии в двери нашего фронта?

Обер-лейтенант всем телом повернулся к Арнольду, который был в этот момент олицетворением ледяной корректности. Хорошо зная своего друга, я остро почувствовал едкий смысл его укола.

— Поднимаю бокал за германское командование! — закричал Сексарди.

— Да здравствует Конрад фон-Гетцендорф! — кисло ответил обер-лейтенант.

Я вышел в окопы. Мимо меня прошли санитары с носилками. По их тяжелым, твердым шагам я понял, что несут мертвеца.

Кругом царит сонная тишина, только далеко, далеко, у Сан-Михеле, что-то гремит, как приближающаяся летняя гроза. Я останавливаюсь и, делая вид, что поправляю гамашу, прислушиваюсь к разговорам солдат.

— Так им и надо. Пришли сюда и воображают, что будут звезды с неба хватать.

— Да где это видано так наступать! Мы только осенью четырнадцатого года так ходили в атаку, как они. В цепь развернулись. Подумаешь!

— А может, это новички, и иначе наступать не умеют?

— То-то и оно. Вот прямо в рай и угодили!

— Без пересадки.

Я иду дальше, размышляя о том холодном безразличии, с которым относятся наши солдаты к своим самоуверенным, хвастливым союзникам.

«Мы плетемся в хвосте немецкой политики» — вдруг всплывает в моей памяти фраза, над смыслом которой я до сих пор не задумывался. Я ее где-то читал или слышал, не помню, это не важно, а важно то, что эти слова только теперь дошли до моего сознания.

«В хвосте немецкой политики. Нас предали».

Пусто звучавшая до сих пор фраза вдруг наполняется живым содержанием. В этом помогла мне сегодняшняя встреча с нашими союзниками, Пиестро-Роза и солдатские разговоры.

Возвращаюсь в каверну Арнольда. Наши гости уже собираются уходить и ждут меня.

— Абсолютная тишина, господа. Бомбометчики итальянцев замолчали. Можно итти.

Немецкий лейтенант стал совсем розовым от вина. При свете солнца его глаза похожи на кроличьи. Обер-лейте-

нант хмуро пощипывает усы. Мы с Арнольдом провожаем их. Бачо откланивается. Его, беднягу, смущает то, что он не говорит по-немецки. Дортенберг и Сексарди остались в каверне допивать коньяк.

Немцы, желая миновать штабы батальона и полка, просят указать прямую дорогу на Нови-Ваш, где их ждут автомобили. Мы начинаем сверять наши карты и вдруг слышим какие-то странные звуки. Недалеко от нас кто-то громко смеется. Как дико слышать здесь такой беззаботный смех. Хотот то умолкает, то возобновляется длинной трелью, переходящей в удушливый хрип. Теперь он слышен совсем близко, и нам становится как-то не по себе. Мы прислушиваемся с недоумением и тревогой. Смех раздается не в окопах, не в ходах сообщения, а наверху между камнями. Я взбираюсь на стену хода сообщения, за мной немецкий обер-лейтенант.

Шагах в двадцати от нас, по незащищенному месту среди камней, шатаюсь, идет немецкий солдат. Его лицо закрывает большая черная борода, на глазах роговые очки. Маленькая бескозырка сбилась набок, ранец волочится по земле. Солдат не смотрит ни вправо, ни влево, идет, широко раскинув руки, и жутко оскалив рот, хохочет до удушья, до хрипа. Я знаю, что совершенно напрасно окликать его, и все же кричу. Сзади меня кто-то дернул, и я упал, сильно ударившись коленом. С той стороны, куда побежал сумасшедший, просвистело несколько пуль. Тишина.

— Распорядись, чтобы на ночь убрали труп, — говорит Арнольд, соскакивая со своего места наблюдения. Немецкие офицеры поспешно прощаются, и мы возвращаемся в свои окопы.

Долго не могу притти в себя. В моих нервах еще трепещет высоко вибрирующий голос сумасшедшего, в ушах, как эхо, отдается прерывистый, захлебывающийся вой. Слышу сердитый голос Арнольда:

— Возьми себя в руки.

Смотрю на его искаженное лицо, в котором не осталось ни кровинки, и быстро прихожу в себя. В окопах нас окружают солдаты.

— Вы видели? Слышали?

Арнольд отдает приказание, как только стемнеет, найти тело и отнести на сборный пункт.

В каверне мы застаем Дортенберга и Шпрингера в самом разгаре азартной карточной игры. Глаза у них горят, движения беспокойны. Этим все нипочем. Играют.

Арнольд велит откупорить бутылку коньяку, и я, беспрекословно подчиняясь ему, опрокидываю полстакана. Чокаясь с Арнольдом, замечаю, что его руки тоже дрожат. Внутри все горит, но это хорошо. Отхожу к столу и закусываю инжиром, чтобы прогнать ощущение одеревяненности во рту. И вдруг без всякой причины начинаю хотеть, громко икаю. Опынение быстро овладевает мной.

Просыпаюсь с головной болью. Уже вечер. Арнольда нет. В каверне горит карбидная лампа. Во рту у меня сухо. Входит Хомок.

— Все в порядке, господин лейтенант. Господин обер-лейтенант Шик уже сообщил в батальон. Немца нашли. Две пули сразу.

Старик подает мне стакан холодного, как лед, кофе. Кофе меня освежает, но голова все еще кружится. Я делаю вид, что ничего особенного не произошло.

— Да, я просил господина обер-лейтенанта сообщить обо всем в батальон, пока я немножко отдохну, — бормочу я.

Хомок бесстрастно выслушивает эту явную ложь. По крайней мере теперь он знает, как себя держать.

— Долгая еще ночь, — говорит он после некоторого молчания. Потом тихо прибавляет: — Да, немцы тоже не взяли Клару. Жаль, жаль. Хорошо было бы, если бы взяли.

Он еще возится около меня, а потом заявляет, что пойдет домой. Хомок пойдет «домой»! В нескольких шагах отсюда есть дыра, вырубленная под камнем, и мы называем ее домом.

В окопах сейчас ночь. Рассыпая трепещущий свет, взлетают осветительные ракеты. Прошел еще один будничнейший день. Тут были будни, а под Кларой праздник. Позиционная война — будничная война. Да, хорошо было бы,

если бы немцы взяли Клару... вместо нас.

Вернулся Арнольд. Он был у Мадараши. План предстоящего наступления уже не является секретом. Наступать будем не здесь на Добердо, а на правом фланге. В Тироле уже происходят значительные перегруппировки.

— Ну, это довольно далеко отсюда, — говорю я с облегчением.

— Но легко может случиться, что две-три дивизии будут переброшены отсюда на правый фланг. Ведь генерал Бореович тоже идет туда.

— Ну что ж, — вяло отвечаю я, — в Тироле очень хороший воздух.

— Bravo! — кивает Арнольд, и глаза его одобрительно улыбаются.

Мы больше не касаемся этой темы. Что может предпринять мореплаватель, когда среди пути барометр показывает бурю?

Лейтенанту Кенезу больше не звоню. Какого чорта! Пусть волнуется сколько ему угодно. Но Фридман, как заведенный автомат, каждые полчаса делает стереотипные донесения. Ладно.

Арнольд куда-то уходит, я снова остаюсь один в этой дыре. Здесь сыро, и за стеной возятся крысы. Ну, вот я и не один.

В дверь тихо стучат. Я не отвечаю, но потом вдруг издаю неопределенный звук: «Э-кхм!».

Входит фельдфебель Новак. Он аккуратно притворяет за собой неистово скрипящую дверь, поворачивается ко мне и, вытянувшись, застывает. На лице его неопишное изумление.

— Эти тут, — он показывает на переднюю («эти» — значит Чутора и Фридман), — сказали мне, господин лейтенант, что господин обер-лейтенант дома.

— Ну, что скажете, фельдфебель Новак?

Я внутренне ликую, но лицо мое серьезно. В глазах фельдфебеля ужас. Наверное, такой же ужас испытывает человек, случайно наступивший на вепру: он застывает и ждет, когда змея укусит его. Мне это нравится. Я доволен тем, что этот тяжелый, злобный человек сейчас мучается, что Чутора и

Фридман чувствуют себя вне сферы влияния этого мстительного унтера и свободно проявляют по отношению к нему свою глубокую солдатскую ненависть.

Новак извлекает из верхнего кармана своей куртки большой бумажник казенного образца и, вынув из него аккуратно сложенную бумажку, протягивает мне:

— Вот рапорт, господин лейтенант. Я принес господину обер-лейтенанту, как вы изволили приказать.

Я пробегаю бумажку, написанную каллиграфическим почерком, но в высшей степени безграмотно. Новак объясняет свой поступок неповиновением Киралья. В то время, когда он, Новак, требовал от Киралья подчинения приказу, Кираль выказал непослушание, и Новак заставил его подчиниться физической силой.

Молча возвращаю рапорт.

— Что изволили сказать, господин лейтенант? — спрашивает Новак голосом ангельской невинности.

— Не знаю, что скажет господин обер-лейтенант. Я бы такого рапорта не принял.

Новак вздыхает, аккуратно складывает рапорт и прячет его в бумажник.

— Скажите-ка, Новак, — говорю я неожиданно.

— Слушаю, господин лейтенант.

— Скажите, Новак, а вы не боитесь солдат? — спрашиваю я, вглядываясь в маленькие, хитрые глаза фельдфебеля.

Этот вопрос застаёт Новака врасплох. Он не знает, что ответить — сказать ли правду, или говорить так, как полагается перед начальством. И он широко улыбается.

— Этих вонючих мужиков? Разве их можно бояться, господин лейтенант? Да если бы мы их боялись, что было бы с нашей армией? Конец.

Я спешу отпустить Новака после того, как он успел сообщить мне, что, между прочим, мой отряд полон прескверных людей, социалистов и бунтарей, с которыми он может живо расправиться, если я ему поручу это дело.

— Если господин лейтенант прикажет, все данные будут у меня на руках в ближайшее же время.

Я отмахиваюсь и, желая довести Новака до полного отчаяния, говорю:

— Обо всем, что вы рассказали, я прекрасно информирован: взводный Гал регулярно дает мне исчерпывающие сведения о моем отряде.

И прежде, чем Новак успеет что-нибудь возразить, я его отпускаю. Волей-неволей фельдфебелю придется удалиться, и я некоторое время еще слышу за дверью его недовольное покашливание.

Да, этот человек нашел свое место на войне. Для него война — это продолжение казармы, и казарма будет продолжением войны. Как глубоко, должно быть, презирает он нас, запасных офицеров, поднимающих шум из-за какого-то жалкого мордобоя.

И вдруг мне становится странным, что Арнольд здесь, здесь, в этой каше. Ведь он давным-давно мог бы освободиться от этого испытания, и все же упорно остается здесь. Золотозубый, тот воюет за свою фирму, и каждую неделю получает из дому ящик снеди. Бачо сказал мне на-днях, что после войны он поедет на завоеванную территорию, где, очевидно, казна будет иметь большие хозяйства, и потребует себе для управления какую-нибудь экономию. Чутора образует новую партию. Шпиц делает войну в надежде добиться лейтенантского чина и получить две скромных медали, которые помогут ему попасть в высшую школу. Шпиц удивительно свеж и неиспорчен. Капрал Хусар для меня ясен: он принадлежит к партии Чуторы. Но среди солдат есть много и таких, как Хомок. Таких, очевидно, большинство.

«Жаль, что немцы не взяли Клару. Если бы взяли, нам бы нечего было думать об этом».

Конечно, таких большинство. Много и таких, как ординарец Шуба, которого кошка приклеила к стене, как подснежник к листу гербария, по выражению Шпица. Шпиц часто еще делает такие школьные сравнения и не понимает, как цинично они звучат в этой обстановке.

А я, лейтенант Матраи, неокончивший студент? Ведь я решил не остано-

вливаться до тех пор, пока не получу кафедру в университете. Я — будущий профессор языковедения и апологет финно-угорской теории. Вопросительные, восклицательные знаки, большие тире и точки плавают в воздухе.

Нет азарта в этой войне. Пушки грохочут, камни летят, солдаты лезут вперед, строчит пулемет, на ржавых изгородях проволочных заграждений ветер треплет выцветшие лохмотья убитых. Господа офицеры требуют дисциплины, господа унтер-офицеры выбивают зубы, гранаты разносят окопы, клубится дым. У господина капитана Лантоша целая торговая контора... А как смотрели на меня замученные кони!

Выхожу в переднюю. Чутора, увидев меня, сдергивает телефонные наушники, но только на одну секунду, потом он снова надевает их и слушает, только воровато смотрит на меня. Я вспомнил слова Чутора:

«Ведь это сын колесника Матраи. Папашу я хорошо знаю. Старательный хозяйчик, не чуждый социалистических теорий. Старший сын погиб еще в начале войны, тот часто бывал в рабочем клубе. И этот, господин лейтенант, ничего парень. Выучка господина доктор».

— Ну, что там говорят? — спрашиваю я Чутору.

— Немцы уходят, господин лейтенант. Видно, с них достаточно. Получили свое.

— Кто говорит?

— Сначала разговаривали капитан Беренд и наш майор, а сейчас господин лейтенант Кенез обменивается мнениями с Дортенбергом.

В окопах темно. Нерешительно останавливаюсь, и вдруг рядом с собой слышу голос:

— Куда-нибудь желаете итти, господин лейтенант?

— А, это вы?

Я узнаю по голосу одного из моих ординарцев.

— Покажите, где работают мои саперы.

— Пожалуйте направо.

Глаза начинают привыкать к темноте, уже вижу край бруствера. Из одной

каверны пробивается узкая полоска света. Из глубины доносятся звуки приглушенной песни. Ординарец готов ринуться в каверну и закричать на поющих, но я его удерживаю. По моему тону он понимает, что у меня самые мирные намерения. Уже начинаю различать голоса.

— Не так. Начинать надо быстро, а слова «везут раненых» тянуть. Ну, давайте еще раз попробуем.

(Это, очевидно, голос унтера).

Идут поезда, везут раненых.

Девушки ждут своих суженых.

Только каждый десятый вернется назад.

Остальные в могилах Добердо лежат.

— Опять не так.

— Ну, а как же?

— «В братских могилах другие лежат», — вот как поется последняя строчка.

Несколько секунд тишины, потом кто-то опять начинает первую строку, и хор подхватывает уже с исправлением: «В братских могилах другие лежат».

— Красивая песня, — вздыхает ординарец. — Печальная песня.

— Десятый! А вы не думаете, что это, пожалуй, много?

— Да что вы, господин лейтенант. Хорошо будет, если каждый десятый вернется, — говорит он с глубоким убеждением, и в его тоне чувствуется, что он причисляет себя именно к этим десятым.

Идем дальше. Нам преграждает путь часовая. Говорю ему пароль, пропускает. Вот тут работают саперы. Через щели разобранного бруствера видны движущиеся, как тени, люди. Там, между окопами, в страшной полосе, где гуляет смерть, работают пятеро смелых во главе со Шпицем. Окопчик удлиняют по способу, изобретенному Хусаром. Его метод оказался превосходным: за ночь удлинили на три метра, и неприятель ничего не заметил. Но куда приведет наш аппендикс — никто не знает. Мы получили его в наследство от части, которая здесь стояла, и с таким же успехом, очевидно, сдадим тем, кто нас смеит.

Браню Гаала за то, что он выпустил Шпица.

— Ничего не мог с ним поделаться, господин лейтенант: рвется. Вот она, молодость.

Я чувствую непреодолимое желание пойти туда и прошу Гаала указать мне выход. Гаал некоторое время упрямится, заставляет себя просить, потом мы оба вылезаем из окопов. Апендикс уже длинной в двенадцать метров. Тут идет подъем, но итальянцы еще не могут заметить этого опасного отростка. Мы ползем на четвереньках. Навстречу нам идут нагруженные камнями саперы. Всю извлеченную из апендикса землю и камень мы отправляем в окопы. Лихорадочная работа идет в полном безмолвии. Шпиц, грязный, как черт, ползет нам навстречу. Мы тихо разговариваем, сидя на корточках. Я на секунду поднимаюсь и оглядываю местность. Неподвижные камни, тихо шелестящие проволочные заграждения, ночной мрак. И вдруг все замирает, мы поспешно бросаемся на дно окопчика. Ракета, ракета летит от итальянцев. Ух, какой блеск! Взлетевшее в воздух ядро разорвалось, и освещающий снаряд тихо опускается на маленьком шелковом парашюте. Над нами трепещет зелено-желтый бенгальский огонь, потом все снова тонет в кажущейся теперь еще более густой темноте. Ракета упала в десять шагах от нас. Возможно, что ищут нас, а может быть, простая случайность.

— Работу на час прекратить, — говорю я, — наблюдайте. — И ползу обратно в окопы.

Перед рассветом, когда Арнольд уже заснул, я прошу Чутору дать мне знать, если что-нибудь случится, и иду домой. Мы долго беседовали с Арнольдом. Он говорил о мировой экономике. Я никогда не думал, что эта академически сухая тема может звучать сейчас так актуально. Итак, не славянская угроза, не защита цивилизации, а рынки, колонии, морские пути, соревнование немецкого и британского капитала — вот что было тайными пружинами войны. А сколько тайн, сколько проклятых тайн! И теперь мы тут на Добердо разрешаем важную проблему: кто будет иметь возможность выплавлять больше железа, выковывать больше стали, добывать из

земли уголь и растить хлопок. Я слушал бесстрастную речь Арнольда и чувствовал, как спина моя гнется под тяжестью его слов. Арнольд ни одним звуком не обмолвился о войне. Мы ведь немного повздорили и заключили безмолвный договор не касаться больше этой темы. Я сказал Арнольду, что страдаю от его пессимизма, что его горькие рассуждения силой своей логики пронзают меня, как штык.

Наконец, я дома и один. Лег на постель. Какое странное существо человек! Вот в этой дыре, по сравнению с которой пещера доисторического человека могла, наверное, казаться роскошным отелем, я чувствую себя дома. Может быть, это ощущение вызывает мое одеяло и ручной саквояж, а может быть, моя шинель и противогаз или недочитанная книга на столе и зеленая подушка, присланная мне матерью в Винер-Нейштадт за три дня до моей отправки на фронт.

Тихо заснул.

... Украдкой взглянул на запястье: манжета, сверкающая, как слоновая кость, и рукав черного костюма, даже не костюма, а фрака, и, очевидно, от хорошего портного, так как я очень легко себя в нем чувствую. Я стою на кафедре. На пюпитре передо мной раскрытая книга, бумага и стакан дрожащей жидкости. Это не вода, а нектар. В трех шагах от меня начинаются кресла. Одно из них свободно. Его спинка обита зеленой кожей, на которой выделяются золотые шляпки гвоздей. Остальные кресла все заняты. Белые пластроны, бороды, блестящие лысины, сверкающие очки. Я делаю доклад. Я говорю по-английски, делаю доклад о своем тибетском путешествии перед английским научным обществом. Ну да, англичане — господа мира, и я состою у них на службе, я им подвластен, но не совсем понимаю, как это случилось. Давнишней моей мечтой было поехать в Тибет по стопам Шандора Кереш-Чома и найти колыбель своего народа. И вот я там побывал. Путь мой лежал через Индию и Индо-Китай, и моей работе очень подействовали английские научные круги.

Я говорю веско, значительно, с паузами, так как некоторые господа в зале делают торопливые записи. Но одна мысль сверлит мой мозг. Я непременно должен вплести ее в свой доклад, иначе боюсь запутаться. Это — мысль о войне, о войне, которая несколько лет длилась между нами, милостивые государи, которую вы вели с германцами, но в которой и мой несчастный маленький народ вынужден был принять участие в орбите германских интересов. Мы были в хвосте событий. Да, но ведь итальянцы были в хвосте английской политики. Два хвоста, а сколько крови! Вы видите из моего доклада, что не исторические, не экономические и не политические факторы вынудили венгерский народ принять участие в этой страшной и, будем говорить прямо, преступной войне.

На свободное кресло садится сказочно прекрасная леди. Ее волосы высоко зачесаны, и в ушах блестят серьги, какие я видел только в ушах афгано-индусских женщин.

Да ведь это Элла.

Элла Шик здесь, но где же Арнольд? Я пробегаю взглядом ряды, пытливо вглядываюсь в лица — Арнольда нет. Элла разговаривает со своим соседом, молодым человеком с черной бородой. У него холодные зеленые глаза, но он смотрит на меня, ободряя и улыбаясь, как старый друг. Откуда я знаю этого человека? Не помню, но знаю, что мы — старые знакомые. Его глаза говорят: «Правильно, правильно, крой их, скажи им правду прямо в лицо. Это ничего не значит, что тема, которую ты затронул, мало относится к твоему докладу. Но ты недостаточно резок. Ведь ты говоришь от имени целого народа, несчастного, многострадального народа. Говори же смелей, используй трибуну».

Элла улыбается мне, но вдруг кто-то сзади хватает меня за локоть, дергает и шепчет: «Итальянцы, итальянцы!».

Это все равно — итальянцы или венгерцы. Все мы люди, и все мы страдали там, господа. Мы перенесли неимоверные муки и унижения, и кто сможет, наконец, мне сказать — за что?

— Итальянцы, господин лейтенант, итальянцы!

— Что такое? Какие итальянцы?

— Господин кадет Шпиц послал меня с тем, чтобы разбудить господина лейтенанта.

— Что, атака?

— Нет, два итальянца под нашими проволочными заграждениями. Их заметил господин капрал Хусар. Они лежат там под проволокой, и со стороны неприятеля их обстреливают.

Я уже на ногах, сон отлетел. Хорошо было бы разрыдаться или как следует избить этого ординарца, который меня разбудил.

В окопах рассвет, но солнце еще поκειται в водах Адриатики.

Война.

Я все еще под впечатлением сна, ведь он был так реален. Осторожно смотрю на запястье: обшлаг казенной куртки, загорелая, сухая рука. Вокруг окопы. Еще не кончено, мы еще по шею сидим в этой каше. Это факт, это действительность.

Около поперечной траншеи столпились солдаты. Прикрикиваю на них, чтобы они немедленно расходились, но взводный Гаал успокаивает меня:

— В этот час, господин лейтенант, никогда не бомбуют.

— Что случилось?

Шпиц поворачивается ко мне и машет рукой, чтобы я подошел к перископу. Подхожу, смотрю.

— Где искать?

— Прямо, прошу тебя. Видишь, впереди есть углубление. С нашей стороны оно открыто, так как здесь низкий край, а со стороны итальянцев его закрывает высокий забор. Вон там, где висит тряпка на проволочных заграждениях, видишь?

— Вижу, кто-то машет белым.

— Это носовым платком. Их двое. Один лежит, а другой стоит и смотрит сюда. Он очень взволнован, видно, боится, что мы будем стрелять.

Я вынимаю из кармана носовой платок и прошу дать мне винтовку. Рядом со мной становится стрелок. Привязываю носовой платок к штыку и приказываю поднять его над бруствером. Смотрю в перископ на итальянца. Он заметил, улыбается, счастлив, ужасно

счастливы. Но с итальянской стороны свистнула пуля, и на нашем бруствере подымается облако пыли.

— Ну, что мы будем делать? — спрашиваю окружающих.

Большая часть солдат старики. Рядом со мной стоят Хусар и Гаал. Я смотрю на молодого рослого ефрейтора из роты. Когда наши глаза встречаются, он отворачивается.

— Надо их спасти, — говорит Хусар.

— Обязательно спасти. Конечно, — заговорили сразу несколько солдат. Видимо, это дело их очень заинтересовало.

Что это — желание захватить пленных или сочувствие попавшим в беду?

Гаал посылает за санитарями. Пять человек сразу бросаются выполнять его приказание.

— Лестницу!

Моментально появляются целых три лестницы. Какое рвение! Люди определенно воодушевлены. Я давно не видел их такими.

«Интересно, что тут будет?» — думаю я.

Ждем санитаров. Решено, что они должны выйти за ранеными. Итальянцы пристреливаются, нащупывают местонахождение перебежчиков. Шпиц волнуется страшно. Он выхватывает из рук Хусара ракетный флажок и два раза стреляет вверх красной ракетой. Итальянцы прекращают стрельбу. Пришли санитары. Шумное совещание — что с собой брать: нарукавники с красным крестом или флажки? Над бруствером появляется санитарный флажок. Итальянцы молчат. Солдаты нетерпеливо торопят санитаров. Санитарный унтер-офицер с мертвенно-бледным лицом подымается на бруствер. Неприятель молчит. Среди санитаров споры — кому лезть. В этот момент молодцеватый ефрейтор быстро подымается по лестнице, ему передают вторую, и он перебрасывает ее на ту сторону. Я прилипаю к перископу.

Санитар несет носилки, а ефрейтор отстраняет проволоку. Они приближаются к раненому, уже спустились в яму. Второй итальянец подбегает к ним и молча что-то показывает. Развернули

носилки. Раненый итальянец громко стонет. Его поднимают на носилки, рядом с ним кладут две итальянских винтовки. Двинулись. Второй итальянец идет впереди, наши прикрывают его. Они уже близко. Раненый все время повторяет одно и то же слово, которого я не могу разобрать. Носилки поднимают и передают через бруствер, их подхватывают десятки рук. По лестнице, задыхаясь, с выпученными глазами подымается итальянский солдат. Пинья-шп! Выстрел со стороны неприятеля. Итальянец вскрикивает и валится в окопы. Его подхватывают.

— Сакраменто! — стонет он. Из плеча через разорванную куртку льется густая кровь.

— Дум-дум, — говорит Гаал. — Если бы попало в голову, снесло бы начисто.

Теперь лезет санитарный унтер. Он красен, хватается за лестницу дрожавшими руками и кубарем перекачивается через бруствер. Последним идет ефрейтор. Идет медленно, не торопясь, останавливается на самом бруствере, убирает лестницу с той стороны и снимает флажок.

Пиию-шшц!

— Скорей! Дум-думом стреляют!

Ефрейтор прыгивает с бруствера. Пристрелка уже в полном разгаре. Вправо от нас ударяет мина, позади у резерва рвутся гранаты. Все исчезают. Итальянцы уже находятся в каверне ротного командира. Раненый в плечо дрожит всем телом и, не смолкая, повторяет одно и то же проклятие. Лежащий на носилках трясется, как желе: у него прострелены обе ноги. Мы даем им папиросы.

— Они спасены, они спасены, — твержу я мысленно и в то же время рассказываю о храбром поведении ефрейтора.

Арнольд допрашивает пленных. Их сообщения верны, но малозначительны. Перед нами стоят сицилийские стрелки, это мы и так знаем.

— Фамилии офицеров можете назвать?

Некоторое время пленные молчат, потом называют фамилию одного капитана и фельдфебеля. Сообщить имена

остальных отказываются наотрез. Арнольд не настаивает, смотрит на итальянцев и улыбается.

— Капитан плохой человек?

— Правая рука дьявола.

— А фельдфебель его левая рука? — спрашиваю я.

— Си, си, — улыбается лежащий на носилках.

Раненый в плечо потерял много крови, лицо у него землистое, от папиросы ему становится дурно. Даем коньяку, делается еще хуже.

— Как вы попали в междуокопное пространство?

После долгого молчания раненый в ногу тихо произносит:

— Прошу вас, сеньор, работайте по ночам тише в своем маленьком окопчике.

Раненый в плечо сердито прикрикивает на товарища.

— Можете не отвечать, мы не настаиваем, — тихо говорит Арнольд. — Но, видите ли, вы уже вне войны, а мы еще воюем.

— Вы очень хорошие господа, но мы еще все-таки солдаты, — отвечает раненый в ногу.

— Хотите еще коньяку? — спрашивает Арнольд.

Артиллерийский обстрел был горячий, но непродолжительный. С нашей

стороны ни одного раненого. В районе второго взвода свалился бруствер, но это легко поправимо. Солдаты очень довольны. С удивительной заботливостью они провожают носилки до ходов сообщения.

Утро, реальное солнечное утро. Война продолжается.

Сны приятнее действительности, они больше похожи на жизнь, чем то, что нас окружает.

Надо писать рапорт лейтенанту Кенезу, начальнику штаба батальона. Надо сообщить, что по линии нашего батальона за истекшую ночь...

Я пишу донесение. Внешне я спокоен, даже немного высокомерен. Хожу, распоряжаюсь, указываю. Думаю, что кое-кто даже берет с меня пример. Я знаю, что своего помощника Мартына Шпица я поражаю своим хладнокровием.

Возможно, что эта усталость у меня не от ужасов войны, а от бесконечности и бесцельности того, что мы делаем и что каждый день монотонно и бессмысленно повторяется. Война уже, кажется, раздавила меня, я растерял все свои иллюзии. Ясно вижу я голый ужас войны в этой окопной повседневности, и каждый раз возникает у меня, и далеко не только у меня, один и тот же неотвязный вопрос: когда же это кончится?

(Продолжение следует)

Простые вещи

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

1

Синих волн
веселые гиганты.
Сильный ветер.
Синий небосвод...
Отплывает
из Одессы в Аликанте
Грузовой,
обыкновенный теплоход.
У него
цвета простого тона.
Нет орудий.
Палуба проста.
Почему же
толпы и знамена
И «ура!»
на пристани порта?
Перед ним
далекая дорога
До испанских
знойных берегов.
У него
в глубоких трюмах
много
Разных ящиков,
боченков и мешков.
Что там в них?
Не золото ль хранится?
Нет, не то!
Совсем, совсем не то!
В них лежат
консервы и пшеница,
Сахар,
мед,
ботинки и пальто.

Ой, пшеница!
Чем ты знаменита?
Чем же ты
других пшениц милей?

Кем,
когда
и где же ты добыто.
Зерновое золото полей?

Ну, ботинки...
Правильно. Крепки вы.
Ну, консервы...
Ладно. Вы вкусны.
Ну, пальто...
Теплы. Прочны. Красивы.
Ну, конечно:
сладок мед страны.

Но ведь вы
совсем простые вещи!
Каждодневно
видит вас страна!
Отчего же
сердце так трепещет
И повсюду
музыка слышна?

Почему,
куда ни взглянешь, —
знамя

И линкоры
отдают салют?
Даже солнце
радуется с нами.
Даже волны
весело поют.

Облаков
белесые завесы
Ветром сняты.
Ясен небосвод...

2

Отплывает
в Аликанте из Одессы
Грузовой,
обыкновенный теплоход.

Перед ним
далекая дорога
До испанских
знойных берегов.
У него
в глубоких трюмах
много

Разных ящиков,
боченков и мешков.

Есть на них
наклейки, знаки, штампы:
«Свердловск».
«Минск».
«Обдорск». «Баку», «Москва».

Много вещи
рассказали нам бы,

Если им
людские дать слова!

Иногда
любого грома резче
Тишина,
которой мы не ждем...

Слушай, мир,
о чем
простые вещи
Говорят
в безмолвии своем!

— Мы горды
страною лучшей в мире.
Рады мы
рождению своему
Под Москвой,
в Полтавщине, в Сибири,
На Кубани,
в Грузии,
в Крыму.

... Вот несут
мешки пшеницы
с воза.

Вот Грицько,
Абдул
или Иван
Их спружают
в тот амбар колхоза,
Где висит
плакат
«Но пасаран!».

... Вот гремят
машины фабрик платья.
Вот идет
конвейер обувной.
На знаменах:
«Для любимых братьев!
Для бойцов
Испании родной!».

В этот труд
всю мощь любви вложили
Мастера
стахановских станков,
Сотни глаз
любою складкой жили!
Сотни раз
проверен каждый шов!

На дворе
огромнейшего дома
Собралась
на митинг
детвора.

Посреди —
девятилетний Сема,
Предводитель
детворы двора.

У него
хватает сил и пыла
Сосчитать, —
хотя не без труда, —
Достоянье
тридцати копилков,
Отправляемое
«Туда!».

... И текут
рублевки и десятки
Из любого
уголка страны.
Вот
почтовый штемпель
Пятихатки.
«Тума». «Томск».
«Владивосток».
«Ромны».

Вот слова,
священные навеки:
— Для испанцев?
Больше запиши! —

Это сваны,
русские,
узбеки,
Тюрки,
финны,
ненцы,
чуваши...

.

И взошла
от имени миллионов
На трибуну
Дарья Лукина.

3

Головной платочек
тихо тронув,
Так сказала
родине
она:

— Трех сынов
имела я когда-то.
Трех сынов —
и все большевики.
Это были
славные ребята.
И красивые
и, как сталь, крепки.

Все они
со мною были рядом.
И ушли.
На фронт.
За сыном сын.
На гражданской,
в битве с белым гадом,
Три бойца
погибли,
как один.

И когда
пришел товарищ Ленин
Прямо к нам,
на митинг,
на завод,
Я спросила:
— Кто их мне заменит?
Больно сердцу!
Горе так и рвет! —

Вот Ильич
прочел мою записку.

Вот закончил
слово о войне,
И тотчас,
любимый,
близко-близко
Подошел,
чуть сгорбившись,
ко мне.

Он меня
под руку взял сердечно.
Мы пошли...
по цеху...
как друзья...
Ту любовь
я помнить буду вечно!
Те минуты
позабить нельзя!

Он сказал,
что каждый пролетарий
Чтить меня,
как сын родной,
готов.
Мол, и он —
что сын
рабочей Дарье,
По прозванию
матерь трех сынов.

Много нас
на фабриках и нивах.
Труден путь,
но радостен успех.
После битв,
больших и справедливых,
Будет мир —
одна семья счастливых,
Будет жизнь —
родная матерь всех.

С ним тогда
я долго говорила.
Он помог.
Он выручил меня.
Он согрел.
Он дал мне снова силы,
И хваля,
и чуточку браня...

Помню день,
что был безмерно ярок.
Я смогла
саму себя постичь!

В новый год
прислал он мне подарок.
Он, родной,
он, Ленин,
он, Ильич.

Были там
совсем простые вещи:
Сахар,
хлеб,
ботинки и пальто.
Я гляжу —
и все во мне трепещет.
Вещи милы?
Нет! Не только то!

Я гляжу —
полна моя квартира
Ярким солнцем
всех людских сердец.
В нем и я —
родная мать мира,
Дочь его
и правильный боец.

Я гляжу и думаю:
о, если б
Я могла
еще родить сынов,
Если б те
сыны мои
воскресли,
Я бы всех
опять
с веселой песней —
На фронты,
в окопы,
бить врагов!

Я и нынче
думаю все то же...
На земле
с врагом идут бои.
Я зову:
Испании поможем!
Там сыны сражаются мои!

Много там
подруг моих любимых,
Что теперь,
как я была тогда,
Крикнем им:
на помощь вам пришли мы

Дети,
сестры,
матери труда!

Мы для вас,
испанских пролетарок,
Для бойцов,
для битвы, для побед,
Посылаем
ленинский подарок,
Посылаем
сталинский привет! —

4

Впереди,
куда ни кинешь оком,
Только небо,
пена
да волна.
Позади —
далёко-предалёко —
Еле-еле
музыка слышна.

И стоят
на палубе
матросы...
Берега
видны едва-едва...
Мнится всем,
что ветер к ним доносит
Дорогие
тихие слова:
— Совершай
свой путь обыкновенный.
Поскорей
к Испании плыви!
Ты посол
грядущего вселенной.
Ты везешь
сокровища любви.
Марш, греми!
Эй, барабаны! Гряньте!
Выше стяг!
Труби, труба, поход! —

5

Отплывает
из Одессы в Аликанте
Грузовой
советский теплоход.
24 января 1937 г.

Чугунные часы

ИВ. РАХИЛЛО

Рассказ

В таком роскошном вагоне старик ехал первый раз в жизни. Раздвинув занавески, он стал смотреть в окно: поезд набирал скорость, проскочили сигнальные огни стрелок, проплыл длинный ряд фонарей Привокзальной улицы, зарево бессемеровой печи, и сразу — тьма, ночь, безлюдье; в этой тьме он силился разглядеть копы своего поселка. Закурив, Сила Иванович стал наблюдать за своим спящим соседом: молодой раскрасневшийся во сне белобровый летчик то-и-дело хватался за левый карман расстегнутой гимнастерки и резко откидывал руку в сторону, будто хотел вырвать из груди сердце. Он проделывал это с упрямой настойчивостью. Взобравшись на полку, старик стал следить за спящим, — в короткое время он успел установить, что летчик повторяет свой жест обязательно в тот момент, когда поезд дает толчки. «Бойтся, чтобы часы не украли» — определил Сила Иванович и на всякий случай пощупал в кармане свои. Он вынул их. Это были тяжелые и по виду неважные, недорогие часы из чугуна. Но не даром у Силы Ивановича первая мысль возникла о часах. Эти часы для него были дороже денег. Он берег их, как самое дорогое воспоминание о погибшем брате, Константине Ивановиче.

А брату эти часы подарил один матрос, убитый на баррикадах в девятьсот пятом году. В то время брату Константину было семнадцать лет. Он работал

портовым грузчиком. И там, в порту, сдружился он с одним матросом-большевиком. И вот, как рассказывал Константин, с этим самым матросом бились они вместе на баррикадах, и пуля настигла матроса. Умирая, он отдал брату часы, завещав, чтобы Константин Иванович берег их, как память об их боевой дружбе, и если будет сам умирать, то передал бы он те часы самому верному, самому надежному и достойному своему товарищу: «А часы эти, — добавил матрос, — подарил мне сам лейтенант Шмидт, поднявший восстание в Черноморском флоте...». Сказал это и умер.

Константин с той поры исчез; изредка он появлялся дома, матери показаться, — мать в нем души не чаяла. Он был занят на опасной работе: доставлял из-за границы оружие. Два раза его ссылали в Сибирь, и оба раза он бежал оттуда. Рассказывали, будто встречали его потом в Петрограде.

Но как-то дождливым вечером к ним домой зашел незнакомый бородатый солдат. Солдат принес часы брата. Он рассказал, что Константин Иванович погиб во время взятия Зимнего дворца. Когда передовая линия подбежала к дворцу, дворцовые ворота оказались закрытыми: Константин первый перелез через ворота и под огнем юнкеров открыл их. Он умер на руках товарищей.

В семье часы берегли и хранили, как реликвию.

Положив руку на карман и чувствуя под ладонью торопливое тиканье, Сила Иванович забылся в тревожном полусне.

Проснулся он от тишины. Поезд стоял. Серый рассвет струился через стекла. Летчик уже натягивал сапоги.

— А я к сыну еду! — неожиданно высказался Сила Иванович.

— В Москве, что ли, сын? — подержал летчик.

— Тоже летает. Горбатко.

— Горбаткин отец! — восхищенно вскрикнул летчик. — О тебе, брат, вся эскадрилья знает...

— Ну-ну, так уж и вся... — Сила Иванович самодовольно погладил усы. — Ты вот лучше объясни: чего ты всю ночь за карман хватался?..

— Опять хватался?.. Это, папаша, рефлекс. Привычка. Вот видишь эту штучку? — Летчик показал на синий жетон парашютиста. — Триста прыжков... У меня на толчок реакция выработана. Как толчок, так я сейчас же за кольцо хватаюсь, и даже во сне...

— Скажи, пожалуйста, — старик недоверчиво покачал головой. — Ну, а Гришка?..

— Гришка твой?.. Он, брат, теперь такой знаменитый, не подступись!

Сила Иванович и по газетам знал, что сын его стал знаменитым, что его принимали в Кремле и наградили орденом, но в сознании старика это как-то не укладывалось: будто бы это и не о сыне писали, а о ком-то чужом. Шесть лет назад Гришку, по разверстке комсомола, командировали в школу пилотов, и за шесть лет отец и сын не виделись ни разу. Сын был в семье самым младшим, и вырос он как-то незаметно. Старик не очень верил в твердость и силу этого поколения. «Старшие участвовали в гражданской войне, со смертью за руку здоровались, — и кость у них крепка, и сердце закалилось... А эти?.. Ни войны, ни горя: инкубаторные!»

Младший сын в его памяти оставался тихим и покорным юношей. Про себя Сила Иванович считал, что это от голодных лет. «Детям сахару не хватало...».

В Москву прибыли уже в сумерках. Сын встретил старика на перроне, — честное слово, если бы не парашютист, Сила Иванович не сразу бы узнал Гришку, так он вырос и возмужал. Они расцеловались. В голосе, в движениях, в походке сына старик с одного взгляда отметил обстоятельность и какую-то неуловимую независимость. «Остепенился».

— Придется на такси ехать, своя за покупками послана...

Сила Иванович с любопытством разглядывал Москву, людей, освещенные витрины. Разговор как-то не налаживался.

Новый дом стоял в тихом переулке. «Богато живут». В лифте старик вдруг оживился:

— А ну, давай с ветерком!

В прихожей сын снял шинель, и тут Сила Иванович своими глазами увидел на его груди орден. А когда старик познакомился с невесткой, когда прошел по квартире и осмотрел всю обстановку, библиотеку, спальню, — он сразу проникся уважением к сыну, его охватило даже чувство какой-то необъяснимой робости.

Гости собрались сразу: приехал известный авиаконструктор с женой и дочерью, военный с двумя ромбами, поэт, — потом летчики, художники, инженеры, артисты — и уже трудно было разобраться — кто. Гости говорили на незнакомые темы, но Силе Ивановичу нравилось, что у его сына такие важные и умные друзья.

Налили вина, поэт поднял бокал:

— Товарищи, сегодня мы собрались сюда по случаю награждения орденом нашего друга, летчика Гриши Горбатко, и прибытия в Москву его отца, славного Силы Ивановича. Я предлагаю поднять первый тост за наших отцов, завоевавших право на поднятие таких тостов. За славных отцов и матерей, давших жизнь нашему поколению! Постараемся же с честью пронести переданную нам эстафету свободы!

Гости выпили, зашумели и потребовали, чтобы дали ответное слово Силе Ивановичу. Старик был польщен тем,

что именно из-за него собрались на вечеринку такие известные люди. Он встал. Много ему хотелось выразить и передать этой молодежи — и о том, что они хорошие, воспитанные люди, знают науки, и пить умеют, но особенно подробно ему хотелось рассказать о тяжелой, беспросветной молодости своего поколения, и как они разорвали цепи и завоевали свободу, — и много еще чего хотелось высказать ему за этим столом. Сила Иванович поднял бокал, гости притихли. Старик медленно погрозил им тяжелым, обгорелым рабочим пальцем:

— Смотрите!.. Как следует там... — больше он не нашелся, что сказать. Но все поняли, что хотел выразить этими словами старый шахтер.

— Будь покоен, папаша, как зеницу ока!..

В полночь гости стали расходиться. Сын предложил отцу перед сном прогуляться, они оделись и вышли во двор. У самого крыльца ожидала машина; длинная, приземистая, она даже в темноте сверкала лаком и никелем деталей.

— Моя! — гордо сообщил сын, открывая ключом дверцу. — Давай, садись со мной!

Сила Иванович несмело влез в машину и уселся рядом с сыном. Поэт и невестка сели сзади. Машина бесшумно снялась с места; по кривым заснеженным переулкам они выбрались на широкую магистраль шоссе, и машина торжественно выпевая рулады, помчалась, обгоняя автобусы и грузовики, по гладкому, накатанному асфальту. Сын включил какой-то рычажок — и в машине возникла музыка, нежная, далекая. Затем удары колокола и голос.

— Вестминстерское аббатство, — сказал сын. — Лондон! — и стал переводить по-русски то, что передавалось из Лондона. Сила Иванович сидел, не шелохнувшись, искоса он смотрел на сына и удивлялся: неужели это он родил его?.. Однако, из чувства какого-то противоречия старик продолжал еще сопротивляться, ему не хотелось сдаваться так просто. «Спору нет — культурны, но на деле пока не пробованы».

Машина летела, будто на крыльях. Сзади, как за торпедным катером, фонтаном взлетала, била кипящая снежная струя: за толстыми зеркальными стеклами кружились белые, безмолвные поля. Навстречу и по пути, не смотря на глупую ночь, мчались грузовики с лесом, камнем, железом, цистернами, какими-то бочками, ящиками и чорт его знает еще с чем... Сила Иванович удивлялся.

— В мае открываем канал Москва—Волга, — сказал сын.

Домой они вернулись перед рассветом.



Утром Горбатко повез отца на аэродром: ему предстояло закончить испытание сверхскоростного истребителя новой конструкции. Ярковитневая машина с белыми крыльями, поджарая, стремительная, уже выведенная из ангара, ожидала на линейке. Горбатко показал отцу пилотскую кабину. Сила Иванович молча, с величайшим уважением, разглядывал надраенные до блеска таинственные приборы. Их было много. «Мудренное хозяйство».

Надев меховой комбинезон, сын спокойно застегнул на груди карабины парашюта и полез в машину. Пилотское сиденье находилось у самого хвоста, оно занимало в конструкции незначительное место, вся передняя часть машины была занята мощной винтомоторной группой. Грозно смотрели вперед спаренные пулеметы. Серебряный пропеллер разнес в стороны радужные брызги солнца: прямо с места, почти без разгона, машина подпрыгнула на воздух, повисла — и с диким ревом, как снаряд, взвилась по вертикали в синеву. Раскрыв рот и затаив дыхание, Сила Иванович следил с земли за красной птицей. Сделав по одному кругу вправо и влево, она остановилась и вдруг с испуганным воем, вырастая на глазах, ринулась прямо на Силу Ивановича: старик упал на колени — машина пронеслась над ним, как огненная молния, и, вертясь штопором, вновь вонзилась в небо. Старик отряхнул колени. «Ну и ну, — думал он, —

вот это да...» Он был побежден. Но сын не унимался: разогнав машину, он сделал подряд около двадцати мертвых петель, постепенно снижаясь, он у самой земли перевернулся на спину и в таком положении промчался над всем аэродромом. Над лесом машина вывернулась, стала на ребро и, почти касаясь опущенным крылом снега, ураганом проревела мимо самого носа Силы Ивановича. Самолет падал, переворачивался, взвивался. У старика от страха и восхищения холодело в груди. Он весь покрылся потом.

Но вот машина остановилась — на какие-то полсекунды, опустила нос и, бешено вертясь, с нарастающим воем посыпалась на землю. Сила Иванович от ужаса зажмурил глаза: «конец». Над самой землей пилот выровнял ма-

шину и прямо с ходу произвел посадку. Сила Иванович вытер шапкой пот со лба: больших доказательств он не требовал. Сын, улыбаясь, выпрыгнул на снег, отстегнул парашют и дал технику какие-то указания.

— Что ж, поехали пообедать? — просто предложил он и бросил шлем на заднее сиденье автомобиля.

Они возвращались домой. Сын управлял машиной, отец наблюдал за ним. Оба молчали, и оба понимали значение этой торжественной минуты: сын требовал признания.

Сила Иванович вынул из кармана свои чугунные часы и шершавой ладонью потрепал сына по волосам:

— Возьми!

Летчик с юношеской горячностью поцеловал отцавскую руку.

Мечта

Пьеса в 11 сценах

МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ, летчик.
БАГИРОВ, летчик.
АНЯ БИРЮКОВА, авиамеханик.
НАЧАЛЬНИК ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.
ЕГОРОВ, бортмеханик.

ГРОХОТОВ.
ДУДОРОВА, дежурная аэропорта.
НЯНЯ.
ДОКТОР РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.
ПРОФЕССОР-ПСИХИАТР.
КРАСНОАРМЕЕЦ.

Первая сцена

Аэродром. Самолеты. Вдали виднеется здание аэропорта с флюгером на крыше. Около самолета — БЕСФАМИЛЬНЫЙ и ЕГОРОВ. Бесфамильный смотрит на карту, напевает. Егоров в кабине самолета устанавливает приборы.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*поет, отчаянно фальшивя*).

Ах, здравствуй, папаша,
Ах, здравствуй, мамаша.
Спешу я уведомить вас,
Еще сообщаю —
Теперь уж летаю,
Прекрасно машину узнал. (*Чихает.*)

Когда долетели
До нужной нам цели
И сбросили бомбу
В сто двадцать пудов...

ЕГОРОВ. Ой, не выдержи!
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что с тобой?
ЕГОРОВ. Прошло...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*вздыхнув*). Егоров, а что, если мы задержимся на Камчатке, а в это время проект здесь утвердят? Что тогда?

ЕГОРОВ. Да будет тебе! Как-раз к твоему возвращению проект только и успеют рассмотреть. И ты полетишь.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*повеселев*). Ну, ну... (*Поет.*)

Мой друг испугался,
Но я не терялся,
Прекрасно машину я знал.
Снял винт моментально...

ЕГОРОВ. О-о-й!
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что?
ЕГОРОВ. Есть же люди, у которых вот ни на столечко слуха... Как они только живут?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да-а... Я сам не понимаю, как это люди без слуха, без песни, без музыки могут существовать. (*Поет.*)

Снял винт моментально,
Дал крен машинально,
На помпе планировать стал...
(*Чихает.*)

ЕГОРОВ. Ты что, простудился?
БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет. Вчера электричество у нас во всем доме погасло. Зажег керосиновую лампу. Сажу над картою. Размечтался, как вернусь из Петропавловска-на-Камчатке и полеку в Арктику... Там, знаешь, Егоров, какие ураганы бывают? Там не только самолет может изломать, там парохо-

ды — и то выкидывает на берег... Ну, вот, сижу, значит, над картою, и кажется мне, будто я уже над самым полюсом. Присматриваюсь, как это лучше будет нам летать через Северный полюс по прямой линии Москва — Америка. Найти бы, думаю, секрет Арктики как фабрики погоды для всего мира, чтобы заставить эту фабрику работать по нашему усмотрению. Как разыскать на полюсе острова? Как лучше проследить движение льдов?.. И до чего, брат, реально и себе вообразил, что летаю над полюсом! Слышу и свист ветра, и грохот льда, и вой пурги... Поднял голову, смотрю: батеньки! В комнате везде темно, сам я черный, как Отелло, и эта чернота летит, летит, летит... Это, оказывается, лампа часа три уже коптит. Уши, нос — все забило копотью. (Чихает.) Вот до сих пор еще чихаю.

ЕГОРОВ (смеется). От матери, наверное, попало за копотью?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мать у меня замечательная!

ЕГОРОВ. Проверь, как поставил.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (лезет в кабину). Мать у меня... Искусственный горизонт поставил над пионером? Правильно. (Садится.) Я говорю, мать у меня... Привез я ее вместе с отцом показать самолет. Взглянула она в кабину: «Сынок, часов-то у тебя сколько тут»...

ЕГОРОВ. Покатал стариков-то?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Отказались. Отец говорит: «Ну те к дьякону! Еще сорвешься»...

ЕГОРОВ. Попробуем?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. В воздухе?

ЕГОРОВ. Нет, на земле. Мотор!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давай. (Вылезает из кабинки. Егоров садится на его место.)

ЕГОРОВ. От винта!.. Там никого нет?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давай. (Мотор зашумел. Егоров его останавливает.)

ЕГОРОВ. Давление масла надо увеличить. (Полез в мотор). Ну, вот, теперь будет хорошо. (Полез опять в кабинку.) От винта!.. (Мотор загудел. Входит Аня. Бесфамильный прислуши-

вается к работе мотора. Аня кричит Бесфамильному. Тот ее не видит и не слышит. Аня кладет руку ему на плечо. Бесфамильный оборачивается. Она что-то говорит, говорит. Бесфамильный улыбается, жмет ей руку. Голоса их не слышны. Егоров, смеясь, то убавит мотор, то резко опять прибавит. Доносятся отдельные непонятные слова. Наконец, мотор затихает.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Егорову). Хорошо.

АНЯ (Егорову). Привет! (Бесфамильному.) Ну, ты доволен?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Еще бы! Я два года об этом мечтаю... А ты правду говоришь?

АНЯ. Ну, конечно, правду... Я ведь тоже два года мечтаю. С тех пор, как стала авиамехаником... Ночи не спала, все думала... А вдруг...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (перебивает). Ведь ты сначала не верила.

АНЯ. Как не верила? Это ты не верил.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Думал, не утвердят...

АНЯ. Ты это о чем?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как о чем? О моем проекте полета в Арктику.

АНЯ. Смотрю я на тебя — чудной ты какой-то. Не слушаешь, что тебе говорят... Я сегодня выдержала испытания на бортмеханика. Тебе не интересно это?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Выдержала? Аня, поздравляю.

АНЯ. Ну, теперь ты возьмешь к себе на борт? Вспомни, целый месяц тебя об этом прошу...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На линию возьму, а туда...

АНЯ. Куда туда?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Туда... В сердце Арктики...

АНЯ. Ну, я тебя прошу... Я все равно не отстану от тебя... (Дальше говорит очень быстро скороговоркой.) Я уже целый месяц прошу и добьюсь своего. Я хочу лететь с тобой. Мне не страшны опасности. Я тоже сижу дома и думаю, как бы тебе чем помочь в твоём полете... Я... я... прошу тебя взять

меня с собой. Я буду тебе во всем хорошей помощницей. Я изучила все проекты борьбы с обледенением. Я закалялась сейчас на морозе. Я целый месяц прошу тебя. Я...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (бои́тся, что может сдать́ся на просьбы Ани). Аня... Аня, стой... Аня, погоди... Аня, дай сказать... Аня... (Видя, что его слова безрезультатны, делает знак Егорову. Тот включает мотор. Гул покрывает слова Ани, которая продолжает что-то быстро говорить Бесфамильному, сердито поглядывая на мотор. Наконец, Аня машет рукой Егорову, и тот останавливает мотор.)

АНЯ (Бесфамильному). ...ты согласен взять меня с собою? Я вижу, что ты согласен. Егоров, он согласился! Спасибо, товарищ Бесфамильный! Спасибо!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (быстро). Нет, Аня, я тебя не возьму в Арктику. На линию — да, а туда — нет.

АНЯ (быстро). Ну, я тебя прошу... Я все равно не отстану от тебя... Ты же ведь меня знаешь. Ведь я два года работала авиамехаником на твоём самолёте...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, хорошо...

АНЯ. Вот спасибо, товарищ Бесфамильный!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет, я не согласен, Аня. Сегодня я лечу по срочному заданию в Петропавловск-на-Камчатке. Вернусь, и тогда окончательно отвечу на твой вопрос.

АНЯ. Ты, конечно, откажешь мне?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Безусловно.

АНЯ (очень быстро). Ну, я тебя прошу. Я взрослый человек. Я выдержала испытание на бортмеханика. Я все равно не отстану от тебя. Я уже целый месяц прошу и добьюсь своего. Я хочу лететь с тобой в Арктику. Мне не страшны опасности...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (в отчаянии делает знак Егорову. Рев мотора заглушает слова беспрерывно говорящей Ани. Бесфамильный, улыбаясь, зажмурил глаза и закрыл уши руками. Входят начальник и Багиров. Они становятся за спину не замечающего их Бесфамильного. По знаку начальника Егоров останавливает мотор, но Бесфамильный про-

должает стоять, широко улыбаясь, зажмутив глаза и закрыв руками уши).

НАЧАЛЬНИК. Товарищ Бесфамильный!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Вот когда вернусь обратно, тогда отвечу на твой вопрос.

АНЯ. Товарищ Бесфамильный, вас товарищ начальник спрашивает!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (продолжая стоять в той же позе). На линию возьму, а туда нет.

ЕГОРОВ. Товарищ Бесфамильный!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Егорову). А ты не заступайся! Сказал, что не возьму ее, значит, не возьму. Молода еще.

НАЧАЛЬНИК (улыбаясь, дотрагивается до плеча Бесфамильного). Товарищ Бесфамильный!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (сконфуженно). Простите, товарищ начальник! Увлёкся...

НАЧАЛЬНИК. Понятно... Я хочу вас обрадовать.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Утвердили проект?

НАЧАЛЬНИК. Нет ещё. Но вам разрешено лететь в Петропавловск-на-Камчатке днем и ночью, так что, если проект ваш утвердят, вы успеете вернуться и осуществить свою мечту о полете в Арктику.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Согласен, товарищ начальник! (Егорову.) Заведи машину в ангар, установи ночное освещение.

НАЧАЛЬНИК. Кого бортмехаником возьмете в Арктику?

АНЯ. Меня.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет.

НАЧАЛЬНИК. Почему? Испытание она выдержала на «отлично».

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет.

АНЯ. Я плохой работник?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет, работник хороший. Я тебя знаю. Но...

АНЯ. Но?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Для перелета в Арктику не годишься. И для этого перелета не годишься. Я сказал: на линию возьму.

БАГИРОВ. А я на твоём месте, не задумываясь, взял бы ее в любой перелет.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Когда ты будешь на моем месте, тогда и выберешь ее бортмехаником... Егоров, ты как? Пойдешь со мной в Арктику?

ЕГОРОВ. И сюда, и в Арктику — с радостью.

АНЯ. Его?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня... Я не считаю твою кандидатуру возможной.

АНЯ. Седьмое февраля 1936 года. (Смотрит на часы.) Четыре без четверти... Предлагаю вам, товарищ летчик, запомнить эту дату навеки... Товарищ начальник, разрешите...

НАЧАЛЬНИК. Что?

АНЯ. Уйти.

НАЧАЛЬНИК. Пожалуйста. (Аня уходит.) Товарищ Егоров, успокойте ее... (Егоров уходит.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да-а... Так, товарищ начальник, бортмехаником, значит, если проект будет утвержден, выбираем Егорова?

НАЧАЛЬНИК. Выбор удачный. Согласен. Скорее возвращайтесь.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Есть, товарищ начальник. (Пошли. Начальник впереди. Сзади Бесфамильный и Багиров.) Ты знаешь, Багиров, я жду не дождусь, когда утвердят проект.

БАГИРОВ. Ночью и днем все об одном... Мечтатель.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я все перечитал об Арктике и пришел к выводу...

БАГИРОВ. Какому?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Никто не изучал ее, как нужно.

БАГИРОВ. Через Северный полюс перелетел американский адмирал Берд. Это что тебе?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Берд летел на фордовские денежки для рекламы. Он на фюзеляже своей машины написал имя дочери Форда. Для науки его полет — ничто. Вот Амундсен — другое дело. Он на дирижабле сделал несколько кругов над полюсом... Но с птичьего полета Арктику не изучишь. Надо сесть да годик посидеть на дрейфующей льдине. Соберешь столько научного материала. Во!..

БАГИРОВ. Год на льдине? Что же от самолета останется?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Высажу науч-

ную экспедицию, а ровно через год слетаю за ними, куда бы их ни отнесло.

БАГИРОВ. Где же ты думаешь организовать зимовку?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На 88 градусе северной широты. Между островом Комсомолец и Северным полюсом.

БАГИРОВ. Хочешь подчинить себе ледовый погреб? Засмеют тебя в Севморпути.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Засмеют? Уверен — помогут. Я в СССР живу! Над этим проектом я работал по поручению правительства. Проект поддержит вся страна, вся наша великая родина...

БАГИРОВ. Американского летчика Поста забыл? С каким оборудованием, с какой техникой летел. А погиб... Был человек, а уцелели только одни часы.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что ты мне про одиночек говоришь!

БАГИРОВ. А ты разве не одиночка со своими мечтами?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я? Одиночка? Ну, нет. У нас таких мечтателей, как я, много. И реальных мечтателей. (Проходя мимо одного из самолетов, остановились у ведра с водой. Бесфамильный берет в руки кружку.) Никто в мире, кроме нас, не верил, что наши пилоты, на советских моторах, без иностранной помощи, смогут спасти челюскинцев, вырвать из ледяного плена 104 жизни. А возьми Громова. Он с Филиным и Спириным летали без посадки больше всех в мире, а если считать по прямой — то дальше всех. Это тебе что? Нереальные мечты? Одиночки? Они на «РД» продержались в воздухе 75 часов, покрыв без посадки расстояние в 12.411 километров. (Хотел было выпить из кружки, но пришла новая мысль, и Бесфамильный продолжает все более и более возбужденно.) А вспомни «сталинский маршрут» Чкалова, Байдукова, Белякова. Они в труднейших условиях Арктики прошли 9 с лишним тысяч километров и могли пройти больше. Это дерзкий перелет. Они побили официальный мировой рекорд. А Леваневский со штурманом Левченко (вытащил карту) открыли новый путь между СССР и Америкой. Лос-Анжелос — Сан-Франциско — Сиэтл —

Джюно — Фербенкс — Ном на Аляске — Уэллен — мыс Шмидта — бухта Амбарчик — Булун — Якутск — Киренск — Красноярск — Омск — Свердловск — Москва. Несколькo лет назад мы не могли даже мечтать о таком перелете. А Молоков? Он первый провeл машину от Красноярска до Камчатки и с Камчатки через Командорские острова по побережью Чукотки на остров Врангеля и потом до красной столицы. А высотные полеты Коккинаки и Юмашева? Что это тебе — нереальные мечты? Одиночки-мечтатели?

БАГИРОВ. Ну, что же, лети.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет, до полета моего еще далеко. *(Пьет из кружки.)* Что такое? Этой кружкой бензин наливали, что ли?

ЕГОРОВ *(появившийся раньше)*. Нет, кружкой я не наливал, я наливал из ведра, в ведре чистый бензин...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как бензин? Здесь была вода!

ЕГОРОВ. Воды было очень мало. Я воду вылил.

БАГИРОВ *(испуганно)*. Чорт возьми! Да ты как себя чувствуешь?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ничего. Нигде не жжет. *(Хочет взять в рот папиросу.)*

БАГИРОВ. Ты не кури! Еще взорвешься, как бомба.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ *(с досадой)*. Вот это... уже нереально. *(Уходит.)*

Вторая сцена

Аэропорт. Комната дежурного. ДУДОРОВА принимает телефонограмму.

ДУДОРОВА *(быстро)*. У телефона дежурная аэропорта Дудорова. Что? Какую контрамарку? Нет, это не театр, это аэропорт. *(Звонит по другому телефону.)* Дайте погоду товарищу Бесфамильному. Да, да... Хорошо, спасибо. *(Входят начальник и Бесфамильный.)*

НАЧАЛЬНИК *(Дудоровой)*. Неприкосновенный запас Бесфамильному привезли?

ДУДОРОВА. Еще не привезли, товарищ начальник.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Так и знал, обманули.

НАЧАЛЬНИК. Кто обманул? Почему раньше об этом не позаботились?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я своевременно выписал все продукты.

НАЧАЛЬНИК. Где они?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вчера срочно улетали летчики на Белое море. Я получил приказание отдать им свой запас. Взамен агент по снабжению обещал привезти точно такой же. И вот вам, привез... *(Телефонный звонок. Дежурная берет трубку.)*

ДУДОРОВА. Вас слушает дежурная аэропорта Дудорова. Сию минуту. *(Берет бумагу, записывает.)*

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Знал бы, не отдавал... Да и вообще, если бы мы сами не бежали день и ночь, машина в срок не была бы готова. *(Указывает на Егорова.)* Посмотрите, на кого он стал похож?

ДУДОРОВА. Товарищ Бесфамильный, можно немного потише? *(В телефонную трубку.)* Дальше. Казань? *(Записывает.)* Да, нужна. В пять уходит рейсовый на Харьков. *(Вешает трубку.)* Получила погоду.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Лететь можно? ДУДОРОВА. Хорошая до самого Свердловска.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ *(начальнику)*. Полетим без запаса.

НАЧАЛЬНИК. Я дам телеграмму приготовить запас в Хабаровске.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Слушаюсь, товарищ начальник.

(Входит Грохотов с ящиком.)

НАЧАЛЬНИК. Это что?

ГРОХОТОВ. Неприкосновенный запас для товарища Бесфамильного.

НАЧАЛЬНИК. Что же вы? Раньше не могли привезти, товарищ Грохотов?

ГРОХОТОВ. Два дня заготовлял. БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А ну, открывай, посмотрим.

ГРОХОТОВ. Продукты первый сорт! *(Открывает ящик.)*

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где шоколад?

ГРОХОТОВ. Шоколада нет... «Золотой ярлык» не нашел, а «Дирижабль» мне не понравился.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А это что?
(Разворачивает сверток.)

ГРОХОТОВ. Мясо. Первый сорт!
Выше-средней упитанности.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ой, идиот!
Сырое мясо. Привез две бараньих ноги.
А там что?

ГРОХОТОВ. Мука... крупчатка...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Все?

ГРОХОТОВ. Я еще самого главного
не показал. (Разворачивает сверток.)
Вот... мороженица. На Север летите,
льду-то сколько! У товарища в ре-
сторане насилу выпросил... на один
час.

НАЧАЛЬНИК (Грохотову). Сегодня
же явитесь ко мне. (Бесфамильному.)
Можете лететь, я дам телеграмму в Ха-
баровск, там вам приготовят запас.
(Уходит.)

ГРОХОТОВ (следуя за ним). Луч-
шего мяса не найти. Из бараньих ног
знаете какой борщ... А мороженица...
(Уходит.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Егорову). За-
пускай мотор. (Егоров уходит.)

(Входит Аня в кожаном пальто и лет-
ном шлеме.)

АНЯ (Дудоровой). Багиров просит
погоду на Харьков.

ДУДОРОВА. Для вас погода еще не
получена. Вы летите в пять, а сейчас
(смотрит на часы) без десяти четыре.

АНЯ. Когда притти?

ДУДОРОВА. Не раньше половины
пятого.

(Дудорова уходит; за ней хочет выйти
Аня.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня...

АНЯ. Бирюкова, во-вторых, бортме-
ханик, во-первых. Ну?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Слушай...

АНЯ. Ничего не хочу слушать. Ни
слова. Хватит...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Сердишься?

АНЯ. Счастливого пути! (Хочет
уйти.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (задерживает
ее). Дай руку. Простимся... Перелет
трудный... Может быть, мы и не...

ГРОХОТОВ (входит). Извиняюсь.
Простите. (Бесфамильному.) Товарищ

Бесфамильный, я вас, кажется, расстро-
ил, не угодил вам... этой самой... моро-
женицей...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не тяните...

ГРОХОТОВ. Извиняюсь...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Дальше что?
Не тяните же...

ГРОХОТОВ. Вы летите в опасный
полет. Я хочу обрадовать вас...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что? Утверди-
ли мой проект?

ГРОХОТОВ. Вы... вы... вы счастли-
вец. Поздравляю.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мой проект...
утвержден?

ГРОХОТОВ. Вы... вы...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, что?

АНЯ. Ну, что он?

ГРОХОТОВ. Поздравляю вас пер-
вый. Уполномоченный ячейки Осоавиа-
хима нашего аэропорта поручил мне пе-
редать вам...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что передать?
Что?

АНЯ. Ну, что же? Что передать?

ГРОХОТОВ. Поздравляю. Летчик
Бесфамильный... выиграл по осоавиахи-
мовской лотерее круговой полет над го-
родом. Поздравляю. Я сам проверил по
номерам, цифры все сходятся. (Пере-
дает билет.) Все же маленькая радость...
приятно.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (машинально
прячет билет в карман). Идите вы от
меня...

АНЯ. Бесфамильный!..

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (возвращая Гро-
хотову бумажку). Нате, летайте сами.

ГРОХОТОВ (неохотно берет билет).
Я... я... извиняюсь... Хорошо. Полечу с
удовольствием.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, и до сви-
дания.

ГРОХОТОВ. Пока! Пока!.. (Уходит,
растерянный.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Нако-
нец-то, ушел.

АНЯ. Юра! Скажи в последний раз.
Возьмешь меня с собой в Арктику?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня... я... Вот
вернусь из Петропавловска, тогда окон-
чательно тебе отвечу на твой вопрос.

АНЯ. Значит, нет?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня, простимся. Ведь мы, может, и не... Всякое ведь бывает...

АНЯ. Какая сентиментальность! Я хорошо знаю тебя и знаю, что с тобой ничего не случится.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*цуть грустно*).
Аня...

Ведь для себя неважно
И то, что бронзовый,
И то, что сердце—холодной железкою.
Нэчью хочется зван свой
Спрятать в мягкое,
Женское...
И вот,
Громадный,
Горблюсь в окне,
Плаваю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
И какая —
Большая или крошечная?..

Хорошо сказал Маяковский?

АНЯ. Хорошо.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, и что же ты ответишь мне?

АНЯ. А вот... когда вернешься из Петропавловска, тогда окончательно тебе отвечу на твой вопрос.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, прощай...

АНЯ. Прощай. (*Бесфамильный уходит.*) «Будет любовь или нет? И какая—большая или крошечная?..».

ГРОХОТОВ (*входя*). Ух, и налётался же я!

АНЯ. Уже?

ГРОХОТОВ. Долго ли мне!

АНЯ. Это по билету, что Бесфамильный выиграл?

ГРОХОТОВ. Ну, да.

АНЯ. Почему же так скоро?

ГРОХОТОВ. Авария в воздухе. Пришлось прервать полет над городом.

АНЯ. Авария?

ГРОХОТОВ. Да, небольшая. Я, знаете... предчувствовал. Подхожу к аэроплану, а вокруг него летчик шагает и нервничает. Увидел меня, спрашивает: «Это вы полетите?» — «Да» — отвечаю и сую билет. «Погода, — говорит он, — что-то неважная. Как бы не случилось чего...». — «Пустяки, — говорю, — валяйте». Сел я в самолет, летчик за мной. Нервничает. Взлетел. Набираем высоту. Тысяча метров. Летчик обернулся и показывает рукой на

ухо, дескать, «прислушайтесь». Слушаю... Действительно, мотор перебои дает. Летчик показывает, что сейчас-де пойдет на посадку. Я не соглашаюсь, кричу ему: «Раз билет есть, тащи выше! Ничего не случится». Вот и две тысячи метров. Вижу, летчик побледнел. «Больше не могу, — говорит, — у меня что-то мотор барахлит, пойду вниз». А я ему спокойно: «Без паники. Давай выше». Вдруг... ка-а-к...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*вбегая*). Грохотов, наконец-то, я тебя нашел! Прости, брат, ты, наверное, ругаешь меня, что вместо билета на полет я тебе втропях свою бумажку с шифровкой дал! Прости. Вот возьми свой билет и лети, а мне давай мою шифровку...

ГРОХОТОВ (*вынув из кармана шифровку, передает ее Бесфамильному*). Ничего, ничего... Бывает... Да... мне позвонить ведь надо... (*Берет трубку.*)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня... (*Видит, что она грустна.*) Ну, не надо, Анечка!..

АНЯ. Уйди. (*Бесфамильный уходит.*)

ГРОХОТОВ (*кладет трубку*). Н-да... (*Телефон зазвонил.*) Алло! Да, аэропорт... Улетели. Погода? Какая погода?.. Ах, вам погоду... Да, да... ничего погода. Видимость? Я тут что-то не различаю. Нервы шалят? А что вы нервничаете? Ну, да, аэропорт. Видимость? Видимость до 120 километров, а иногда ничего не видно... На небе? На небе луна... Несутся тучки... Поэт? Да, отчасти. Я впечатлительный... Что? Прошу вас, гражданка, не выражаться! (*Кладет трубку. Слышен шум пропеллера поднимающегося с поля аэроплана.*)

АНЯ (*кричит*). Юра! Юра!.. (*Слышен режущий звук пропеллера. Аня, подняв голову, следит за аэропланом.*) Улетел...

(*Входит Дудорова с флажками.*)

ДУДОРОВА. Проводила... Бирюкова!.. Что с тобой?

АНЯ. Я... я.., ничего со мной... Я так...

ДУДОРОВА. Улетел... Эх, когда-то и я летала! Не раз другим в пример ставили... Не долетая Чебоксар, попала в туман. Земля скрылась. А тут, как на грех, мотор сдал! Стала планиро-

вать... Скоро должна быть земля... Вдруг — церковь! Увернуться не успела... Крестом срезало крыло... (Прижимает большую руку.) Теперь вот не летаю...

АНЯ. У Бесфамильного мотор не даст! Я знаю... Я буду с ним летать! Я хочу! Я добьюсь!

Третья сцена

Комната Анн. На рояле горит электрическая лампа. АНЯ входит в капотике, босые ноги в туфлях.

АНЯ. Не могу спать... Почитать, что ли? (Выбирает книгу.) Что это я так нервничаю? Безобразие какое! (Ничего не выбрала.) Попробовать уснуть? Нет, ничего не выйдет... (Садится за рояль.)

...И вот,
Громадный,
Горблюсь в окне.
Плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
И какая —
Большая или крошечная?..

(Перебирает клавиши, затем начинает играть. Кончила.)

...Не смоют любовь
Ни ссоры,
Ни версты.
Продумана,
Выверена,
Проверена.
Подъема торжественно стих
строкошерстный.
Клянусь —
Люблю
Неизменно и верно...

Я люблю его...

(Оркестр играет то же, что играла Аня на рояле. В кульминационный момент музыка внезапно обрывается.)

Четвертая сцена

Слышен страшный грохот. Затем все тихо. Лунная ночь. На неровном льду разбитый аэроплан. В стороне лежит ЕГОРОВ. С усилием он приподнимается. У него окровавлены лицо и руки.

ЕГОРОВ (долго не может притти в себя). Авария?.. Катастрофа?.. (Спотыкаясь, подходит к самолету.) Коман-

дир... Где командир?.. (Обходит вокруг самолета.) Юрий Александрович! (Смотрит на обломки.) Неужели? (Ищет.) Юрий Александрович! Товарищ командир! (Быстро разрывает обломки, стараясь освободить из-под них тело Бесфамильного. С трудом оттаскивает его в сторону.) Мертв... (Смотрит по сторонам.) Никого нет. (Становится на колени, прикладывает ухо к груди Бесфамильного. За сценой крик: «Товарищ!» Егоров быстро встает.) Скорее сюда! Помогите, он жив...

(Вбегает красноармеец.)

ЕГОРОВ. Разведите костер, ему холодно. (Красноармеец быстро разводит костер из обломков.) Дайте папиросу. (Берет папиросу, кладет в карман.) Помогите. (Бесфамильного подносят к костру.) Вот сюда. Опускай ноги.

КРАСНОАРМЕЕЦ (взглянув на Егорова). Товарищ, ты же весь белый! Обморозился. Скорее оттирай... (Оттирает снегом лицо и руки Егорова.) Крови-то сколько...

ЕГОРОВ. Тише, больно...

КРАСНОАРМЕЕЦ. Потерпи немного. Как это ты кровью не истек? (Трет.) Наверное, мороз помог остановить кровь-то... Покраснело...

ЕГОРОВ. Смотри, он тоже весь белый. (Вдвоем оттирают Бесфамильного.)

КРАСНОАРМЕЕЦ. Он мертвый.

ЕГОРОВ. У него билось сердце.

(Красноармеец прикладывает ухо к груди Бесфамильного.)

ЕГОРОВ. Что? Бьется?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Нет. Это часы тикают. (Достает часы Бесфамильного.)

ЕГОРОВ. Как?.. (Кидается к Бесфамильному.)

КРАСНОАРМЕЕЦ (пробует пульс). Живой. Пульс бьется. Давай что-нибудь подложим... (Отрывают полотно от крыльев, подкладывают под тело.)

ЕГОРОВ. Где мы находимся?

КРАСНОАРМЕЕЦ. На Байкале, километрах в пяти от железной дороги.

ЕГОРОВ. Далеко. Вдвоем не унести его.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Скоро придут товарищи. Помогут.

ЕГОРОВ. Как вы заметили нас?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Возвращаюсь с поста. Навстречу сторож, кричит: «С самолетом что-то неладно! На месте кружится». Я глянул вверх, а там ваши огни... круги делают разноцветные. Потом камнем вниз, и я уже только грохот от удара услышал... Тут я сразу сторожа послал сообщить на станцию, чтобы шли на помощь, а сам сюда по-мчался...

ЕГОРОВ (про себя). Неужели штопор? (Красноармейцу.) Что-то их долго нет.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Да, уж пора.

ЕГОРОВ. Скорее бы. Он замерзнет.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Что же с вами случилось?

ЕГОРОВ. Не знаю, товарищ... Подготовка плохая... Очень я утомлен был.

(Голоса.)

КРАСНОАРМЕЕЦ. Идут... Скорее! Человек замерзает!

Пятая сцена

Кабинет начальника гражданского воздушного флота. Начальник один.

(Вбегает Дудорова.)

ДУДОРОВА. Простите, товарищ начальник!.. Без доклада...

НАЧАЛЬНИК. Что случилось?

ДУДОРОВА. Молния...

НАЧАЛЬНИК. Бесфамильный?..

ДУДОРОВА. Да... Авария... (Подает телеграмму.)

НАЧАЛЬНИК (берет телеграмму). Где?

ДУДОРОВА. На Байкале...

НАЧАЛЬНИК (читает). Немедленно пошлите ко мне Багирова.

ДУДОРОВА. Есть! (В дверях.) Простите... Бирюкова...

НАЧАЛЬНИК. Ну?

ДУДОРОВА. Она каждый час спрашивается, где Бесфамильный...

НАЧАЛЬНИК. Ни слова!

ДУДОРОВА. Есть! (Уходит.)

НАЧАЛЬНИК (встревожен). Ах, ты...

(Входит Багиров.)

НАЧАЛЬНИК. Ваш самолет готов?

БАГИРОВ. Могу вылететь немедленно.

НАЧАЛЬНИК. Вам придется лететь с аварийной комиссией... С Бесфамильным авария...

БАГИРОВ. Как авария?

НАЧАЛЬНИК. Причины неизвестны... Такой замечательный летчик... И проект его утвердили...

БАГИРОВ. Утвердили?!

НАЧАЛЬНИК. Да, утвердили... Запросите погоду и вылетайте! Можете итти... (Багиров отходит.) Да, вот еще очень важное... Простите, как у них там...

БАГИРОВ. Что?

НАЧАЛЬНИК. Ваш бортмеханик Бирюкова, кажется... Как будто, они любили друг друга?

БАГИРОВ. Не знаю. Не замечал, товарищ начальник.

НАЧАЛЬНИК. Ей будет тяжело. Надо ее подготовить. (Нажимает кнопку звонка. Входит секретарь.) Вызовите ко мне бортмеханика Бирюкову.

СЕКРЕТАРЬ. Есть, товарищ начальник. (Уходит.)

НАЧАЛЬНИК. Вы мне поможете. Идите в диспетчерскую, оттуда позвоните по телефону.

БАГИРОВ. Кому, товарищ начальник?

НАЧАЛЬНИК. Мне, мне позвоните. Здесь будет Бирюкова. Понимаете? Идите. (Багиров уходит. Начальник наливает воду в стакан и ставит его возле кресла для посетителей.) Да, ей будет тяжело.

(Входит Аня.)

АНЯ. Явилась по вашему вызову.

НАЧАЛЬНИК. Садитесь... Та-а-к... Вы знакомы с летчиком Бесфамильным? Я хочу сказать — хорошо знакомы? Друзья?

АНЯ. Да... Он замечательный летчик.

НАЧАЛЬНИК. Конечно... Вы следите за его перелетом?

АНЯ. Вчера в газетах писали, что он вылетел из Иркутска.

НАЧАЛЬНИК (*нетерпеливо оглядывается на телефон, трогает трубку*). Н-да... Сегодня мне сообщили... Сегодня меня известили...

АНЯ. Что с ним?

НАЧАЛЬНИК. Ничего особенного. Даже радостная новость имеется. Его проект полета в Арктику...

АНЯ. Утвердили?

НАЧАЛЬНИК. Да, утвердили. (*Звонит телефон.*)

АНЯ. Какая это радость для него!

НАЧАЛЬНИК (*берет трубку*). Слушаю... Я только-что получил телеграмму... Отправили в Верхнеудинскую больницу... Еще не пришел в сознание... Кажется, сотрясение мозга... Для расследования высылаю комиссию на самолете... Да. (*Вешает трубку.*)

АНЯ. Это он? Юра... умирает! Юра... Да как же он...

НАЧАЛЬНИК. Выпейте воды.

АНЯ. Постойте, дайте сообразить... С Бесфамильным авария?

НАЧАЛЬНИК. Да...

АНЯ. Хочу его видеть.

НАЧАЛЬНИК. Вы полетите с Багировым.

АНЯ. Спасибо. Когда разрешите вылетать?

НАЧАЛЬНИК. Погода уже запрошена.

АНЯ. А проект его, мечта его, — это правда?

НАЧАЛЬНИК. Да, правда. Проект одобрен.

АНЯ. Могу я сообщить ему об этом? Если он еще... если он...

НАЧАЛЬНИК. Сообщите.

АНЯ. Разрешите идти к самолету?

НАЧАЛЬНИК. Идите. Вы настоящий человек, товарищ Бирюкова. Да, настоящий...

Шестая сцена

Больница. Сцена разделена надвое. На кровати с забинтованной головой лежит БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Около него няня.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пи-и-ть... (*Няня поит его из специального чайника.*) Няня? Ты?

НЯНЯ. Я... Куда же мне от тебя отлучаться? Хотя и гонял ты меня и к шуту, и к чорту, а я все с тобой, при исполнении служебных обязанностей.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*в бреду*). Почему задерживают? Товарищ, радио... телефон... работает?

НЯНЯ. Работает, товарищ милый, работает.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. С аэропортом говорить хочу. (*Ищет рукой трубку.*)

НЯНЯ. Ну, что же, поговори, поговори, милый.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Телефон...

Трубка...

НЯНЯ (*подает первый попавшийся под руку предмет*). Да вот она.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. 1-14-14... (*Молчание. Настойчиво.*) 1-14-14.

НЯНЯ. Ну, тихо... тихо, не волнуйся. (*Меняет голос.*) Вас слушают.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Кто это? (*Молчание.*) Что это? Аэропорт?

НЯНЯ. Да не волнуйся, вредно это тебе, господи ты боже, настырный... Ну, слушают... Ну, с ипопорта с твоего...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Почему вы не помогаете? Все мерзнет... Егоров, тебе холодно?... Багиров, ты что смеешься? Готовьте бензин... Давайте старт... Вылетаю... (*Силится приподняться.*)

НЯНЯ (*укладывает его на кровать*). Куды?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. В Арктику... Старт... Аня, Аня... Где Аня?

НЯНЯ (*тихо*). Лишаю слова. (*Бесфамильный затихает.*) Разлетелся... (*Баюкает.*) Чуть совсем не отлетел. Шш... Шш... Эх, бедняга, бедняга!

(*Входит Аня.*)

АНЯ. Где он?

НЯНЯ. Кто тебе нужен-то?

АНЯ. Летчик. (*Направляется к двери.*)

НЯНЯ. Да вот не пушу тебя, милая.

АНЯ. Юра. Он жив?

НЯНЯ. А как же? Неужто мы такому помереть разрешим?

АНЯ (*обнимает няню*). Дорогая моя...

НЯНЯ. Да ты спокойно, спокойно... Кто ты ему будешь? Жена?

АНЯ. Нет... Я просто так... Я из Москвы.

НЯНЯ. Из Москвы? Так я и поверила! На самом скором поезде и то пять суток ехать, а как его привезли, всего трое суток прошло.

АНЯ. Я га самолете.

НЯНЯ. Ой, рыск какой! Не боишься? Мужикам—и то страшно.

АНЯ. Не страшно.

НЯНЯ. Не страшно? Вон как разбился. Одних швов тридцать штук.

АНЯ. Бедный, бедный...

НЯНЯ. Тебя Аней, что ли, зовут?

АНЯ. Откуда вы знаете?

НЯНЯ. Глаз у меня вострый. Накрозь все вижу.

АНЯ. Няня, нянечка... Разреши поглядеть...

НЯНЯ. Не могу, доктор не велел никого пускать. Ведь полное сотрясение у него.

АНЯ. Я ведь из Москвы. На самолете. Пусти...

НЯНЯ. Ох, и влетит мне за тебя, Анна!.. Ну, только тихо. *(Подает халат.)* На, вот. *(Входят в палату. Няня шопотом.)* Разговаривать лишаю слова. Спит... У нас доктор хороший, вылечит. *(Смотрит в окно.)* Погода какая. Как это ты в этакую страсть летела?.. Когда его принесли, погода вроде такой же была... Как-раз я дежурила. Доктор приказал раздеть больного. Стала я раздевать, а он как закричит: «Зачем раздеваете? Мне лететь надо!» — «Сейчас, — говорю, — переоденемся, тогда и полетишь»... Он, как малый ребенок, согласился. Свитер с него снять не могу, голова-то забинтована. Пришлось свитер разрезать. А стали снимать валенки, он как закричит опять *(вполголоса)*: «Что вы делаете? У меня нога сломана»... Я думала, правда, а он тут же встал на обе ножки и пошел, и пошел. Сам не зная, куда пошел... Да как закричит грозным голосом *(громко)*: «Мне лететь надо!».

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где я?.. Что случилось?.. Я только-что летел...

НЯНЯ. В больнице, милый...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ *(Ане)*. Вы доктор?

АНЯ. Нет, не доктор...

НЯНЯ. Сестра одна... Ну, Аня, поговори с ним, только тихонько. *(Уходит.)*

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Голос какой... Февраля седьмого... 36-й год... четыре без четверти... Ай, как она обиделась на меня...

АНЯ. Кто?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Девушка одна. Любил я ее...

АНЯ. Любили?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да... и любил, и вот — обидел... Не взяла на самолет... Боялся, что не выдержит... Вот Егоров, и то не выдержал... Очень я ее любил... Но не сказал... Так любовь моя и осталась строжайше засекреченной... Девушка эта сейчас за тысячу километров. Ух, и сердится же она на меня!

АНЯ. Юра... Юра... Это я...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Кто? Не вижу... Сядьте вот сюда. *(Указывает на пол.)* Аня... Не может быть... не верю...

АНЯ. Юра, это я...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Радость ты моя!

АНЯ. Юра, ты... ты не волнуйся, тебе нельзя волноваться... Ой, как я сама волнуюсь... Я тебе... радость привезла... Настоящую радость... Только дай честное слово, что... Ну, одним словом... Твой проект утвердили.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ *(вскакивает)*. Утвердили?

АНЯ. Юра, спокойно... Юра, хладнокровней...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Наконец-то... Телеграмму... Москва, Кремль... *(Пауза.)* Поблагодарить хочу крепко... Детство тяжелое... забыть... помогли... жизнь дали, силу... воспитали... и... вот... сейчас... проект мой... Как обрадовали!.. Аня... Отредактируй... А поправлюсь, — делами скажу, как благодарен... Какой я счастливый... *(Входят няня и доктор.)*

ДОКТОР *(няне)*. Няня, зачем пустили? Больной, лежите спокойно. *(Пробует пульс.)* Как себя чувствуете? *(Ане.)* Вы родственница?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Больше, чем родственница... Какую она мне радость привезла... *(Пытается приподняться.)*

Доктор, вы понимаете... Мой проект...
(Хватается за голову.) Что-то тепло...

ДОКТОР. Дайте бинт. (Няня по-
даст.) Лед. (Бинтует.)

АНЯ. Что с ним?

(Няня приносит лед.)

ДОКТОР. Сюда, на голову. Так...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня...

ДОКТОР. Больной, Юрий Алексан-
дрович, лежите спокойно, а то задержу
ваш полет... (Бесфамильный затихает.
Аня плачет. Доктор, подойдя, касается
рукой ее плеча. Аня вздрагивает, бы-
стро оборачивается и с немым вопросом
смотрит на доктора.) Ничего. Он еще
полетает!..

НЯНЯ. А я что говорила?

ДОКТОР. Она у нас профессор.

НЯНЯ. Тридцать три годочка в сан-
тудре по этой специальности... Все на-
скрозь знаю.

ДОКТОР. Няня, поправьте лед.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Лед... Мы ся-
дем на льдину...

НЯНЯ (кладет лед на голову Бесфа-
мильного). Лежи, лежи, тихо...

АНЯ. Доктор, можно мне посидеть
«коло него»?

ДОКТОР. Только без разговоров.
(Уходит.)

НЯНЯ. Слушай, Анюта. Выражаю я
тебе полное свое परिцание. Бессозна-
тельная ты совсем, тормошная какая-
то... Больному отдых нужен, покой...
Гляди на него... Абсолютное дитё... Ты
спела бы ему что-нибудь такое, колы-
бельное. Для сна.

АНЯ. Да я, нянечка, ничего такого не
знаю... Вот разве только... (Тихонько
напевает).

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

Завоевать пространство и простор.

Нам разум дал стальные руки — крылья,

А вместо сердца — пламенный мотор...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (подпевает).

Все выше, и выше, и выше...

НЯНЯ. Господи владыко... Вот безо-
бразники! Категорически лишаю вас
слова. Двух... обоих... Анна, пошла за
дверь!

(Аня отошла к двери.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Няня, оставь
ее...

НЯНЯ. Молчи. Шлепков вот надаю...
Лежи, как прикованный. Спи.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не хочется...

НЯНЯ. Кто здесь начальник? Я или
ты? (Поправила подушку.) Спи...
(Поет).

Женись, мое дитятко,

Женись, мое милое,

Возьми себе девушку,

Ближнюю соседущку...

Шш... Шш... Шш... Шш...

Испугался меня... Гнева моего... За-
снул. (Направляется к Ане.) Лежит.
как птица подбитая...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (после паузы).
Нет, я не сплю... Какой тут сон... Няня,
ты говоришь — птица подбитая... Ой,
как я еще летаю. (Поет):

Все выше, и выше, и выше...

Седьмая сцена

Комната дежурного.

ДУДОРОВА (говорит по телефону).
Дежурная аэропорта Дудорова. Нет его.
(Вешает трубку.) Ну-ну?..

ГРОХОТОВ. А вот еще помню, в
Австралии. Познакомился я с одним
иностранным пилотом. Замечательный
человек. «Однажды, — говорит, — лечу
в сплошном тумане...».

ДУДОРОВА. Ах, как интересно!

ГРОХОТОВ. «... Лечу низко, и не за-
метил, как колесом сбил два столба те-
леграфных...».

ДУДОРОВА. Ха-ха!

ГРОХОТОВ. «Вдруг, — говорит, —
впереди тоннель. Я в тоннель. Навстре-
чу—скорый поезд.. Я обратно...». Вот
как надо летать!

ДУДОРОВА. Ну, наши так не ле-
тают... А что вы теперь делаете?

ГРОХОТОВ. Летаю. Я теперь на
этом деле собаку с'ел.

ДУДОРОВА. Да что вы — механи-
ком стали?

ГРОХОТОВ. Нет, по другой авиа-
ционной специальности. Я теперь ин-
спектор качества.

ДУДОРОВА. Какого качества? Где?

ГРОХОТОВ. Проверяем буфеты в аэропортах. Много летаю. Наконец-то, чувствую себя в родной стихии.

ДУДОРОВА. Слышала, слышала... А кого в Казани из самолета вытаскивали?

ГРОХОТОВ. Нас в Свердловске бурдой накормили. А я такой впечатлительный... Чуть не умер.

(Входит Багиров.)

БАГИРОВ. Профессор еще не приехал?

ДУДОРОВА. Нет еще. Должен скорее быть... (Звонок.) Минутку. (Уходит.)

(Звонит телефон.)

БАГИРОВ (Грохотову). Послушай. Если будет звонить профессор, скажи ему, что мы просим скорее приехать. (Уходит.)

ГРОХОТОВ (берет трубку). Алло! Профессор? Какой профессор? Ага... Летчик? Да, скорее приезжайте. Что? Сумасшедший? Есть и сумасшедшие... На стену не лезут, а прыгают... А то штопором вниз на землю... Адрес... Садитесь на шестой... На машине? Ну, приезжайте на машине... Шофер знает, скажите: в аэропорт. А вы, собственно, о ком говорите? Алло! Алло!.. Положил трубку.

БАГИРОВ (входя). Может быть, придется лететь и мне. Опасно. Самолет у меня не готов. Но если я буду тянуть, то полетит другой. Нет уж, тут надо ловить момент. Такие случаи не каждый день бывают. Надо идти на риск. Полечу.

ГРОХОТОВ. Куда полетите?

БАГИРОВ. Это я так... Мечтаю... У каждого из нас есть своя мечта... А вы читали приказ?

ГРОХОТОВ. Какой?

БАГИРОВ. Вас касающийся.

ГРОХОТОВ. Что? Премия? Какая сумма?

(Входит Дудорова с бумажкой в руках.)

ДУДОРОВА. Телеграмма...

БАГИРОВ. Откуда?

ДУДОРОВА. База организована. Зя-

мовщики ждут самолета... А Бесфамильного все по комиссиям таскают. Бедняга.

БАГИРОВ. Ждут?

ГРОХОТОВ. Товарищ Багиров, как меня премировали?

ДУДОРОВА. Меня вот так же мариновали, мариновали... А теперь вот встречаю и отправляю самолеты...

ГРОХОТОВ. На какую сумму премировали?

БАГИРОВ. Выходным пособием и бессрочным отпуском из аэропорта.

ГРОХОТОВ. Меня?!

БАГИРОВ. Именно вас.

ГРОХОТОВ. Безобразно! Я буду жаловаться! Зажимают самокритику... (Уходит.)

ДУДОРОВА. За что его уволили?

БАГИРОВ. Систематическое очковительство. Начальник его долго терпел, говорил: «Пусть на глазах у нас будет. Мы его знаем хорошо, а в другом месте — вдруг поверят! Вреда больше будет...» Наконец, не выдержал. И правильно сделал!

БАГИРОВ. У вас серьезная была авария?

ДУДОРОВА. Рука вот пошаливает...

БАГИРОВ. Я вас понимаю...

ДУДОРОВА. Мне предлагали заведывать секретной частью. Отказалась. Не могу! Хоть сторожем на аэродроме. но быть около самолетов!..

(Входит начальник.)

НАЧАЛЬНИК. Как дела Бесфамильного?

ДУДОРОВА. Комиссия еще не кончилась...

БАГИРОВ. Другим человеком стал... Как подменили.

НАЧАЛЬНИК. В чем перемена?

БАГИРОВ. Я с ним в Казани встретился на посадке. Облачность была низкая. Он пытался пробиться вверх, но три раза сыпался из облаков в штопор... В порту уже приготовили «скорую помощь»...

(Входит Аня.)

НАЧАЛЬНИК. Бесфамильный — прекрасный летчик, но, видно, еще сказывается его авария. Надо бережно к нему отнестись. Выправится.

БАГИРОВ. Да мы его все любим... Как быть только с его полетом в Арктику? Дело серьезное, не выдержит.

АНЯ. Выдержит! Он еще покажет себя.

БАГИРОВ. Время не терпит. Еще несколько дней, и раскиснет аэродром. Тогда на лыжах не подняться.

НАЧАЛЬНИК. Я уже думал об этом. Если врачи решат, что Бесфамильному лететь нельзя, полетите вы. Задание правительства должно быть выполнено.

БАГИРОВ. Я к этому полету готовился. Правда, как резервный...

НАЧАЛЬНИК. Кого возьмете бортмехаником?

БАГИРОВ. Бортмехаником полетит Бирюкова.

АНЯ. Я не пойду в перелет.

БАГИРОВ. Почему?

АНЯ. Не верю в ваши силы...

НАЧАЛЬНИК. А с Бесфамильным пошли бы?

АНЯ. Пошла бы, несмотря ни на что...

НАЧАЛЬНИК. Неволить не будем, товарищ Бирюкова!

(Входит Бесфамильный.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Они ненормальные какие-то...

НАЧАЛЬНИК. Кто они?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Врачи. Они меня по комиссиям просто замотали.

БАГИРОВ. Ты, как малый ребенок, Ора. Такой перелет предстоит...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мне лететь надо, а не по комиссиям бегать. За это время раз тридцать раздеться пришлось.

НАЧАЛЬНИК. Что вам сегодня сказали?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Чтобы еще какой-то профессор осмотрел. Бюрократизм разводят.

НАЧАЛЬНИК. Не кипятитесь так. *(Входит профессор-психиатр. Начальник здоровается с ним.)* А-а, очень кстати! Сейчас оставим вас вдвоем. Не будем мешать. *(Делает знак Багирову и Ане выйти. Профессор и Бесфамильный молча внимательно оглядывают друг дру-*

га. Дежурная искоса наблюдает за ними.)

ПРОФЕССОР. Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я — Бесфамильный.

ПРОФЕССОР. Что, Бесфамильный?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Бесфамильный.

ПРОФЕССОР. Интересно. Та-а-к. *(Записывает.)* А скажите, пожалуйста, какой сегодня день?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Летный день.

ПРОФЕССОР. Да, но ведь туман страшный. В двух шагах ничего не видно?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Надо уметь летать.

ПРОФЕССОР. Интересно. Исключительно интересно. Туман, но день летный... А скажите...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пожалуйста...

ПРОФЕССОР. Нерничать не надо... А если день не летный — какой еще день может быть? А? Ну, пожалуйста...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Если не летный — значит нелетный. Понятно?

ПРОФЕССОР. Очень интересно. Ну, я вам помогу.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Незачем мне помогать.

ПРОФЕССОР. Спокойно, спокойно. Все хорошо.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да вы сами не волнуйтесь. Я на все отвечу.

ПРОФЕССОР. Дальше, пожалуйста. Если вас затруднит мой вопрос, — я вам помогу. Предположим, сегодня день не летный, какой он еще может быть, день?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что-то я не понимаю вашего вопроса. Чудной вы.

ПРОФЕССОР. Прекрасно. Та-а-к. *(Записывает.)* Сразу, без раздумья, отвечайте — какой сегодня день недели? Пожалуйста.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Третий.

ПРОФЕССОР. Я вам помогу — сегодня понедельник, 15 марта. Понятно?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Жаль, что вам непонятно.

ПРОФЕССОР. Скажите, пожалуйста, что мне непонятно?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давно пора знать, что в неделе шесть дней.

ПРОФЕССОР. Ага. А скажите — который час?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (смотрит на свои часы). Ровно без четверти два. Устраивает вас?

ПРОФЕССОР (смотрит на свои часы). Я вам помогу. Сейчас двадцать минут третьего.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Благодарю вас. Мои остановились... Товарищ Дудорова, я вас официально спрашиваю — кто это? (Дудорова молча отходит к окну.)

ПРОФЕССОР. Умоляю вас не волноваться. Все хорошо, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, чем занимался ваш дедушка?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пахал, косил, молотил.

ПРОФЕССОР. Интересно. Та-а-к. Интересно. А батюшка чем занимался?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пахал, косил, молотил.

ПРОФЕССОР. Значит, наследственность ваша...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Крестьянская.

ПРОФЕССОР. Очень любопытно. А вы как же это... э-э-э...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я вам помогу. Я тоже пахал, косил, молотил. Потом работал на фабрике. А потом стал летать. Теперь вот к Северному полюсу лететь собираюсь.

ПРОФЕССОР. А давно это у вас?..

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что?

ПРОФЕССОР. Насчет Северного полюса?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Два года уже думаю об этом. Ночи не сплю.

ПРОФЕССОР. Так, так. Не спит по ночам... (Записывает в книжку.) А скажите, пожалуйста, вы не считаете, что этот ваш полет на Северный полюс, если можно так выразиться, несколько, несколько...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вы хотите сказать — труден?

ПРОФЕССОР. Именно это слово.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мы, большевики, если понадобится, то и льды растопим, течение Гольфштрема изменим...

ПРОФЕССОР. Говорите, говорите. Ну, ну... (Записывает.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что тут еще говорить? Понятно все.

ПРОФЕССОР. А на луну вы никогда не думали полететь? А?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На луну? Нет. На луну не думал. Но я... подумую...

ПРОФЕССОР. Так... так... Разрешите познакомиться: профессор психоневропатологической клиники. Я приглашен для обследования вашего здоровья... Только не волнуйтесь, только не волнуйтесь. Все хорошо. (Входит начальник.)

НАЧАЛЬНИК (профессору). Ну, что, профессор?

ПРОФЕССОР. Сейчас все выяснили. (Бесфамильному.) А скажите, пожалуйста... Только не волнуйтесь...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я не волнуюсь.

ПРОФЕССОР. Ну, вот и хорошо. Скажите, вы не мечтали о кругосветном перелете? Ну, скажем, Москва — Москва? Вокруг земного шара? Без посадки? А?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. При нашей технике это вполне возможно.

ПРОФЕССОР. Ага, ага... А скажите... только не волнуйтесь... через два полюса, через два, вы никогда не думали пролететь?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Об этом, профессор, я тоже мечтаю. У меня даже черновой проект есть.

ПРОФЕССОР. Через два полюса?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через два.

ПРОФЕССОР. Через два?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через два.

ПРОФЕССОР. Так, так, так... А скажите... товарищ Бесфамильный?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Бесфамильный.

ПРОФЕССОР. Ну, хорошо. Скажите, товарищ Бесфамильный, вот если на СССР нападут... Ну, скажем, нападет Япония. Как... это...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что «как это»?

ПРОФЕССОР. Только не волнуйтесь... Вот вам карта, смотрите... Где будет наш первый бой?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. В Токио.

ПРОФЕССОР. Как?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мы сразу же будем бомбить Токио. После первой стычки у наших границ, там будет наш первый бой. Мы туда перелетим за 45 минут.

ПРОФЕССОР. Так, так...

НАЧАЛЬНИК *(отводя профессора)*.
Ваше решение?

ПРОФЕССОР *(серьезно)*. Он совершенно здоров. Нормальный тип советского летчика. Меня беспокоит только...

НАЧАЛЬНИК. Что?

ПРОФЕССОР. А то, что у него нет желания... добраться до луны. Это меня беспокоит. Тут какая-то ненормальность. А так — совершенно здоров... Я сам, знаете... Если бы успокоился на том, чему меня учили в университете, и ни о чем бы не мечтал с такой силой, как

БЕСФАМИЛЬНЫЙ... Бесфамильный, так?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Бесфамильный.

ПРОФЕССОР. Вот... То я считал бы себя прокисшим молоком.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Значит, и у вас, профессор...

ПРОФЕССОР. У меня тоже есть проблемки. Неплохие, знаете ли. Вот надо продлить жизнь человека до 200, 300 лет. А проблема вечной молодости! А проблема воскрешения мертвых! *(Бесфамильному.)* Я такой же, как вы. *(Показывает на Аню.)* Не сомневаюсь, что и она такая же. *(На начальника.)* И товарищ начальник такой же... Все, все! *(Показывает на зрителей.)* Все такие же! Дерзкие, смелые мечтатели!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ *(восхищенно подхватывает профессора)*. Ура, профессору! Ура-а-а... *(Внезапно выпускает его и хватается за ногу.)* Ой!..

ПРОФЕССОР. Что с вами?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нога еще немного...

ПРОФЕССОР. Ну, мы дело быстро поправим. В две-три недели.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что?

ПРОФЕССОР. Да, две-три недели придется полечиться.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мне же...

НАЧАЛЬНИК. Товарищ командир, без разрешения профессора я запрещаю вам всякие полеты.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Слушаюсь, товарищ начальник. *(Профессору.)* Когда прикажете явиться?

ПРОФЕССОР. Завтра в десять утра. Мы дадим вам направление.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Профессор,

можно, я сейчас же поеду к вам? Вы мне зачете сегодняшний день?

ПРОФЕССОР. Пожалуйста. Зачту. Пожалуйста.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А вас, товарищ начальник, я все-таки прошу повременить с экспедицией в Арктику. Через полторы недели...

ПРОФЕССОР. Через три.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через две недели я уже смогу летать.

ПРОФЕССОР. Через три недели.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Правильно. Через две недели.

Восьмая сцена

Санаторий в Сочи. Волейбольная площадка. Отдыхающие в спортивных костюмах растягивают сетку для волейбола. Взрывы смеха.

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Расскажи еще что-нибудь, товарищ повар! Только не ври...

ГРОХОТОВ. Я вру?

2-й ОТДЫХАЮЩИЙ *(подмигивая остальным)*. Ну, что вы! Грохотов правду говорит. Зачем ему врать-то? Расскажи, Грохотов, расскажи!

3-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Верно, что ты побывал в переделках?

ГРОХОТОВ *(помогая растягивать сетку)*. Да нет. Пустяки...

ВСЕ. Ну, расскажи, расскажи, Грохотов!

ГРОХОТОВ. Был один раз интересный случай.

ВСЕ. Ну, ну...

ГРОХОТОВ. Когда я работал инспектором качества, мне все время приходилось летать...

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ. И... что же случилось?

ГРОХОТОВ. Да вот, летели мы с летчиком Васильевым из Свердловска. В такой туман попали... Сидишь в кабине — ни летчика, ни механика не видеть... Рядом пассажир сидит, а ты его не видишь. Страшный туман!.. Ну, стал я пробираться в пилотскую рубку.

2-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Ну, и что же?

ГРОХОТОВ *(строго)*. Вы, товарищи, не мешайте, а то я рассказывать не стану.

ОТДЫХАЮЩИЕ (*сдерживая улыбки*). Нет, говори, говори, Грохотов!

ГРОХОТОВ. Ну, значит, пробрался я, наконец, к Васильеву, в пилотскую рубку. А Васильев кричит мне: «Я бортмеханика не вижу! Передай ему, чтобы он смотрел вниз и вперед. Сейчас должна показаться река». Летели мы на высоте... 3.000 метров. Стал я бортмеханика искать. Ищу, ищу — никак найти не могу. Кругом туман. Вдруг смотрю: река внизу, люди работают, поезд идет...

3-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Как же ты все это увидел, раз такой туман, что и соседа не было видно?

ГРОХОТОВ. Что же, значит, я вру? Обидно даже...

(*Входит Бесфамильный.*)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Грохотов? Ты что?..

ГРОХОТОВ. Я сегодня выходной, товарищ Бесфамильный..

(*Шум самолета.*)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*смотрит вверх*). Сегодня рейсовый запаздывает.

ГРОХОТОВ. Интересно, привезет ли Анна Яковлевна мне письмецо из Москвы.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, это Аня... На этом самолете я летел на линии Москва — Свердловск.

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ (*смотрит вверх*). СССР-127.

ГРОХОТОВ. Вы ее, товарищ Бесфамильный, через каждые два дня видите, а словно...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, начинайте играть. Что же вы? А то скоро ужин. **ВСЕ** (*с шумом и смехом занимают места. Грохотов лезет на судейское место, дает свисток. Одно место у играющих свободно*).

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Товарищ Бесфамильный, сыграйте с нами!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*все еще смотрит вверх*). Не могу, профессор запретил...

2-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Да что там профессор! Сыграем...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (*борется с желанием поиграть*). Ну... нет... нет, товарищи. Потерплю...

ГРОХОТОВ (*пытается свистеть в свисток, но ничего не выходит. Засунув пальцы в рот — свистнул. Игра началась. Грохотов, не следя за игрой, поправляет свисток и через некоторое время свистит*). Мяч направо!

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Как направо? Почему направо? Это неправильно! Так нельзя! Ну, что же это такое?

ГРОХОТОВ. Мяч направо!

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Да почему? Почему ты свистнул?

ГРОХОТОВ. У меня... свисток зароботал.

(*Игра продолжается.*)

ПРОФЕССОР. Товарищ Бесфамильный, вот вам мое заключение.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Дайте скорее. (*Берет и читает.*) «...после 3-недельного курса... признан совершенно годным для работы...» Ура-а-а! Спасибо, профессор.

ПРОФЕССОР. Ваша мечта скоро осуществится.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Спасибо. Ура! Ура-а!

ВСЕ. Что? Что такое?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Могу лететь, куда хочу.

ВСЕ. Ура-а-а!

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Ну, теперь сыграем в волейбол.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ура-а-а! Во что угодно-о-о.

2-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Становитесь, становитесь к нам.

3-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Нет, к нам!

2-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Нет, к нам.

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Нет, к нам идите!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я у вас и у вас буду. Ура-а-а! Давайте, давайте. (*Свисток. Становятся. Входит Аня. Бесфамильный ее не замечает.*)

АНЯ (*профессору*). Я не знаю, как ему это сказать... Не могли ждать, когда Бесфамильный поправится. Скоро кончится полярный день... И полетел другой. Багиров.

ПРОФЕССОР. Ничего. Человек он сильный. Скажите ему прямо обо всем...

Скажите сейчас. Он при народе лучше себя сдержит.

(Грохотов свистит.)

ВСЕ. В чем же дело?

ГРОХОТОВ. Спокойно. Мяч налево.

ВСЕ. Почему налево? В чем дело?

ГРОХОТОВ. Игра начинается сначала. *(Свистит.)*

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня, мне разрешили летать. Лечу! Лечу!

АНЯ. Разрешили?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Да, Анечка, да! Грохотов, свисти! *(Грохотов свистит. Игра возобновляется. В это время Бесфамильный крепко целует Аню. Грохотов снова свистит. Все приостанавливают игру.)*

АНЯ. Здравствуйте, товарищи! Привет из Москвы.

ВСЕ. Здравствуйте, Анна Яковлевна! Идите скорее играть с нами. Надо докончить партию.

АНЯ. Я...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ *(тащит ее)*. Нет, уж сыграем. Теперь нога не будет подворачиваться. Грохотов, свисти! *(Грохотов свистит. Все возобновляют игру. Аня у сетки слева, Бесфамильный против нее, у сетки справа.)*

АНЯ. Мне не хочется играть.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давай уж сыграем, а то у них партия распадется...

АНЯ. Когда ты собираешься ехать в Москву?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. А ты когда летишь?

АНЯ. Завтра утром.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я полечу с вами.

(Грохотов свистит. Мяч летит на Аню.)

АНЯ *(не обращая внимания на мяч)*. Слушай, Юра...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что?

АНЯ. Я хочу тебе сказать...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну?

(Грохотов свистит. Игра. Мяч падает далеко за чертой. За мячом бежит Бесфамильный. Аня — за ним.)

АНЯ *(Бесфамильному)*. Юра...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что, Анечка? Хорошо у нас?

АНЯ *(рассеянно)*. Чудесная погода... А мы под Ростовом попали в такой дождь со снегом. что Васильеву даже жарко стало.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как, Васильеву? Ты же с Багировым летаешь. Что с ним?

АНЯ. Он... он... Ничего не случилось... А как ты себя чувствуешь?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Чудесно!

АНЯ. Ты понимаешь, Юра...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что случилось?

АНЯ. Ты знаешь... Сегодня так начало, что я... я ничего не соображаю.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Тогда играть не надо... Друзья мои!..

АНЯ. Нет, нет, давай докончим, а то у них игра рассыплется.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, давай, быстро. *(Бегут к сетке.)*

ГРОХОТОВ. На места!

(Все готовятся к игре.)

АНЯ *(Бесфамильному быстро и тихо)*. Юра, возьми себя в руки. В Арктику полетел Багиров...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Что?..

АНЯ *(так же быстро и тихо)*. Я должна была предупредить тебя раньше, но нехватило сил. Теперь, Юра, ты крепись... Грохотов! Свисток!

(Грохотов дает свисток. Все начинают играть. Бесфамильный рассеян, «мажет».

Свисток Грохотова.)

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ *(смеясь)*. Что это вы, Юрий Александрович?

АНЯ. Держись, Юра!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ *(ей)*. Я не могу...

АНЯ. Неудобно, Юра, здесь товарищи...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Мне...

АНЯ. Юра, нехорошо на людях. *(Грохотову.)* Давайте.

(Грохотов свистит.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Простите, товарищи... мне...

ВСЕ. Что с вами?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Так что-то... пустяки. Аня, пойдем... *(Уходят.)*

1-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Что-нибудь неприятное?..

2-й ОТДЫХАЮЩИЙ. Очевидно.

(В стороне от волейбольной площадки.)

АНЯ. Юра, ждать нельзя было...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Я понимаю...

Я понимаю... (Закрыв лицо руками.)

АНЯ. Ну вот... Ну, перестань, Юра!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ничего, Аня...

Я ведь понимаю, что так нужно было. Но мне больно...

АНЯ. Все просили передать тебе самый сердечный привет. Вот письма. Вот письмо от... (Говорит на ухо.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Спасибо, Аня. А Багиров хорошо был подготовлен к полету?

АНЯ. Не знаю. Если верить ему, то хорошо.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ведь он рисковат. Вот чего я боюсь. А тут надо...

АНЯ. Да, Багиров что-то уже очень быстро собрался...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вот этого-то я и боюсь. Очертя голову нельзя лететь...

АНЯ. Ну, не волнуйся.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (взволнованно ходя по тропинке). Я совершенно спокоен. Совершенно спокоен.

Девятая сцена

Обледенелая палатка. В стороне — поломанный аэроплан. В палатке БАГИРОВ и ЕГОРОВ, грязные, обросшие бородами. Егоров роется в пустых консервных банках. Багиров сидит неподвижно.

ЕГОРОВ. Пусто. Ничего. (Бросает банки в сторону. Садится рядом с Багировым.) Все ты виноват. Надо было готовиться к полету, как готовился Юрий.

БАГИРОВ. Связь ты потерял. В этом наша гибель.

ЕГОРОВ. Нельзя так безрассудно рисковать. Дурак я, что тебе поверил.

БАГИРОВ. Рация исправна?

ЕГОРОВ. Исправна.

БАГИРОВ. Связаться можешь?

ЕГОРОВ. Нет.

БАГИРОВ. Значит, не исправна...

ЕГОРОВ. Исправна.

БАГИРОВ. Так почему ты не можешь связаться с какой-нибудь станцией? Ведь нас ищут.

ЕГОРОВ. Отдача слаба.

БАГИРОВ. Замолчи.

ЕГОРОВ. Скоро замолчим навсегда...

Оба... (Молчание. Егоров выходит из палатки, грозит кулаком солнцу.)

Когда же оно сядет? Когда?.. Я хочу, чтоб наступила ночь... (Пауза, Егоров медленно возвращается в палатку. Багирову.) Не спи. Слышишь?.. Спит...

БАГИРОВ. Не буди меня... Я сон вижу... Хлеб... Огромные куски... каравай... буханки...

ЕГОРОВ. Ты ел?

БАГИРОВ. Стол красивый... (Вздвигает.) А?.. (Смотрит на Егорову.)

ЕГОРОВ (засыпая). Мне гадала цыганка, что я погибну... в снегах...

БАГИРОВ. Егоров, ты засыпаешь!

ЕГОРОВ (просыпается). Нет, нет. Я не засну. Ни в коем случае. (У Багирова закрываются глаза. Егоров тормошит его.)

Багиров, не спи! Ты можешь не проснуться...

БАГИРОВ. У цыганки много хлеба... понимаешь... (Засыпает.)

ЕГОРОВ. Нина, голодаю... (Берет бумагу, пишет.)

«До последней минуты я думал о тебе и детях... Только о вас... Я знаю — страна вам поможет... (Засыпает. Слышен шум мотора. Егоров выходит из оцепенения.) Самолет! Самолет!.. (Будит Багирова.) Багиров, самолет!.. Багиров, самолет!.. Самолет... Слышишь? Летит... (Пытается поднять Багирова, но не может. Выбегает и кричит в сторону летящего самолета.) Садиться нельзя!.. Сбросьте продукты!.. Здесь нельзя садиться! Что он делает?.. Пошел на посадку... А-а-й! (Падает на колени, теряет сознание. Звук мотора затихает. Пауза. На сцену выбегают Бесфамильный и Аня.)

АНЯ. Егоров... Мертв...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Жив... Скорее коньяку!

АНЯ. Жив?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Давай сюда. (Берет флягу, поднимает голову Егорову и вливает ему в рот коньяк.)

ЕГОРОВ (открывая глаза). Спасибо.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где Багиров?

ЕГОРОВ. Там... в палатке.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Дай ему поесть. (Идет в палатку.)

ЕГОРОВ (оглядывается). Опять солнце.

(Аня вываливает из мешка термос и продукты.)

ЕГОРОВ. Хлеб! (Жадно хватает.) Хлеб...

АНЯ. Много нельзя. (Подает термос.) Вот чай. Горячий.

ЕГОРОВ. Чай! (Пьет.) Дай еще.

АНЯ. Не торопись.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Помоги. Открой ему рот.

АНЯ (бросается к Багирову). Как стиснул. (Достает охотничий нож.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Осторожнее.

АНЯ. Лей.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (растегивает Багирову шубу). Дай спирт. (Льет спирт на грудь Багирову, растирает рукой.)

БАГИРОВ (удивленно осматривается. Кричит.) А-а!

АНЯ. Что с ним?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не узнал...

БАГИРОВ (ползком забивается в угол палатки). Уйди!.. Уйди!.. Страшный сон... Я хочу проснуться.

ЕГОРОВ (с куском хлеба в руке). Это не сон. Это Бесфамильный. И Аня...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (дает Багирову хлеба). Ешь.

ЕГОРОВ. Спасибо тебе...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (смущенно).

Ерунда...

ЕГОРОВ. Машина цела?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Целехонька.

ЕГОРОВ. Рисковал самолетом...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Люди дорожке... А ты на еду не особенно нажимай. На первый раз довольно.

АНЯ. Что у вас случилось? Почему вы сели?

ЕГОРОВ. Есть такая поговорка...

АНЯ. Какая?

ЕГОРОВ. Спешка нужна при ловле блох...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вот тебе небольшая посылочка, на всякий случай взяла.

ЕГОРОВ (разворачивает сверток). Две плитки шоколада... Письмо... от ребят! (Вынул хлеб.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Читай, не спеши.

ЕГОРОВ (читает вслух). «... Дядя Юра сказал: «Обязательно найду вашего папу...» (Бесфамильному.) Юрий Александрович, спа...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Хватит.

ЕГОРОВ. Спасибо, спасибо, спасибо... (Нежно смотрит на письмо.) Детки мои...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. У вас серьезная поломка?

ЕГОРОВ. Только шасси.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Можно поставить новые. Мы доведем вас до базы.

ЕГОРОВ. Я не полечу с вами.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Почему?

ЕГОРОВ. Я своего самолета не брошу. На обратном пути привезете запасные части. Я здесь все подготавливаю к ремонту.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (Ане). Ты как считаешь?

АНЯ. На месте Егорова я поступила бы точно так же.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Правильно. (Ане и Егорову.) Пойдемте, осмотрим самолет.

(Бесфамильный, Егоров и Аня уходят. В палатке остается Багиров. Он долго смотрит на хлеб, колеблется, Но голод побеждает. Багиров жадно ест.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (вернувшись в палатку). Ну, как?

БАГИРОВ. Замерзаю...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Поел?

БАГИРОВ. Мне холодно.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (снимает с себя термос). Выпей кофе горячего... Может, коньяку?

БАГИРОВ. Ты что делаешь? Душу вывернуть хочешь?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Хотел... Теперь прошло.

БАГИРОВ. Ты ненавидишь меня?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Нет.

БАГИРОВ. Я много тебе мешал...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Знаю. Теперь помогай.

БАГИРОВ. Я?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Полетишь.

БАГИРОВ. Куда?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. На льдину.

БАГИРОВ. Как?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Будешь резервным пилотом на моем самолете. Понял?

БАГИРОВ. Стыдно мне... Не имею права...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Через год снимешь зимовку со льдины. А сейчас слетаешь со мной за штурмана на льдину... Ну, как? Согласен? По рукам?

БАГИРОВ. В долгу я перед тобой неоплатном!

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ладно, потом рассчитаемся. Петровский парк, дом десять, квартира один. Телефон: Миусы 1-71-83. Полетели!

Десятая сцена

Самолет в воздухе. На борту БЕСФАМИЛЬНЫЙ, БАГИРОВ, АНЯ и три зимовщика. Бесфамильный управляет самолетом. Аня сидит у радиоаппарата. Багиров смотрит то в одно окно, то в другое. У всех надеты наушники. Говорят в микрофоны. Самолет кидает вверх и вниз. Двоих зимовщиков укачало.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Бирюкова, посмотри на крылья! Нет ли обледенения?

БАГИРОВ. Я слежу, товарищ командир! Внешняя температура 30° ниже нуля. Обледенения быть не может.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Как кидает... Маяк перебой дает.

АНЯ. Слышу... (настраивает.) Буква «А» стала слабее... Возьми влево...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Буду пробиваться вверх.

БАГИРОВ. Ну, и попали... Вот в такой переплет и я влип тогда.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Когда летели спасать челюскинцев, хуже было...

АНЯ. Москва спрашивает, где мы находимся.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (смотрит на карту и часы). Передавай. (Диктует.) «Точно сказать не можем. Идем в сплошном молоке. Моря не видно. Неба — тоже. Курс держим по маяку. По времени должны быть на 86 градусе северной широты. Высота 3.100 метров. Если через 20 минут туман не кончится и не удастся пробить его вверх, — вернись. Все в порядке».

АНЯ (кончила передачу). Есть... (Слушает.) Товарищ командир, Москва советует вернуться.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Отказал указа-

тель скорости... Включите подогреватель...

БАГИРОВ (после паузы). Подогреватель не работает...

АНЯ. Как не работает?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Не беспокойтесь... Поведу по вариометру... (На секунду показался свет — солнце. Потом еще.) Ага! Теперь немного осталось... (Свет постепенно усиливается. Кабину заливает яркое солнце.) Выбрались! (Бесфамильный широко улыбается Багирову.) Определиться! (Багиров смотрит в секстант, что-то записывает, потом опять смотрит.)

АНЯ. Где мы?

БАГИРОВ (опять смотрит в секстант, записывает). Есть.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Где?

БАГИРОВ. 87 градусов 30 минут северной широты, 95 градусов восточной долготы.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Аня, передай в Москву.

(Самолет пошел спокойнее, зимовщики почувствовали облегчение.)

БАГИРОВ. Вдруг не кончится туман, и льдина будет закрыта?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Плохо. Придется лететь обратно.

БАГИРОВ (смотрит в секстант, записывает). Уже 88-й градус пролетели, а льды все закрыты. Надо возвращаться.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пойдем еще минут десять.

ЗИМОВЩИК. Мы так и на Северный полюс можем прилететь.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Разве плохо? Бензина хватит до самого полюса и обратно.

БАГИРОВ. Вы как, товарищи? Я советую возвращаться...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Еще немного... Минут десять...

ЗИМОВЩИК. Десять минут уже прошло.

БАГИРОВ. Подходим к Северному полюсу... (Бесфамильному.) Это не входило в задание.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Еще немного... ЗИМОВЩИК. Вон окно...

АНЯ (смотрит вниз, радостно).
Окно в облаках! Вон еще...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Значит, скоро кончатся...

БАГИРОВ. Мы находимся...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Кончились. Иду на снижение. (Убрал газ. Шум мотора уменьшился. Снижается.)

БАГИРОВ. Найдется ли ровная льдина?

(Все смотрят вниз.)

ЗИМОВЩИК. Вон, кажется, ровная...

АНЯ. Вон ровная... Товарищ командир, видишь?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Сверху-то они все ровные. Надо проверить.

(Самолет делает круги. Шум усилился. Все смотрят вниз.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Садиться опасно.

АНЯ. Сбросим дымовые шашки?

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Подожди... (Смотрит вниз.) Надо кому-нибудь прыгнуть с парашютом... Багиров, ты как?

БАГИРОВ. Я... (Смотрит на Аню.)

АНЯ. Мы вместе прыгнем.

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Приготовиться.

АНЯ (зимовщику). Займи мое место.

ЗИМОВЩИК. Есть.

АНЯ (открывает внизу люк). Готовы!

(Бесфамильный сбавил обороты моторов. Шум смолк. Поднял руку. Багиров и Аня надели на лица меховые маски.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Пошли!

(Багиров прыгает первым, За ним — Аня. Все смотрят им вслед.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Все в порядке. Раскрылись...

Одиннадцатая сцена

Огромное ледяное поле с редкими нагромождениями. Ярко сияет солнце. Слышен звук моторов. Шум меняется — то хорошо слышен, то замирает. Сверху с парашютом спускается человек, за ним другой.

БАГИРОВ (отстегнув парашют).
Где полотно?

АНЯ. У меня.

БАГИРОВ. Надо скорее выкладывать «Т»... Осторожнее, радио!

АНЯ (разворачивает полотно). Вот оно, в целости. Мы приземлились, а как самолет?..

БАГИРОВ. Осмотрим льдину. Иди вправо, а я побегу туда.

АНЯ. Есть.

(Бегут в разные стороны. Пауза. Шум дрейфующего льда. Возвращаются.)

БАГИРОВ. Сажать нельзя. Ропаки мешают.

АНЯ. Что делать?

БАГИРОВ. Связаться с самолетом по радио. Дай мачты.

АНЯ (подает две маленькие раскладные мачты). Антенна?

БАГИРОВ (достает из кармана). Вот. Держи конец. Отходи. Мачту возьми. (Быстро разматывает антенну. Аня прикрепляет конец антенны к мачте, втыкает ее в снег. Подбегает к Багирову.)

АНЯ. Готово.

(Багиров устанавливает другую мачту. Оставшийся конец прикрепляет к передатчику. Аня смотрит вверх.)

АНЯ. Почему он снижается? (Звук мотора немного затихает.) Садиться хочешь?

БАГИРОВ. Не может быть! (Звук мотора усиливается.) Идет бреющим... (Невдалеке падает вымпел.)

АНЯ. Бросил вымпел. (Поднимает.)

БАГИРОВ (закончив установку радио). Есть... Что он пишет?

АНЯ (читает). «Почему не выкладываете «Т»?».

БАГИРОВ. Начнем. (Говорит в микрофон.) «Алло! Алло! Слушайте, говорит Багиров. Алло! Алло! Говорит Багиров. Алло! Алло! Говорит Багиров. Самолет посадить не можем. Мешают ропаки. Перехожу на прием»... Ничего не слышу.

АНЯ. Вызывай еще.

БАГИРОВ. «Алло! Алло! Алло! Мы вас не слышим. Посадить самолет не можем. Мешают ропаки. Перехожу на прием». (Пауза.) Есть. Услышал. Записывай. (Аня записывает.) «Летать долго не можем, нехватит горючего на

обратный путь. Выкладываете «Т». (Багиров в микрофон.) «Алло! Алло! Алло! Посадить не можем. Для ускорения необходимо взорвать ропак. Бросьте аммоналу, кайла и две лопаты. Перехожу на прием». (Слушает. Аня.) Смотри, сейчас бросит. (Смотрят вверх.) Сбросили!..

(В глубине сцены спускается парашют. К нему привязаны мешок и две лопаты. Багиров и Аня схватывают сброшенное и убегают за сцену. Звук моторов. Через некоторое время — взрывы. Потом еще и еще. Вбегает Аня. Схватив полотно, раскладывает в глубине сцены «Т».)

БАГИРОВ (вбегает). Скорее!
АНЯ. Готов.

(Смотрят вверх.)

БАГИРОВ. Заходит на посадку...

АНЯ. Как-то сядут?

БАГИРОВ. Сядет. Это тебе не Байкал ночью...

АНЯ. Далеко зашел...

БАГИРОВ. Бойтся промазать.

АНЯ. Смотри! Он сядет прямо в торосы! Он не видит!.. Заметил..

БАГИРОВ. Сел..

(Входят трое зимовщиков, Бесфамильный и Аня.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (прижимает к груди красный флаг). Аня, Багиров! И вы, Иван Дмитриевич! И ты, товарищ Петров! И ты, Сергей Владимирович! Ну, мы все здесь, на льдине. (Заносит руку с флагом.)

(Занавес медленно закрывается и вновь открывается. На сцене — самолет, палатка. У палатки укреплен красный флаг. Репродуктор.)

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Ну, вот, все готово. (Радисту.) Передавай...

(В этот момент заработало радио.)

ГОЛОС ИЗ РЕПРОДУКТОРА. Говорит Москва, станция имени Коминтерна. Говорит Москва, станция имени Коминтерна. Товарищи! Продолжается передача торжественного заседания, посвященного третьей годовщине челюскинской эпопеи. (Голос председателя.) Слово предоставляется товарищу Бергавинову. (Голос.) Ровно три года назад советские летчики вырвали из ледяного плена 104 жизни. У нас растет техника, растут кадры, которые ставят рекорды за рекордами. Многие рекорды, установленные советскими летчиками, знаменуют собой не только необычайный рост нашей авиационной техники, но и рост авиационных кадров, рост сталинского племени летчиков. Летчик Бесфамильный летел по пути, указанному любимым вождем всех трудящихся — товарищем Сталиным. Сейчас летчик Бесфамильный, наверное, уже над Северным полюсом...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ (кричит в рупор). Здесь я уже! Здесь!..

ГОЛОС ИЗ РЕПРОДУКТОРА. ... Мы уверены в том, что красный флаг будет развеваться на Северном полюсе...

БЕСФАМИЛЬНЫЙ. Вот он стоит. Красный. Наш. Передавай! (Диктует радисту.) Задание партии и правительства выполнено. Да здравствует наш вождь товарищ Сталин! Льдина наша, советская!

Утро в районе

ИВ. ДРЕМОВ

Лес чугуною полоской
Проступил, зубчат,
На базаре, на повозках,
Петухи кричат.
Древним запахом пшеницы
Тянет от подвод.
За оградю больницы
Иволга поет.

На лугу, в траве склоненной
Оставляя след,
Промелькнули почтальоны
С кипами газет.
В окна зрелюю гвоздикой
Брызжет небосвод,
В сенцы каменные рика
Агроном идет.

И до боли мне знакомый,
Полный тишины,
Зацветает над райкомом
Флаг моей страны.
А над ним, клубясь и тая,
Заслонив зенит,
1937 г.

Голубей лесная стая
Облаком висит.

И уже из магазинов,
За рекой, вдали,
В яркой кипени сатина
Девушки прошли.
И, выдавливая лужи,
В поле, со двора,
Тяжело и неуклюже
Вышли трактора.

А у берега, в лозинах,
В зелени густой,
Мальчик с удочкою длинной
Замер над водой.
Перед ним в глубинах сонных,
Солнцем окружен,
Мой проснувшийся, районный
Город отражен.

Мальчик видит пред собою
Стаю голубей,
Флаг и небо голубое
Родины своей.

День на Средней Пресне

ЕВГЕНИЙ ЭРН

Qui canto dolcemente, e qui s'assise...

(Petr.)

Здесь он нежно пел, — и здесь он садился...

(Петрарка).

I

Девки еще спали на валдайских сундуках в проходной, когда из спальни донесся Катин голос: — Фроська!

Одна из девок подняла заспанное лицо и свесила пятку из-под вороха душегреек. Наскоро позевала и побежала к барышне, на-ходу заплетая косу.

— От Дмитрия Николаевича нет записки? — спросила Катя, переворачиваясь на спину.

— Нету, барышня, они велели передать, что сегодня сами будут.

Катя ежедневно по утрам посылала дворника с запиской к жениху на Остоженку.

Девка раздвинула шторы. Воздух был тяжелый; маленькие окна почти не открывались: Катя боялась сквозняка. По коринфской колонке алькова убежал клоп. Потрескавшийся амур крепостной работы делался с плафона в золоченый оскал крылатого льва. Часы под стеклянным колпаком хлипнули и пробили восемь.

Девка подала чулки и пеньюар. Катя, зевая, вылезла из постели. Она попрежнему вставала рано, но до самого обеда не одевалась, если только не надо ехать в город. С тех пор, как она начала полнеть, шнуровка и холодная вода ее не прельщали. Она только переплела косу, заправила ее под чепчик и, не умываясь,

пошла пить кофей. В столовой Ольга Ивановна встретила ее с неискренней заботливостью:

— У вас сегодня круги под глазами, топ анге... Вам нездоровится?

Катя с раздражением посмотрела на голубые ленты ее чепца и ответила:

— Бросьте, Ольга Ивановна, я не маленькая...

Ольга Ивановна поджала губы и взяла пирожок.

В столовой было неуютно и темно, хотя за окошками улыбалось сентябрьское солнце.

Под низким потолком в простенке отсвечивал маслом овальный портрет Николая Васильевича, мутно вперяющего в дочь бельмо своего левого глаза. На серванте бронзовые ликторские фасции осеняли блюдо холодной буженины. Две пыльные вынутые просфоры каменели на голубом севре.

— Вы поедете сегодня в город, душечка? — спросила Ольга Ивановна.

— Нет, сегодня портниха.

Из-за приданого Катя даже не уехала в это лето с родными в деревню, но работа подвигалась медленно. Дом был полон белошвеек и запаха полотна. Два сундука были уже полны, но оставалось еще столько дела!

Кроша калач, Катя рассеянно слушала вялые сплетни Ольги Ивановны, — какую-то устаревшую скандальную хронику об артиллерии подпоручице Софи

Карцевой, лоретке, некогда содержавшей в Москве французский театр. «Почему все словно остановилось десять лет назад?» — подумалось ей, и старый дом показался пустым и темным.

Позавтракав, Катя прошла в зало; посмотрела, как девка, качая грудями, трет суконкой штучный паркет. На фортепиано лежали заграничные журналы, присланные от Булгаковых; Она нашла модный листок и внимательно, но недобрительно изучила пышность лифа. Потом заглянула, не разрезая, во второй журнал. За последние годы она забросила литературу, которую когда-то увлекался весь дом; а политика ее никогда не интересовала... Умер Паганини... Отзыв о романе де-Бальзака... События в Италии... Крестины герцога Шартрского... Успех «Гугенотов» в Лондоне... Нам пишут подробности булонской авантюры принца Луи Наполеона... Программа нового министерства... Тьер... Меттерних... Сульт...

Она бросила журнал и прошла в угольную, где под надзором няни Савельевны работали над приданным белольшейки, свои и наемные. Во владениях няни — киоты, лампы, кислый старушечий запах. Пол усыпан обрезками полотна и концами ниток. В углу разговорчивая монашенка стегала атласное одеяло. Одна из девок — искусница — вышивала вензеля на простынях. Катя, зевая, смотрела на их работу, пока не приехала мастерица от Лавальши с двумя картонками. Началась примерка.

II

Катя освободилась лишь незадолго до обеда и усталая вышла в сад, завернувшись в шаль.

Сентябрь кончался прозрачными днями бабьего лета. Ржавая листва дуба еще свисала над опустошенными клумбами. Пальей лист покрывал облупленную скамью. Над почерневшей резедой препела запоздалая пчела.

Лягавый щенок, играя, подбежал к Кате, путаясь лапами. Она опрокинула его на спину и мяла полуголый нежный и тугой животик, а он отталкивал ее лалками и урчал. Потом, освободив-

шись, отбежал, насторожил бархотку-ухо и впервые неумело тявкнул на лейку. И, сам испугавшись, укатился прочь, распугивая кур и голубей, и спрятался в дыру под крыльцо.

Катя заглянула туда. Двадцать лет тому назад они тоже прятались там, играя. Теперь там лежали заплесневелые доски, продавленное решето, жухлые капустные кочерыжки и мраморный Мелеагр, разбитый, весь в черной земле. Так вот он где! А она-то недоумевала — куда он девался с аллен!

— Кто разбил бюст? — спросила гневно няню, кормившую кур с крыльца.

— Ты чего, барышня, белены обелась? — сердито ворчала старуха. — Да она почитай что с самой холеры сломатая лежит. Эка хватилась!

Катя вспыхнула:

— Не дерзи, нянька!

Раздраженно пошла по боковой дорожке, отбрасывая носком туфли гнилой ранет. Нет, это невозможно! Дом стал какой-то заброшенной дырой! Она подняла наволоку, упавшую с веревки, протянутой меж старых лип. Ей стало обидно, что в саду висит белье и она сама его поднимает, — она, дочь Николая Васильевича Ушакова, которая вместе с Алябьевой была очарованием московских гостиных, на которую заглядывался сам молодой государь на балу в Благородном собрании! Как будто ничего не изменилось с того времени: они еще не разорились; Москва осталась как будто та же, — но что-то непоправимо ушло. Подруги повыходили замуж, знакомых почти не стало; старый дом ветшал.

Она вспомнила о Наумове и погрелась мыслью о близкой свадьбе. Получить новый облик; говорить — как другие: «мой муж... мой муж не любит ветчины»...

...В тот час, когда утро кончилось, и пенье птиц не будит в нас ничего, и дорога кажется пыльной и лес — грозным, — в тот час женщине нужен спутник, чтобы итти к западу, пока сумерки не поглотят лица...

Калитка скрипнула; в сад просунулась чужая корова.

— Глашка! — дико вскрикнула Катя, потому что боялась коров.

Девка со скалкой стремительно понеслась по клумбам.

— У, проклятая, — опять сонцовская Фекла выпустила!

И гулко била скалкой по пегому равнодушному заду, пока корова не удалилась ленивым трюхом. Катя осторожно выглянула на улицу вслед за ней.

Средняя Пресня была привычно безлюдна. Редкие мещанские домики и барские усадьбы раскинулись по косогору среди огородов; меж них вилась пыльная дорога, перерезанная оврагом. Корова щипала придорожную траву. Далеко на пустыре перед церковью копошились люди, строили кирпичный ящичек фабрики. А еще дальше в дымке пыли слабо мерцали золотые главы церквей. Скрипели колодцы. Мимо калитки прошел мальчишка с удочкой; от него шархнулось стадо гусей, с шипом и гогогом пронеслись на пуантах, неистово свистя крыльями, потом сразу успокоились, сложили крылья и пошли переваливаться дальше, неспешно потрясывая гузками. От Кудрина ехали чьи-то дрожки, и Катя, прикрыв калитку, смотрела в щель, пока они не проехали.

До обеда делать было нечего. Покусывая желтый стебелек, она прошла в глубину сада по липовой аллее, полуоблетевшей. У соседского забора, где растут лопух и крапива, аллею замыкал гигантский клен, молчаливый и суровый. Бледное небо светилось сквозь его ветви. Катя села на скамейку, прислонясь к стволу; в массивной коре были вырезаны чьи-то почерневшие инициалы. Мягкая куча сухих листьев чем-то напоминала предзимнюю печаль деревенского кладбища. Вероятно, сейчас на его могилу так же медленно падают кленовые узорчатые листья, и по погосту, шурша сапсгами в золотых сугробах, проходит домой поп...

Но это повлекло за собой вереницу деловых мыслей. Нужно взять бумажку о говении; не забыть послать батюшке новый воздух; Лавальше нужен сушаш.

Очень издали послышался зов Ольги Ивановны.

— Катрин, обедать подано!

Да, вот еще: с Ольгой Ивановной на-

до будет расстаться. Катя встала со скамьи и пошла к дому.

В обрамлении золотой аллеи, увядающий, словно павильон дриад, покинутый Паном, дом стоял над куртинами во взмете белых колонн, облезлый и прекрасный.

III

После обеда девка разбудила Катю: Лизавета Николаевна приехала. Катя, зевая, вышла, и сестры поцеловались.

— Я только на минуту, привезла тебе выкройку. Ну, что наши?

Равнодушно выслушав, что родные еще не скоро приедут, Лиза Киселева оглядела сестру. В последние годы сестры виделись редко. Киселевы только недавно переехали из Петербурга; Лиза все свое время посвящала мужу и детям. Она была еще очень стройна и свежа. Много лет бывшая в доме почти Золушкой, младшая сестра теперь немного гордилась своим удачным браком, эlegantностью и связями.

— А ты все спишь, — полнеешь? Не хорошо, Катюша!

— Митя не находит, что я пополнела... — недовольно ответила Катя и подошла к зеркалу. Привычное лицо, как всегда; ей казалось, что оно не менялось последние десять лет. Но сейчас, после слов Лизы, она с неудовольствием заметила несвежесть лба и складки на шее. Начинают полнеть бедра. Нехватает только мужа, чтобы потолстеть. Где та стройная девушка-полумальчик, — «пес femina, пес ruet», как называл ее двенадцать лет тому назад он? Катя раздраженно тряхнула косой.

— Это тебе кажется потому — что я не одета.

Сестры прошли в Катину комнату, Лиза с ногами забралась на софу около своей девичьей шифоньерки и начала копаться в ящиках.

— Как твоя свадьба? — спросила она саркастически, потому что считала Катин брак мезальяном.

— Очень скоро, — с вызовом ответила Катя.

Лизавета Николаевна вытащила из шифоньерки кусок черных кружев и рассматривала, примеряя к плечам.

— Ты уж извини меня, — сказала она рассеянно, — я все-таки никак не пойму, зачем ты выходишь за этого приказного, который у papà на кончике стула сидел и все слово-ерил? Да еще вдовец! За тобой столько народу ухаживало. Почему ты тогда за Долгорукого не вышла?

У Кати навернулись слезы обиды. Почему Лиза такая неделикатная?

— Ты ничего не понимаешь, Lise! Я...

Ей почему-то стыдно было сказать сестре, что она без ума от Мити, и она ответила не без горечи:

— Ведь нужно же когда-нибудь замуж, — кажется, не рано! Невозможно же все одна и одна! И поехать некуда и даже не хочется. С chareron ¹⁾ в тридцать один год смешно ездить, — и какая Ольга Ивановна chareron — просто приживалка! А одной не принято, я еще не хочу быть старой девой, как тетушка Козинцева!

— И вовсе не это, а просто ты влюблена, как кошка!

Катя вскочила с канапэ.

— Ну и да, ну и люблю, очень люблю, большой любовью, понимаешь!??

— Ах, глупая! — насмешливо протянула Лиза. — О большой любви можно сказать, как о привидениях: все о ней говорят, но никто ее не видел, — кто это сказал?

Наступило молчание. Солнечный луч погас, и потемнели старые шкафы.

— А о нем ты никогда не вспоминаешь? — спросила Лиза другим, низким голосом, показывая на темнеющий в углу портрет: — Я все не могу привыкнуть, что его уже нет... Никак не могу себе представить, что он лежит совсем один на монастырском погосте, — он, такой жизнерадостный, — и я даже не побывала на его жалкой могилке!

Под стеклянным колпаком ожил кентавр, вздохнул, зажужжал и медленно пробил пять, словно хрустальные капли падали в предвечернем молчании.

— Ты никогда не вспоминаешь о нем? — тихо повторила свой вопрос Лиза, и собственный голос показался ей

чужим в настороженной тишине пустого дома, который еще таил, казалось, иные голоса.

Катя, не отвечая, покачала головой. Нет, конечно, она не вспоминает, — для чего помнить? Но сразу же почувствовала, что не забыла ничего, что неизгладимый след где-то глубоко остался в ней, как он остался в этих старых комнатах, где он прошел и где она встретила и проводила юность.

Лиза, свернувшись на софе, продолжала мучить:

— А помнишь, как мы вчетвером целовались в гардеробной — взасос и с подогревцами? Он еще сперва за мной чуть-чуть ухаживал, — все дразнил меня Серёжей, кошками, пел «кис-кис-кис-елев»... А ты ревновала.

И она лукаво, как прежде, рассмеялась.

— Неправда, я тогда была влюблена в Долгорукого!

— Ну и врешь, ревновала! И так рада была, когда я вышла за Сережу, хорошо помню, как говорила ему, что мы счастливы до гадости, — назло!

— Ничего подобного!..

— Нет, было!

— Ну да будет, Лиза!

Она досадливо отвернулась. Да, когда-то не только она, но и весь дом жил только им; казалось, он один наполнял его и давал особый смысл всему происходящему. Но теперь воспоминания не доставляли ей никакого удовольствия. В прошлом было что-то черное, огромное. Она торопливо жаждала бедных радостей сегодняшнего дня. Для прошлого она не находила в душе ничего, кроме непонятного страха и серой пыли. Очевидно, приходит день, когда умирают и тени. Все это очень странно — и то, что он был, и то, что его нет, и то, что она сама жива. Лучше об этом не думать. Она вспомнила о Наумове, беззвучно шевельнула губами: «милый...» — и поправила волосы.

Зато на Лизу нашло сентиментально-болтливое настроение. За десять лет жизни в Петербурге она отвыкла от старого дома; он ушел в прошлое, и она искала в нем следов девических лет. Старые комнаты наводили на нее лег-

¹⁾ Компаньонка, сопутствующая для приличия молодой девушке.

кую и приятную грусть о шумной Москве 29-го года, когда сестры, опьяненные успехом, влюбленностью, стихами, праздновали юность. Приезжая теперь в отцовский дом, она любила копаться в старых шкапулках и комодах. Среди выцветших лент, пыльных выкроек и склянок всегда что-нибудь отыскивалось: забытая записочка, затанцованная балльная книжечка, зацелованная маскарадная полумаска, засушенный цветок. Почти каждая находка шелестела об ушедших тенях, о полузабытых поцелуях, — и Лиза с медлительным удовольствием гурмана нарезала ломтики воспоминаний, — ту щемящую, сладкую грусть, которая так мучительно-приятно щекочет глаза легкими слезами.

— Все так изменилось, понимаешь? — говорила она, копаясь в шифоньерке. — Все стало так скучно... Ах, прошлое!

И, перебирая в ящиках милое сердцу старье, не заботясь о том, слушает ли ее Катя, она щebetала о разных мелочах прошлого, — как ехали в Петербург на святки на трех возках, и как было весело дорогой, и как папа сердился на брата за то, что он любезничал с торговками в Валдае, и какие вкусные были булочки, и после каких уговоров их повели в Петербурге на «Тридцать лет, или жизнь игрока», и какие Куницын принес персники, и как ей пришлось выйти из ложи в коридор, так она рыдала, когда жена пришла прощаться к осужденному...

— Ах, воспоминания юности!.. — сказала она растроганно.

Катя тем временем одевалась. Одевание в дни посещений Наумова было большим делом. Она кликнула Фроську. Скрипели дверцы шкафов; муслин и кружева нижних юбок заполнили кресла. По комнате разнесся запах горячих щипцов.

Из гардероба, из-под продавленных соломенных шляпок, Лиза вытащила два девичьих альбома Кати, потрепанных, с потускневшими медными застежками.

— Ну, слава богу, ты хоть их сохранила! Я их целую вечность не видела!

Она стряхнула пыль с тисненых украшений переплета и открыла альбом.

Вначале — различными почерками стишки, мадригалы. Далее все больше места занимает один небрежный почерк; конец наполнен им одним. Стихи, наброски, варианты и отдельные слова, рисунки пером. Вот группа терцин, и под ними косо подписано: «Катинька, полюбите меня, не то я пойду в конокрады или Цензора». На следующей странице нарисована девушка в шляпке и надписано «Лизавета Миколавна», перед ней кот с поднятой лапкой и котята; а в стороне чей-то профиль в очках, и другой зачеркнутый, и много кошек, свернутых калачиком.

— Ах, опять мои кисы! — улыбнулась Лиза.

Дальше опять стихи, неоконченные, переправленные, набело переписанные; видно, что он, как дома, в этом альбоме, это почти его рабочая тетрадь. Дальше шалости: свернутые кошки, напряженно-стройные женские ножки; непонятные отрывки двумя почерками — не то играли в почту, не то писали, чтоб никто не слышал:

«Нет». — «А Сережа?» — «Гадкой, мне больно!» — «Морж смотрит».

Вот страничка, сложенная конвертиком и запечатанная перстнем-талисманом. Сургуч давно сломан или, может быть, был распечатан, и написанное внутри тщательно зачеркнуто сердитой девичьей рукой; только последние две предательские буквы можно угадать: «...лю».

— Что здесь было? — спросила Лиза.

— Не помню. Как ты думаешь, сзади выше поднять?

Лиза внимательно оглядела прическу сестры.

— Я бы не поднимала. Тебе вообще не идет величественное. Ах, Катюша, какая ты душка бывала в гладкой прическе! Ну скажи, скажи, ну зачем ты за него не вышла? Ведь чуть-чуть не вышла! Все совсем иначе было бы, для обоих, — ты такая резонабельная!

Она снова стала листать альбом.

— Ах, Пресненские пруды! Помнишь кофейный домик?

Беглым пером была нарисована девушка с удочкой на берегу пруда. На поверхности воды несколько мужских

голов. На противоположном берегу стоит молодой человек в круглой шляпе, с тростью; против него написано: «Madame, est il temps de finir?» — а против девушки:

Как поймаю рыбочку
я себе на удочку,
то-то буду рада,
то-то позабавлюсь!

и дальше имена — мужские и девичьи.

— Катя, а тот вечер, когда мы катались вчетвером на лодке, с ним и с Сережей, а мама звала с берега? Забыла, как капала вода с весла?

— Сожгла, негодница! — вскрикнула Катя и пихнула девушку локтем.

Огорченная, она заботливо разглядывала испорченный локон.

— Вот дура косолапая!

Фроська ловко увернулась от второго пинка.

...Опять стихи и рисунки. Девичья фигурка с протянутой рукой и неизвестно чьи надписи: «Прочь, прочь отойди! — Какой беспокойный!» — «Stabat mater dolorosa», — и его нервным почерком: «О горе мне! Карс! Карс! Прощай бел свет — умру!».

— Ах, Карс! Карс! — улыбнувшись, сказала Лиза. — Как легко взял неприступную крепость коллежский советник из приказных Наумов!

Катя зло обернулась.

— Ты говоришь так потому, что твой Сергей — действительный статский советник! Это неважно для меня! А кроме того, Дмитрий на хорошем счету и скоро будет начальником отделения!

Лиза пожала плечами.

— Пойми же, глупая, не в этом дело! Он просто другой породы, и ты его не переделаешь. — Осел остается ослом, даже когда он пожирает розу, — он это сказал о Долгоруком, кажется? Ну, и твоему будущему оно как-раз впору.

Катя хотела вспылить, но почему-то ответила только:

— Какая уж я роза!

— Ну-ну, Катюша, не тоскуй! И, сделай милость, не носи таких широких лент! Этого давно не носят в Петербурге.

Лиза вдруг посмотрела на часы и

вскочила испуганно, сбросив альбом на пуф.

— Боже, как я засиделась, — а Сергей ждет карету!

И она торопливо подхватила шаль.

Катя вышла проводить сестру. У крыльца стояла тяжелая киселевская карета. Кучер с кнутом подмышкой лез на высокие козлы, тпрукал на застоявшихся лошадях. Лакей откинул подножку.

— Дай мне знать, как только наши придут, — сказала Лиза, целуя сестру, — и подумай о том, что я тебе сказала!

И карета ускакала по мягкой дороге в облаке пыли, под остервенелое твяканье соседских собак.

Катя прошла через калитку в сад. Погожий вечер наступал рано. Холодные осенние облака, розовея, проплывали в высоком небе, тревожно трепались последние листья на вершинах лип. Катя прошла по дорожке, шурша пальмистом, и остановилась около соседского забора, заросшего лопухом и бурьяном; здесь, у старого клена, кончалась аллея. Было по-вечернему тихо. На черном стволе еще не совсем заплыли корой его инициалы. Катя потрогала рукой их вздутые края.

Солнце коса падало через забор, и в щелях сверкали и переливались красками паутинки. В ограниченном пространстве ротонды лежала лишь одна черная тень гигантского клена, и по ней, глубокой и молчаливой, грузно прыгала к забору жаба. Но вечер близился, и солнце уходило за заборы, и тень клена бледнела и таяла, как тень вчерашнего дня. И отчего-то смутная боль шевельнулась в ней, скользнула внутрь и заглохла, — и вот уже солнце ушло, и тень клена стерлась, и оставался только сыреющий сентябрьский вечер и бурая жаба, прыгающая жирными шлепками к жухлым лопухам.

IV

Уже зажгли свечи; в столовой, гремя тарелками, накрывали к ужину, — а его все еще не было. Катя давно стояла у окна и поджидала. Над заставой еще

догорал закат и силуэты колоколен были вырезаны черным на оранжевом. Галки, успокоенно чёкая, кончали рассаживаться на голых деревьях. Дорога была пустыня. «Ах как глупо, что он не держит кареты и не позволяет присылать за ним!»

Наконец, он появился в конце улицы: он шел неспеша и размеренно, как делал всё. Он не держал лошадей из экономии, ожидая чина статского советника, но говорил, что ходит пешком для мощи-она.

Коллежский советник Наумов носил шинель внакидку и фуражку с очень высоким околышем, немного подражая офицерам. Он сдержанно помахал Катей рукой, подходя к калитке. Она, вся розовая от радости, сорвалась с подоконника и помчалась открывать ему сама. Плающее лицо ее, полуоткрытые губы и развевающиеся локоны на мгновение стали почти прежними — как в те дни, когда она, шаловливая и легкая, бегала в горелках. Но теперь ее тяжелые груди подпрыгивали на-бегу; запыхавшись, она бросилась в объятия Наумову и прижалась лицом к ворсистому сукну его вицмундира. Вот он, — весь мир! И больше ничего не надо.

— Милый, как ты долго!

Снисходительно улыбаясь, он поцеловал ей руку и скинул шинель девке.

Коллежский советник Наумов выглядел моложе своих сорока лет. Румяное его лицо с котлетками полубачков напоминало бы скорее штабс-капитанское, если б не неуловимо-канцелярская посадка головы. Выбритый до синевы подбородок уходил в гигантский воротник, который был бы совсем элегантен, если б не «Анна», которую он носил охотно и некстати.

— Соскучились? — спросил он и, скосясь на девку, незаметным извилистым движением скользнул рукой по катиному бедру. Она вздрогнула и выгнулась, как жирная кошка. Никто никогда не волновал ее так, как этот чиновник. Только почему он всегда таится? Чего им бояться — девки?

Наумов вошел в гостиную преувеличенно-непринужденно и еле кивнул слащаво улыбающейся Ольге Ивановне.

Власть над Катей была особенно сладка в эти минуты: он не мог забыть, как робко входил он в эту гостиную много лет подряд. Он небрежно сел на канапэ, играя икрами; штрипки его были натянуты, как подпруги.

— Ах, ma mie, — какой он bel homme, tout de même! — шепнула Ольга Ивановна, придерживая Катю за рукав. Ее птичья лапка в черной митенке выглядела жалкой и умоляющей. Катя чувствовала всю льстивую фальшь ее слов, но все же не могла не ответить ей громко и радостно, оглянувшись на жениха:

— N'est-ce pas?¹⁾

И добавила сердитым шопотом:

— Хоть бы вы сегодня ногти почистили, Ольга Ивановна, сколько раз вам говорила!

— Чистила, чистила, душечка! — испуганно зашептала капитанша... — Это все от твоих lotions²⁾, не понимаю!..

Наумов перелистывал журналы.

— Опять итальяшки шевелятся, — сказал он серьезно.

Катя пожалела, что не прочла журнала, и с робким уважением посмотрела на него. Ей, воспетой поэтами, самой литературной девушке прежней Москвы, он казался блестятельным и мудрым. Прошлое было смыто прочь, как море смывает пену с прибрежных камней; она лежала у его ног, податливая и трепещущая, как голая Ева перед Адамом-повелителем.

— Кречетовы вам кланяются, — сказал Наумов. — Я встретил Александру Никитишну у обедни.

Он пошевелил пальцами с особенным удовольствием, как было всегда, когда передавал сплетню.

— Софьи Павловны свадьба опять отложена. Говорят, Волчанинов опять в Загибенином переулке заблудился, грозят из полка выключкой.

— Бедная Сонечка! Много проиграл?

— Говорят, всю пензенскую деревню. Вот она — молодежь! — сказал он сокрушенно и поднялся, так как доложили, что кушать подано.

¹⁾ Не правда ли?

²⁾ Туалетная вода.

В столовой, вместо лампы, празднично потрескивали свечи в венецианской люстре. От движения вошедших зазвонили подвески и закачалось пламя. Проворные тени побежали по выцветшим остынским панелям и по цветастому ситцу новеньких занавесок. Дмитрий Николаевич с удовольствием развернул хрустящую крахмалом епископскую митру и засунул салфетку за воротник, как полагается, уголком.

Растегайчики подняли его настроение, и он стал рассказывать свое, задушевное:

— ... к генералу. Понимаете, он говорит, надо составить представление ко дню тезоименитства так, чтобы никто не знал, даже экспедитор. Мне надоели вечные прошения и нарекания. Передал мне брульончик¹⁾ списка и еще повторил: понимаете, здесь только самые главные, а канцеляристов наградите суммами по вашему усмотрению, только стриктман секре²⁾. Я, разумеется, поблагодарил за доверие. Апропо...³⁾.

Он сделал паузу и добавил небрежным голосом:

— Апропо, я представлен к «Владимиру».

И положил себе на тарелку котлету Пожарской.

Ольга Ивановна с восхищением покрутила головой. Катя рассеянно мяла мякиш; снова, как давеча в саду, острый осколок непонятной тоски проскользнул и замер, — на одно мгновение мир оторвался и уплыл прочь, — и она безучастно смотрела на сфинксов буфетной дверцы, не слушая, что говорит Наумов.

— ...как они пронюхали, не пойму. С утра в кабинет полезли, — то перья очиненные несут, то подписать, а сами шмыг-шмыг глазами по столу. А один канцелярист, тот прямо бух в ноги: не погубите, говорит, жена больна, так не обойдите, говорит, наградными. Прямо плакал, а до чего грязен — дегутан⁴⁾! И откуда только дознались!

Он засмеялся, показывая белые зу-

бы, — и от его низкого голоса теплая волна поднялась в ней; словно очнувшись от сна, Катя посмотрела на него влюбленными глазами и незаметно прижала колено к его ноге.

Прихлебывая кофей, Дмитрий Николаевич с удовольствием осмотрел золоченую ложечку с вензелем Н. У. Потом его глаза перешли на амбирную горку, где стоял хрусталь, пара пасхальных фарфоровых яиц, бутылка со святой водой и чеканное серебряное блюдо. Скользнул деловым взором по двум толстым девкам, убиравшим посуду, — и удовлетворенно отодвинул чашку.

— Сигару, друг мой? — спросила Катя.

— Пожалуйста, — ответил он, незаметно расстегивая нижнюю пуговицу жилета.

Счастливая, Катя побежала в отцовский кабинет за сигарами. В кабинете было темно, и она долго не могла нащупать на письменном столе коробку. Лосяная голова на стене смутно настораживалась грозными лопастями рогов. Затаенная во мраке мебель напоминала ночной лес. В четкую полуциркульную синеву окна гляделась сонная улица и Большая Медведица над скользко-голубым лунным блеском крыш. В кабинете пахло мышами и кожей; издали глухонесся звон посуды и голос Дмитрия Николаевича. Такое острое ощущение счастья охватило ее, что она нежно поцеловала воздух.

Найдя ящичек, побежала обратно, но на мгновение остановилась в проходной зале, на краю полосы света.

В умиленном предчувствии семейного уюту она впитала взглядом желтый четырехугольник двери — белую салфетку, небрежно брошенную среди чашек, нежный свет колеблемых свечей и удовлетворенно откинувшегося в кресле коллежского советника Наумова.

∇

— Митя, Митенька мой! Наконец-то!

Оставаться вдвоем в Катиной комнате они стали решаться только недавно, когда свадьба уже близко. Кого им стесняться? Кате не восемнадцать лет.

¹⁾ Brouillon — черновой набросок.

²⁾ Строго секретно.

³⁾ А пропос — кстати.

⁴⁾ Degoutant — противный.

Это были лучшие часы для нее; вся в благодарности за первые настоящие наслаждения, она влюбленно служила ему. Она любила его самого, его уши, его штрипки, брелоки его часов. Шевеление его пальцев рождало в ней сладкую дрожь. Ее волновал контраст пылости его ласк с обычной солидностью его манер. Она считала его чувствительным и добродетельным, — сочетание, с помощью которого еще со времен Карамзина прикрывали похотливость и лицемерие. Она отдалась ему, не ожидая свадьбы, уверенная в силе его любви, а может быть, и своего приданого.

— «Ведь любовь ни в чем не может отказать любви», — цитировала она ему Стендалеву «Физиологию любви», единственную книгу, которую она прочла за последний год.

Дмитрий Николаевич тоже любил эти вечера. Так гордо было чувствовать себя властелином девушки, которую он не смел и пожелать когда-то, в которую было влюблено пол-Москвы — сановники и поэты, и титулованные архивные юноши. Эта барская комната волновала его так же, как круглые плечи Кати. Он куснул ее затылок и шепнул на ухо:

— Мне мало получаса! Только разлакомишься, уходишь надо...

— Милый, я тоже заждалась! Слава богу, теперь скоро, — все ночи наши будут!

В камине стреляли и шипели дрова, и лапки теней суетились на ее лице, и горела щека. Она потушила свечу и села у его ног на низкую скамеечку у огня. Слушать его было такой радостью! Канцелярская хроника звучала для нее нежной сказкой. Она уже знала имена чиновников и интересовалась всеми ведомственными интригами. Но больше всего любила мечтать о будущем.

— Я думаю пролать Кирилловку, — говорил Дмитрий Николаевич. — Если получу начальника отделения, трудно будет ездить каждое лето в Тамбовскую губернию, а управителю не верю — он вас грабит. Лучше купим в Москве дом, мне предлагали у Николы-на-Песках — низ каменный, службы. А для тебя с детьми можно снять Подмосквную

хоть у Вяземских, дорого не возьмут, — на что им в Петербурге.

...«С детьми...» — это звучит так необычно и нежно! Она положила голову на его колени и задумалась. Какое чудесное будущее! Девочка в локонах, уют и тепло, гости к обеду, ночи — их ночи! В сладком молчании она перебирала пуговицы его обшлага. Уголек, выпавший из каминна на лист, угасал, медленно мутнее, у кончика ее туфли.

— Вы до сих пор находите нужным беречь это? — вдруг спросил Наумов неожиданно сухим голосом; она поняла, что он сердится, по тому, что перешел на «вы».

— Что, милый?

— Вот эти... залогии любви!

И он брезгливо показал на альбомы, оставленные Лизой на пуфе.

— Митя, ведь это детское!

— Каково детское!

Быстро перелистывая альбом, он ненавидящими пальцами тыкал в легкие строки, — стихи, подозрительно зачеркнутые слова, ножки. Он отбросил альбом и вскочил с места,

— Я не хочу вспоминать о нем! Я требую, чтобы ты выкинула эту гадость! — крикнул он.

В его, обычно самодовольном, голосе боль зазвучала так искренно, что у Кати сжалось сердце от любви, благодарности и желания помочь ему. Она обняла его:

— Милый, не надо!

Он злобно высвободился.

Сухой и ограниченный, он все же обладал воображением и красной кровью. Мучительная ревность к Катиному прошлому смешивалась с застарелой ненавистью к ее первому любовнику. Он помнит его презрительное дружелюбие, завуалированную иронию, циничные шутки и изящные экспромты; он никогда не забудет случайно подслушанный его ответ Киселеву, спрашивавшему, зачем он так возится с ним, Наумовым: «Ah, mon cher, un homme d'esprit serait bien embarrassé sans la compagnie des sots!»¹⁾

¹⁾ Ах, мой друг, умный человек был бы в большом затруднении, если б не было дураков.

— Ах, так? — Он угрожающе сжимал челюсти, забывая, что враг его уже догоняет на деревенском погосте.

Прошлое не стирается! Он догадывался, что Катя была близка с ним; в то время об этом достаточно сплетничали, и она чуть не вышла за него. Это было легкомысленное время! Катя отрицала это, но за зеркальцами ее влюбленных глаз он угадывал смутные воспоминания о прошлом. Что было? Он хотел, но не мог забыть. Он боялся, что в его поцелуях она вспоминает — того. Может быть, это и не так; вероятно, теперь она вся его; но злобное воображение мучило его жестоко: наверно, она так же, закинувшись, стонала в его руках, и ее нежные колени так же, как с ним...

— Я не хочу вспоминать о нем! — повторил он.

Но потом сразу эти картины исчезли, словно погасили свет в волшебном фонаре; ревность к прошлому утихла, и он снова стал холоден. Но все же продолжал мучить Катю в виде кары за недавнюю боль, из желания видеть ее покорной, с виноватыми собачьими глазами, и еще из оскорбленной добродетели. Нет, он не допустит у своей жены воспоминаний о нечистом прошлом!

— У вас, наверно, есть его письма? — спросил он сухо. — Я требую уничтожить их при мне.

Катя покорно молчала, глядя в огонь.

— Я требую! — повторил он. — Я не потерплю напоминаний об этом человеке. Фат, который даже не любил вас...

Он посмотрел на нее уголком глаз и увидел, что удалось сделать ей больно. Прежняя любовь давно уже умерла, но ревность, рождаясь вместе с любовью, не всегда вместе с ней умирает. Старая досада о той зиме, когда он женился, шевельнулась в ней.

— Да, да, он ездил к вам только для того, чтобы два раза в день проезжать по Скарятинскому мимо ее окон, — он сам это говорил!

У Кати вырвалось раздраженно:

— Ты всегда его ненавидел, завидовал!

Но тотчас же, растерянная, бросилась к нему в страхе, что он оскорбится.

— Милый, милый! Единственный Прости!

Дмитрий Николаевич с достоинством поджал губы.

— Недоумеваю, в чем я мог ему завидовать, — сказал он удивленно.

— Митя, милый, ну прости! Это я глупости! Ну конечно же! Митенька...

Она жалась к нему, старалась вызвать его желание и, следовательно, прощение. Дмитрий Николаевич внушительно отстранился.

— Мне нет дела до него, но я считаю недостойным, чтобы моя жена хранила подобные реликвии. Я требую, чтобы вы их сожгли, сейчас же, иначе ноги моей...

— Митенька, ну что ты? Ведь я же вся твоя! Ну, хочешь — сама прыгну в огонь?

— Где эти письма?

Она открыла палисандровый баульчик, откопала среди печаток и брошей тоненькую пачку писем в голубой тесьме и протянула ее Дмитрию Николаевичу.

— Нет, я не намерен брать их! — сказал он; пачка полетела в камин.

В опьянении ауто-да-фе Катя вынула из баула браслет и тоже бросила в камин, но не попала; браслет отскочил от решетки и откатился к ногам Наумова.

— Это тоже от него? — спросил он раздраженно, поднимая браслет.

— Он привез его, кажется, из Пайсанаура, не помню...

— ... и носил его над локтем, — я-то помню... Нечего сказать, приличный подарок!

Дмитрий Николаевич презрительно оглядел браслет.

Потемневшее золото старинной багдадской работы окаймляло нежную муть зеленой яшмы. По широким звеньям извивалась меж чеканных арабесок турецкая надпись, древняя надпись о пророке и верности.

— Дай, я брошу! — сказала Катя.

Так далеко его ревность не шла. Он пошевелил пальцами и сказал:

— Переделай его во что-нибудь, — ну в крестик, в лорнетку. Буду завтра на Кузнецком, хочешь, заеду к Дютелю, закажу.

— Нет, нет, я не хочу! — горячо возразила она. — Я не буду! Ты можешь вспомнить, тебе больно будет...

Его по-мужски покорила ее уверенность в его ревности.

— Мне не больно, — сказал он досадливо, — я только не хочу, чтобы...

— Нет, я не надена, а сделай себе брелок, прошу, прошу тебя, котик! Знаешь, как у Мещерского, — подковой с букетом? Или лорнетку? Я буду так рада!

Дмитрий Николаевич промолчал и спрятал браслет в боковой карман. Катя, счастливая, снова устроилась на скамеечке у его ног, около огня. Мир казался солнечным и прекрасным. Несмотря на размолвку, даже благодаря ей, она чувствовала себя окрыленной. Так радостно ощущение быть любимой!

Дмитрий Николаевич снова заметил на кресле альбомы; взял и стал раздраженно перелистывать. Стихи, много стихов, и знакомые, и неизданные. Вот набросок пером — гробовщик в жилетке пьет чай около гробов. Ниже — женские ножки. Еще стихи. Вот его собственный, Наумова, профиль, набросанный презрительным пером с великолепной небрежностью средневековой карикатуры. И еще стихи. Он захлопнул альбом.

— А это? — спросил он строго. — Это останется?

— Милый, ну, конечно, жги, если хочешь! Но ведь здесь стихи...

— Вам льстит честь быть воспетой известным повесой? — с'язвил он.

— Ах, Митя, ну что ты? Ну, дай, сожгу! Мне ничего не нужно, кроме тебя, милый!

Шаловливо покусывая его пальцы, она взяла у него оба альбома и бросила их в камин. Несколькo угольков со слабым стеклянным звоном высypалось из решетки. Верхний альбом упал раскрытым. Толстая бумага долго не загоралась. Тисненная кожа дымила. Медленно чернея, тлели края страниц. Углы верхнего листа тихо заворачивались на неровные строки. Потом сразу кругом вспыхнуло пламя.

Прижавшись зарумянившейся щекой к орленой меди его луговиц, она, нежась у огня, смотрела, как одна за другой коробятся и переворачиваются, загораясь, страницы, как перебегают по корешку синие язычки, как в середине листов вспыхивают и ширятся золотые круги, и как, корчась в голубых и оранжевых арабесках огня, исчезают рисунки и незазвучавшие строфы Пушкина.

Мастера

Роман

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

Книга вторая¹⁾

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Утро продолжалось, часы показывали десять. Пошли облака, очень крутые и, должно быть, морозные. Два раза прорывалось солнце, потом оно ушло и не показывалось вовсе. Улицы и дворы обнял серо-сизый свет, совсем мертвый, потому что не было игры в нем. Стало скучно. Петька Рассохин вышел под навес, где стояла лестница на чердак, в голубятню. Завод не работал шестой день, и Рассохин, с непривычки, совсем затосковал, он решил погонять голубей. Было у Петьки шесть пар турманов: три пары красных (жарых) и три пары черных (галочек). Петька больше любил красных, он выбрался на чердак к приполку. Голуби сидели смиренно по углам на жердочках. Петька выбросил им горсть овса, голуби слетели и сгрудились.

— Ну, ну, ты не очень жадничай, — сказал Петька черному турману, — другие тоже есть хотят.

Отодвинув ладонью птицу, он уселся на лестницу и разговорился с голубями, каждого он называл по имени, но, случалось, привязывалось какое-нибудь одно слово, тогда Петька всех голубей

называл одним этим словом, и голуби понимали своего хозяина и по тону его голоса знали, кого из них зовут он.

Петька разговаривал с голубями и поглядывал на облака, он думал: гонять ему голубей сегодня или не гонять?

— Довольно, — сказал он голубям, — больше не дам, зажиреете!

А голуби, запрокинув квадратные свои головки, глядели на Петьку искоса, каждый одним глазом, и ждали корма.

У забора, за воротами, стояли две липы, очень старые и высокие. Ночью опустился иней. День был тихий, и голые ветки лип были одеты пушистым снежным пером. Петька стал выпускать голубей.

— Нечего вам задаром корм жрать, — сказал он и взмахнул шестом.

Голуби поднялись, они разлетелись в разные стороны. Петька задрал голову, махал шестом и следил за голубями. Черные кувыркались через голову, красные через крыло, — очень хорошие были у Петьки турманы! Петька шел по самому коньку крыши и все махал и махал шестом; ноги его, обутые в старые, подшитые валенки, держались за крышу, будто обезьяньи черные лапы, держались чорт знает как, и похоже было, действовали самостоятельно; они медленно подвигались к самому срезу крыши. Петька видел крутые облака и под

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 6—8 за 1935 г., кн. 1 за 1936 г. и кн. кн. 1 и 2 с. г.

ними своих турманов, красных и черных, и охотнику казалось, что голуби сшибались между собой и, сшибаясь, кувыркались из-под облаков на землю.

«У настоящего охотника не шесть пар голубей должно быть, а сто двадцать шесть, чтобы голуби, поднявшись, загромождали солнце, — вот как должно быть у настоящего охотника!..

Голуби должны быть сытыми, и они совсем не при чем, если у хозяина нет денег и зарабатывает он всего пятьдесят копеек в день, а если нечем птицу кормить, тогда продай ее другому, хорошему хозяину. Как все-таки нехорошо устроено на свете; мне голубей содержать не на что, а Полуденов Гурий на рысаке каждый день катает».

Красные турманы кувыркаются через крыло, они роняют себя почти до самой земли, они идут мельницей и, кажется, вот-вот разобьются. Петька машет и машет шестом, и подшитые валенки его бродят по коньку крыши. Вдруг Петька сел верхом на крышу и уронил шест; лучший его красный турман, сильный самец, упал во двор. Кружась по земле, он бил одним правым крылом и не мог подняться.

— Чертовщина! — Рассохин поднял плечи, он соскользнул по крыше к лестнице и сбежал вниз.

И в руках бился голубь и махал одним крылом, как будто хотел еще раз попытаться взлететь, и недоумевал, что крылья не подчиняются его голубиной воле. Рассохин, повернув голубя, оттянул крыло и увидел, что оно перебито, и скупые пятна крови совсем были незаметны на рыже-красных перьях, если бы кровь не окрасила рук. Петька чуть было не заплакал от горя.

В небе продолжали плыть все те же очень крупные и, должно быть, морозные облака. Рассохин держал голубя у груди и глядел на высокие, запущенные и неем липы, ветви отряхивались, иногда они вздрагивали и ломались с жестким хрустом, как стеклянные, и падали вниз, жалко и нелепо цепляясь за другие, еще запущенные ветки; тогда Рассохин догадался, что в городе стреляют, стреляют далеко, в центре, потому что

выстрелов не было слышно. Рассохин отнес голубя в избу.

— Крыло подшибли, — сказал он матери, — ничего, поправится, доглядывай тут за голубями, мне на завод нынче, слышишь?

Мать перекрестилась на горшок с геранью. Она подумала:

«Слава тебе господи, опять работать зачали!»

А Рассохин бежал к заводу, он бежал той самой дорогой, по которой ходил на работу четыре года. «Господи, господи, целых четыре года!».

На углу всегда встречался городовой, теперь его не было, место было таким тихим и пустым, что Петька спервоначалу не поверил в эту пустоту, она показалась ему очень холодной и очень страшной; он прижался к каменному выступу около ворот. Из глубины пустоты, то-есть от реки, через набережную, проносился ветер, сухая снежная пыль кидалась под ноги, и никого вокруг не было, и Петьке казалось, будто он забрел в опустошенный город, где мертвые глаза следят за человеком из каждой щели.

Рассохин перебежал Лефортовскую площадь и угодил на Хапиловскую улицу.

Слава богу, теперь можно быть смелее! В окраинных улицах идет нетронутая жизнь, здесь ничего не слышно, здесь жители как будто уснули, воспользовавшись временной остановкой заводов и фабрик. Здесь хорошо было спать, пользуюсь тем, что не грохотали трамваи, не шумели конки, не скрежетали станки, не ревели гудки.

Страх гонит Петьку Рассохина вперед и вперед, и не может Рассохин остановиться. Между прочим, ему все время кажется, что вот-вот, за углом любого переулка, он столкнется с драгунами, с людьми в серых шинелях, которые стреляют в любого проходящего площадью или улицей, или переулком («драгунам все равно, где ходит человек, лишь бы убить человека»).

Вскоре Рассохин замечает, что в этой части города улицы живы детьми, стариками и женщинами. Все было на сво-

ем месте, только не было постовых полицейских, не было извозчиков и на пожарной каланче не разгуливал пожарный, — там, на самой вершине, на перекладине, к которой привешены черные шары, сидела тяжелая ворона.

Чем ближе к заводу, тем смелее становился Рассохин; теперь он уже не нырял из переулка в переулок и не озирался, он гордо шествовал по улице, ему очень хотелось, чтобы все видели, как он идет навстречу опасности. Но почему же, однако, не свистят пули? «Почему здесь не стреляют в самом деле?». Но если бы действительно стреляли, он все равно, так же вот, с неподвижным, рассеянным взглядом, продолжал бы идти, придерживая правой рукой замирающее от восторженного страха сердце. Рассохину хочется быть храбрым, ему хочется также, чтобы о нем говорили, как о взрослом, и чтобы никто и не думал даже, будто он совсем еще мальчишка. (В жизни человека бывают дни, когда молодость становится обидной очень, тогда, чорт возьми, хочется бежать во времени вскачь.) Между прочим, Рассохин Петр к восемнадцати годам не вышел ростом, а при малом росте только истинные герои бывают храбрыми, что сразу и подтвердилось, как только выбрался Петька из путаных переулков на площадь, перед заводом; тут он увидел медлительные клубы дыма над вытяжными трубами кузницы, услышал мирный перезвон молотков, тяжкие вздохи паровой машины и гуденье вентиляторов.

«Значит, и чорт с вами, ежели вы работаете, а другие нет!» — так подумал Петька Рассохин и, пятясь, отступил с переулку в ближайший переулок.

В городе шла стрельба, не мог же Рассохин ошибиться; правда, он совсем не слышал выстрелов, но видел, как отряхивались заиндевевшие липы и ломались сучья.

«Ах, чорт! А может, и не стреляли? — мучился Рассохин. — А может, действительно стреляли?».

— Все-таки стреляли! — вслух произнес он, припоминая перешибленное крыло голубя.

Выглянув из переулка, Петька заме-

тил около ворот заводского двора унылую фигуру Епимаха и тотчас же приободрился, стал важным, сделал озабоченное лицо.

— Здесь тоже будут стрелять, — уверенно сказал он и двинулся через площадь прямо на Епимаха. Он остановился за углом материального склада, как-раз там, где пробегал озабоченный зимний ветер.

Перед Епимахом возникает Карп Полуденов, он бодр, решителен в движениях и зол непомерно; за спиной Полуденова выстраиваются морозные облака, Полуденов угрожающе размахивает руками, и облака (так по крайней мере кажется Рассохину) отбегают и прижимаются друг к другу.

Полуденов грозит кому-то кулаком и, согнувшись, скрывается в воротах заводского двора.

И снова торчит одинокая фигура Епимаха, но Рассохин подходить к заводу не решается: «А вдруг и в самом деле работают, — соображает он, — нет, уж лучше я погожу». И стоит, притопывая ногами, тоскливо оглядываясь по сторонам, и ничего не понимает, не понимает даже того, почему нужно драться, и все ему кажется чрезвычайно простым, когда думает он о людях в серых шинелях и о людях в просаленных блузах. Петька уверен, что, если как следует подумать, пожалуй, можно будет найти такой ловкий способ, который бы объединил и серые шинели, и рабочие блузы; сейчас он тоже думает, притопывая все чаще и сильнее. Вдруг Петька неожиданно останавливается, он замирает почти мгновенно, он видит, как Епимах с непривычной для него покорностью, почти насмешливой (так и было на самом деле), согнул старческую, малоподатливую спину перед Ефимкой Чемерицыным, который подходил к воротам завода, ведя под руку, совершенно открыто и торжественно, сверловщицу Надежду Ерасову.

Рассохин перестал притопывать, он вытянул шею, оправился, принял гордый вид и зашагал к воротам завода, прямо на Епимаха.

— Добро пожаловать! — кланялся и приговаривал Епимах, когда Ефимка с

Надеждой Ерасовой находились еще шагов за тридцать, — добро пожаловать...

И тут, когда Ефимка с Ерасовой подошли, возник удивительный разговор:

— Приветствую с восторгом достойных властителей жизни! — воскликнул Епимах. — Трепещет сердце и превозносится душа моя. Пожалуйста, Ефим Леонтьевич, товарищ Чемерицын! И вы, Надежда Васильевна, — подбежал Епимах к Ерасовой.

— Не юли, — отмахнулась женщина, и ее гордые, румяные губы брезгливо оттопырились, она сердито повела темными глазами, огромными, как вечерняя тишина, Ерасова бросила руки вдоль тела, сжала кулаки, она стала похожа на архангела из часовенки у чудотворного колодца. Темнорыжие волосы выбились из-под платка.

Ефимка свирепо заурчал, однако сдержался и, пройдя ворота, направился в звенящий кузнечный цех.

Гордо вышел из-за прикрытия Рассохин.

— Ты, гриб-поганка! — взвизгнул Рассохин и плюнул Епимаху в ноги, на его робкие, грязные штиблеты.

Епимах не обиделся, это обстоятельство больше всего удивило Рассохина: Епимах улыбнулся смиренно и скорбно и, пожалуй, еще неудовлетворенно, как будто был разочарован столь малым унижением своим в такое грозное время. Он протянул руку, как бы намереваясь ласковым прикосновением ободрить и поблагодарить Рассохина.

— Стар я, молодой человек, и вполне достоин презрения, — сказал Епимах, отступая к проходной будке.

Рассохину стало скучно, он рассчитывал, что всемогущий Епимах заверещит, зашипит, будет злобно плевать, и вот тогда бы Петька на законном основании и с величайшим наслаждением расцарапал Епимаху его пергаментную физиономию; но управляющий конторой стоял, как нищий, горбившись, и голова его на слабой шее покачивалась подчеркнута печально. И под носом Епимаха висела мутная слеза.

Рассохин поднял угловатые плечи свои с явным презрением к старику и

зашагал следом за Ефимкой, а Епимах стоял, глядел во двор и, прислушиваясь к звону, беззвучно смеялся.

В кузнице из круглых железных прутьев ковали пики, и все готовились к бою и думали, должно быть, что здесь, на окраине города, дело пойдет врукопашную и рабочий народ, если только двинется он скопом, обязательно побьет царское войско.

В кузнице перестали звенеть молотки, когда Ефимка попросил для Ерасовой слова. Ах, это было замечательно! Петька Рассохин стоял рядом с Ефимкой, и тут же находился Тихон Стригун, и было очень заметно, что Стригун ни черта не замечает, кроме Ерасовой.

— ... Мы создадим свой штаб и построим баррикады, — говорила Ерасова. И все, не прекословя, согласились с ней.

А Рассохин стоял и думал о постороннем; он думал о том, что настоящая красота всегда чуточку печальна, как далекая музыка, которую слышишь в полусне. Красота в сочетании с гневной речью очень понравилась Рассохину. Кто-то вооружил парня только-что откованной, еще не остывшей пилой; Петька принял пику торжественно, как вновь посвященный рыцарь, и, еще не понимая, что будет делать он с таким оружием, встал позади Ерасовой. Молчаливый и до смешного суровый, он почувствовал себя полноправным хозяином в стенах завода, который еще недавно был ему ненавистен до того, что по утрам, когда нужно было подниматься по гудку на работу, сердце сосал острый холод, в голове появлялась мусть и в глазах тоска.

Слева от Ерасовой стоял Ефимка, справа Тихон Стригун, прямо, усевшись на обрубок, находился Рорбах; он раздумчиво теребил бороду, участливо улыбался Тихону и шевелил губами, должно быть, шептал что-то, но, что именно, знал только сам Рорбах, то-есть он думал, и его мысли совпадали с рассохинскими: «Настоящая красота всегда чуточку печальна (Рорбах улыбнулся), она почти иконописна» — решил он, припоминая виденные им иконы богородиц знаменитых мастеров. Рорбах окон-

чательно утвердился на этой мысли и пожалел Стригуна, который страдал на глазах у всех от любви своей к Надежде Ерасовой.

— ... Мы должны знать, что происходит в центре города, — говорила Ерасова, — мы будем собирать здесь наше рабочее войско на помощь городу.

«Красота тихая, в печали и молчании, — вот какой должна быть настоящая красота!» — определил Рорбах.

С головы Ерасовой медленно сползал на плечи черный, в цветных разводах платок.

— ... Нужен разведчик, — прокричала Ерасова.

Рорбах отказался от первоначальной мысли, он теперь не сомневался в одном лишь, что подлинная красота должна быть в движении, в буйном гневе или в ликованиях.

Над шалью взметнулись пышные волосы, темнорыжие. Ерасова соскочила на пол, ей стало стыдно за свое богатство, за великолепие, потому-то она ринулась в толпу, чтобы затеряться поскорее. Тогда перед собранием, перед тяжелыми глазами рабочих, выступил Рассохин. Потрясая самодельным копьем, он объявил себя разведчиком.

На улице еще утро, а может быть, такой ленивый русский день, который ничего не замечает и не изменяется сам, потому что не придает значения происходящим событиям.

II

В морозном воздухе устойчив запах пороха, и сначала, когда запах этот тонок и не окончательно прокис эстет, можно дышать, зато потом распространяется вокруг тяжелое зловоние.

На Рассохина, видимо, никто не желал обращать внимания. Солдаты, скрытые в обширных московских дворах, составив ружья в козлы, уныло бродили из угла в угол или бились в шутку «по бокам», усиленно курили, а все остальное время тяжело скучали и прислушивались к редкой ружейной перестрелке.

Рассохин бродит и бродит, ныряя в проходные дворы, огибая площади, прячась в пустых подездах. Он выходит

прямо на солдат и шагает двором так деловито и озабоченно, что его и не думают останавливать, слишком уж буднична и деловита Петькина походка. Совсем нечаянно встретились бородатые казаки. Во дворе мирно пахло навозом и лошадиным потом, а бородатые люди казались необыкновенно добродушными и слишком уж простецкими. Рассохин шагал и думал о злой воле этих добродушных казаков, и как будто из уважения к его думам пели казаки степные свои песни.

Петька зябко передернул плечами и сбился с первоначальной мысли; он захотел думать сызнова, другими, понятными мыслями, которые были отпущены ему самой природой, а не внушением, пришедшим из книг, случайно прочитанных им.

Казаки пели. Рассохин считал про себя — много ли их? Он стоял с разинутым ртом, рваный и грязный, он хотел знать: какое имеет еще оружие у казаков, кроме шашек и тяжелых нагаек?

Лошади у коновязей нетерпеливо перебирают ногами, они дико поводят глазами, они рвутся.

— Ты зачем тут, пострели те зараза! — кричит широкобородый вахмистр.

Петька Рассохин поспешно срывает с головы драную кепку и дурашливо смеется, он прикидывается слабоумным, он бормочет чорт его что.

— Дяденька, подай, для спасения ради, копеечку Христа ради. Гы-гы! Коня куплю, к мамке на тот свет поеду...

Должно быть, бородатого вахмистра напугали полубезумные глаза и дикий гогот, он перекрестился, ткнул Рассохина легонько в загорбок, крикнул проходившему казаку:

— Эй, Дедюхин, проводи его на кухню, пускай его пожрет...

И вот проходит ночь, длинная, как ожидание. В обширной кухне, около плиты, дремлет Рассохин, дремлет и следит за своими мыслями:

«Если все поймут, что так жить нельзя, тогда победа обеспечена!».

Так говорил Краков.

«Нет и не найдено измерение человеческой подлости, я это знаю по наблюдениям, по тому, как живет мой отец.

как живет старший официант Патрикей и тот человек, имя которого боязно упоминать».

Так говорил Гурий Полуденов.

«Имя этого человека — Елимах», — догадывается Рассохин. — Чорт с ним, и с Елимахом, — шепчет он, содрогаясь и холодея в жарко натопленной кухне.

Еще до зари Рассохин встает и выходит во двор, сопровождаемый храпом спящих казаков; во дворе двое саней и дневальный, который, зарывшись в сено, спит и ничего, конечно, не слышит. Рассохин подходит к первым саням и приоткрывает брезент.

«Господи, господи!».

В санях лежат закоченевшие тела убитых и сверху всех женщина с плетеной сумкой в мертвых руках; сумка прижата к груди, и в сумке заледенела кровь, это кровь из рассеченной головы.

Рассохин видит другие сани, из-под брезента торчат голые ноги, скрюченные и грязные.

«Хорошо бы сейчас выпить стаканчик водки, чтобы немножко согреться, потом покрепче уснуть, так, чтобы ничего не осталось в памяти».

Рассохин вспоминает добрую бороду вахмистра, и его охватывает такая острая ненависть к вахмистровой бороде, что он перестает дышать и не может развести стянутых судорогой челюстей. Рассохин стоит над грязными, посиневшими ногами мертвеца и, сам того не замечая, горько плачет от жалости, ужаса и человеческой незащитности и еще от того, что в жизни он последний, а не первый (ему хочется стать первым). Вдруг он вздрогнул и покачнулся, он услышал тревожный свисток паровоза и сразу определил, что ему нужно делать.

Утро едва только разошлось, падали редкие снежинки, бессонный город глухо и тревожно урчал, хотя в улицах было безлюдно, как будто бы город давно вымер и остались только редкие счастливицы, которых миновала, да и то по недосмотру, смерть.

Рассохин проходит улицами, точно кладбищенскими линиями. Чувство страха, обычного, человеческого, прошло окончательно, и вообще наплевать на

то, что может случиться. К заводу Рассохин подходит, будто к крепости, тут все тихо, одна лишь печальная фигура Елимаха маячит у ворот, и Елимах кланяется даже ему, Петьке Рассохину.

— Здравствуйте, Елимах Лазаревич! — гордо отвечает Петька и проходит мимо старика в заводской двор; он останавливается на площадке перед машинным отделением. Здесь машинист Грязнов, бывший унтер-офицер первой роты Смоленского полка, обучал дружинников военному искусству; делал он это, как и все вообще, очень сердито, он топорщил усы, топал ногами и кричал, но на него и не думали сердиться, все его приказания исполнялись весело и охотно. Петька Рассохин был теперь полон внутреннего героизма и храбрости (чувство храбрости появилось неожиданно и было сильным, как и первоначальная трусость. Рассохину было бы смешно, если бы кто-нибудь обозвал его трусом, то-есть до того смешно, что это, пожалуй, было бы сильней обиды).

Машинист Грязнов скомандовал «вольно» и сейчас же начал заниматься словесностью. Рабочие-дружинники уселись, кто где хотел, некоторые просто устроились на корточках, они курят и слушают, и Грязнов тоже курит; он шагает по линии сидячего фронта и сердито объясняет:

— Умереть любой дурак может, эка невидаль, рассудить, так только смешно станет. Люди на земле, чорт их знает, сколько времени живут, даже в божественных книгах и то правильного указания нет, может, больше миллиона годов, а к смерти не привыкли еще и со смыслом умирать не умеют, или, скажем, с насмешкой над природой.

— А ты умирал, Матвей Григорич? — спросил Тихон Стригун. — Вот если бы умирал...

— Встань, когда с командиром разговариваешь! — приказал Грязнов. — Ну уж, ладно, сиди, я только для проверки дисциплины... Насчет смерти не скажу, может, и умирал когда, — не помню. Я для чего вас обучаю? Для осмысленной драки во время сражения, чтобы вы, скажем, не махали зря рука-

ми, если в рукопашном бою, и не палили бы без толку в воздух во время перестрелки... Станови-ись! — неожиданно крикнул он и вытянулся перед фронтом сам. Потом он скомандовал что-то, чего Рассохин не понял как следует, и пятьдесят вооруженных берданками рабочих по команде этой рассыпались в цепь.

— Здорово! — одобрил Рассохин и отправился разыскивать Ефимку Чемерицына; он нашел его в заводской конторе, в опустошенном кабинете Фридриха.

— На Большой Рязанской казаки, — сообщил Рассохин, — они очень много убивают, сволочи. — Он рассказал о том, что видел сам. — Два воза набили... Слышишь?

— Не глухой, — сказал Ефимка, открывая ящик письменного стола.

Вечером с заводского двора выходили рабочие; они шагали под командой машиниста Грязнова, как настоящие солдаты, и впереди всех шел с красным знаменем Тихон Стригун. Рабочие уходили к центру города.

Ефимка увидел Тихона и вдруг припал к окну.

— Умереть хочет парень, — раздумчиво проговорил он, — сам рассказывал.

— Чего ты говоришь? — не расслышал Рассохин.

— Поведешь меня нынче к тем казакам, — отозвался Ефимка.

Рассохин закрывает глаза, чтобы видеть женщину с рассеченной головой, и, когда ему удастся это как нельзя лучше, он снова принимается рассказывать о трупах, уложенных в двое больших саней.

— Слышал уже, — говорит Ефимка.

— Ах, верно ведь! — напоминает Рассохин.

Ночью Рассохин сопровождает Ефимку на Рязанскую улицу, к Казанскому вокзалу; идут они медленно, у Ефимки в карманах две бомбы, изготовленные на заводе из газовых труб. Ефимка шагает осторожно, он боится споткнуться и упасть. Под ноги бежит поземка, улицы темны, окна в домах плот-

но завешены или закрыты ставнями. Вышли на площадь перед церковью Покрова, ветер метался тут и посвистывал в телеграфных и телефонных проводах.

Рассохин остановился.

— Ну? — спросил Ефимка.

— Слушаю, — отозвался Рассохин.

На товарном дворе Казанской дороги было тихо, только на путях сопели еще остывавшие паровозы.

— Сделай милость, не трать ты, — сказал Ефимка, — ну тебя к чорту!

Рассохину стало смешно, он молча двинулся к товарному двору, чтобы от туда пройти незамеченным к дому, где стояли казаки. На товарном дворе пахло чорт знает чем: кожей, курным углем и керосином. И опять пришли к Рассохину прежние его мысли о смерти, о том, что человеку цена пустяковая. «Сколько на войне перебили, да еще сколько перебьют, — соображает Рассохин, — ежели дело по-настоящему разгорится, сосчитать будет невозможно». Петька ничего не боится, он только не может себе представить, как он, живой и разумный сейчас, будет потом валяться где-нибудь заколоченный, с простреленной грудью. Конечно, он ничего уже не будет чувствовать, но все-таки, все-таки... и как же это так?

— У меня отец умер, — неожиданно для самого себя сказал он.

— Подстрелили, что ли?

— Да нет, просто умер... Магазин громили, ну, он выпил с радости, и умер. Он сапоги чинил, тем и кормился.

— Сапожник, значит?

— Ну, да, сапожник.

— Тогда все правильно, Петруха, от чего же сапожнику и умирать, как не от пьянства. Жалко тебе отца-то?

— Все-таки мужик был сходный... — Рассохин горестно шмыгнул носом, остановился. — Ты погоди тут, — предложил он Ефимке, — я скоро ворочусь.— Он пропал во тьме, за товарными вагонами, как будто провалился. Ночь стояла беззвездная, глухая. Ефим Чемерицын прислушивался к тишине и терпеливо ждал, когда появится разведчик; вдруг он услышал звонкое ржанье, потом из тьмы поднялась невнятная, тя-

гучая песня, не знакомая для городско-го Ефимкиного слуха: не то гудит ветер в лесу, не то шумит далекий дождь. Человеку стало скучно, потому что стоял он один во тьме, которая пахла мертвецкой. Ефимке хотелось поскорее увидеть кого-нибудь, любое живое существо; он потерял привычное хладнокровие сильного человека и уже не надеялся на свою силу; тьма казалась душной, а песня, как ветер или как далекий шум дождя, все еще гудела. Ефимка медленно побрел вдоль вагонов. Вдруг в глаза ударил ослепительный свет кондукторского фонаря. Ефимка покачнулся от неожиданности и чуть было не упал.

— Я это, — слышался голос Рассохина, и от яркого света осталась тонкая полоска: Рассохин прикрыл фонарь полой тужурки. — Соскучился? — угадал он. — Ладно, не сердись, сейчас придем. (Рассохину хотелось посмеяться над Ефимкой: «Сделай милость, не трусь ты!» — готов был сказать он.)

Ефимка молчал, ему нравился молодой голос товарища, и понимал он разговорчивость Рассохина, как желание подавить в сердце нарастающий страх; Ефимка думал, что понимает он правильно, потому и улыбался и прощал Рассохину его страх.

Внезапно Рассохин потушил фонарь.

— Здесь, — сказал он.

Ефимка вытянул руку и нащупал стену навеса; под навесом фыркали лошади, сквозь щели виден был широкий двор, у разложенного посредине двора костра стояли казаки и собиравшись петь. Знакомый Рассохину вахмистр, с окладистой бородой, запрокинул голову и выбросил над костром руки.

И-ехали казаки с-аслужбы д-дамой.

На плечах д-погоны, д-на грудях кресты.

Ефимка тотчас же узнал в песне знакомое гуденье ветра или шум далекого дождя. Две сотни глоток кричали в глухое небо о доблести своей, о славных походах, о преданности царю.

Ефимка в эту минуту (то-есть в самую неподходящую и страшную) захотел посмеяться над Рассохиним и попугать его.

— Нет, я не могу, Петруха, — за-

явил он, — не боюсь, а не могу! Понял?

Рассохин ничего не понял, он качнулся, испуганно вытянул руки, но тут же оправился и, подойдя к Ефимке, вцепился в рукав его тужурки.

— Ты погляди, — сказал он, — нет, ты только погляди, здесь они, вот здесь!

Ефимка нагибается и при свете костра видит двое саней, нагруженных мертвыми телами; Ефимка в яве видит Рассохинский, рассказ, он вытаскивает из карманов бомбы и сует их в руки недоумевающего товарища.

— Подашь мне, — говорит Ефимка и, уцепившись за дощатый край навеса, лезет вверх; тут он ложится животом на крышу, принимает бомбы и ползет.

А казаки поют о доблести своей, о славных походах и преданности царю.

Ефимка бросает первую бомбу, и костер поднимается над широким двором и освещает на секунду глухое небо; вторая бомба рвется около ворот, и Рассохин слышит, как трещит забор под копытами испуганных коней, потом кто-то рывкнул «хо-ох!», и по железной крыше дома поползла кирпичная труба...

— Вот и все, вот и все, — сказал весело взволнованный голос, и Рассохин Петр бросился бегать по путям товарной станции, ныряя под вагоны, не чувствуя ушибов.

III

Может быть, и ничего, что до весны еще далеко и в декабре трудно думать о весне, — Гурий по крайней мере думает об этом, — но всякий раз, как только приходит первая мысль о том, что вот сугробы растают и там, где стоят сейчас безлистые, печальные липы и свистят морозные ветры, можно будет ходить босиком, Гурию становится смешно, хотя он отлично знает, что снежные сугробы, действительно, растают и липы будут шуметь веселой листвою.

Да, все так именно и будет, и, когда поздним вечером появляется в ресторане Евгения Строчилина, Гурий чувствует, что весна может случиться и в декабре.

— Сегодня закрыли все магазины, — говорит Евгения и весело улыбается, как будто сообщает бог знает какую приятную новость. — А в этой стороне города совсем другая жизнь.

— Ресторан попрежнему торгует до часу ночи..

— Ну, вот, видите...

Гурий не знал, что бы такое сказать хорошее и интересное, и вдруг, в самом начале своей мысли, он вспомнил, что сейчас лучше всего и умнее всего беседовать о революции; он и заговорил о революции, но слова его были неловкими, потому что происходили от других мыслей; тогда Гурий окончательно сконфузился и умолк. Втайне он злился на себя и хотел быть интереснее и лучше всех перед Евгенией, и оттого, что он сильно желал этого и все время думал об этом, даже и тогда, когда ее не было, он готовил себя к встрече с нею, от этого у него ничего потом и не получалось ни с мыслями, ни со словами.

— Может, вас проводить? — спрашивает Гурий с деловым равнодушием и краснеет, и неловко топчется.

Евгения усаживается в глубокое кресло, она все понимает, и отвечает она явно утомленным любовью голосом:

— Нет, я отдохну немножко, я очень устаю, Гурий.

«Слава богу, — молчаливо радуется Гурий, — она еще побудет со мной».

Он садится рядом, радостно взволнованный и онемевший, прислушиваясь к тому, как шуршат ее шелковые юбки и стучат каблук ее ботинок.

Потом приходит минута, когда обоим становится чуточку стыдно, потому что выбрали неудобное время для молчаливой любви своей; тогда они поднимаются сразу, как испуганные птицы.

Гурий не задерживает ее, он выносит следом за нею в санки пачки листовок, он укрывает ноги Евгении медвежьей полостью. Кучер подбирает вожжи, и все исчезает, как видение, только остается в воображении ее лицо и то лишь на минуту.

Через некоторое время к Гурию возвращается его обычное спокойствие, и видит он себя смешным, неловким и, конечно же, глупым. Сейчас он рассуждает очень здраво насчет того, что происходящие события не оставляют и часа для личной жизни и, кроме того, у Евгении Строчиловой есть человек, которого она любит.

Гурий сидит в кабинете ресторана «Севилья», он подсчитывает выручку и, подсчитав, идет наверх, к Семену Рорбаху, в тесную каморку его, где, вот уже в течение двух с половиной лет, печатаются листовки и прокламации, а теперь Гурий шел освобождать Рорбаха из его заточения, добровольного, если бы не полиция...

Семен Рорбах как-раз только-что закончил работу, и на сердце у него очень спокойно; правда, он немножко досадует на то, что в такое боевое время приходится сидеть взаперти. Революция происходит за всю его жизнь в первый раз, и Рорбах думает, что во время революции полезнее быть на улице, на баррикадах, он думает об этом чуточку книжно и, несомненно, пафосно: «В то время, когда пролетариат борется с оружием за священные основы революционных свобод...».

Он слышит шаги по дощатому настилу чердака и радуется тому, что постороннее вмешательство рассеет его мысли; но за полминуты до прихода Гурия Семен Рорбах успевает перебрать в памяти многое.

Его обижают, думает он, его обидели в жизни (ссылки, вечное одиночество, аресты, скитания), хотя обида наполняет его сознание гордостью. Его обидели женщины, то-есть не то, что обидели, а как-то случилось, что он, Семен Рорбах, обошел женщин вниманием и за пятьдесят лет не успел разговориться ни с одной из них, хотя, если уж, чорт возьми, рассуждать без утайки, он довольно часто думал устроиться в жизни несколько уютней. Совершенно верно: пускай бы возилось и шумело вокруг его, Рорбахово, потомство и ворчала, даже и по праздникам, сварливая жена, это как-раз ничего и являлось бы вполне законной платой за семейные ра-

дости... Теперь, конечно, поздно уже рассуждать и выражать свое согласие, теперь обиднее всех обид третья обида: он, Семен Рорбах, в то время, когда...

В дверь постучал Гурий, и, кроме того, Рорбах припомнил, что насчет третьей обиды он уже думал.

Гурий вошел, он улыбнулся Рорбаху, как равный равному, и на лице его совсем не было прежней робкой и, пожалуй, ребячьей почтительности, которой он отличался когда-то.

— Да будет благословен твой приход! — сказал Рорбах. — Как ты ухитряешься торговать в то время, когда в городе баррикады и грохочет артиллерия?

— Пушек маловато еще, Семен Львович, так что насчет грохота вы несколько преувеличили. Покуда приказано не жалеть патронов, артиллерия будет действовать потом, что же касается торговли, так я только доверенный моего папши, да к тому же мы на окраине, революция сюда покуда не заглядывала, даже городской Кукин на посту...

— Подвигов не совершали?

— Нет, Семен Львович, мы только формируем на заводе отряды дружинников.

— Не пора ли нам занять легальное положение, Гурий, и как следует утвердиться в жизни?

— Если нас утвердит революция...

— Ага, значит, ты еще не веришь, что революция победит?

— Обратите ваше внимание на меньшевиков, Семен Львович, — с изысканной почтительностью указал Гурий, — революцию могут подвести меньшевики.

Гудит ветер, бегают по железной крыше и врывается в слуховое окно, и в теплой камерке как будто становится холоднее и неприветливей.

— Я бездельничаю, — вслух пожалел Рорбах, — я скоро сбегу отсюда.

— Повоюйте здесь, Семен Львович, — настаивал Гурий, — о вашем освобождении не поступало приказа... Ничего, ничего, все идет по расписанию, листовки, которые вы изготавливаете тут, тоже не плохое оружие. Что? Конечно же, не плохое, все железнодорожники Московского узла бастуют, за исключением

одной только Николаевской. Вам этого мало? Тогда позвольте еще доложить, что мы уже воюем.

Гурий сделал руки по швам, как будто действительно рапортовал, и не Рорбаху, а всему составу Московского комитета. Он добыл копию предписания генерал-губернатора Дубасова московскому градоначальнику и с полупоклоном (Гурий находил, что солдат революции должен быть образцом дисциплинированности, и потому говорил и действовал в эту минуту вполне серьезно и с некоторой торжественностью даже) подал Рорбаху:

«В виду начавшейся забастовки на железных дорогах, прилегающих к Москве, — писал Дубасов, — я, согласно именного высочайшего указа правительствующему сенату от 29 ноября сего года, объявляю сего же числа город Москву и Московскую губернию на положении чрезвычайной охраны.

Декабря 7 дня 1905 года.

Генерал-губернатор города Москвы и Московской губернии

Ф. Дубасов».

Рорбах окончательно затосковал.

— Может, меня все-таки можно вывести отсюда, или еще нет? Ты спроси там, Гурий, скажи Кракову, скажи ему, что у Рорбаха есть долголетний боевой опыт. Погоди, Гурий, я знаю, что ты собираешься ответить мне...

Гурий не выдержал. По правде, он любил этого человека, у которого к пятидесяти годам ничего не осталось, кроме светлой души его и надежды, что он завоюет, в конце-концов, целый мир вместе со своими товарищами, в первую очередь рабочими завода братьев Ланге, и что дни завоевания наступили и пора действовать не словом только, но и оружием. Чувство самой беззаветной, самой восторженной храбрости переполняло его сердце, и Рорбаху хотелось (в этом был он сроден Петру Рассохину) поскорее доказать свою храбрость.

— Я затем и пришел к вам, Семен Львович, чтобы вывести вас отсюда, — объявил, наконец, Гурий, — мы поса-

дим сюда Лепихина Викула. Довольны вы?

На другой день Рорбах увезла Евгения Строчилина, и на чердаке ресторана, в тесной, обжитой Краковым и Рорбахом каморке, появился старый литейщик Лепихин Викул; он не писал и не печатал в эти дни прокламаций, он заготавливал оружие для рабочих завода Ланге. Хмурый и неразговорчивый, Викул совсем не советовался с Гурием, он просто отдавал распоряжения, обращаясь к человеку с какими-то средними, безличными словами.

— Мне бы Побыткина Степана, — сказал он в тот же час, как появился. Помолчал и добавил невнятно: — Слесарь есть такой на заводе Ланге.

«Это другой Лепихин, это не Дмитрий», — так думал Гурий, разглядывая сивую голову бывшего литейщика, который несложную свою профессию давно уже поменял на революционную.

«Или я не привык к таким, — продолжал размышлять Гурий, — или он сердит на меня за мое происхождение? Нет, должно быть, избалован я вниманием таких людей, как Рорбах, Строчилина, Краков...».

Через минуту:

«Ну, какой же я революционер? — книжный революционер. Я разговаривал и негодовал, я философствовал, чорт меня возьми! Я еще что-то такое думал о любви и личном счастье, о любви чуть было не проговорился. Хм! выбрал же время, хорошо, что спохватился».

— Побыткина знаю, — сказал Гурий, запоздав с ответом на целых пять минут.

Викул сумрачно оглядел Гурия, и Гурий поспешил еще раз удостовериться, что знает Побыткина довольно хорошо, как человека вполне надежного.

— Еще бы, — строго выговорил Викул, — еще бы! — и подал Гурию газетную вырезку:

«В три часа ночи, с 7 на 8 декабря, группа дружинников напала на оружейный магазин Биткова, что на Большой Лубянке. Захватив в магазине 25 револьверов, 9 карабинов, винтовку и

охотничий пулемет, дружинники скрылись».

— Так что же? — спросил Гурий.

— Оружие хорошо бы перетащить в надежное место, — сказал Викул, — нынче же ночью и перетащить. Надо увидеть Побыткина, он это сделает.

— Значит, Побыткин? — догадывался Гурий.

— Степан Побыткин, — тотчас же подтвердил Викул.

Ему не очень хотелось сообщать об этом, и сказал он так, чтобы показать, что у него нет тайн и Гурию он вполне доверяет; но, привыкнув к самой строгой конспирации, он уже раскисался и упрекал себя за болтливость. Конечно, Викул ничего не мог бы сказать плохого о человеке, которому доверяли все, но сознание того, что он в какой-то степени зависит от Гурия, очень его сердило.

«Вот как! — думал между тем Гурий, — оружие, оказывается, добыл Побыткин, — а что сделано мной?» Он принялся упрекать себя за бездеятельность, и ему казалось, будто он совсем бесполезный человек и что ему срочно надо доказать свою работоспособность.

— Нам следовало бы организовать свой штаб, — сказал Викул, — отсюда мы и поведем наступление или закрепимся здесь.

Он говорил, как опытный командир, который по ходу сражения хотел определить, на каком участке фронта произойдет решающий бой.

— Я не знаю, откуда надо повести наступление, — признался Гурий, — я только думаю, что здесь надо собрать возможно больше сил.

Викул разбирал какие-то бумаги, которыми были набиты его карманы, он почти не слышал того, о чем говорил Гурий, он сказал, не подымая глаз:

— Надо отыскать брата Дмитрия, оружие находится у него.

Викул управился, наконец, с бумагами, он подошел к Гурию, он молчал, но его лицо было уже приветливым, а глаза ясными. Где-то грохала артиллерия. В эти минуты, очень короткие, Гурий вдруг понял, что приближается

новая полоса жизни, которая отгородит его ото всего, к чему привык он, хотя и презирал. Он почувствовал дыхание спасности, когда человек один-на-один встречается со смертью; правда, он слышит голоса других, но умирает все-таки один. Что же еще? Ах, если бы не пробирал до костей холод, если бы светило солнце и не подвывал злой, декабрьский ветер.

— Скоро Карп Полуденов узнает правду, — сказал Викул и ободряюще улыбнулся Гурию, — ну что ж, этот день должен был неминуемо притти, вот он и пришел, так оно и должно быть...

IV

Бывший участковый надзиратель, Василий Тимофеевич Руденко, ныне частный пристав, покинув казенное здание полицейского управления, скрывался в крепком доме кума своего Карпа Серафимовича Полуденова. В эти тревожные для его чувствительного сердца дни он писал:

«Путь провиденья неизвестен, и счастье лишь только грезится порой. Увы, мне с лишком пятьдесят и нет уже надежды, что жизнь моя вторично улыбнется мне».

Душевное волнение и тайные слезы, вот все, что осталось на долю старого служаки. Руденко больше других был напуган забастовкой рабочих, которая перешла теперь в вооруженное восстание, и вот уже четвертый день гремели в городе орудийные залпы, стрекотали пулеметы и баррикады перегородили улицы Москвы.

«Тебе, о боже, вручаю я мою дальнейшую судьбу».

Так вот тосковал Руденко, записывая в приходо-расходный журнал (в ведомости благополучия жизни) все, что тревожило нежную его душу; ему очень хотелось вернуться в прошлое, в непоколебимую жизнь, которая была такой тихой и приятно-тоскливой, как пение сиротливой овсянки. «Вот, — думал в те времена Руденко, — я одинок, и у меня нет милой, и будет ли она, неизвестно». И Руденко плакал от нестерпи-

мой жалости к себе. И вдруг все изменилось, жизнь стала беспокойной, «жизнь стала шершавой». Так размышлял Руденко, то-есть ему казалось, что каждый новый день скрежетал в его душе, и если бы ему, старому полицейскому, обещали все блага мира, как приданое к новой жизни, он не согласился бы, ему было боязно, что его лишат величайшего удовольствия поклоняться, прислуживать, льстить и молиться старым богам и тем самым опустошат его душу, вывернут стержень жизни, обесмыслят ее. Может быть, то, за что дерутся сейчас рабочие, есть самое лучшее и хорошее, но ведь к этому еще нужно привыкнуть. Руденко глядит на старого и пьяненького, по случаю тревог и огорчений, Епимаха и не смеет спросить у мудреца совета. Должно быть, Епимах Киндеев ничего не замечает, глаза его безжизненны и пусты.

— Вот, — громко произносит он, не обращая внимания на Василия Тимофеевича, — события совершаются в строго последовательном порядке. Что я сказал? Ах, да! Я хочу рассказать, потому что вы, как я полагаю, не были осведомлены своевременно.

— Были-с, — с горечью признался Руденко. — Позвольте мне, однако, присовокупиться к хмельному напитку: горит моя душа от предчувствий.

— Присовокупляйся, — разрешил Епимах, как разрешает господин своему слуге. — Присовокупляйтесь, — поправился Епимах. Он огляделся вполне разумно и трезво и все-таки не заметил своего собеседника, хотя голос его отчетливо слышал:

— Приближаются времена, — бормотал Руденко, — когда содрогнется мир...

Руденко устался в одну точку, не в силах одолеть первоначальной идеи.

— ... приближаются времена, — слыняво повторил Руденко, готовый разрыдаться. Неожиданно перед его глазами широко открылась Епимахова пасть с выпадающей искусственной челюстью, из пасти этой вылетали слова, которых никогда еще не слышал участковый пристав:

— Вы, да, именно вы-с и подобные вам ускорили приближение того, что видите и слышите теперь. — Епимах вытянул шею, прислушался: за плотно занавешенными окнами стоял темный зимний вечер, и там, в этой тьме, прозвучал глухой, но довольно явственный пушечный выстрел, потом засвистал ветер (ах, этот ветер! если слышишь его, то уж в песне ветра и человеческая сиротливость, и брошенная любовь, и бессмыслица рождения, и бессмыслица смерти, и уют, и какой-то особый, совсем невидимый уголок, где, укрывшись ото всех, спит душа твоя и все происходящее в мире видит, видит, видит, оттого и радуется душа, что все видит, но происходящее, страшное, души не касается, а главное, сердце твое лежит рядом с другим, близким сердцем любимой, и больше ничего тебе и не надо, и вполне достаточно, чтобы жить и радоваться. Все можно услышать в заливиستمом свисте ветра, все, что каждому хочется слышать).

— Что такое? — привскочил Руденко. — Боже мой, боже! укрепи мое сердце! Долг службы повелевает мне быть на посту, милостивый государь мой, Епимах Лазаревич.

Руденко метнулся в угол комнаты, к дивану, где висела на стене казенная шашка. Епимах следил за приятелем со снисходительной и совершенно откровенной усмешкой. Руденко уронил шашку на пол, грохот падения поразил его, он вздрогнул, выкатил глаза и остановился.

— Вот-с, такие-то дела, дорогой Василий Тимофеевич, — пьяно и необычайно весело говорил Епимах. — Вы приблизили роковой день расплаты и теперь трепещете, ибо разгневанный народ жаждет отмщения и потребует вашей крови, но, как истинный рыцарь, вы хотите умереть с оружием в руках. Что ж, вполне вас понимаю и одобряю, однако осмеливаюсь напомнить вам, Василий Тимофеевич, что на улице зима и выходить в одном парадном мундире в ваших летах небезопасно, будьте благоразумны, послушайте друга, оденьтесь теплее, а еще лучше, подождите до утра, утро вечера мудренее, Василий

Тимофеевич! А-и, хи-хи-хи! Послушайте меня.

Епимах поднялся, взял ошалевшего пристава за рукав мундира и подвел к окну; тут он отдернул занавеску.

— Бушуют стихии, Василий Тимофеевич, и, может, лучше и не ходить вам, а? Вы подумайте...

Черный вечер во дворе при ярком освещении в комнате казался еще чернее. Руденко в страхе отодвинулся и с размаху сел на диван перед столиком.

Епимах тотчас же налил два стакана вина.

— За решительных, за смелых защитников отечества, готовых в любой час пролить кровь свою! — провозгласил Епимах и выпил.

— О-о-о, — простонал Руденко и тоже выпил.

Злобный, потому что у него грозили отнять привычную жизнь, был он слишком трусливым и слишком глупым, чтобы суметь спасти эту жизнь; он ждал только утешения, и все слова, которые слышал, принимал как утешение, не понимая их насмешливого значения.

— Потерявший приобретет, приобретший потеряет, так утверждают пророки, — смеялся Епимах, — а что вы теряете, любезнейший Василий Тимофеевич? Вот эту шпагу... — Епимах поднял оброненную шашку, — ... которая, кстати, давно заржавела и не вынимается из ножен. Ха! Мое же оружие ненависть! Вы хотите знать, кого я ненавижу? Хорошо-с, я вам сообщу. Я ненавижу всех. Что? Так точно, на основании законов природы-с, ненавижу за то, что люди живут, не понимая насмешки природы, и оттого самодовольны, чорт их возьми, самодовольны до того, что воображать стали о себе, как о великом творении бога. Я ненавижу всех авансом, чтобы не ошибиться, драгоценнейший Василий Тимофеевич! Как вы говорите? Да-с, и любить пробовал и всегда при этом ошибался. Прошу со мной не спорить, все сказанное мной проверено многолетним опытом моим...

Епимах, пьянея, уже кричал высоким петушиным криком, он вскочил и, размахивая ножнами (шашка, действительно, не вынималась), скакал по комнате;

тощий и темный с лица, он производил своеобразный шум, точно все его суставы держались на ржавых шарнирах. Вдруг хлопнула где-то дверь, точно выстрелил кто. Руденко вздрогнул и снялся с места, но, куда девать себя, он совсем не знал, и встал среди комнаты, жалко раскорячившись, а Епимах продолжал размахивать ножнами, кривляться и восклицать:

— Любил, всех любил, милостивый государь мой, Василий Тимофеевич, благородный рыцарь, неустрашимый защитник отечества, любил до той поры, покадова не заметил, что любовь, проливаемая мною на людей, возвращает их и что именуемая любовь свойственна одним истинным и непоколебимым дуракам, ибо не было еще в подлунном мире случая, чтобы любовь осталась неосмеянной.

— О, любовь, все претерпевшая! — восклицал обалдевший Руденко, пытаясь поймать и обнять Епимаха. Растопырив руки, он медленно подвигался по комнате.

Снова хлопнула дверь, слышались торопливые шаги, и в комнату вошел высокого роста, взволнованный господин с барственной физиономией, которую украшала выхоленная седая борода, и одет был этот господин нарядно, будто собирался на бал и по дороге заглянул на минутку в дом Полуденовых. Случилось так, что вошедший господин чуть было не угодил в объятья Руденко, а кривлявшийся Епимах едва не зашиб его ножнами, продолжая выкрикивать:

— Единственно за любовь, за любовь!

— Что за любовь? — спросил вошедший, прехладнокровно и властно стодвигая в сторону Руденко. — Какая любовь?

— Извините великодушно, господин Строчилин, — поклонился Епимах, прижимая к груди ножны, — случайный разговор-с, неудачная философия двух несчастных...

— От излишнего ума, Павел Семенович...

Епимах разогнулся, поправил сполза-

ющие очки. За спиной вошедшего стоял Карп Серафимович Полуденов.

— Ты откуда знаешь, отчего разговор? — гордо обратился Епимах к Полуденову.

— Позвольте, господа, — возвысил голос Строчилин, — мне странно видеть в такие дни...

— Веселых людей? — хихикнул Епимах. — Не обращайтесь внимания, это мы с Василием Тимофеевичем со страху веселимся, так что это и не веселье даже, а сокрытый в душах плач и рыдание, если хотите знать. Однако, пожалуйста-с, господин Строчилин, весьма очастливлены вашим присутствием.

Епимах расшаркался, как умел.

Руденко с перепугу, вернее же, от изумления, плюхнулся на диван и, выпучив глаза, запрокинув голову, бессмысленно улыбался.

— Прошу покорно, — засуетился Полуденов перед Строчилиным, — вот на это местечко, — указывал он на кресло перед столом. — Какой счастливый случай... — Полуденов запнулся.

— Несчастный случай, Карп Серафимович, — заговорил Строчилин, — то есть трагический случай, если правильно говорить, да, да, именно трагический, — выкрикнул вдруг Строчилин и даже притопнул ногой: — Дочь единственную, любимую дочь приехал я вытаскать из ваших трущоб... О, господи, господи! — застонал Строчилин, — могли ли я предполагать... — он заскрежетал зубами, и злые глаза его остановились на Полуденове. — Ну, хорошо, отлично, я по добросердечию моему, по гуманности моей допустил, но что вы глядели тут, как вы допустить могли?

Епимах насторожился, он отрезвел окончательно, как только учуял тревогу в голосе нежданного посетителя. Вначале Епимах предположил было, что миллионер Строчилин ищет спасения в этой части города, но щеголеватый костюм Строчилина, его возгласы о дочери свидетельствовали о чем-то таком, что разбило первоначальное Епимахово предположение. Но оттого еще лучше, еще любопытней становилось между прочим. (За то, чтобы только была любопытней, Епимах готов был пожер-

твовать и жизнью, хотя, случалось, и робел про себя, но неодолимое желание видеть жизнь взбудораженной, а людей взволнованными по причине приближения бедствий, наполняло сердце Епимаха необычайной смелостью и даже дерзостью, и если бы Епимаха спросили: чего хочет он в жизни своей, — тишины или ветра? — Епимах, не задумываясь, ответил бы: «Сквозняка жажду!» — и тотчас же укрылся бы в таком углу, откуда лучше всего можно было вести наблюдения и подавать советы.)

— Искрометная красавица, — восторженно завопил Епимах, лишь только упомянул Строчилин о дочери, — замечательная!

— Неудобоподобная прелестница, — присоединился Полуденов, — неизреченной красоты.

— Неизреченной, — улыбнулся Строчилин. — В том все и несчастье, что неизреченной красоты, оттого я, да и весь мой дом, находился в ее подчинении. Единственная дочь, Карп Серафимович, всегда хуже целой армии детей, — да-с, смею вас заверить.

— Угу, — промычал Полуденов, вспомнив Гурия. — Не могу точно сказать об этом вслух, — отказался он.

— Хе, хе! — не удержался Епимах, — не можете сказать-с, ибо не подвержены высокому чувству любви. Хе!

— А-а-а, позвольте, — очнулся, наконец, Руденко, услышав знакомые его сердцу слова. — Любовь—предмет божественный и чудный...

— Об чем, однако, будет речь? — спросил Полуденов, перебивая своего кума. — Не осилю вашей мысли, Павел Семеныч.

— Милостивый государь, — приподнявшись с кресла и принимая позу человека крайне разобиженного, заговорил Строчилин, — ваш сын вовлек мою дочь в преступную организацию и в настоящее время укрывает ее в вашем доме, а вы еще, милостивый государь, спрашиваете: «Об чем будет речь?» — и имеете дерзость спрашивать несчастного и оскорбленного отца.

Полуденов растерялся. Такое состояние друга показалось Епимаху до того

смешным и непривычным, что он не удержался и захохотал диким и визгливым хохотом и сразу догадался обо всем, насчет поведения Гурия. Отирая веселые слезы и брызжущий рот, он выговаривал слова:

— Да сбудется реченное пророками!.. А что я говорил, Карпушенька, об усердии и старании сына твоего Гурия. Хе! Я говорил: «Не является ли вышеназванное старание сокрытым в замыслах человека мошенничеством».

— Провалиться тебе! — побагровел Полуденов. — Да что же это за напасть на мою голову! Не может быть, чтобы Гурий дочь вашу похитил, Павел Семеныч,—поклеп на Гурия. Нет вашей дочери в моем доме, у сына моего торговое заведение на плечах, досуг ли ему любовными балясами заниматься...

— Что же касается, ваше степенство, преступного общества, — солидно вступил Руденко, — такового в моем участке не обнаружено, за исключением мятежного завода братьев Ланге; это, во-первых, а, во-вторых-с, из секретных предписаний, кои рискую огласить, видно, что дочь ваша, по имени Евгения, по фамилии Строчилина, с родителем своим, первой гильдии купцом, Павлом Семеновичем Строчилиным, принадлежит к союзу семнадцатого октября, вот-с...

— То-есть как, то-есть что вы сказали, господин полицейский? — передернулся и зашипел Строчилин, утерев благородную свою осанку. — Позвольте доложить вам, господин полицейский, что вы в настоящем случае были плохо осведомлены...

«Не полицейский, а участковый пристав, по милости его превосходительства, генерал-губернатора, офицерский чин» — хотел возразить и не посмел робкий Василий Тимофеевич.

— ... Я имею честь принадлежать, — продолжал Строчилин, — к конституционно-демократической партии, слышите вы, господин полицейский? Ваши секретные предписания врут, или вы, по невежеству своему, все перепутали. Молчите, милостивый государь, — уже кричал Строчилин, и рука его замерла в строгом и величественном жесте.

— Позвольте, однако-с, — с прежней усмешкой обратился Епимах к Строчилину, — откровенное заявление ваше, сугубо рыцарское, дает основание уважаемому хозяину нашему, сиречь Карпу Серафимовичу Полудену, предъявить к вам требование встречного порядка, да-с, и прошу не удивляться, ибо не кто иной, как господин Полуденов может сказать, что единородный сын его Гурий (обратите внимание, что молодой человек сей поведения примерного и ни в чем предосудительном замечен не был) был вовлечен вашей дочерью в преступное общество, а не наоборот-с, потому как Карп Серафимович принадлежит к союзу русского народа и находится, таким образом, не только под покровительством начальства, но и самого господа бога.

— Позвольте, позвольте, — привскочил и заметался Строчилин, — нельзя же так шутить, что же это такое? Если это серьезно... Нет, нет, я никак не поверю такому ужасному сообщению, тут что-то не так... Карп Серафимович — черносотенник. Помилуйте...

— Ежели вы так разговариваете, значит, мы не того, не друзья, — встал и поклонился Полуденов, — дочери вашей в доме моем нет и не будет-с.

— То-есть как это нет-с? — взбеленился Строчилин. — Я доподлинно знаю, что она с вашим сыном, мне Патрикей сказал, слышите вы, ваш Патрикей!

— Патрикей в ресторане, — сказал Полуденов, — откуда он знает. А насчет черносотенника отвечать будете в полной мере, мы тоже с начальством знакомы.

— В ресторане? — таращил глаза и ничего не понимал Строчилин. — Я об этом и хотел спросить вас, не в ресторане ли укрывается дочь моя? И, уж позвольте, пожалуйста, не перебивайте меня! Что же это значит? Вы в патриотической организации, сын ваш во главе восставших рабочих, я теряюсь, я ничего не понимаю, тем более, что ресторан занят вооруженными рабочими.

Полуденов качнулся, точно бы его толкнули в загорбок, огромное, тяжеловесное тело его затряслось; он сначала как будто не расслышал даже, о чем го-

ворит с ним Строчилин, а если и расслышал, так все это звучало и воспринималось весьма и весьма странно, то есть вроде со стороны, и Полуденов считал себя как бы свидетелем чужой беды, но с каждой минутой сознание прояснялось, и, наконец, Полудену стало понятно, что все происшедшее касается его да вот этого человека с роскошной бородой, который приехал к нему в дом с целью вырвать дочь свою из лап преступного общества.

— Прости, ваша милость, Павел Семеныч, — сипло выговорил Полуденов, — не пойму я чего-то...

— Ишь ведь непонятливый, — заметил Епимах и дальше не продолжал, потому что впервые за время знакомства с Полуденовым был по-настоящему напуган дикой злобой своего друга.

— ... Не пойму я чего-то, — повторил Карпуха, — выходит так, что мы, ваша милость, Павел Семеныч, оба в дураках находились; ежели вы правду говорите, значит, нашу доверчивую любовь дети злом против нас обратили. Ну-ка, ты, умная голова, — обратился он к Епимаху, — какое раз'яснение нашему положению дашь? погоди, не говори, подумай прежде: сын мой, Гурий Полуденов, с рабочими сомкнулся, ресторан на разграбление отдал.

— Извините, я не говорил «на разграбление», — вступился Строчилин, — тут нечто иное и совершенно наоборот, если хотите знать, ресторан ваш отныне революционный штаб, вот что-с я хотел вам сказать, то-есть ресторан этот является как бы лагерем, где расположены верные революции бойцы, или, как их называют, дружинники, вот что страшно — и... и там находится дочь моя, увлеченная революционными бреднями вашего сына.

— Э, чорт! — выругался Епимах. — Смешные вещи всегда, как говорят, имеют источником своим скорбь — хе! — и наоборот, и вообще в жизни все случается, по предписанию судьбы, наоборот-с! Вот и любовь ваша к чадам нашим (Епимах смеялся без стеснения, он как будто ждал случая, чтобы власть посмеяться, и вот, наконец, дождался, а может быть, ему и тут захотелось пока-

зять людям умственное свое превосходство) дала такой неожиданный результат, и даже сейчас, сию минуту вот, вы еще продолжаете любить детей ваших и, значит, тем самым усугубляете сами зло.

Епимах оглядел с нескрываемым сожалением скорбные лица отцов и, удержав злые слова, неожиданно захохотал. Отирая веселые слезы и сморкаясь, он спросил:

— Патрикей, Патрикей-то, сукин сын, чего же своевременно не донес? А-ха-ха-ха! И опять скажу, что и тут твоя доверчивость, Карп Серафимович, во зло обратилась, что является свидетельством той истины, которая говорит о недопущении доверия на земле, даже и по твоей мере, Карп Серафимович!

— Патрикей, между прочим, как индивидуум трусливый, свою шкуру спасал, — мрачно объявил совершенно обалдевший Руденко. — Потому Патрикей и не донес. И, господи боже, неизвестно, кто победит, а вдруг...

— Ты дурак, — обозлился Полуденов, — да, ты дурак! По законоположению мы должны одолеть. — Он протянул руку Строчилину, чем непомерно обрадовал Епимаха. — Сына я сумею укротить, — сказал Полуденов.

— Дочь я сумею укротить, — сказал Строчилин.

(Они думали, что все это легко, Полуденов думал, что никто не запретит ему укротить сына, — разве не он родил его? Боже мой, кто же может воспрепятствовать воле отца?)

«Дочь никогда не уйдет из моего повиновения» — думал Строчилин, полагая, что воля отца распространяется даже на душу дочери. Так он думал потому, что так привык думать.)

— ... Гурий к доверчивости приучал тебя, — продолжал Епимах, — и приучил-таки, ты вот что осознай, как это старого волка молодой заяц обманул, осознай и прими надлежащие меры.

Епимах веселился искренне, не заботясь о том, какое он может произвести впечатление на слушателей; он радовался тому, что его пророчество насчет человеческой любви и искренности оправдалось.

— Ну, хорошо, — совсем уж спокой-

ным тоном произнес Полуденов, — ну, хорошо, не будем кровь портить, Павел Семенович, были дети — нет детей. Нам о душе, Павел Семенович, подумать надо, самая главная суть обстоятельства в этом, в душе-то, как вы думаете?

— Вполне с вами согласен и вас понимаю, — тихо произнес Строчилин, — дело именно в душе, — Строчилин прикоснулся к Карпухиной руке, подчеркивая тем самым дружбу к человеку, которого только-что называл черносотенцем, — в душе, преданной престолу и отечеству, — продолжал Строчилин. — Вы очень и очень правы, Карп Серафимович! Боже милостивый, люди в несчастье познаются. Оказывается, вы так же были обмануты, как и я, а ведь я думал насчет наших детей, что они любовью, не идеями связаны, и даже радовался про себя, и если сам вольнодумством занимался, так только для благородства, то-есть российскую нашу натуру под Европу ладил, и до того увлекся, что многое считал позволительным...

V

— Позвольте мне изложить свой план уловления заблудших, — начал Епимах, искренне сочувствуя другу своему Карпу Полуденову (в первую очередь). — Со стороны, как известно, всегда виднее. Гм! Итак, принимая во внимание, что власть родителей превышает всех законов, я имею предложить (Епимах теперь все свое внимание обратил на Строчилина) следующее...

Через два часа четверо людей, — старый либерал Строчилин, член союза русского народа Полуденов, полицейский офицер Руденко и всесветный пройдоха Епимах Киндеев, — трогательно объединившись, обсуждали способы уничтожения врагов и супостатов. В конце-концов, обсуждая все тонкости «похода», они до того увлеклись (в особенности родители), что почувствовали некое «скорбное» удовольствие по случаю всего происшедшего.

— Когда б я смог сказать рабочему народу... — начал было Руденко.

— Они неразвиты, — прервал его Строчилин.

— Дураки, будь они трижды неладны! — сказал решительно Полуденов.

— Принимая во внимание умственное состояние рабочего класса России, — важно заговорил Епимах, — я нахожу, что рабочие действуют подобно неразумным детям, кои склонны увлекаться речами революционеров, не подозревая, что подобное увлечение неминуемо приведет их к роковому концу.

— Каково же будет ваше предложение? — спросил Строчилин. — Горю нетерпением узнать.

— Позвольте мне завершить свою мысль, — торжественно поднял руку Епимах, — хотя можно и прямо с предложения: я полагаю послать к рабочим парламентаря с сокрушительным приказом о немедленной сдаче.

— Наплевать я хотел на всех прочих, — так и заклокотал Полуденов, — я начтет сына хлопочу, мне сына выхватить бы, с другими другой разговор будет, с рабочими огнем действовать надобно.

— Совершенно согласен, — немедленно подхватил Епимах, — я к этому же и подвести хотел, я только родительские сердца ваши оберегал. Хе-хе-хе! Действительно, какой же может быть разговор с людьми?..

— С людьми, которые не внемлют голосу рассудка, какой же может быть полезный разговор, — храбро объявил Руденко. — Я первый объявляю непримиримую войну бунтовщикам.

— Умные речи и слушать приятно, — поощрил Полуденов. — Настоящий воин по-иному и думать не может, тут все правильно, Василий Тимофеевич, так точно-с, всё правильно, а что касается сына, так я, может, вместо уговоров, казаков туда пошлю, к ресторану то есть; могу я казаков послать, дозволяет мне капитал мой или не дозволяет? Я так думаю, что капитал мой дозволяет, — решительно объявил Полуденов.

— Нет, вы уж позвольте мне распорядиться, — поднялся Строчилин, — я ведь тоже отец, я хочу, чтобы всё было хорошо, без нарушения гражданских приличий. (Либеральный душок был до того силен в Строчилине, что даже и в

этот вечер «священной мести», как потом говорил Руденко, душок продолжал действовать, и очень уж хотелось Строчилину быть благороднее своих собеседников, непременно благороднее, чтобы потом было чем успокоить свою чувствительную совесть.) И, вы уж извините меня, — продолжал Строчилин, — казаков я также могу пригласить, или если уж вы хотите пригласить их, то, во всяком случае, половину расходов я беру на себя, но, вы подумайте, Карп Серафимович, не принимайте сразу решительных мер, мы должны быть гуманными до самого последнего момента-с, чтобы нас не упрекали потом, вы понимаете меня? Я говорю и о человеческом великодушии... Нет, не наливайте мне, — задержал Строчилин руку Епимаха, — что это за вино? Ах, бенедиктин? Бенедиктину, пожалуй, налейте. Так вот-с, я — сторонник милосердия. Что?

Неверная, дрожащая рука Епимаха расплескала вино, человек откровенно веселился, уронив верхнюю вставную челюсть.

— Как же вы, как же вы! — захлебывался Епимах. — О господи, чорт подери мою нетленную душу!

— Вот это уж и негоже, — понял Епимах Полуденов, — человеку в жизни его для покаяния должен быть час определен, без этого невозможно, Епимах Лазаревич, я об этом всегда про себя мысли держу.

— Оттого и действуйешь смело, умный ты человечина, — отметил Епимах.

— А то как же, — тотчас же согласился Полуденов, — может, мной бог руководит, ты почем знаешь, может, через меня бог волю свою святую объявляет?

— Обязательно! — громко удостоверил Епимах.

— ... Так что я, иной раз, и виновным себя не признаю, — продолжал Полуденов, пылливо поглядывая на Строчилина, точно хотел ободрить его своим рассуждением и тем подтолкнуть на решительные действия, как вдруг Епимах (из сочувствия, должно быть, к собеседникам) загоревал, очень громко и очень уж усиленно напирая при этом на жалостливость.

— А между тем душа всегда скорбит, дорогой друг мой, Карп Серафимович, и не может не скорбеть, ибо душа есть дыхание божие. Ум человеческий может быть совращен, но душа останется неприкосновенной; я человеческие души жалею, друзья мои (Епимах выпил), прежде всего души детей ваших, и, сознаюсь, жалею по человечеству, и души рабочих так же, вообще всех жалею, потому что жалость — великое достоинство жизни. А может, мы тоже повинны, все виноваты. Я, например, потому виноват, что не сумел уговорить рабочих, косноязычен стал, старый дурак, и прежние, прикосновенные к сердцу слова утерял (Епимах громко высморкался), да-с, сознаюсь в этом, утерял. И теперь я с рабочими в письменной форме разговариваю. Дальше хочу спросить: может быть, вы, друзья мои, слишком уж много доверия оказывали детям вашим, неокрепшему их разуму? Вот видите, вот вы и молчите, вот и выходит, что в поведении их виноваты и вы, не правда ли? — Епимах передохнул, торопливо выпил еще. — Теперь потревожим вас, — обратился он к Руденко, — выясним вашу виновность во всем происходящем. Не вам ли, Василий Тимофеевич, следовало своевременно донести по начальству о зачинщиках и главарях, имена которых теперь всем известны? Вам, дорогой мой, что подписом с приложением казенной печати и удостоверяю. Чего вы так укоризненно глядите на меня, Василий Тимофеевич? Не хотите ли вы сказать, что и мы, верноподданные сыны нашего государя, сторонники справедливости, то же должны были делать? То-есть прислушиваться, следить и доносить, хотя бы даже и на детей наших. Что ж, вы правы, добрая вы душа, правы, мы тоже виноваты, что довели детей наших и подчиненных наших до падения, и теперь плачем и рыдаем. — Епимах отер глаза и уронил голову на руки, находясь, видимо, на грани полного отчаяния.

Тут все, даже Полуденов, которого почти невозможно было провести, загоревали и стали громко выражать свою скорбь по поводу сбившихся с пути детей своих. Все поддались Епимаховой

речи, такой искренней, что только актерская ложь могла соперничать с этой искренностью.

— Конечно, ежели вообще и по всей справедливости, — забормотал Карп Полуденов, — я про то и говорю.

— Ах, тут большая доля истины, господа, — как будто очнулся Строчилин. — И, может быть, мы делаем, я хочу сказать, совершаем поступки произвольные, вне нашего разума.

— Да, жизнь идет помимо нашей воли, — начал Руденко, — и, может быть, мы попросту игра судьбы. — Подумав, что сказал самое умное в обществе солидных людей, мысленно похвалил себя.

Была ночь, очень тревожная. На улицах города (Арбат, Кудринская площадь, Лесная улица и Садовая) работали пулеметы, не использованные в войне с японцами, и все это было очень странно в большом городе, который, казалось, спокон веков служил образцом благополучия и спокойствия.

Епимах горевал с большим наслаждением, он был доволен уже тем, что вот у него, такого одинокого, в сущности, человека, тоже есть о чем погоревать. Он был равнодушен к судьбе Гурия и совсем не интересовался, как и чем будет завершено восстание рабочих, ему хотелось только видеть, как их, рабочих то-есть, будут наказывать, ему хотелось торжества, и, может быть, он собирался произнести укоризненную речь, которая прозвучит, как панихида. Епимах следил за газетами, все хотел узнать, чем кончится восстание, и ждал картины побоища, как подлинного и «вкусного» зрелища, но хотя и ждал, а горевать не переставал и даже находил, что в гореваньи-то и заключается самый смак наслаждения, которого другому человеку ни на каком языке не передать, если человек сам не может и не умеет наслаждения почувствовать.

— Верно сказал ты, Епимах Лазарич, — заговорил Полуденов, — самые настоящие твои слова: может, действительно, сами виноваты мы, оттого, что детям своим поверили. А почему так? Потому, что верить хочется, ведь ежели ни одному человеку на свете не верить, тогда как же на свет глядеть?

Ну, а уж ежели ты поверил раз на всю жизнь и вдруг тебя обманули, тогда любая злость на того человека будет самым богом оправдана, вот еще как я думаю...

Полуденов оглядел всех, точно хотел услышать подтверждение своим словам или хотя бы сочувствие. Все молчали, значит, соглашались, и Полуденова очень это ободрило, и он обрел особо убедительный дар слова, и так это хорошо у него получилось, что опытный в словесном искусстве Епимах, и тот позавидовал, хотя и знал, откуда могло такое у Полуденова быть, не даром же считал его он своим выучеником, только все рассуждения Карпа Серафимовича были всегда ближе к жизни, потому и не казались возвышенными.

— ... И не могу я от своих дум отказаться, — продолжал Полуденов, — потому что не хочу обиженным быть, и, может, я сам других обижал поскорее, а то ведь другие вперед меня поспеют, тогда век обиженным ходить будешь, вот какое дело! По чистой совести говорить, так половину обид причинял я для ради любезного сына, для того, может быть, чтобы он в душевной чистоте своей век прожил.

Полуденов услышал чей-то очень глубокий и печальный вздох, оглянувшись, увидел туманные глаза кума своего Василия Тимофеевича; старый полицейский, ослабев от вина и прочувствованных слов Полуденова, плакал втихомолку и радовался своим слезам, как исцелению.

Полуденов тоже был доволен, что кума проняло так, и собрался было сказать самое чувствительное, как в дверях неожиданно появилась Степанида Сидоровна и сбила оратора с мысли.

Слегка навеселе (обычное состояние одинокой женщины), Степанида стояла, держась одной рукой за драпировку и довольно явственно подхихкивала, как будто с торжеством, словно радовалась беде, которая разразилась над головой ненавистного ей мужа.

— Сынок-то, сынок-то, вот так сынок! — лепетала Степанида Сидоровна. — Вот и дождался... А-и-хи-хи! Послушайте-ка, любезные господа, — раз-

вязно обратилась Степанида Сидоровна к присутствующим, — муж-то мой, змей горыныч-то, сына Гурочку разбойному делу обучить хотел, ан господь-то и не допустил злу свершиться, господь сказал: «Довольно тебе, змею горынычу, одной жертвы, жены твоей, Степаниды», да-с, так вот и отрезал, по-божески, прямо в бесстыжие глаза разбойника, змея горыныча Полуденова. Чего оскалился? — обернулась Степанида к мужу. — Лаять скоро будешь, лай, лай, не больно испугалась теперь. А-и-хи-хи! На-ко, выкуси!

Степанида высунула язык, показала кукиш и скрылась, гулко хлопнув дверью, и долго еще слышен был в комнатах злой ее смешок.

— Сбылось реченное пророками, — как будто не сказал, а выдохнул Епимах, — помнишь, говорил я о грядущем испытании, пришло испытание к тебе, Карп Серафимыч, и ко всем здесь присутствующим.

— В городе сегодня с утра стреляют, — сообщил Строчилин, — я едва выбрался.

— Ты мне сердца не растравляй, — попросил Полуденов Епимаха, — теперь мне все равно хотя, ну, только в дни такие я душевное спокойствие сохранить хочу... А за жену мою, прошу, не обессудьте, жена у меня умом покачнулась, сами знаете, какой может быть ум у простой женщины, и вдруг еще напасть такая — сын в бунтовщиках.

Полуденов даже улыбнулся при этом, точно просил всех о снисхождении к жене его, он и виду не показал, что рассержен и едва сдерживает злобу, готовую выплеснуться наружу; он поудобнее устроился в кресле и заговорил опять с прежней ласковостью, и обращался он только к Епимаху, заранее зная, что старый друг поймет его и первый поможет советом.

— Я потому и грешил, что о душевной чистоте сына заботился, — повторил Полуденов прежнюю свою мысль, — теперь же думаю насчет своей души, пора уж, а то и запоздаешь как-раз...

— Время мчит, как конь в степи просторной, — подхватил Руденко, — и задержат коня уж силы нет.

— Совершенно верно-с, — согласился Строчилин.

— Говори, Карпушенька, — ласково поощрил Полуденова Епимах, — продолжай!

— Помощь думаю отечеству оказывать, — поведал Полуденов, — своих друзей, русских людей, созову, знают меня, поди-ка, вот мы своими силами с нашим заводом и управимся...

Строчилин сердито прокашлялся при упоминании о русских людях, Руденко благодушно пробурчал что-то, Епимах засмеялся и решительно объявил:

— Глупо-с, и для умного человека непозволительно совсем...

— Я полагаю, что ваши надежды, Карп Серафимович, — деликатно заговорил Строчилин, — на русских людей (слово «русских» Строчилин произнес с презрительным присвистом) не оправдаются, даже наверное не оправдаются, потому что люди не скваны дисциплиной, а это главное, и, может быть, патриотизм и усердие из корыстных целей; вы читали, что в «Русских ведомостях» пишут? Не читали? Весьма и весьма жаль, почитайте, очень вас прошу!

— Между тем одна рота солдат, — подсказал Епимах, — и все будет кончено.

— О, если бы войны, — ввернул Руденко, — с оружием в руках...

— С пулеметом, например, — сказал Строчилин, — и прочим вооружением.

— Митральезы, шимозы, — восторженно подхватил Епимах, — слышали, Карп Серафимович, во имя спасения родины и во избежание личного греха, что подписом с приложением казенной печати и удостоверяю...

Удостоверение было принято всерьез. И вот, чего спервоначалу и нельзя было ожидать, вдруг все, с большим азартом и некоторым даже остервенением, принялись измышлять способы уничтожения врагов, и если Епимах предложил пустить в ход пулеметы и артиллерию, главным образом для игры и испытания своих друзей, их способностей, то уж Руденко прямо и без оговорок требовал всех перестрелять и стучал кулаком по столу и вообще был храбр необычайно.

— Хорошо и посещь, — раздумчиво сказал Епимах, — плеть, она для тела вредная, а для души чистая польза и просветление.

— Как мера педагогическая и вполне современная, — согласился Строчилин, — то-есть, если угодно, даже и в Европах не отменена.

— И когда таким манером под барабанный бой постараются казачки наши, тогда уж и солдатики для сурьезного разговора пойдут, — изощрялся Полуденов, — тут уж не приходится жалеть.

— В таком роде и усердное прошение наше составим к его превосходительству, генерал-губернатору, — уж ликовал Епимах, — истинное произведение словесности будет...

Полуденов перекрестился очень широко и совершенно искренне (дело ведь шло о потере нажитого). Так закрыл он дружеское совещание.

Епимах выпил за успех, Руденко попытался даже крикнуть «ура», Строчилин, приятно взволнованный, пожимал собеседникам руки.

И эта ночь, на окраине города, прошла смирно.

VI

А в центре города стреляли: на Кудринской работали пулеметы, на Страстной била артиллерия. В улицах густо пахло порохом, запах этот стлался понизу, был приторным и привязчивым до одурения, и Петька Рассохин, который теперь привык уже к баррикадам и к стрельбе, привык на самом деле, без притворства, испытывал от порохового запаха привязчивую тоску. Петька появлялся там, где было скопление воинских частей, бегал от баррикады к баррикаде, он предупреждал дружинников о приближающейся опасности, и баррикада встречала солдат огнем, и, если случалось, солдаты отступали, Петька радовался, как победитель.

Падали редкие мохнатые снежинки, при безветрии они падали очень медленно, как будто не решались или раздумывали — ложиться им на землю, под торопливые ноги людей, или подняться к облакам, удивительно веселым.

Петька Рассохин шел к Малой Бронной улице, разыскивать Рорбаха. Петька шел и удивлялся людскому бесстрашию: в улицах города ходили толпами, тут смешались все — мужчины, женщины, и все пели революционные песни, и, казалось, всем было весело, в особенности ребятишкам, они принимали участие в постройке баррикад, они первые кричали, заметив опасность:

— Эй, товарищи, крой почем зря, драгуны скачут!

Иногда драгуны врезались в толпу, люди бежали к воротам, хранились в проходных дворах, но драгуны скрывались, и улица снова заполнялась толпами народа.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Рассохин обегал толпу, торопясь к Рорбаху. К вечеру, уставший и голодный, он перелезал через баррикады на Садовой улице. Слышалась редкая ружейная перестрелка, но как будто это никого не касалось, и на посвистывание пуль мало обращали внимания. Баррикады на Бронной были слабые: жестяные вывески, ящики, снятые с петель ворота, пустые бочки и еще какая-то рухлядь перегородили Садовую улицу. Петька перебрался в сторону Спиридоновки. Неожиданно грохнул тяжелый пушечный выстрел, и Петьке показалось, что улицей пронесся с визгом и воем неведомый ему зверь, и сразу стало трудно дышать, и Петька почувствовал удивительную легкость во всем теле; подчиняясь этой необъяснимой легкости, он подскочил, поднялся вверх и, не чувствуя под собой земли, полетел в сторону тротуара, где стояли мертвые, запущенные снегом деревья.

Когда Петька очнулся, он нашел себя в палисаднике, под кустом оголенной акации; около находился человек в потрепанной шинели и в огромной бараньей папахе, он сидел, посасывая короткую трубку, и рассказывал:

— Под Мукденом так же вот крыли

нас япошки шрапнелью, ну, это, само собой, ничего, явственный враг, и конечно, крыли без молитвы. Ба, ба-бах! — и ползвода на земле, лежат и ноги загигают, но терпят, потому война с врагом отечества, а нынче, гляди что, ты послушай, не слышишь? Под колокольный звон, дьяволы, палят, вот и пойми, кто тут доподлинный, настоящий враг.

Рассохин прислушался, гудели колокола, торжественно и очень молитвенно, в небе стояли редкие звезды, тоже молитвенные и торжественные, в улице горланили пушки и, рыча, воя и взвизгивая, рвалась шрапнель. Надо было все-таки итти, и Рассохин ощупал себя, как будто хотел удостовериться: жив ли он и действительно ли находится на земле? Колокола продолжали звонить. Ах, если бы это было в пасхальный, светлый день, не сейчас, когда надвигается зимний вечер, задохнувшийся в пороховом дыму! Рассохин закрыл глаза и свернулся в комок, подогнув колени к подбородку; он сейчас только понял по-настоящему, что пули убивают, и опять ему стало страшно. Он склонился вправо и упал в колени человека в шинели; непосильные, тяжелые мысли повалили Петьку, хорошо было бы поплакать, но и плакать не умел он по-настоящему, потому что за восемнадцать лет своей жизни плакать было не перед кем, оттого привычки не было к слезам.

Вечер все темней и как будто тише, хотя выстрелы и колокольный звон не прекращались. «А может быть, сам бог скрыть хочет, что начальство рабочих людей истребляет, — нечаянно догадался Рассохин, — вот и бьют в большие колокола».

Так оно в действительности и было. Во всех церквах гудели колокола, и бог, перед которым попы и кликушествовавшие богомольцы жгли свечи, был очень спокоен, и ни одной гневной морщинки так и не появилось на божьем лице; Петька Рассохин мог бы это удостовериться, потому что в ту же ночь, продрогший и голодный, он пробрался в церковь «Воскресение Спаса» и простоял там до утра, выжидая затишья перестрелки.

Уронив голову в колени случайного соседа, Рассохин почувствовал себя бесконечно сиротливым, а главное, очень было омерзительно слышать праздничный перезвон колоколов и пушечную стрельбу. За кустами акаций было как-то особенно таинственно и уютно даже, и странным казалось то, что сюда, в этот палисадник, не достигал пороховой дым, а запах трубки, которую курил человек в шинели, был удивительно приятным, хотя Петька сам-то и не курил, и даже не любил табачного дыма.

— И вот мне чудно очень, — заговорил вдруг человек в шинели, отвечая на свои давнишние, должно быть, мысли, — чудно, говорю. Сколько же это людей жило до нас? Большие, может, миллионы, и все, главная вещь, умирать не хотели, а вот, поди ж ты, умерли ведь, большие и малые по мыслям люди, все до единого умерли, и даже цари-государя, к примеру. При мне сколько людей на войне сгибло — и-и, боже ты мой! Ну, как же, опять говорю, не чудно: сколько бы людей от них, от погибших-то, народилось, ежели бы они живы остались? Значит, и те люди, которые и не родились, а только должны были родиться, тоже, значит, с теми убитыми на войне умерли, так что в человеке, может, и не одна душа умирает. И еще вертится на уме: а может, и такое время придет, не то, что в нынешних людей, даже в небо такое, какое сейчас вот, не поверят, потому ни людей, ни неба такого не будет, вот какое время притти может...

Человек замолчал, ожидая, должно быть, что непременно кто-то должен ответить на его недоуменные вопросы; молчание было длительным; Рассохин успел задремать, и ему уже снились сверкающие пушечные выстрелы и угрожающий звон колоколов; эти колокола были подвешены к небу и грозили обрваться. Петька обернулся и сразу увидел тысячи широкогорлых колоколов; высунув длинные языки, они неистово звонили... В просветы, между колоколов, виднелось небо, цвета болотной воды, готовое пролиться зеленой плесенью. Петька в страхе закрыл глаза и тут же почувствовал, как что-то тяжелое упало

ему на лицо и обожгло. Петька так и не проснулся, он только поднял руку и ладонью закрыл лицо, а когда обожгло и ладонь, он принял ее и поднес к губам; ладонь была мокрой и горько-соленой. «Чудак-человек, — подумал Петька, — такой большой, и плачет, а Москва-то слезам не верит». Он улыбнулся, человек в шинели показался ему смешным. Непривыкший к слезам Рассохин первый, пожалуй, не поверил бы плачущему; подумав еще, он пришел к заключению, которое было ему понятнее: «Человек человеку не верит» — решил Рассохин. Он дернулся всем туловищем, как это делают люди во сне, когда усилием воли заставляют себя проснуться. Человек в шинели действительно плакал. Обильные слезы, крупные и молчаливые, без рыданий (самые страшные) падали с усов на лицо Рассохина.

— Ты чего, дядя? — удивился Петька.

— От сиротства, — ответил человек.

— Как?

— От сиротства, друг, от сиротства...

Человек в шинели вытер слезы, и, когда стал он раскуривать трубку, Рассохин заметил на лице его блуждающую улыбку, и улыбка была до того чужой и посторонней на прокопченном лице, что Рассохину слезы этого человека показались приятней и радостней улыбки.

— Ты чего же, дядя? — спросил Рассохин, — ты бы уж лучше не смеялся.

— Я сам не знаю, что лучше, — ответил человек, — оттого у меня и мысли мутные; я думал в жизни втихомолку устроиться, то-есть безо всякой обиды, я людей, как трясицу в лесу, за версту обходил, а не помогло, люди сами пришли ко мне, обрядили меня в шинель эту, заставили с ружьем всякие артикулы выделять, потом посадили в вагон и отвезли на китайскую сторону с японцами воевать. Стреляю и не могу с разумом собраться, тогда надумал я к нашему полковому попу за советом пойти, чтобы все разяснить (человек в шинели засмеялся и, несмотря на то, что артиллерия продолжала бить и с воем проносились снаряды, и с диким визгом

рвались, он смеялся теперь по-детски беспечно), и вдруг попадаете мне один такой, который меня с намерения сбил. «Зачем, говорит, к попу? Поп у бога штатную должность занимает и супротив бога не пойдет, бог-то, объясняет, с начальством в постоянной дружбе. Вот оно какое дело, так что и итти-то, выходит, и незачем совсем». Тогда я задумался. Взяла меня смута, стал я в самые опасные места ходить, чтобы меня пулей срезало, — и ничего, будто заколованный, и такое меня горе обняло, что я, с горя-то, умом покачулся, на своих стал кидаться: ну, тут меня своито сразу и скрутили, и отправили в тыл, в лазарет; почувствовался я нынешним летом в городе Москве, в военном госпитале, а когда почувствовался, стал просить господина доктора насчет жалости ко мне; доктор-то, действительно, жалостливый был, поглядел на меня, в самое лицо мое, да и сказал: «Ладно, скажешь, иди на поправку, глаза у тебя нехорошие, проветрится тебе нужно». И ударился я на родину, в Тамбовскую губернию, в лес, на прежние места, пчел разводил, чтобы людского переговора не слышать, лесу внимать, облакам проходящим молиться. Облака же там родные и уж очень близко знакомые, будто снеговые горы, с которых ребятенком катался. Поселился я в избушке, сижу по утрам на завалинке, прямо перед солнцем, и пчел слушаю, и будто бы никакой войны не было, и будто совсем один я на всей земле; и как только я так подумал, так мне жутко стало, вижу, задичал я, и стала меня тоска заедать, к людям захотел, да ведь не просто куда попало, а к людям моего положения, к обиженным; чтобы не одному мне устраиваться, чтобы всем сообща. Цельное лето так-то думал, до поры, покуда ветер не загудел. И тут я уж и раздумывать не стал, натянул на плечи шинелишку, помолился на все четыре стороны и отправился в город Москву, где людей погуще.

Петька Рассохин очнулся окончательно. Он подумал и сказал человеку в шинели:

— Одному невозможно, одному, как все равно в остроге.

Человек опять улыбнулся, на этот раз по-настоящему, без слез и скорби, и очень понравился Рассохину; сразу стал близким и свойским. Пальба из пушек прекратилась, лишь гудели колокола. Человек в шинели поднялся.

— Пойдем, — пригласил он Петьку, — в церковь греться пойдем.. Хм! Ну, и летел же ты давеча, парень, прямо на воздухах. Напугался, когда из орудия жварнули?

— Я ничего не боюсь...

— Ну, это ты врешь, неразумная тварь, и та смерти боится, ежели бы ты постарше был, тогда другое дело, ежели бы ты много думал...

— Ага...

— Вот тебе и «ага». Вот когда поживешь, подумаешь, тогда, может, и смерть родственницей окажется, и примешь ты ее с земным поклоном, может, сам поманишь, только это на редкость, парень, на большую редкость, — все от смерти схорониться хотят.

— Зачем же ты сюда прибежал? — удивился Петька. — Непонятный ты, дядька!

— Со смертью биться и прибежал, — объяснил человек в шинели, — или не понимаешь, чудачок?

— Понимаю, — отозвался Петька и, сняв шапку, стал отряхивать налипший снег, — очень даже понимаю, дядек. — Поглядел на небо, было оно густосиним, каким бывает только в теплые парные весны. Звезды стояли крупные, необычайно пушистые.

Бам, бам, бам, — звонили на колокольне церкви «Воскресение Спаса», — бам!

И Рассохину захотелось к людям, и, не рассуждая, двинулся он за человеком в шинели.

В церкви горели только свечи, и только около алтаря, и лица молящихся как будто плавали и покачивались в воздухе. Поп, высокий, поджарый, с лицом злым и мученическим, говорил проповедь. Пахло воском, теплым дымом ладана и смрадным человеческим дыханием. Смирение не было к лицу поджарому попу, он знал это и говорил проповедь крикливо, подняв кулаки, подобно неистовому оратору, который, раз-

громив противника, требует немедленной его казни.

Рассохин как вошел, так сейчас же свернул в темный угол и потерял человека в шинели. Он едва различал спины молящихся, приятная тишина охватила его, слова проповеди терялись под гулкими сводами и здесь, у входа, были едва слышны. Рассохин опустился на корточки и, откинувшись к стене, задремал.

— Да будут преданы анафеме проклятые смутьяны, — кричал поп, — богоотступники, дерзнувшие поднять руку свою на священную особу государя...

Бам-бам-бам! — густо и самоуверенно гудел колокол.

Так было до зари, и заря была тусклая. Повисла над городом теплая мгла, тяжелые облака волочились по крышам домов, выстрелы были глухи и неожиданны. Раз'езды драгун и казаков как будто выскакивали из-под земли. Рассохин прятался в подворотнях, забегал во дворы и, наконец, благополучно выбрался на Бронную улицу, в тесный провал каменных домов, и как-раз к баррикаде, высокой и очень прочной, построенной из бревен, шпал и камней.

— Ур-ра-а! — услышал Рассохин и сразу угадал, что так кричать может только Тихон Стригун.

— Чего ты больно орешь, Тишка?

— Ну, как же, если пришел ты, самый отчаянный...

— И самый голодный, — сказал Рассохин, — со вчерашнего дня ничего не ел.

— Иди туда, вон туда, в тот каменный дом, — указал Стригун, — там тебя покормят.

Рассохин угодил в первый этаж огромного дома, должно быть, это помещение было раньше извозчиным трактиром, кругом виднелись столы, покрытые клеенкой, грязной, со следами темных пятен. Рассохин очутился среди своих: тут сидел, обнявшись с берданкой, старик Барбашев, слесарь Василий Наживин, кузнец Мирон Кулявый и дремал в углу, примостившись на стульях, Семен Рорбах. В помещении было жарко, густо накурено и тускло.

— Ага, вот еще храбрый воин! — сказал Наживин.

Рассохин сел за стол, на столе было четыре каравай хлеба, две снизки кренделей, фунтов десять колбасы и большой, с кипятком, чайник. В помещении все было по-домашнему и до того буднично просто и даже безмятежно-покойно, что Рассохину уже не верилось в страшную явь улиц, по которым пробирался он сюда, в этот спокойный, тихий угол, куда глухо доносились пушечные выстрелы и церковный звон. Петьку разморило в теплом помещении, он вспотел от выпитого чая и совсем уж неожиданно задремал, уронив голову на стол, и сон его был таким хорошим и покойным, что, сидя, проспал он целых два часа и проснулся от того только, что над головой звякнуло оконное стекло, звякнуло тонко и необыкновенно жалобно; Рассохин проснулся и, заметив в стекле как бы просверленную дыру, размером в серебряный гривенник, быстро вскочил, угадав след шальной пули.

— Стреляют, Петя, — сказал вошедший Рорбах, — к нам подвигаются. С Кудринской, должно быть, утекать придется.

Помещение оказалось проходным. Со двора на улицу, к баррикаде, выбегали дружинники, Петька вышел вместе с Рорбахом, и сразу ударил в лицо запах пороха? «Зачем я, — подумал Рассохин, пробираясь к баррикаде, — ведь у меня даже ружья-то нет».

С Кудринской площади ударили из пушки, выстрел гулко шархнул о стены домов. Петька услышал знакомое завывание снаряда, потом грохот, такой оглушающий, что сразу из окон посыпались все стекла, со звоном и дребезгом, и это было страшнее пушечного выстрела, потому что вслед за разрывом снаряда послышались чьи-то визгливые вопли. Снаряд упал в двадцати шагах за баррикадой. Рассохин увидел толпы женщин и детей, которые в страхе метались по улице, выбегая из близлежащих домов. Еще пушечный удар, и снаряд, черкнув по крыше четырехэтажного дома, разорвался над улицей. Вдруг Петька увидел знакомого человека в шинели. С двумя бомбами в руках он

взбирался на вершину баррикады навстречу наступающим в пешем строю казакам.

Петька припал за камень и неожиданно очутился рядом с Наживиным.

— Ну, теперь самая пора удирать, — сказал слесарь, — покуда с тыла не зашли. — Он неторопливо перебрросил за плечо винтовку. — Отчаливай, Петруха, в этом месте отвоевали, в другое пойдем.

VII

Отыскивая Рорбаху, Рассохин оглянулся — баррикада была пуста, сверху по каменному настилу медленно скатывалась широкая баранья папаха, караки были совсем близко; они стреляли по опустевшей баррикаде, они подвигались с большой опаской, прячась за выступами домов. Вдруг раздался взрыв, и кто-то закричал «ура», и снова на вершине баррикады появился человек в шинели, а из проходных дворов навстречу казакам высыпали дружинники; они шли в открытую, с револьверами в руках, с винтовками и дробовиками. Бронную улицу заволокло дымом.

— Еще, оказывается, повоюем, — обрадовался Наживин, перелезая через баррикаду. Рассохин бросился за ним, у него не было оружия, но он и не подумал об этом, он карабкался по бревнам и упал, спотыкнувшись через труп человека в шинели. Петьку поразили бледное лицо убитого и совсем широкая, чистая улыбка его, как будто человек этот в последний момент увидел что-то необычайно веселое, до того веселое, что позабыл бросить вторую бомбу и все еще держал ее в руке своей. Рассохин осторожно высвободил бомбу, сполз вниз и, не помня себя, побежал следом за отступающими казаками; он бежал и размахивал бомбой; он бросил ее далеко вперед и промахнулся, — бомба ударилась о булыжную мостовую и оглушительно треснула перед бегущими казаками.

В эту ночь, под колокольный звон и пушечные выстрелы, ночевали на баррикадах и лишь перед утром, когда и надеяться было уже не на что, стали уходить на окраины. Расходились в разные стороны. Кузнец Мирон Кулявый и Мишка Долдон бежали на Пресню, Рорбах, Наживин Василий, Тихон Стригун и Петька! Рассохин пробирались переулками на Арбат; это было очень грустное прощание, и никто не мог заранее сказать, что будет завтра и можно ли спастись? Барбашев пытался еще шутить; обирая седую бороду, раздувая длинные, геройские усы свои (он закручивал их кольцами, они сначала шли вниз, потом поднимались вверх, к ушам, почему и казался Барбашев взнузданным), старый мастер смеялся.

— Вы, ребята, главное дело, на меня надейтесь, мне сам генерал-губернатор Дубасов кумом доводится, ежели в случае невтерпеж будет, сбегайтесь ко мне, я заступлюсь...

На Арбате, под колокольный звон в церкви Бориса и Глеба, артиллерия громила баррикады. Вечером, когда люди метались во тьме по переулкам, четверо товарищей пробирались на завод Ланге. На Пресне, на Мещанской улице и позади, на Арбате, играли широкие огни пожаров, впереди, в каждом закоулке, горели костры, и толпы вооруженных и невооруженных людей жили здесь и спасались от пулеметного и артиллерийского огня.

К полночи прошли Благушу и очутились на Малой Семеновской улице. Рорбах нес большую связку газет «Известий Совета Рабочих Депутатов» и сотню листов «Советы восставшим рабочим».

По пути к заводу Рорбах говорил обо всем, что припоминал из последних событий, а больше о том, что возникало в памяти случайно.

— Плохо, что мы не заглянули на фабрику Цинделя. Может, повернем, ребяташки?

— Хватился... когда к дому подошли, — смеялся Наживин, — к Цинделю кто-то из молодых назначен,

— Назначен?

— Не сам же!.. Теперь, чудо-юдо, без приказа невозможно,—Викул с Краковым распоряжаются...

Шагали в глухой тишине Суворовской улицы, утомленные, голодные, беспокойные и, пожалуй, злые.

— Там и делать-то нечего, — сказал Тихон Стригун, — про Цинделя говорю: там только митингуют, а драки никакой, без толку толкуются.

— У Цинделя штаб-квартира, — припомнил Рорбах, — это я уж наверное знаю. Что?

— Я ничего, — отозвался Стригун.— Мы, дядя Сема, свою квартиру организуем.

Через полчаса они вышли к церкви Петра и Павла и очутились перед освещенными окнами ресторана «Севилья».

— Кто идет? — послышался чей-то строгий и чуть хриповатый голос.

Стригун узнал Побыткина.

— Не пугай, Степан Виденеевич, — закричал он, — мы стреляные.

У ресторана и в округности было мирно, как будто жизнь города совсем не касалась жителей окраины.

— Хороши наши ребята, — сказал Наживин и тут же заметил, что ни одного полицейского поста в этой части города не было.

В ресторане был митинг. В большом зале стояла духота. Рабочие набились во все комнаты, многие из них, должно быть, жили тут с самого начала забастовки, именно они устроились на диванах и на полу, они приволокли ковры в два кабинета и спали вповалку, где только можно было спать. Тихон Стригун (да и Рассохин тоже) почувствовал, что здесь именно он у себя дома, ему сразу удалось найти уютный угол, на медвежьей шкуре, за диваном. Сытый и довольный, он завалился спать.

А в большом зале, после митинга, Рорбах читал «Советы восставшим рабочим».

— Вы неутомимы, Семен Львович, — похвалила его Евгения Строчилина.

— Не замечал, — улыбнулся Рор-

бах, — по-моему, так я уже старею и совсем обленился.

— Вы побывали на баррикадах...

— Я обошел несколько улиц в городе, где выстроены баррикады, это совершенно безопасно.

— Семен не принимает словесной хвалы, — сказал Викул, — он ждет, когда его заслуги будут объявлены в газетах.

— А может быть, и будут, — вмешался Самохин, — то-есть я полагаю, что это случится непременно.

— Ну вот, ну вот! Нашли о чем говорить, — сконфузился Рорбах,—я как-раз и не думаю об этом, и вообще зачем говорить так, да и какой я человек, я, может, совсем плохой человек. — Он улыбнулся всем сразу, как бы прося извинения за выдуманную свою плохость (про себя-то он думал, что и действительно плох). Он захотел, воспользовавшись случаем, рассказать что-то такое из прошлого, чтобы слушатели могли судить, каким действительно был он плохим человеком и чуть ли не со дня рождения. Ему как-раз взбрела на ум его далекая, почти детская любовь к дочери кондитера Чуvasова; он полагал, будто этого рассказа вполне достаточно для дурной биографии человека. Вдруг он услышал знакомый ему смех, раскатистый и совершенно откровенный. Рорбах смутился окончательно, — смеялся над ним его друг Леонтий Чемерицын, старый токарь был попрежнему весел и чуточку насмешлив.

— Ладно, Сема, на том свете будем во всех грехах каяться, — утешал Чемерицын, — а сейчас ни к чему, сейчас лучше помолчать.

Он поправил за плечами солдатскую трехлинейную винтовку, и веселость его пропала; человек не знал, о чем бы мог он сейчас говорить? Он неловко потоптался на одном месте и вышел, чтобы сменить стоявшего на карауле, совсем дряхлого, сверловщика Семеныча.

— Ефимка приходил, — сообщил Семеныч, — велел тебе домой итти, куда, говорит, вам, с казаками драться, мы, говорит, без вас управимся.

Чемерицын проводил старика, встал у баррикады, ресторан был обложен с боков и с подезда толстыми бревнами, тут строили, должно быть, не торопясь, без помехи, строили люди опытные, знающие толк в фортификационном искусстве: внизу баррикады были сложены мешки, набитые шлаком, а позади, прямо к летнему саду ресторана, через пролом в заборе, устроен ход на случай отступления. Стояла ночь, темная и безветренная, происходившая в городе пушечная пальба и колокольный звон слышались так явственно, как будто сражение шло через два-три квартала.

Леонтий встал на возвышение, откуда была видна улица в обе стороны, он прислушивался и силился разглядеть все, что только можно было разглядеть, или, скорее, почувствовать в окружающей его тьме, и вдруг пришли к нему стыдные мысли, ему захотелось пойти домой, поглядеть на Алевтину, на седеющую любовь свою, теперь уже тихую в сердце его, но еще волнующую и милую по далеким воспоминаниям, в которые теперь уж и не верилось, будто ничего и не было, а ежели и было, так только очень грустное, как далекая песня, с еле уловимым напевом, таким близким, как будто пело само человеческое сердце. «Должно быть, не больше трех или четырех часов, — думал Чемерицын, — Алевтина проснулась (какой уж теперь сон); горит под потолком керосиновая лампа и горят в голландской печи жаркие дрова. В комнате душно, чуть пахнет свежеспеченным хлебом, устоявшимся теплом и бельем, которое только-что принесено с морозу. Домовито лает во дворе собака». Чемерицын припоминает знакомое и привычное, и ему начинает казаться, что все прошлое случилось не с ним, и очень уж ему странно сознавать, будто он, именно он, а не кто-то другой, прожил жизнь такую длинную, что прямо страшно было подумать о минувших днях, такое было их великое множество, и, как их было, в сущности, мало, до того мало, что даже не верилось в прошлое, точно там не случалось ни горя, ни радости, ничего, а если и случалось, так до того это легковесно, до того ничтожно было,

будто и не было совсем. Между тем в прошлом была любовь, очень мучительная, очень радостная и до того близкая сердцу, что ее, эту любовь, хотелось еще раз повторить, наполнить ею душу до высокого края, когда хочется уже не любви, а хороших, теплых слов, самых лучших, какие, наверное, проливаются только над могилой любимого человека...

Чемерицын стоял в полном одиночестве. Ему казалось, что он слышит шорох земли, которая продолжала мчаться в пространстве.

В эту минуту пушечные залпы участились, и Чемерицын увидел лохматое, ржеее от зарева пожаров небо. Он вспомнил кривобокую улочку, приземистый домик, Алевтину. Жена припоминается Чемерицыну так близко и живо, что невольно, совсем невольно, старый токарь протянул руку, чтобы почувствовать живое тело, близкое и очень знакомое. На минуту закрыл глаза, подумал, как будто подсмотрел:

«Наверно, сидит сейчас и, чтобы не тосковать, занимается починкой, — так решил он, вспомнив Алевтину. — Она, верно, думает, что я непременно вернусь, она кладет заплаты, но не видит, как их надо пришивать, слезы застилают ей глаза, и дрожат слабые, высохшие руки; да, так именно и происходит».

Чемерицын раздумался и уже не открывал глаз. На легком утреннем морозце чуть тлела заря, и колокольный перезвон и учащенная ружейная и пулеметная стрельба казались почти веселым занятием взрослых людей, которые вздумали встретить зимнее утро шумной и беззаботной трескотней.

— Леонтий Никанорыч!

Утро вышло серенькое, без игры, такое сиротское утро. Леонтия Чемерицына поразила наступившая тишина.

— Что такое? — спросил он, виновато улыбаясь в глаза Василию Наживину. — Неужели я уснул?

— Не уснул, задумался, Леонтий Никанорыч, — почтительно солгал Наживин.

Солгал потому, что в эту минуту хотел во всем походить на солдата. Чтобы не было так страшно (а ему было страшно), он вообразил себя в роли солдата, который призван защищать отечество, ну, если призван, так уж тут, волей-неволей, приходится быть храбрым, потому защищаешь отечество не один — со всеми вместе, значит, и трусить нечего. Наживин вообразил также, что Леонтий Чемерицын старший в дружине, то-есть вместо революционного ефрейтора, и потому достоин всякого уважения и почтения, и, кроме того (это уж про себя), каждый подчиненный как бы обязан по уставу привирать немножко своему начальству.

— ... Никак нет, Леонтий Никанорич, — повторил Наживин, — не уснул, — задумался.

VIII

Драгуны и пехота появились неожиданно, хотя их и ждали все эти дни с часу на час; они пришли, как люди опытные в избиении восставших, привыкшие к убийству и остервенелые. В доме Карпа Полуденова созван был военный совет. Василий Тимофеевич Руденко, в полной форме, позвякивая медальками, полученными за выслугу лет, рассказывал командиру объединенных воинских сил, штабс-капитану, о подвигах своих, о том, как он наличными силами полицейских чинов держал в страхе и повиновении весь подчиненный ему участок. Но силы были слишком ничтожны, восставшие взяли верх, и он, старый волк, верный защитник престола и отечества, вынужден был скрываться.

— Буря гнева клокотала в груди моей, господин капитан, — уверял Руденко, — были дни, когда я, слабый, в единственном числе готов был принять бой с мятежниками.

— Но соображения высшего государственного порядка удерживали вас от сего геройского поступка, — издевался Епимах. Дрожащей рукой поднимал он рюмку и уже обращался к офицеру: — Выпьемте, ваше высококородие, за побе-

доносный поход на врагов, времена-то какие, ваше высококородие, со своим народом деремся. Хе! А что, ежели бы этот народ победил? Как вы думаете, в какой чин нас произвели бы? Хе-хе! Разрешите мне сообщить, Павел Семенович, — замечая нетерпеливый жест Строчилина, продолжал Епимах, — они, то-есть господа рабочие, произвели бы нас в чин угодников божиих.

— Невозможное предположение, так точно, совершенно невозможное, мы этого не допустим, — пьяно похвалялся офицер, совсем не замечая ехидной иронии Епимаха, — завтра мои солдаты поставят на колени всех непокорных.

— Отблагодарим, ваше высококородие, всем нашим обществом, — спешил заверить Полуденов. — Дрикс Иваныч наказывали не щадить сил и средств, и еще одна просьбица: допустите хотя бы издали понаблести за ходом сражения, ваше высококородие, порадоваться на успехи и вознести господа молитвы наши.

— Сладострастник ты, Карпушенька, — отметил Епимах, — люблю тебя за живость духа твоего, за настойчивость в гневе и великодушии.

— Глядеть, как люди будут убивать людей, — презрительно выпятил нижнюю губу Строчилин, — это мне кажется ужасным.

Офицер, отхлебнув вина, промолчал из прирожденной робости среднего человека перед миллионами этих людей, он позволил себе только улыбнуться, да и то в горстку.

— Ах, я вас глубоко понимаю, — почувствовал Руденко Строчилину, — и если бы вы знали, Павел Семенович, как тяжело бывает воину иной порой! Но что же делать! Долг война обязывает нас.

— Долг война! — так и привскочил Епимах, — вот уж, извините, не только долг война, не только-с, тут иное, тут вопрос самосохранения, то-есть, если в таком деле не в меру помилосердствуешь, тогда, значит, гибель, полное крушение личных надежд и одновременно государственных порядков, вот к чему может привести милосердие, благо-

родный порыв сердца и движение доброй души. Зато уж у них, у супротивников наших, все на этот счет сказано совершенно откровенно-с, без затемнения разума, в подтверждение сказанного и документиком Карп Серафимович располагает. Огласите, Карп Серафимович, чтобы не одолевало присутствующих сомнение.

— Потрудитесь, Епимах Лазарич, сами потрудитесь! — сказал Полуденов и подал сложенный вчетверо лист. — Обширное и поучительное чтение, дорогие мои господа гости!

— И вот-с, — обрадовался Епимах, принимая бумагу и развертывая, — это, извольте ли видеть, советы восставшим рабочим. Ну-с, должен вас предупредить, как человек вполне честный и благородный, что чтение будет невеселым, хотя в достаточной мере полезным, ибо открывает глаза добрым и великодушным, в том смысле, что доброта и великодушные не всегда благо, в иную же пору настоящее и непоправимое зло. В этом листке (Епимах развернул его и поднял над головой) клокочет бешеная ненависть к нам и к тем, кто поставлен велением самого бога у власти.

Наговорившись, Епимах принялся читать над хмельными головами гостей. И грустно улыбался либеральный миллионер Строчилин, сурово крутил усы штабс-капитан, поник седою головой полицейский Руденко, и злобно скалил зубы Карп Серафимович Полуденов, как бы радуясь документу, который негласно разрешал ему вцепиться зубами в горло врага.

— «Товарищи! Боевая организация при Московском комитете Российской социал-демократической партии спешит указать вам правила и просит вас строго следовать им.

Первое, главное правило — не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами, человека в три-четыре».

Поняли-с? Человека в три-четыре! Стратеги, будь они прокляты! — захлабывался Епимах. — Тактики анафемы! И все это для того, чтобы ловчее было нападать и быстрее исчезать. И далее: «Полиция пытается одной сотней

казаков расстреливать тысячные толпы. Вы же против казаков ставьте одного-двух стрелков...».

— Ну, это, гм... — вмешался офицер, — это, господа, смею вас заверить, им не удастся, это, позвольте вам доложить, запоздавшая наука, так точно, и прочее...

Офицер пьяно хорохорился и самоуверенно улыбался, но Епимах совсем не обращал на него внимания, он целил в сердце либерального миллионера Строчилина:

— «... Строго отличайте ваших сознательных врагов от врагов бессознательных, случайных, — продолжал читать Епимах, — первых уничтожайте, вторых щадите».

Это мы первые, мы сознательные, и мы подлежим уничтожению, на что и прошу вас, многоуважаемый Павел Семенович, обратить внимание. — Епимах перекосил лицо и закатил глаза, голос его играл, бился, шелестел, плакал:

— «Пехоты, по возможности, не трогайте. Солдаты — дети народа и по своей воле против народа не пойдут. Их натравливают офицеры и высшее начальство. Против этих офицеров и начальства вы и направляйте свои силы».

И... — Епимах поднял руку, — тут самое главное, самое, самое настоящее (он хихикнул и опустил костлявую руку на плечо офицера), внемите, праведные судьи, а вы, ваше высочордие, в особенности:

«Каждый офицер, ведущий своих солдат на избивание рабочих, объявляется врагом народа и становится вне закона...».

Епимах читал артистически, с придыханиями, со свистящим шопотком, с гневными или взволнованными, в зависимости от содержания, восклицаниями. Главное же, ему хотелось разжечь у слушателей аппетит к мести и, значит, крови. Епимах очень обрадован был добытому Карпом Полуденовым документу и торопился внушить мысль о необходимости беспощадной расправы и... — это уж чисто епимаховское, — ему одновременно хотелось, чтобы и другая сторона противников, то-есть заводладельцев и вообще хозяев, претерпела

все, вплоть до полного их разорения. Сторонник нарушения гармонии человеческого бытия, он готов был рыдать и терзаться, если это бытие вдруг выскакивало из колеи, но в тот же день, как только выплывало солнце тишины и миролюбия, Епимах впадал в состояние тоскливого запоя.

— «... Поймите, товарищи, что мы хотим не только разрушить старый строй, но и создать новый, в котором каждый гражданин будет свободен от всяческих насилий. Поэтому сейчас же берите на себя защиту всех граждан, охраняйте их, делайте ненужной ту полицию, которая под видом охранительницы общественной тишины и спокойствия насильничает над беднотой, сажает нас в тюрьмы, устраивает черносотенные погромы.

Наша ближайшая задача, товарищи, — передать город в руки народа. Мы начинаем с окраин, будем захватывать одну часть за другой. В захваченной части мы сейчас же установим свое выборное управление, введем свои порядки: восьмичасовой рабочий день, подоходный налог и т. д. Мы покажем, что при нашем управлении общественная жизнь потечет правильнее, жизнь, свобода и права каждого будут ограждены более, чем теперь. Поэтому, воюя и разрушая, вы помните о своей будущей роли и учитесь быть управителями.

Боевая организация при Московском Комитете РСДРП».

— Слыхали? — неистово вопил Епимах, чуть ли не тыча каждому в лицо только-что прочитанной бумагой, — это, дорогие мои, уже не шутка-с и не пустая угроза, вот уже десять дней как столица Российской державы подвергается натиску со стороны воюющих, они идут на все, чтобы добиться победы, они дерзко попирают любовь отцов своих.

— Ох! — вздохнул Полуденов.

— Как вы жестоко правы, — сказал Строчилин и закрыл глаза ладонью, как будто хотел удержать слезы.

— Да, я прав, — торжествуя, подтвердил Епимах, — но жесток ли? Не

знаю, думаю, что совершенно наоборот-с, ибо призываю вас к действию, к тому, чтобы теперь было приступлено, наконец, к окончательному подавлению восстания. Я, конечно, понимаю, господа, что при подавлении прольется священная человеческая кровь, но да простит мою грешную душу всевышний! Я призываю вас не щадить даже и жизнью своих чад. Вы меня понимаете, Павел Семенович? Ты слышишь негодующий голос мой, Карп Серафимович?

— Не требуйте от меня невозможно, — расслабленно произнес Строчилин.

— Тяжко мне, Епимах Лазаревич, ох, как тяжко! — застонал Полуденов. Но все же он приободрился, поднял глаза, в которых как будто дымились слезы, и проговорил покорным голосом: — Да ведь что же поделаешь, так уж, видно, говорить приходится; сколько заботы положил я, какие надежды возлагал на сына, бога благодарил за душевное мое просветление, за небесную теплоту. — Полуденов огляделся с отчаянием и надеждой, ища поддержки и утешения, но на голос его не откликнулись, и тогда он протянул к Епимаху руки и почти прокричал: — А не пожалеть ли, не сложить ли вину на молодость и неразумение?

— Нет, — отозвался Епимах, — не могу допустить слабости. Вспомни, Карпушенька, святое писание: бог-вседержитель не оказал в свое время помощи сыну своему и оставил его в пустыне распятым на великое мучение; как же смеешь просить ты о пощаде, о милости к сыну, который презрел великую твою любовь?

Епимах попытался принять величественную позу разгневанного праведника и этим своим намерением развеселил Карпа Полуденова, который понял, что даже и в эти угрожающие часы Епимах играл привычную свою роль насмешливого мошенника, бесстыдного, как всё, что видел, знал и к чему прикасался сам Полуденов.

Крикливая, полупьяная и, конечно же, безумная ночь подходила к концу, тусклое утро пробиралось глухими улицами, оно задержалось на площади и

медленно стало подниматься. В этот именно час на колокольню церкви «Спаса Преображения», откуда был отлично виден ресторан «Севилья», поднялись участковый пристав Руденко, поп Кронид, Карп Полуденов и улыбающийся, в сильном подпитии Епимах Киндеев.

Солдаты выдвинули из-за угла две пушки, драгуны спешились и прошли цепью по сторонам улицы:

— Я, как человек, облеченный властью... — начал было Руденко, но как-раз в этот момент глухо лопнул первый орудийный выстрел, и Руденко, невольно отшатнувшись, перекрестился.

— Благослови господь! — сказал поп Кронид и тоже перекрестился и, проследив, где лег и разорвался снаряд, добавил: — А ведь никак мимо просвистали, не пристально стреляют, сукины дети...

— Взволнованный ты человек, отец Кронид, — посмеялся Епимах, — это тебе не преферанс, тут глазомер надобен, и вообще, отче, ты бы велел ударить в колокола и помолился.

— Не-ет, ты уж того, ты оставь меня, Епимах Лазарич, — без толку молиться — без числа согрешить. Тут вот, с колокольни этой, из ружьишка бы пальнуть, по нечестивцам этим.

— Эхм! — подкашлянул Епимах и подмигнул на Полуденова. — Гляди, отче, как бы не прогадать, у него, у Карпушеньки, сын там с нечестивцами.

— Не уясню, — услышал Полуденов, — чего ты-то стараешься, батя? Не по церкви стреляют — по ресторану, значит, мой кошель будет отвечать, не твой.

— А может, я, Карп Серафимыч, душой за отечество страдаю, — жалобно загнусил Кронид. Он слезливо поморгал, потом взмахнул обеими руками и завопил на голос: — Батюшки, родные вы мои, уходят ироды, через сад уходят!

Ружейные выстрелы участились, и вдруг рванулась совсем неподалеку ручная бомба, — одна, другая и, через короткий промежуток, третья.

— Не уходят, а оттуда, от завода,

подбегают, мерзавцы, — заметил Епимах и, чтобы лучше видеть, снял очки и перегнулся через решетку.

Ничего нельзя было понять. Знакомый Епимаху офицер метался по площади, размахивал плетью и яростно кричал на выбегавших из улицы драгун. На крышах ближайших домов прятались дружинники, они бежали через огороды, стреляли из калиток и снова пропадали. Епимах, похоже было, собирался перескочить через решетку, с такой очевидной жадностью наблюдал на площадь. Может быть, в забывчивости, в неистовом азарте, он и прыгнул бы, если бы не выстрел, щелкнувший у него за спиной, и не визгливые крики поа:

— Жарь, жарь их, сукиных детей, Василий Тимофеевич! Укрепи, господь, руку твою! Жарь, жарь их, сукиных детей!

Участковый пристав Руденко, осклиз зубы и зажмурив глаза, стрелял по перебегавшим рабочим из револьвера; он положил тяжелый «Смит и Вессон» на решетку и палил, ничего не видя и, должно быть, не чувствуя. Епимаху так это понравилось, что он сам, позабыв о слепоте своей и старости, захотел стрелять, чтобы насладиться до конца. Он вытянул руки, хотел броситься к другу своему, но, шагнув, как-то очень нелепо и смешно подскочил и повалился к ногам поа, словно собирался облобызать грязные сапоги его.

Ошеломленный Руденко уронил револьвер, Полуденов склонился над Епимахом, перевалил его на бок. Епимах глядел изумленно и, пожалуя, растерянно; он широко открыл рот и часто дышал, верхняя челюсть отвалилась, из левого угла рта, стекая по подбородку, тонко извивался медлительный ручеек темнокрасной крови.

Поп Кронид давно уполз по лестнице вовнутрь каменной колокольни и ошалело и жалобно кричал оттуда.

IX

К вечеру драгуны и пехота начали обходить баррикады у ресторана «Севилья» с двух сторон. С четырех часов

начался снежный буран, и в наступившей полутьме люди действовали почти вслепую. Рассудительный даже и в эти тревожные и решающие часы, Карп Полуденов, уложив смертельно раненого Епимаха в бывшей комнате сына Гурья, вызвал из дворницкой сторожа ресторана, Игната. Полуденов удалился с Игнатом в угловую комнату, подальше от посторонних глаз, добыл из бумажника пятисотенный билет, показал на свет царя Петра ничего не понимающему сторожу и, наконец, предложил:

— Хочешь, Игнат, счастьем обладать? Говори сразу, не задерживай духу!

— Господи, ваше степенство, Карп Серафимыч, — восторженно залепетал Игнат, — да ежели я да не буду за вас бога молить всю мою жизнь...

— Ты не молись, я молельщиков и без тебя найду, ты одно слово скажи: хочешь два Петра заполучить?

— А-а, вв-ва! — онемел Игнат, падая на колени и протягивая руки.

— Ну, значит, хочешь, — заключил Полуденов, — вижу, не говори... Да не ползай ты на коленях-то, мне совсем не это надобно. Иди-ка ты сюда, иди, приближайся, ничего не будет. — Полуденов подошел к Игнату, сел перед коленопреклоненным сторожем на стул и сказал: — Теперь слушай, умная ты голова, смотри у меня, язык не развязывай, не то я, с моим знакомством, на тебя же и протокол велю составить! Да не бойся, дура голова, ничего не случится, со мной дело имеешь, не с кем-нибудь... Ладно тебе, ладно, иди уж, а Петра-то спрячь подальше! Чего ты глядишь на него, будто на икону? — говорил Полуденов, выпроваживая Игната со двора, закрывая за ним калитку.

Ветер гудел и взметывал тучи снега, стало совсем темно, и стрельба у ресторана прекратилась совершенно. На баррикаде стоял Степан Побыткин, в самом ресторане было глухо и темно. Евгения Строчилина перевязывала в буфетной раненого в плечо Василия Наживина. У стены, на полу, лежа на мочальном тю-

фяке, умирал раненый в голову осколком снаряда сверловщик Семеныч; умирал он молча, полускрыв глаза, следя за огоньком лампы, и мысленно утешался тем, что вот он, старый и ни на что уже негодный, окружен заботливым вниманием товарищей, знакомых ему и незнакомых. Семеныч в этот час ничего не хотел и ни о чем не жалел; лишь изредка, и то полусловами, подзывал он первого, кто попадался на глаза, и просил пить, и все давали ему вина, чтобы человеку было отраднее в последние минуты и легче умирать. И старик умирал дольше, чем полагается при смертельном ранении в голову; должно быть, не все еще извилины мозга были залиты кровью, и даже, может быть, Семеныча удалось бы спасти, если бы об этом кто-нибудь думал.

— Куда же раненых? — спросила Строчилина Бориса Кракова, спросила перед утром голосом полусонным и окончательно изнемогшим. Она подошла к креслу, провалилась в уютную его глубину и сейчас же задремала, не дожидаясь ответа, позабыв о своем беспокойстве, а когда ее разбудили (проспала Строчилина не больше двадцати минут), она ничего не сознавала и, качаясь от усталости, вышла из ресторана следом за Наживиным, держась за руку Леонтия Чемерицына, беспомощная и ослабевшая. Люди прошли Летним садом, утопая в рыхлом снегу, и снег казался Евгении теплым, и она чувствовала, как пахнет от Наживина иодоформом, карболкой и керосином, от его просмоленной рабочей тужурки. Строчилина не видела дороги, она прислушивалась к буйному свисту ветра, не думала об опасности и все шла и шла, радуясь снежинкам, которые прыгали с земли прямо в лицо ей, так что она закрыла глаза, и тогда стало казаться, будто шагает она по растянутой в воздухе сетке, точно эквилибрист, и с каждым шагом она высоко поднимала то одну, то другую ногу и все качалась и качалась, покуда не пришла в дом, где жил Леонтий Чемерицын и куда было решено относить и отсылать раненых. Тут, в низкой комнате, засыпая на скамье, она почувствовала, что чьи-то сильные

руки схватили ее, укрыли голову пуховым платком, так что она совсем не могла крикнуть, и очутилась в той самой карете, в которой ездила когда-то на массовку. Мягко покачиваясь на ресорах, Евгения услышала потом, как плакал и шептал над ней ее старый отец; она хотела оттолкнуть его, но ее охватило безразличие, сонное и тупое; откинувшись в угол, она уснула, думая о том, что теперь уж все равно и что она окончательно погибла в глазах ее товарищей.

В это время по баррикадам у ресторана открыли артиллерийский огонь, и вдруг, о чем никто не думал, запылала ресторанная кухня, ветер поднял пламя павлиньим хвостом и бросил его под крышу ресторана. Летний сад заиграл разноцветными искрами, и Самохин Дорофей, охранявший подступ к ресторану со стороны соседнего переулка, увидел быстрого в полубубке человека, который мчался прямо на него. И Самохин, признав в беглеце сторожа Игната, выстрелил, и долговязый Игнат рухнул с разбегу под забор, и ветер поспешно принялся заметать его снегом.

— Сволочь, — сказал Самохин, — продажная сволочь!

Он услышал чей-то отдаленный рев, и артиллерия стала бить по баррикаде и ресторану без промаха. Тогда Самохин, теряя направление, метнулся было к выходу из сада, потом повернул к ресторану, не замечая уходивших дружинников.

Сад был в сиянии, пламя пожара охватило весь угол огромного здания. Перемерзшие ветви деревьев взлетали от взрывов частых снарядов, взлетали и, подхваченные ветром, уносились в черное небо.

Самохин упал около крыльца, выругался, вскочил и бросился в открытые двери ресторана; тут он снова упал, выронил винтовку и, перевернувшись, разбросал руки, в разорванной груди его дымилась кровь.

Гурий поднял голову, он увидел тела убитых и удивился тому, что еще жив, но радости по этому случаю не испытывал никакой. Свердловщик Семе-

ныч казался спящим, такое у него было спокойное лицо, и на лице была мысль: «слава богу, без малого семьдесят лет прожил, и вот (после всего) умер настоящему, как и полагается хорошему человеку». Рядом лежал с разбитым лицом Лепихин Викул; был он весь в крови, со скрюченными в предсмертной муке руками; гордая голова его была свернута круто к правому плечу и казалась нечеловечески обиженной...

А в коленях Гурия лежал Борис Краков; был он чист очень и необыкновенно опрятен; две пули прошли грудь так тонко, что никакого внешнего следа не было, и Краков сейчас медленно засыпал последним, смертельным сном, и лицо его было так бледно, как будто человек этот устал до последнего изнеможения. На одну минуту Краков открыл глаза и еще довольно вятно произнес:

— Ну, что ж, уходи, Гурий, буду умирать, человека природа обидела, мой милый, она создала его смертным...

Краков поднял руку и закрыл глаза, потом он вздохнул и стал еще бледнее и как будто тоньше.

В эту смертную минуту Гурий захотел поцеловать своего учителя, отдать ему самое лучшее и высокое, что только имел; он принял холодную руку и увидел на ресницах Кракова мелкие росинки слез и заплакал сам. Потом он услышал рокот пожара, грохот разрывающихся снарядов и звон стекла, он огляделся и увидел себя одиноким среди мертвых тел, которым был он уже не нужен теперь.

Гурий уходил один. Позабыв оружие, он медленно шел по освещенному пожаром саду; он слышал, как повизгивали осколки снарядов, и не опасался их. Так миновал он сад и очутился в глухом и темном переулке. Гурий не разбирал дороги. Так выбрался он на площадь, где особенно сильно метался снежный буран, и тут настигла его, наконец, шальная пуля. Но Гурий не упал, он только споткнулся и встал на колени, ветер озоровал вокруг него, хотел повалять и свал полы чальто. Было темно под небом и тем-

но в мыслях. Поднявшись с колен, Гурий побрел дальше. Пуля, коснувшись верхушки правого легкого, застряла в спине. Едва передвигая ноги, Гурий бессознательно свернул в другую сторону от первоначального направления. Распахнув пальто, он держал у груди ладони, и кровь из раны остывала в растопыренных пальцах. К дому отца Гурий пришел в полночь, он угодил сюда инстинктивно. Цепляясь за стены домов и заборы, очутился перед воротами знакомого дома и, обессиленный, упал у порога калитки.

В улице ветер был тоньше и не так уж сильно хлестал в лицо сырым снегом.

* Чи-вви! — посвистывал ветер, вползая в подворотню. Фф-аа! — вздыхал ветер, перемахнув через забор и застревая под железной крышей дома, грудь которого, выставленная на улицу, казалась непоколебимой.

Гурий, очнувшись, нашел себя таким беспомощным и слабым, что не мог уже отползти в сторону, или он подумал только, что не в силах будет этого сделать; тогда он, как и всякий больной и беспомощный, вспомнил о матери своей, доброй и всепрощающей, подобно всем матерям на земле; вспомнив, принялся настойчиво стучать в калитку, и ка-

литка открылась, за порогом показалась высокая фигура человека, едва различимая во тьме.

— Игнат, отведи меня к матери, — попросил Гурий, — я не могу подняться, Игнат...

Когда человек, стоявший у порога калитки, наклонился, Гурий узнал отца, и его поразило злобное сияние глаз, злобное и торжествующее, как у кошки, держащей в пасти пойманную птицу. Но Гурий не отвернулся, он выбросил руку и, ухватившись за скобу, стал подниматься; он прислонился к калитке, поглядел в злобные глаза и произнес, клокоча кровью:

— Пришел умереть, отец..

Карп Серафимович Полуденов, первой гильдии купец, главный акционер машиностроительного завода братьев Ланге, не растерялся; он уперся плечом в калитку со стороны двора и, медленно отжимая сына в глухую улицу, ответил:

— Жил про себя, и умирай про себя...

Гурий долго стоял у ворот и глядел в пустую ночь, ничего не соображая, держась одной только ненавистью. Потом он оторвался от ворот и пошел опять, цепляясь за стены домов и заборы.

Конец второй книги

Люди и факты

1. Я. ГАНЕЦКИЙ—Февральская революция. 2. Макс ЗИНГЕР—Сквозной рейс.

1. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Я. Гавецкий

Годы 1910—11 показали, что рабочий класс в России стал оправляться после свирепствовавшей реакции. Стачки на фабриках и заводах, часто принимавшие характер политический, учащающиеся митинги и демонстрации, — все это было доказательством нарастания революционного настроения среди масс. Ленский расстрел в 1912 г. придавал особо мощный размах рабочему движению.

Пражская конференция партии большевиков в январе 1912 г., в подготовке которой огромную роль сыграл незабвенный товарищ Серго Орджоникидзе, значительно усилила нашу партию. Пражская конференция «имела величайшее значение в истории нашей партии, ибо она положила между между большевиками и меньшевиками и объединила большевистские организации по всей стране в единую большевистскую партию» (С т а л и н).

В 1914 году особенно усилилось революционное движение среди рабочих и напоминало канун 1905 года. Количество стачечников достигло 1.400 тысяч, что составляло почти половину цифры 1905 г. В Петербурге стачки сопровождались баррикадными боями. Подобную картину можно было отметить и в других городах, в особенности в Польше и на Кавказе. Несмотря на попытки противодействия со стороны меньшевиков, рабочий класс в громадном своем большинстве сплотился вокруг большевист-

ской партии и усиленно готовился к новой решительной схватке.

Меньшевики встревожены были влиянием нашей партии среди рабочих. Особенно опасались они приближающейся революционной бури и пытались помешать работе большевиков. Они пригласили в Петербург председателя II Интернационала почтенного г-на Вандервельде, который должен был воочию убедиться, как большевики «раскалывают единство рабочего движения». Сей муж вынужден был признать весьма приподнятое настроение среди рабочих и почти исключительное влияние на них большевистской партии. Решительный отпор, который большевики давали оппортунистам и ликвидаторам из меньшевистского лагеря, не дал возможности Вандервельде остро поставить вопрос об объединении большевиков с меньшевиками, хотя все его симпатии были на стороне последних.

Эта попытка была проделана в июле 1914 года на конференции в Брюсселе, созванной Бюро II Интернационала. Здесь собрались оппортунисты всех мастей II Интернационала во главе с Вандервельде, Каутским, Плехановым, Иудушкой-Троцким и др. Несмотря на величайший нажим, угрозы и ругань, большевики остались непоколебимыми и ни на какое соглашение с меньшевиками не пошли.

Вспоминаю, как все эти господа возмущались тем, что Ленин не явился на

конференцию. Увидев никому не известных большевистских делегатов, все подозревали, что Ленин сидит в гостинице и оттуда руководит делегатами. Когда тов. Инесса Арманд на прекрасном французском языке сделала доклад от имени ЦК нашей партии, Плеханов был уверен, что большевики взяли какую-то француженку, чтобы хорошим французским языком произвести впечатление на иностранцев. Ликуя, он предложил этой «француженке» самой перевести свою речь на русский язык. Велико было его разочарование, когда тов. Арманд свою речь произнесла на чистом русском языке.

А как взбешен был Вандервельде, когда никакого впечатления не произвели на большевиков следующие его громкие слова: «Сознают ли свои поступки те, которые отказываются голосовать за предложенную резолюцию? Резолюция ничего не говорит. Моральное ее значение — желание объединения. Знают ли делегаты ЦК, что они делают? Двое судей будут их судить: Венский конгресс и русский пролетариат. Знают ли они, какой будет приговор? Можно голосовать за или против резолюции, но воздержание от голосования обозначает издевательство!»¹⁾

Вандервельде оказался прав. Большевики, действительно, поиздевались над всем почтенным собранием. А русский пролетариат впоследствии жестоко осудил, только не большевиков, а меньшевиков и всех оппортунистов II Интернационала.

Не успели участники Брюссельской конференции раз'ехаться, как вспыхнула война.

К войне усиленно готовились все воюющие страны. Царская Россия за долго до войны договорилась со своими союзниками о новом переделе карты Европы, доказывая, между прочим, необходимость присоединения к России Константинополя, Галиции, Познанской

области и других. Приезд президента Франции Пуанкаре в Петербург в июле 1914 г. должен был послужить толчком к ускорению и конкретизации соглашения среди союзников.

Подписав 2 августа манифест о войне, Николай, фактически, подписал самому себе приговор, приговор царскому самодержавию.

Если в августе 1914 г. нельзя было предвидеть, как долго затянется война и которой из воюющих сторон она принесет победу, то ясным было, что царское правительство не в состоянии будет удержаться в случае затяжного характера войны.

Разразившиеся по всей России после объявления войны шовинистические демонстрации имели целью скрыть фактическое положение вещей. Правда, буржуазные партии с радостью приняли манифест о войне, заявили свои верноподданнические чувства царю и призывали весь народ к единению. Они рассчитывали на большие барыши по военным поставкам, на завоевание новых земель. Они рассчитывали, что царь привлечет их к управлению государством, создаст правительство, ответственное перед Государственной думой. Они рассчитывали, что война предотвратит революцию.

Французский посол в Петрограде Морис Палеолог в своих мемуарах написал 3 августа 1914 г. следующие слова, высказанные ему председателем Государственной думы Родзянко:

«Война внезапно положила конец всем нашим внутренним раздорам. Во всех думских партиях помышляют только о войне с Германией».

От себя Палеолог прибавил в своих записях: «Русский народ не испытывал подобного патриотического подъема с 1812 г.».

На следующий день Николай на приеме сказал тому же Палеологу:

«Я буду бороться до последней крайности. Для того, чтобы достичь победы, я пожертвую всем, вплоть до последнего рубля и солдата».

Не сбылись ни мечты русской буржуазии, ни мечты Николая.

¹⁾ Из моих личных заметок во время конференции. — В 1915 г. должен был собораться в Вене Международный социалистический конгресс.

В политике царизма никаких изменений не произошло. Страной управляла кучка придворной камарильи, которой вскоре стал руководить безграмотный Распутин. Слабоумный царь находился под сильным влиянием Распутина и царицы.

Скоро обнаружались результаты такого управления. В стране получился полный развал. Процветала спекуляция и взяточничество. Цены на продовольствие с каждым днем росли. Получилась пробка на транспорте. Нехватало вагонов на перевозку солдат на фронт, на перевозку сестринских припасов в города, сырья и топлива для заводов.

Армия, плохо вооруженная, голодная, разутая, терпела одно поражение за другим. Сотни тысяч солдат гибли в боях, сотни тысяч их попадало в плен, и все новые сотни тысяч крестьян и рабочих мобилизовались на очередную бойню.

Солдаты в окопах возненавидели офицеров, начинались бунты.

Вот выдержки из одной солдатской листовки, распространенной на фронте (с сохранением орфографии):

«Братцы! До каково времени мы будем вести войну вот уже пять месяцев на третий год как мы и наши братья и отцы страдаем и убивают нас не за что. Братцы подумайте неужели мы кровожадные звери чтобы убивать людей, ведь это все напрасно. Настало время окончить войну и это все в наших руках подумайте как мы хорошо вооружены и мы малчим и теряем время... Мы должны кончить войну пусть тот воеет кто сумел продать, а нам нет никакого смысла и если вас будут посылать в наступление то никуда не идите ни один пусть тот идет кто будет посылать вас».

О настроении солдат в окопах свидетельствует также следующее письмо солдата-крестьянина своему отцу. Вот выдержки из него:

«Пока тятинька в наступлении не были, дай и бог бы не дал быть: не хотят итти солдаты. Сделали забастовку. Все полки говорят, что довольно вое-

вать, просят мир. Если солдаты не замиряют, то мира скоро не будет. Везде пошли забастовки, в Петрограде и Москве идут бунты, может скоро мир будет...».

В 17 Сибирском полку по приговору военно-полевого суда расстреляно было 24 солдата и 54 переданы соединенному суду XII армии.

Генерал Жилинский 7 августа 1916 г. телеграфировал из Франции:

«Вернувшийся из Марселя полковник граф Игнатъев доложил, что застал части в тревожном настроении, выразившемся в брожении, невыдаче виновных и постоянных самовольных отлучках. Французские военные власти Марселя высказали нежелание вмешиваться и оказывать вооруженное содействие. Выяснилось, что 3-й батальон и 3-ья пулеметная рота 4-го полка, состав коих крайне плох, подверглись революционной пропаганде при следовании морем на пароходе».

На совещании в ставке верховного главнокомандующего в декабре 1916 г. командующие фронтами сообщали о бунтах среди солдат. Командующий юго-зап. фронтом докладывал: «Люди отказывались итти в атаку; были случаи возмущения; одного ротного командира подняли на штыки, пришлось принять крутые меры, расстрелять несколько человек...».

Среди мобилизованных солдат было около 14 миллионов крестьян. Отрыв такого громадного количества рабочей силы из деревни сильно отразился на мелких крестьянских хозяйствах. Резко сокращались размеры посевных площадей, урожайность снижалась. По деревням рыскали скупщики и заставляли крестьян продавать по необычайно низким ценам хлеб, скот, даже домашнюю утварь. Одновременно крестьянам пришлось покупать городские товары по значительно повышенным ценам. Если к этому прибавить постоянный рост налогов, то получится картина абсолютного обнищания крестьянства во время войны.

Доведенные до безвыходного положения крестьяне во многих местах бунто-

вали. Немало влияли на настроение крестьян письма их земляков с фронта. Там, одетые в солдатские шинели, крестьяне сблизились с рабочими в таких же шинелях, которые открыли им глаза, толкали их на борьбу против общего внутреннего врага.

Характерно, что женщины-крестьянки не только не стояли в стороне от этих стихийных бунтов, но часто были их инициаторами.

Следующий рапорт начальнику харьковского губернского жандармского управления характеризует настроение среди крестьян:

«30 мая 1916 г. в городе Старобельске произошли беспорядки при следующих обстоятельствах. Жена судебного пристава Матрена Сыроваткина, будучи около 10 часов утра на базаре, купила у крестьянки слоб. Чмыровки, Старобельской волости того же уезда, Екатерины Григоренко десяток яиц и хотела заплатить по таксе 25 коп. Григоренко отказалась дать яйца менее 35 коп. Сыроваткина обратилась к городовому Ясенко, который, в виду того, что Григоренко не хотела верить в существование таксы, пригласил ее в полицейское управление. В то время, когда Ясенко, Григоренко и Сыроваткина подходили к полицейскому управлению, на них набросились крестьяне той же слободы Чмыровки Григорий Верхмоводов и Александра Григоренко и, сбив с ног городского Ясенко, стали его избивать. Городовому Ясенко удалось вырваться и забежать во двор полицейского управления, куда он потащил за собою и Екатерину Григоренко. В это время к полицейскому управлению сбежалась толпа народа, причем главным образом в этой толпе, около 200 человек, были женщины. На этот шум к толпе вышел исправник Коронацкий. Толпа, окружив его, потребовала освобождения Екатерины Григоренко и выдачи городского Ясенко. Первое требование было исполнено, а второе нет. Толпа пришла в ярость и стала теснить исправника Коронацкого. К этому времени прибыли 13 конных стражников, которые разогнали толпу. Когда исправник вошел в полицейское управление, то толпа стала

бить окна в квартире исправника, помещающейся в одном здании с полицейским управлением, а затем стала бросать камни в стражников. К полицейскому управлению прибыл с конвойной командой уездный воинский начальник полковник Козлов. К этому времени толпа рассыпалась по городу и стала бить стекла в магазинах и в частных квартирах. При этом из толпы раздавались крики: «Бей полицию и магазины», «На наши продукты паны устроили таксу, а в магазинах продают товары по чем хотят».

В записке харьковского губернского жандармского управления от июля 1916 г. мы читаем:

«Общее недовольство населения дороговизной жизни на почве спекуляции торговцев начинает принимать характер, угрожающий спокойствию, и выливаться в форму, крайне опасную: погромов магазинов и открытого сопротивления чинам полиции при подавлении беспорядков. Так, толпами в тысячу и более человек, состоявшими главным образом из женщин и подростков, произведены были погромы магазинов: 16 мая в гор. Сумах—Кулишева и 19 мая в с. Юзюковке, Ахтырского уезда—Мирненки и Лазебного, причем в обоих этих случаях толпами оказано было сопротивление чинам полиции и в них бросали камни... Главной причиной указанных выше беспорядков послужило нарастающее озлобление населения против торговцев за крайне поднятые ими цены на все товары, главным образом предметы и продукты первой необходимости, и уверенность, что правительство не в состоянии вести правильную борьбу с дороговизной жизни. Нормировка цен на продукты первой необходимости в той форме, в какой она ныне производится, т. е. без участия представителей от населения, и полное отсутствие таковой на товары, являющиеся также предметами первой необходимости, как-то: обувь, материалы для платья и пр., вызывают среди населения нежелательные толки о том, что «паны» установили цены на продукты и тем заставляют продавать их по известной цене в ущерб интересам крестьян, тогда как в магазинах на то-

вары цены не установлены. Таким образом начинает развиваться недовольство крестьян интеллигенцией вообще и в частности — администрацией и полицией, как органов правительственной власти, тем более, что к полиции, приводящей в исполнение обязательные постановления по вопросу о дороговизне жизни, население относится с полным недоверием в смысле ее неподкупности».

Для крестьян был только один выход: объединиться с рабочим классом и совместными усилиями свергнуть ярмо самодержавия, помещиков, фабрикантов и банкиров.

Партия большевиков постоянно учила рабочий класс тому, что в своей борьбе он должен искать помощи беднейшего крестьянства.

Ленин в ноябре 1915 г. писал:

«Расслоение крестьянства усилило классовую борьбу внутри него, пробудило очень многие политически спавшие элементы, приблизило к городскому пролетариату сельский (на особую его организации большевики настаивали с 1906 года и ввели это требование в резолюцию Стокгольмского, меньшевистского, съезда). Но антагонизм «крестьянства» и Марковых—Романовых — Хвостовых усилился, возрос, обострился. Это такая очевидная истина, что даже тысячи фраз в десятках парижских статей Троцкого не «опровергнут» ее. Троцкий на деле помогает либеральным рабочим политикам России, которые под «отрицанием» роли крестьянства понимают не желание и поднимать крестьян на революцию!»

А в этом сейчас гвоздь. Пролетариат борется и будет беззаветно бороться за завоевание власти, за республику, за конфискацию земель, то-есть за привлечение крестьянства, за исчерпание его революционных сил, за участие «непролетарских народных масс» в освобождении буржуазной России от военно-феодалного «империализма» (=царизма)». (В. Ленин, Сочинения, т. XVIII, стр. 317—318).

Особенно сильные волнения происходили в национальных окраинах, на Кавказе и в первую очередь в Средней

Азии; здесь происходили настоящие восстания.

Огнем и мечом орудовал царь против взбунтовавшейся «черни». В восставшие деревни Николай посылал карательные экспедиции, зверски расправлявшиеся с крестьянами. Много тысяч крестьян было повешено и расстреляно, десятки тысяч было послано на каторгу; целые деревни сжигались и были сравнены с землею.

В официальной части «Туркестанских ведомостей» напечатано:

«В конце января 1916 г. в Хиву пришла значительная группа туркмен с целью якобы заявить лично хану все свои претензии. Прибывшие вели себя вызывающе и было основательно подозрение, что среди них находятся лица, замышлявшие убить хана и сделать переворот, объявив ханом своего ставленника, некоего туркменского хана Джюнейта, в устранение чего начальник Амударьинского отдела приказал арестовать главарей шайки... Первого февраля предводитель их Джюнейт предъявил ханскому правительству требование освободить арестованных, грозя в противном случае разгромить Хиву, а вслед за сим начал грабить хивинские города... В ночь с 12 на 13 февраля Джюнейт ворвался в Хиву и, отнесясь пренебрежительно к письменному извещению начальника отдела, полковника Колосовского, объявил себя хивинским ханом и казнил 3-х захваченных ханских сановников... По получении в Ташкенте донесений о происходящем в Хиве главный начальник края распорядился немедленно командировать туда более значительный отряд русских войск, возложив начальствование над ним на генерал-лейтенанта Галкина. Галкин специально отправился в Хиву, куда вместе с ним прибыли и первые эшелоны... Джюнейт прервал телеграфное сообщение с Ургенчем и Петро-Александровском и обстреливал подходящий отряд в продолжении целого дня 14 февраля... Джюнейт, несмотря на свои значительные потери, продолжал сопротивляться до полуночи на 15 февраля...»

После подавления восстания туркестанский генерал-губернатор Куропат-

кин опубликовал приказ, в котором было, между прочим, указано, что «земли, на которых были совершены убийства русских людей, будут навсегда отобраны в казну». Конфисковано было 2100 десятин.

Царское правительство во время войны еще более притесняло малые национальности, еще усиленное разжигало между ними рознь. Только благодаря ленинско-сталинской национальной политике, со всей решительностью применяемой после Октябрьской революции, все народы Советского Союза получили возможность мирного сожительства и бурного расцвета своего народного хозяйства и своей культуры.

Война, явившись тяжелым испытанием для рабочего класса, не застигла врасплох нашу партию.

Ленин проживал тогда в Австрии, в небольшой деревушке Поронин. Уже в первые дни войны он объяснял нам, находящимся вместе с ним, какова будет позиция вожаков-оппортунистов II Интернационала. Он уже тогда доказывал нам необходимость лозунга «поражения» и «гражданской войны».

Ленин удручен был тем обстоятельством, что, сидя в Австрии, он был оторван от России, от рабочего класса, от партии. Все придумывал он способы, как бы выбраться в нейтральную страну. Помогло «несчастье».

По нелепому обвинению в шпионаже Ленин был арестован 8 августа. После усиленных трудов удалось 19 августа добиться его освобождения и разрешения на выезд из Австрии. В начале сентября 1914 г. Ленин был уже в Швейцарии.

Здесь он сплачивает большевиков, находящихся за границей, возобновляет издание «Социал-Демократа», восстанавливает связь с партийными организациями в России, принимает усиленные меры к созданию III Интернационала. В своих статьях он разоблачал цели империалистической войны, шовинизм воюющих стран. Ленин писал о «превращении современной империалистической войны в гражданскую войну» и о «поражении своего правительства».

Отражая яростные атаки против лозунга «поражения», Ленин писал:

«В каждой стране борьба со своим правительством, ведущим империалистическую войну, не должна останавливаться перед возможностью в результате революционной агитации поражения этой страны. Поражение правительственной армии ослабляет данное правительство, способствует освобождению пораженных им народностей и облегчает гражданскую войну против правящих классов».

«Отказываться от лозунга поражения значит превращать свою революционность в пустую фразу или одно лицемерие».

«Кто стоит за лозунг «ни побед, ни поражений», тот сознательный или бессознательный шовинист, тот в лучшем случае примирительный мелкий буржуа, но во всяком случае в раг пролетарской политики, сторонник теперешних правительств, теперешних господствующих классов». (В. Ленин. Сочинения, т. XVIII, стр. 128, 171, 172).

Уже тогда Ленин писал: «Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране». (В. Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 232).

Все те, которые недавно были разоблачены и осуждены, как изменники и враги народа, уже во время войны шли против Ленина, против партии. Предатель Троцкий уже тогда отрицал возможность построения социализма в одной стране. Каменев выступал против ленинского лозунга «поражения». Об этом он заявил даже на царском суде, привлеченный к суду вместе с думской фракцией большевиков. Ленин резко осудил это поведение Каменева в своей статье: «Что показал Суд над РСДРП фракцией». Бухарин, Пятаков, Радек при сильной поддержке Зиновьева выступали против лозунга «поражения», против ленинского учения о диктатуре пролетариата, против национального самоопределения. Эти предатели и враги уже тогда большим влиянием в партии не пользовались.

Тов. Сталин, находясь тогда в далекой туруханской ссылке, был связан с Лениным, с партией в России. В письме к тов. Ленину от 27/II 1915 г. он писал:

«Мой привет Вам, дорогой Ильич, горячий-горячий привет!.. Читал также статейку Плеханова в «Речи», — старая несправимая болтунья-баба! Эхма... А ликвидаторы с их депутатами—агентами вольно-экономического общества? Бить их некому, черт меня дер! Неужели так и останутся они безнаказанными?! Обрадуйте нас и сообщите, что в скором времени появится орган, где их будут хлестать по роже, да порядком, да без устали... Тимофей [Спандарьян] просит передать его к и с л ы й привет Гэду, Самба и Вандервельду на славных хе-хе, постах министров»¹⁾.

В издаваемый большевиками журнал «Вопросы страхования» тов. Сталин писал:

«Пусть «Вопросы страхования» приложат все усилия и старания и к делу идейного страхования рабочего класса нашей страны от глубоко развращающей, антипролетарской и в корне противоречащей принципам международной проповеди г.г. Потресовых, Левичких и Плехановых»²⁾.

Когда Каменев в ссылке пытался защитить свои антипартийные позиции, тов. Сталин со всей решительностью обрушился на него и горячо поддержал ленинскую линию.

Энергично работала наша партия на местах. Жесткие репрессии, многочисленные аресты, начиная от большевистской фракции в Государственной думе, не запугали партию, не уменьшили ее бодрость, ее решительность. Партийные организации действовали в Петрограде, Москве, на Кавказе, в Поволжье, в Донбассе, в Киеве. Партийные комитеты были всегда с массами, всегда во главе масс. Партийные комитеты руководили стачками на предприятиях, организовывали митинги, демонстрации, издавали листовки, а Петроградский Комитет—и подпольную газету «Пролетар-

ский голос». Они создавали парт. организации среди солдат и матросов. К активным работникам Петр. К-та принадлежали тт. Калинин, Ворошилов, Антипов и др., в Киеве работа тов. Каганович Л. М., тов. Молотов руководил Бюро ЦК партии).

Рабочий класс шел за партией большевиков. Оппортунисты, предатели меньшевики не пользовались никаким влиянием. Партия наша была сильна, несмотря на то, что лучшие ее руководители, как тт. Сталин, Свердлов, Орджоникидзе, Фрунзе и др., были в ссылке и на каторге.

Революционная волна все больше нарастала. В 1916 г. стачечное движение охватило все крупные промышленные центры России. Учащались митинги и демонстрации, на улицах появлялись баррикады. Солдаты все чаще отказывались стрелять в рабочих, нередки были случаи присоединения солдат к рабочим. За октябрь в Петрограде бастовало около 200 тысяч рабочих. Петроградский Комитет нашей партии призывал к всеобщей забастовке 26 октября в знак протеста против суда над матросами Балтийского флота, привлекавшимися за принадлежность к военной большевистской организации. 130 тысяч рабочих на 3 дня бросили работу.

На съезде кадетской партии в феврале 1916 г. Шингарев дал следующую оценку положения:

«Настроение страны таково, что страшно подумать о ближайшем будущем. Боль и негодование народа достигли предела. Не видя выхода, масса способна пойти по пути отчаяния».

Князь Львов, уполномоченный от Союза земств и городов, обратился в феврале 1916 г. к царю с письмом, которое закончил следующими словами:

«В святые минуты самых высоких и чистых стремлений народа доверьтесь могучей, великой любви к родине. Правительство поставило Россию над страшной бездной. В ваших руках ее спасение».

Царская охранка была в панике, репрессиями она надеялась удержать приближающуюся быстрыми шагами революцию.

¹⁾ «Пролет. революция», № 7 за 1936 г., стр. 167.

²⁾ Там же, стр. 168.

В июне 1916 г. департамент полиции разослал губернаторам и градоначальникам следующий циркуляр:

«На почве вздорожания местных припасов и продуктов повседневной необходимости в разных местностях империи стали возникать в последнее время беспорядки, как в городах, так и других населенных пунктах, приобретающие характер массовых движений. Соединяясь в весьма значительные полчища, народные толпы позволяют себе учинять насилие, не только над имуществом торговцев, но и над личностью исполняющих свой долг должностных лиц. Пресечение подобного рода посягательств против общественной безопасности, колеблющих самый порядок управления страной, является одной из главнейших и ответственных задач административно-исполнительной власти».

В январе 1917 г. петроградская охранка сигнализировала:

«Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьезно и с тревогой ожидают как резких революционных вспышек, так и равно и несомненного якобы в ближайшем будущем дворцового переворота».

Буржуазия пыталась «спасти» страну от революции при помощи дворцового переворота. Она думала свергнуть Николая, а на его место посадить сына его.

Союзные правительства были в курсе этих планов. Английский посол в Петрограде писал в своих мемуарах о положении в январе 1917 г.:

«Открыто говорили о дворцовом перевороте, и на обеде в посольстве один мой русский приятель, занимавший высокий пост в правительстве, заявил, что вопрос заключается лишь в том, убьют ли и государя и государыню, или только последнюю».

Союзники втихомолку поддерживали эти планы, так как революция в России была крайне опасна и для правительств Франции и Англии.

Революция поставила бы под угрозу их миллиардные капиталы, вложенные в Россию. Больше всего опасались они

для своих стран заразительного примера революции в России.

Царскому правительству, равно как лакейской буржуазии, при участии соглашателей — меньшевиков, не удалось задержать хода событий.

К началу 1917 г. значительно усилилась «жажда бури». Не стихала волна забастовок в крупных центрах. Забастовки сопровождались митингами, демонстрациями. 9 января¹⁾ по призыву большевистской партии произошли внушительные забастовки, в одном Петрограде бастовало свыше 200 тысяч рабочих. Петроградский Комитет нашей партии выпустил листовку, призывающую к забастовке 10 февраля, в годовщину суда над большевистскими думскими депутатами. «Мы за демократическую республику, дающую власть в руки самого народа! Мы за временное революционное правительство рабочих и крестьянской бедноты» — говорилось в листовке.

На 14 февраля назначено было открытие Гос. думы, которую Николай собирался тут же закрыть. Меньшевики, пытаясь сеять иллюзии среди рабочих, что спасение может притти от Думы, призывали в этот день к демонстрациям в защиту Думы. Большевики участвовали в этих демонстрациях, но со своими революционными лозунгами. Особенно дружно происходили стачки в Невском, Выборгском и Нарвском районах. Путиловцы вышли на демонстрации с красными флагами: «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Долой правительство!», «Да здравствует республика!».

Не помогло расклеенное повсюду обращение командующего военным округом генерала Хабалова, которое заканчивалось следующими словами:

«Петроградские рабочие! Обращаюсь к вашему здравому рассудку, к вашей совести. Не слушайте преступных подстрекателей, которые зовут вас к измене. Оставайтесь при ваших станках... Тем же, кто остается глух к моему обращению, я напоминаю, что Петроград находится на военном положении и что

¹⁾ Здесь и повсюду ниже — старый стиль

всякая попытка насилий и сопротивления законной власти будет немедленно прекращена силой оружия».

Объявление локаута дирекцией Путиловского завода 22 февраля по поводу забастовки в одной из мастерских явилось сильным толчком к новым выступлениям: 23 февраля (женский день) бастовало 90 тысяч рабочих, при активном участии женщин. 24-го стачки охватили 200 тысяч человек. 25-го произошла всеобщая забастовка с бурными демонстрациями в разных местах в центре города. Полиция применила оружие, имелись жертвы среди рабочих. Вызванные в подмогу полиции конные части оказались не вполне надежными. Казаки отказывались стрелять в рабочих, освобождали арестованных; на Знаменской площади даже стреляли в полицию. За этот день были жертвы и среди полиции. Среди других был убит пристав Крылов и ранен полицеймейстер полковник Шалфеев.

Ночью охранка произвела многочисленные аресты. Было также арестовано 5 членов Петр. Комитета нашей партии.

Мнимая победа полиции послужила поводом к посылке Хабаловым следующей телеграммы в ставку 26-го: «С утра в городе спокойно».

Однако в этот день были явные признаки начала гражданской войны: 4-я рота запасного батальона Павловского полка взбунтовалась и стреляла в полицию.

Буржуазная Гос. дума вместе с меньшевистскими депутатами во главе с Чхеидзе все заседание занималась болтовней. Председатель думы Родзянко телеграфировал в этот день царю:

«Положение серьезное. В столице анархия... На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Все эти дни большевики были среди рабочих, проникали в казармы и агитировали солдат. Каждый день появлялись листовки.

В листовке от 25 февраля писалось:

«... Впереди борьба, но нас ждет верная победа. Все под красные знамена революции... Долой царскую монархию!..»

26—27 февраля Петр. Комитет распространял листовку, в которой между прочим писал:

«Помните, товарищи солдаты, что только братский союз рабочих и революционной армии принесет освобождение поработанному и гибнувшему народу и конец братоубийственной и бессмысленной бойне...».

«Пусть сильнее грянет буря».

26 февраля ЦК партии большевиков выпустил манифест.

Вот выдержки из него:

«Граждане, твердыни русского царизма пали... Столица в руках восставшего народа. Части революционных войск стали на сторону восставших... Задача рабочего класса и революционной армии создать временное революционное правительство... Временное революционное правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все права и волю народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель, и передать их народу, введение 8-ми часового дня...»

Прочтя в заграничной прессе выдержки из манифеста, Ленин телеграфировал мне: «Телеграфируйте «Правде», с приложением обратного адреса. Только что читал выдержки из манифеста Центрального Комитета. Лучшие счастливые пожелания! Да здравствует пролетарская милиция, подготовляющая мир и социализм!». (В Ленин. Сочинения, т. XXIX, стр. 340.)

27 февраля Родзянко опять телеграфировал царю:

«Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

В этот день к восставшему народу присоединились и войска. Первым выступил Волынский полк под руководством унтер-офицера Кирпичникова. К

Волынскому присоединились Преображенский, Литовский и Павловский полки, а потом и другие.

Восставшие солдаты вместе с рабочими захватили арсенал, Петропавловскую крепость, двинулись к тюрьмам и освободили политических заключенных.

В 9 часов вечера того же дня состоялось первое заседание «Совета рабочих и солдатских депутатов».

Рабочий класс при помощи крестьян в солдатских шинелях, под руководством партии большевиков, окончательно сверг царское самодержавие. Победила буржуазно-демократическая республика.

Буржуазная Гос. дума поспешила создать временное правительство, а рабочие и солдаты, совершившие революцию, организовали повсюду Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, пользовавшиеся огромным доверием широчайших масс. Временное правительство принимало все меры к тому, чтобы обезвредить советы, задуть революцию.

Партия большевиков не остановилась на победе февральской революции. Партия наша, вооруженная учением Ленина о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую, о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой, стране, мобилизовала рабочих, крестьян и солдат на дальнейшую борьбу.

Вернувшийся из ссылки в Петроград 12 марта тов. Сталин уже 14 марта поместил в возобновленной «Правде» статью о Советах Рабочих и Солдатских Депутатов, в которой, между прочим писал:

«... Залог окончательной победы русской революции — в упрочении союза революционного рабочего с революционным солдатом. Органами этого союза и являются Советы Рабочих и Солдатских Депутатов... Укрепить эти союзы, сделать их повсеместными, связать их между собой во главе с Центральным Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, как органом революционной власти народа — вот в каком направлении должны работать революционные социал-демократы».

Ленин приехал из Швейцарии в Петроград 3 апреля. 4 апреля он выступил на совещании партийных работников нашей партии со своими историческими «апрельскими тезисами»:

«В нашем отношении к войне... недопустимы ни малейшие уступки «революционному оборончеству...»¹⁾ «...Кончить войну истинно демократическим, не насильническим миром не лезь без свержения капитала...»²⁾. «...Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии... ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства...»³⁾. «...Никакой поддержки Временному Правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий...»⁴⁾. «...СРД⁵⁾ есть единственно возможная форма революционного правительства...»⁶⁾. «...Не парламентская республика..., а республика Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянских Депутатов по всей стране, снизу доверху»⁷⁾.

22 апреля 1917 г. Ленин писал:

«Буржуазия за единовластие буржуазии.

Сознательные рабочие за единовластие Советов Раб., Батр., Кр. и Солд. Депутатов, — за единовластие, подготовленное прояснением пролетарского сознания, освобождением его от влияния буржуазии, а не авантюрами»⁸⁾.

Все государства поспешили признать Временное правительство. Союзники не сомневались, что князь Львов, Милюков и другие министры Временного правительства продолжат войну до победного конца, установят порядок в стране и дисциплину в армии. Дальнейшее развитие революции, усиление советом крайне беспокоило союзников.

¹⁾ Ленин, Соч., т. XX, стр. 76, 2-е изд.

²⁾ Там же, стр. 76—77.

³⁾ Там же, стр. 78.

⁴⁾ Там же, стр. 79.

⁵⁾ Советы Рабочих Депутатов.

⁶⁾ Ленин, Соч., т. XX, стр. 79.

⁷⁾ Там же, стр. 80.

⁸⁾ Там же, стр. 96.

Английский посол Бьюкенен признал, что «единственной для нас возможной политикой была поддержка временного правительства в его борьбе с Советами».

Союзники все время давали указания Временному правительству, нажимая на него. Под их давлением Временным правительством была введена смертная казнь на фронте, и начато наступление, окончившееся позорным поражением. Союзники настаивали на применении репрессий против Ленина.

Союзники стремились всеми средствами задушить нашу революцию, так как она угрожала еще больше усилить крайне возбужденное состояние среди их собственной армии.

Английский военный министр того времени Черчилль в своей книге «Мировой кризис» описывает, как он однажды, будучи в своем кабинете в министерстве, ждал, что к нему ворвутся взбунтовавшиеся солдаты. Главнокомандующий французской армией в мае 1917 г. сообщил, что нет ни одного корпуса, в котором не вспыхнуло бы восстание. Такое же положение, как известно, было и в германской армии.

Никакая, однако, сила не могла помочь буржуазии удержать власть. Партия большевиков с ее ленинской гениальной стратегией довела народы России до Великого Октября, а через него до Великой Сталинской Конституции.

2. СКВОЗНОЙ РЕЙС

Макс Зингер

Орденосец

(Записки участника экспедиции каравана «Литке»).

Напрасно строга я природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спит и презирает рок.

М. В. Ломоносов.

1 августа 1936 года.

Меня разбудил ночью старший радист «Анадыря» Кириленко:

— Идите смотреть, какая красота! Показалась колонна «Литке».

Я быстро оделся и вышел на мостик. Ночь была светлая и ясная. Горы сверкали снежным убором, освещенные незаходящим солнцем. Пролив Маточкин Шар напоминал ленские «щеки» — узкое место могучей Лены, зажатой теснинами каменных берегов. В проливе было тихо. Едва рябила вода. Бесшумно под самым бортом нашего «Анадыря» играл тюлень; не слышно было всплесков его сильных лап.

Из-за мыска первым показался острогрудый «Литке», за ним весь караван.

— Шмидт! Шмидт! — послышалось на «Анадыре» с разных концов. На

спардеке ледокола анадырцы узнали флагмана флота Северного Ледовитого океана.

Обменявшись салютами, «Литке» сообщил «Анадырю» по радио его место в колонне. Мы простились с мысом Узким, где ждали встречи с кораблями. Пролив, соединяющий моря Баренцево и Карское, — Маточкин Шар, — был пройден. Нас встречало синее и, казалось, безледное Карское море.

5 августа.

Отдельные обломки ледяных полей стали попадаться лишь на восток от острова Белого. Плавание до Диксона было обычным.

Пока ледоколы ходили в ледовые разведки, пока мужественные летчики, презрев туманы и непогоду, летали над

Карским морем, ища свободную дорогу, караваны кораблей стояли у ледяного рубежа в полярной бухте Диксон на 74-й параллели. Их скопилось здесь тридцать единиц, как в большом порту где-нибудь в Балтике или на Черном море.

На дощатых тротуарах острова Диксон сталолюдно. Здесь можно было видеть моряков, летчиков, ученых, зимовщиков, направлявшихся с пароходами на крайний Север, и самого начальника Главсевморпути—академика Отто Юльевича Шмидта. Знаменитый полярник совершал на ледоколе «Литке» инспекторскую северную поездку по всему новому водному пути, открытому для родины. Зимовщица Диксона, жена радиостан-коротковолновика Круглова говорила мне, что за многие годы жизни на материке она не повидала столько знатных людей своей страны, как на полярном острове. Пути Шмидта, Молокова, Воронина, Самойловича, Визе, Минеева и других проходили через каменистый остров Диксон, маленькой точкой обозначенный на карте Енисейского залива.

Свободные от вахт полярники слушали Москву. Голос диктора был четок и близок. Когда зимовщик закрывал глаза, ему представлялось, что он не на ледяном рубеже, у врат Северного морского пути, а в своем родном и далеком городе.

Из островной типографии принесли в общежитие свежие номера «Полярной звезды» — газеты Диксона. С попутными пароходами и самолетами ее доставляли в отдаленнейшие уголки Арктики к большим и малым зимовьям.

Вечером в разговорной комнате на радиостанции Диксона было оживленно. Полярники ждали у радиотелефона вызова; у льдов Карского моря велись разговоры с Москвой. Есть особое волнение в разговоре с близким человеком, удаленным на тысячи километров. Этого чувства не передать словами. Я видел закаленных в штормах моряков, встревоженно сидевших у полярного микрофона. Некоторые украдкой смахивали назойливую слезу. Скоро и радиотелефон станет в Арктике обычным явлением. Но останется навсегда какая-то

тревога у человека, идущего к микрофону, чтобы поговорить со своими близкими, до которых тысячи километров.

Гордость острова — радиомаяк. Этот автомат не раз помогал кораблям в пурге или тумане найти свое место в Карском море. Немало пароходов спасал он от грозившей им опасности.

В 1915 году впервые поселились люди на Диксоне. Старая искровая радиостанция давно пришла в негодность. Ее сменила новая радиоаппаратура советских заводов. Диксон стал первым радиоцентром в Арктике.

Все радиостанции Севера прислушиваются к Диксону. Отсюда они узнают свои и международные новости. Стремительная и большая радиожизнь наполняет эфир Арктики и сближает ее со всем Союзом.

Комсомолец агроном-стахановец Александров любовно вырастил в теплицах Диксона огурцы, салат, редис, грибы шампиньоны. Плоды его трудов с восторгом встречены за обеденным столом кают-компаний общежития. Перед главным зданием начальник острова Боровиков разбил небольшой сквер. К этому скверу каждый новый человек приходил, как в музей, подивиться трудам полярников. Здесь в клумбах цвели анютины глазки.

Газеты, цветы, телефон с Москвой, огурцы, просторные дома, — как это не похоже на прежний крохотный Диксон, где на пороге радиостанции вахтенный радист Юдихин не раз встречался с белым медведем. В то время на острове было всего три дома...

6 августа

На Диксон прилетел пилот Задков из Игарки с артистами Московского государственного академического Большого театра. Тысячи километров отделяли нас от Большого театра Союза ССР. Но 6 августа в день первого «крылатого» концерта, когда мы на острове Диксон видели заслуженную артистку Республики Кандаурову, нам казалось, что мы снова в Москве. Радостно было видеть на Диксоне отличных танцоров

Леонтовского, Тамару Ткаченко, Габовича... Прекрасные голоса солистов ГАБТ — Шевченко, Волкова, Селиванова и других — мы слушали с восторгом под сводами зимовки.

Старый и Новый Диксон, Игарка, Туруханск и другие енисейские станки и городки посмотрели и послушали бригаду московских артистов.

— Это большая зарядка нам для дальнейшей работы, — говорили расстроганные полярники. — Почаще бы к нам прилетали и подольше бы гостили.

Целый день разговор шел об артистах. Пожалуй, в этих бодрящих концертах скрыт немалый запас витаминов для души полярника. Надо было видеть восторг промышленника-украинца Ковтуна (замечательного тем, что он добыл в 1936 году триста двадцать два пенса), когда перед ним в стремительном и родном гопаке завертелись артисты в освобожденной от столов кают-компании общежития. Вначале, когда движения плясунов были еще медленны, Ковтун сидел спокойно, покручивая ус. Потом темп пляски усилился, Ковтун не удержался, привстал, подговаривая:

— Гарно! Гарно! От же ловко танцюют!

И вдруг захлопал в ладоши, застучал ногами, чтобы звонче выразить свой бурный восторг. Плясуны вертелись перед Ковтуном с какой-то бешеной силой, а зимовщик смотрел на них блестящими от радости глазами.

8 августа

Вечером в общежитии было собрание всех диксоновцев. На остров прибыла галюпка с литкенцами. В кают-компании негде было повернуться, — начальник Главсевморпути делал доклад полярникам.

— Надо вычеркнуть из нашего обихода слово «зимовщик». Кто такой зимовщик? Это человек, пришедший на Север за длинным рублем. Ему не дороги интересы родины. Прозимовал — и ладно! Зимовщиков таких не должно быть больше в нашей Арктике. Быть полярным работником — немалая честь, и к этому очень многие стремятся. В

редакции газет со всех краев Союза шлют письма с запросами о том, как живут на Севере. Большие ли там поселки? Как и чем отапливаются на Севере помещения?.. Вашей жизнью до мелочей интересуется вся страна...

Рядом с общежитием на Диксоне строится ларек. С ним будет связано начало советской торговли на Диксоне. Теперь жизнь будет строиться по-новому. Мы постараемся обеспечить вас необходимыми товарами. Надо работать отлично, по-стахановски. Надо всегда помнить, что товарищ Сталин лично заботится о Северном морском пути и доверяет нам большую и важную работу. Его доверие мы обязаны оправдать...

Со многими полярниками Отто Юльевич провел личные беседы.

В бухте немного льдин. Температура воздуха плюс 8 градусов, — полярное лето «в самом разгаре». Пароходы продолжают прибывать с запада, но путей на северо-восток пока еще нет, они не разысканы или отсутствуют. Пилэторденоносец Матвей Ильич Козлов, летавший в разведки, сообщил, что такого количества льда ему еще не приходилось видеть в Карском море. Льды плотно прижаты к берегам на сотни миль по направлению к проливу Вилькицкого. Прогносы ученых ледовиков о тяжелом ледовом годе оправдываются.

9 августа

«Литке» ушел в ледовую разведку. Утром, как только прояснилась погода, вылетел с той же целью на север летчик Козлов. Снялся «Анадырь» и последовал в кильватер ледокольному пароходу «Седов». После «Ермака» это первая вылазка судов на Север. Сегодня на Диксоне шел снег. Дует северный, неблагоприятный нам ветер.

15 августа

Шесть суток стоял караван «Литке» у кромки льда близ островов Арктического института. Все время господствовали нордовые ветры при температуре ниже нуля. Поднявшимся норд-остовым ветром несколько разредело лед

вокруг пароходов, сбившихся в кучу. «Литке» направился генеральным курсом норд-ост вместе со всем своим караваном. Мы на 75-й параллели. Недолго длилось наше продвижение. Густой туман заставил колонну остановиться. «Анадырь», не видя остальных судов, стал, привязавшись

Скотт-Гансен. Десять суток прошло с тех пор, как мы покинули Диксон, а продвинулись всего на 150 миль.

Уже вторая половина августа. Опрокинут график сквозных рейсов. Еще ни одно судно в эту навигацию не прошло пролива Вилькицкого, соединяющего море Карское с морем Лаптевых.

Фото Л. Линчера.



Отто Юльевич Шмидт на мостике

тросом к высокому ропaku большого ледяного поля. К утру оно сдрейфовало вместе с судами несколько на юг. Как только улучшилась видимость, колонна снова двинулась на восток.

18 августа

Состояние льдов на северо-востоке Карского моря попрежнему тяжелое. Восточный ветер пришел вчера лишь на один день и роспуска льда не произвел. Караван «сквозных» и «лено-колымских» судов вместе с ледоколами «Ермак» и «Ленин» и ледокольным пароходом «Садко» стоят близ островов

Вторая половина августа не радует нас. Мы топчемся у Скотт-Гансена. «Ермак» с караваном немного севернее нас. Полярная рефракция¹⁾ поднимает порой всю колонну «Ермака», опрокидывает ее мачтами вниз, и так надолго повисают над льдистым горизонтом корабли. А в это же время нас видят мачтами вниз с пароходов каравана «Ермака».

На Диксоне много судов ожидают вызова «Ермака». Но сам «Ермак»

¹⁾ Преломление лучей солнца в слоях атмосферы.

дрейфует в сплоченном льду со своим караваном. На полубаке работает «баковый вестник» — живая газета полярных сплетен. Говорят: «Постоим так до середины сентября и потопаем обратно в Мурманск. Впереди на сотни миль невзломанный береговой припай. Тут целые поезда с аммоналом ничего не сделают».

В кают-компании «Анадыря» поговаривают о возможной зимовке. Кто-то вспомнил английскую морскую поговорку: *More days, more dollars* (больше дней, больше долларов). На «Анадыре» никто не хочет ни многих дней в Арктике, ни тех денег, что может принести вынужденная зимовка. Все мечтают о скором возвращении в родной порт. Ни один человек не поднимет руку за зимовку. Но она может приключиться.

Уполномоченный Главсевморпути по сквозному рейсу на «Анадыре» Чулков припас спальные мешки и показывает мне их с гордостью. Он впервые в Арктике и еще не знает всех удовольствий спанья в таком мешке на льду в море или на снегу в тундре.

Начальник Стерлеговской зимовки Костя Званцев сказал мне при встрече на Диксоне:

— Будете у Стерлегова, заходите ко мне, угощу свежепросоленным гольцом. Красота рыбка!

А мы еще далеки даже от Стерлегова. Там база летчика Матвея Ильича Козлова. Он не любит шумного Диксона, где много людей и много консервов. Он облюбовал Стерлегов, где мало людей, но зато свободней с жилплощадью и вдоволь гольца — вкусной, замечательной северной рыбы. Круглова на Диксоне рассказывала, что у каждого летчика-полярника свои вкусы. Анатолий Дмитриевич Алексеев, например, патриот Диксона. Он всегда останавливается на Диксоне и любит остров. А Козлова сюда заманить трудно, и долго он здесь никогда не засиживается.

Днем держится туман. Ничего не видно с борта корабля. Не различить тропинок, проложенных по дрейфующим льдам от парохода к пароходу. К вечеру суда ненадолго видят друг друга. По-

том снежок белит верхнюю палубу и брезенты, закрывающие сено, приготовленное для коров.

Радист-полярник Ходов говорил мне на Диксоне, что приблизительно с середины августа солнце начнет прятаться по ночам за горизонт.

Под Скотт-Гансеном ночи еще светлые. Чайки крикливо проносятся над судами. Они привыкли уже за время нашей долгой стоянки дармоедничать и стаями кружат над «Анадырем», когда кок Жора сливает помой за борт.

19 августа

На «Анадырь» с соседнего парохода приходил капитан Миловзоров. Капитан Бочек принимал своего полярного учителя в кают-компании «Анадыря». Михаил Забродин — отличный пекарь и кондитер — угостил старого полярника свежеспеченным пирожным, а Бочек — свежим лимонном. Уборщица Катя приготовила гостю ванну.

— У нас на Дальнем Востоке так не плавают, — недовольно говорил Миловзоров. — Мы — люди неизбалованные. Мы с ледоколами не плаваем. Это здесь, на западе, к ним привыкли. А мы по чистой водичке любим ходить, свободную дорожку ищем. По-нашему, по-дальневосточному, если под берегом плохо, надо поискать дорогу мористее, но не стоять. Чего зря стоять? Мы время теряем. Оно нам так необходимо для восточного отрезка Ледовитого океана...

Днем ко мне в каюту вбежал Чулков. Он встревоженно машет руками:

— Как ты можешь писать в то время, когда человека режут?..

К нам с одного из пароходов передали тяжело заболевшего моряка Тучкова. Молодой парень, комсомолец. Диагноз — гнойный аппендицит и начинающийся перитонит. Больного перенесли на носилках в салон «Анадыря». С носилок смотрело восковое, измученное болезнью лицо. Товарищи провожали его, как в могилу; думали — вот и первая жертва арктического похода.

На «Анадыре» с утра шли приготовления к сложной в полярных и судовых условиях операции. В салоне, где

в дни пассажирских рейсов былолюдно и шумно, на столе разостлали сверкающие белизной простыни. На другом столе расставили медикаменты и разложили перевязочные материалы, собранные для этого со всех судов каравана. Гидрограф Смесов в белом халате, кипятил хирургические инструменты. Доктора, все в белых халатах, делали последние приготовления перед операцией. Женщина-моряк Е. П. Мельникова вызвалась дежурить во время операции в качестве медицинской сестры. Кремлевский врач орденоносец-сибиряковец Лимчер с ледокола «Литке» был главным консультантом. Операция продолжалась два с половиной часа. Несколько дней спустя больной сказал ухаживавшему за ним матросу:

— Эх, теперь бы копченой колбаски кусочек!

Конечно, ему не дали колбасы. Его кормили киселями, лимонным соком... Но по этой его фразе было ясно для всех: жизнь победила смерть! Это была новая большевистская победа в Арктике, где, как и по всему Советскому Союзу, самым дорогим является человеческая жизнь.

Начальник Главсевморпути ходил по запорошенному спардеку ледокола «Литке». Он обдумывал создавшееся тяжелое для судов положение. Я пришел на «Литке» по льду, чтобы «взять беседу» у О. Ю. Шмидта для «Правды». Полярный комиссар был в кожаной куртке, рейтузах, альпийских ботинках и обычной городской синей кепке.

— О чем же мы будем с вами беседовать? Еще, пожалуй, истолкуют беседу как оправдание перед трудностями, подготовку к повороту! Год тяжелый, но мы примем все меры, чтобы выполнить задание партии и правительства. В крайнем случае пойдем вокруг Северной Земли, путем «Сибирякова».

Я видел перед собой спокойное лицо, окаймленное седеющей бородой, будто хваченной инеем, и голубые всматривающиеся глаза. Это удивительное спокойствие поражало каждого. В свободные часы вынужденного дрейфа Шмидта можно было найти в кают-компании ледокола за партией в шахматы или за

блокнотом, исписанным формулами. Профессор математики тренировался в решении сложных задач, чтобы и в Ледовитом океане не потерять годами приобретенного навыка.

20 августа

Лежим попрежнему в дрейфе. Виден остров Скотт-Гансен. Матрос «Анады-

Фото Л. Лимчера



Капитан парохода
«Анадырь» А. П. Бочек

ря» Егор Михайлов колот сегодня быка и корову.

Окончив работу и умыв окровавленные руки в ведре с теплой водой, Егор сказал:

— Вот чем морякам в Арктике приходится иной раз заниматься. Ну, разве взялся бы я за это дело на материке? Да ни за что! На «Анадыре» никто не решался итти в быкбойцы. Вот я и вызвался. Да еще ребята подначивали. Говорят: с твоим здоровьем, Егор, не только быка, а и медведя сломать можно запросто. Я так подумал: не эти ко-

ровенки, — у нас от такого постылого дрейфа стал бы народ потихоньку цынговать на консервах. Без свежатины в Арктике трудноато. А белые медведи повывелись, долго быть, не видать их совсем. Не даром Шмидт запретил их стрелять. Их просто нет в Арктике.

— Кого?

— Да медведей.

— Вот новость!

— Тут мне один старый полярник рассказывал, он девять лет в Карском море плавал. Я, говорит, как только из полярки возвращаюсь в Ленинград, — сейчас первым долгом в зоологический сад — белого медведя смотреть. Поняли вы его?!

Мясо развесили на крюках. Со всех судов каравана «Литке» стали приходить снабженцы за мясом на «Анадырь». Повар «Анадыря» Ариф Ганниевич Симаков готовил на ужин холодец с хреном...

По небу стлались от пароходов вытянутые дымные облака. Остовый ветер приходил вчера на денек и снова отошел к норд-весту.

— В газетах писали, что Северный морской путь открыт для эксплоатации, оно и видно! — говорил один из моряков, раскуривая на полубаке махорку. — Как пить дать — зазимует.

— Сейчас во сне видел, что барометр упал. Так упал, как никогда не падал, — сказал боцман.

— Святому святое и снится.

— Переменится ветер. Не век прижимной ветер будет дуть. Потянет и береговой ветерок, — решительно заявил боцман.

— Нам не дадут зазимовать, — вступил в разговор другой моряк, — выволокут из Ледовитого океана. Ну, и будет же нас полоскать в Охотском море. Мы ведь туда, видно, раньше октября никак не попадем.

Днем спускали с борта «Анадыря» водолаза для проверки лопастей и руля. Водолаз стоял на небольшой льдине, опустившись в скафандре на одно колено. На спину и грудь ему повесили «часы» — тяжелый круглый свинцовый груз, напоминавший громадный

будильник. Водолаз спустился в Ледовитый океан просто, как на Большой земле в погреб. Видно было по пузырям, шумно выходявшим из воды, что водолаз осматривает руль и корму парохода.

— Сигнал! Выбирай шланг! — сказал спокойным голосом телефонист, слушавший на льдине водолаза, работавшего под водой и льдом.

Водолаз вынырнул из небольшого разводья и попытался схватиться резиновыми своими руками за льдину. Но та оказалась очень скользкой, и он долго и бесплодно карабкался на нее. Тогда телефонист, оставив свой аппарат, протянул водолазу руки и помог ему выйти из воды.

— Ну, как? — спросили водолаза, когда отвинтили его огромный шлем.

— Дайте сперва отдышаться, — тихо ответил водолаз.

На «Анадыре» все оказалось в порядке.

В гости к Бочеку пришел капитан «Лок-Батана» Кучеров и рассказал о гибели старшего штурмана «Ванцетти» Ищенко близ устья Колымы.

Во время шторма Ищенко погнался на тузике за оторвавшейся моторной шлюпкой и погиб вместе с помполитом и кочегаром парохода. Я плавал с Ищенко на ледокольном пароходе «Сибиряков» в 1928 году и жил с моряком в одной каюте. Ищенко был тогда еще третьим штурманом. «Сибиряков» выскочил в тумане на камни и едва не погиб. Несмотря на крутую зыбь, Ищенко ходил на шлюпке вокруг ледокола с промерами. Он искал подходящие глубины, чтобы во время прилива знать, куда направлять корабль. «Сибиряков» снялся самостоятельно с банки и продолжал свой рейс. После целых суток напряженной работы по спасанию корабля, штурман Ищенко, как обычно, стоял вахту. И вот теперь — его преждевременная гибель...

Кто знал этого смелого моряка, тот никогда его не забудет.

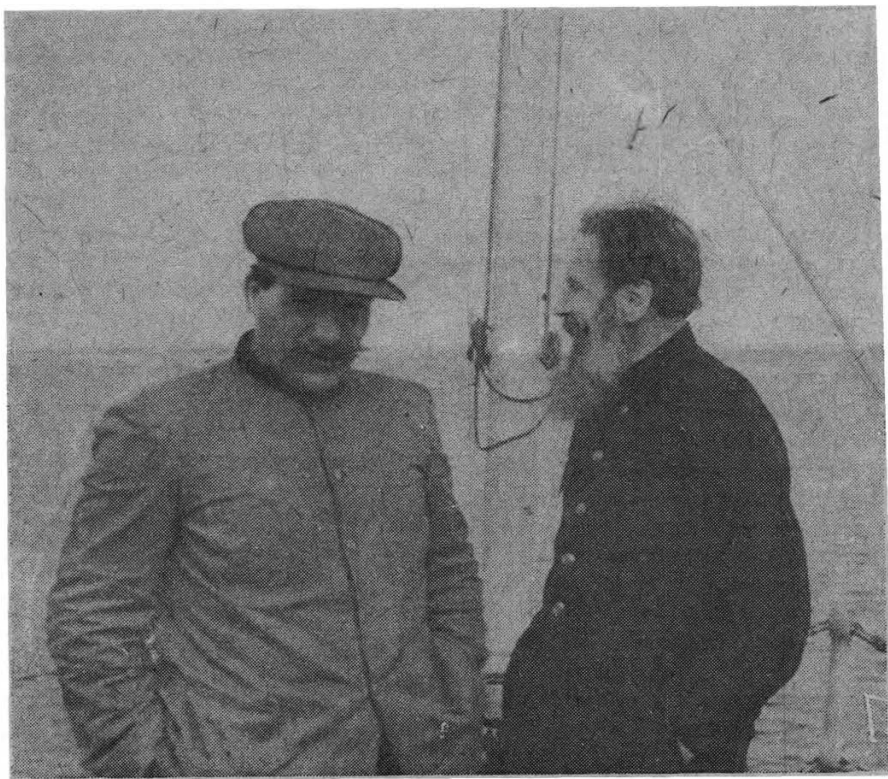
23 августа

Туман. Те же льды, грязные, с промоинами, что и вчера. Нам стала знако-

ма каждая льдина под бортом корабля. Все суда сгрудились в дрейфе. Пришел «Садко», отдает уголь ледоколу «Литке». Поход «Садко» в высокие широты отставлен. Жаль Минеева, так много потрудившегося для подготовки своей зимовки на островах Де-Лонга. Всем

лярной эпопеи я знал Отто Юльевича как заядлого спортсмена, охотника, альпиниста. Мне он казался горячей головой. Спокойствие Шмидта, поражающее теперь каждого, кто часто видит его, выявилось для нас — его соплателей — с годами трудных походов.

Фото Л. Лимчера



Капитан Владимир Иванович Воронин и Отто Юльевич Шмидт

участникам похода тяжело возвращаться, не выполнив задания. Но, кажется, «Садко» получает другое важное научное задание.

На «Анадыре» возле большого моряка Тучкова дежурят по очереди все врачи из каравана «Литке», в том числе и доктор Лимчер. Он много рассказывает о походах Шмидта к Францу-Иосифу и Северной Земле. Мы часто говорим с доктором о Шмидте.

— Написать его портрет не просто. Это тонкого ума человек. В начале по-

Помполит Борисов рассказывал сегодня последние новости, принятые по радио. В кают-компании из рук в руки переходит тетрадка, в которой вахтенный радист записал обрывки последней сводки ТАСС о деле предателей родины — троцкистов-виновцев. Все поражены их подлыми преступлениями. Глубочайшее волнение и негодование вызвало сообщение о том, что на вождя народов тов. Сталина и его ближайших соратников готовилось коварное покушение. Сегодня во время вечернего сбора в кают-компании слушали речь диктора.

За радистом ходят толпы. Каждый выпрашивает последние новости.

Помполит просиживает целыми днями в радиорубке. С соседних судов приходят моряки, расспрашивают нас: не слышали ли мы каких-нибудь подробностей. Намеченные на «Анадыре» литературные вечера отодвигаются, уступая место ежедневной политической информации для экипажа.

Уже 23 августа, а мы все еще перед Скотт-Гансенем, порой не видим его в тумане. Все кругом бело и однообразно. Норд-весты еще тесней поджали лед, сплотили его и поднесли нас в дрейфе ближе к берегам Оленьего острова.

Вчера летал Козлов. Но туман не дал ему возможности осмотреть большую площадь моря. Ничего нового пилот нам не сообщил, а значит, и не сказал ничего радостного.

Слышен лай собак на «Садко». Это собаки Минеева. С ними думал полярник зимовать где-нибудь на Де-Лонге. «Садко» и мы лежим в дрейфе на 75-й параллели, и моряки в часы общих сборов в кают-компанин часто подтрунивают добродушно над научными работниками «Анадыря».

Карские операции проходят удовлетворительно, непохожи дела на востоке Арктики, но заело у Вилькицкого, куда не пробился ни один пароход, ни один ледокол. Новые прекрасные советские суда стоят во льдах долгие недели. У «Беломорканала» поврежден винт, поломана часть лопастей. Неблагополучно у самого «Ермака».

«Садко» скоро покидает нас.

Вечером мы пошли с кинооператором Трояновским на флагман «Литке» по льдам. Пришлось разбежаться и с помощью шеста прыгать со льдины на льдину. Под нами глубина моря 22 сажени. Уйдешь под лед — не видать Москвы... Поднимались на «Литке» по крутой деревянной лестнице, похожей на пожарную. Кстати, не принято у моряков говорить «лестница», это слово заменено словом «трап». Окно у моряков — иллюминатор, пол — палуба, потолок — подволок, кухня — камбуз, стена — борт. Говорят, что в Нью-

Йорке всех приезжих узнают по тому, как они, остановившись на улицах, задирают вверх свои головы, чтобы посмотреть на верхние этажи небоскребов. Так и моряки по одному только разговору сразу узнают «пассажира», не видавшего еще ни разу моря. Засмеют человека, если он попытается отставать на судне свой «пассажирский» словарь. Надо отдать справедливость морякам: нелегко приходится им с пассажирами и в штиль, и штормовую погоду. На экспедиционном судне слово «пассажир» звучит совсем неблагозвучно. Я знал одного моряка, у которого собака носила кличку «Пассажир».

В вестибюле «Литке» встретился с Отто Юльевичем. Ярко горели начищенные медные планки на ступеньках трапа. Красное дерево, карельская береза, обилие мягко светящихся люстр в кают-компанин, удобные кресла за столом. Склоненные над шахматной доской головы. Кают-компания располагает к отдыху.

Мы беседовали с Отто Юльевичем на спардеке, запорошенном снегом.

У Скотт-Гансена скопилось восемнадцать судов и тысяча с лишним людей. Было над чем призадуматься. Туманы сменялись снегопадами. Август подходил к концу. Но ни тени беспокойства не заметил я на лице Шмидта.

— Нам необходим остовый ветер, он быстро перегруппирует льды, — сказал Отто Юльевич. — Но когда это будет? Наш флагманский синоптик что-то не хочет нас радовать. В ближайшие три дня, по всей видимости, мы получим ветры зюйд-вестовой четверти. Правда, слабые, но и это хорошо. Сильные зюйд-весты наделали бы немало хлопот. Вы слышали о разведке летчика Черевичного? В море Лаптевых он осветил район Тикси — Нордвик — Комсомольская Правда — до самого пролива Вилькицкого. С севера в море Лаптевых свисает длинный язык почти до самой Анабары шириной миль в шестьдесят. Как видите, и в море Лаптевых, где было обычно благоприятно, — сейчас лед. «Садко» дает нам уголь. Как только закончим бункеровку, немедленно снимаемся. Стоять не будем.

— Вы оставляете рейс «Садко»? — спросил я.

— Высокоширотный на восток, несомненно, да. Но научная работа ледокола будет продолжаться. Если же он понадобится нам до Вилькицкого, то как это ни будет неприятно нашим ученым, а придется их высадить на Диксоне и вызвать к нам «Садко». В Енисейском заливе тоже лед. «Красноярский рабочий» застрял с караваном речных судов, следующих в Пясину. Требуется ледокол. К Диксону пригнало лед. Вчера Козлов летал для Пясинской экспедиции. Условия для полетов весьма тяжелые. Туманы без конца. Летчик показался над местом расположения наших судов и улетел на Стерлегов, где квартирует и экипаж Алексеева. «Свердловск» погнул баллер руля. «Красин» снял со «Свердловска» часть груза и пошел на остров Врангеля.

Метеоролог Радвилович показывает мне на «Литке» карту последних ветров и их намечающиеся пути. Ветры слабые, слегка прижимные, зюйд-вестовой четверти. Я смотрю на молодого ученого. Ему ясны пути ветров. Да жаль, что эти пути нам не по пути. В каюте у метеоролога умывальник, рундуки, чего нет в пассажирских каютах на «Анадыре» и что совершенно необходимо в длительных арктических рейсах.

Ночью в тумане мы возвращаемся с Трояновским по зыбким льдам на «Анадырь», к себе домой. Мутно светятся огни на пароходе.

26 августа

Дрейф продолжается. «Литке» ушел с утра в разведку, поискать чистую водичку. Туман, не видать судов. Только что мы слышали, как по радиотелефону капитан «Литке» Хлебников советовал капитану «Садко» Храмцову последовать его примеру и пить чай. Оказывается, и «Литке» стоит в тумане где-то неподалеку от нашего каравана.

Старший помощник капитана (старпом) Рудных и помполит Борисов вернулись на «Анадырь», — они разыскали пресную воду. Матросы тянут шланг к пресному озеру на льдине. «Анадырь» сосет вкусную воду. Больше всех ра-

дуется этому старший механик Мионов. Это понятно. Для парового судна пресная вода в море драгоценна, и находка ее радостна каждому моряку.

«Сибиряков» как будто бы для нас дороги не нашел по северному варианту, а сам забрел в тяжелые льды. Но это пока лишь новости «бакового вестника». Из тумана доносится лай Минеевских собак. Значит, «Садко» не ушел, а где-нибудь совсем близко около нас, и собаки лают от скуки и вынужденного безделья. Им радостно было бы побегать после судовой тесноты на вольном просторе поднесенных к борту ровных полей. Но сейчас не до собак.

Капитан Караянов радирует Бочеку, что стоит все еще на Диксоне в ожидании вызова.

«Годовщину 24 августа шлю сердечный привет. Стоим под одним котлом, красимся, налаживаем судовое хозяйство. Караянов».

24 августа, год назад, было куда веселей, чем сейчас. Бочек и его заместитель Караянов в этот день прорвались с колонной речных колесных пароходов и железных барж из Лены через океан в Колыму. А теперь Караяныч прокрашивает борта своего парохода на Диксоне. Выбрал же место для судового ремонта! Но не сидят наши советские моряки без дела нигде и ни при каких обстоятельствах. Везде у них находится работа. На «Анадыре» во время дрейфа моют трубы, скачивают палубу, надраивают медные ручки на дверях, занимаются учебой.

Арктика пока тяжело отражается лишь на коровах и быках, печально дрейфующих вместе с «Анадырем». Еще нет и месяца, как мы были у Маточкина Шара, а от двадцати коров осталось на «Анадыре» только двенадцать. Остальные седены. Если так будет продолжаться и дальше, то скоро перейдем на одни консервы.

27 августа

Днем «Литке» дал сигнал «приготовиться». Заработали машины на всех судах каравана. Кругом сплоченный лед. Весь день ушел на маневры. Нако-

нец, «Литке» выстроил суда в кильватер и двинулся с ними на зюйд-вест, т.е. обратным курсом, и никто не знал на «Анадыре», куда идет караван.

Зюйд-востовыми ветрами нас прижали к островам Скотт-Гансена. Они стали совсем отчетливо видны, но попрежнему безжизненны. Справа от них на морской карте значится белое пятно: не изученные еще берега и не известные еще глубины. «Литке» и «Садко» часто возвращаются к судам, «вытаскивают» их из льда. «Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота» — приходят на память слова из детской сказки.

До разреженного льда «Садко» следует с нашим караваном. Форпик «Анадыря» течет. Накануне водолазы варили его электросваркой, сегодня снова будут варить под водой. Только светлеет вода под бортом «Анадыря», когда начинают сварочную работу мастера-подводники, да легкий пар струится над водой. Лучшие водолазы Эпрона работают под бортом нашего парохода.

Вечером пролетел Козлов над расположением наших судов и сообщил по радио, что кругом лед 8 — 9 баллов. «Крупно-мелко-битый», как классифицировал его летчик. На западе, в расстоянии пятисот метров от нас, чернеют небольшие разводья. Мало от них радости.

Ночью, еще светлой, в небе над горизонтом долго виднелись все суда из каравана «Ермака» и отдельно от них несколько поодаль шхуны «Капитан Воронин» и «Капитан Поспелов». Обе шхуны Наркомпищепрома держат путь из Мурманска во Владивосток. Восемь лет назад это, пожалуй, назвали бы безумием. Но и теперь присутствие таких маленьких кораблей в Ледовитом океане волнует каждого. Какая судьба ожидает их?

Задул слабый ост. Вечером старпом Рудных проводил в курительном салоне занятия по английскому языку, замещая капитана Бочека, находившегося на мостике.

«Сибиряков» прислал радиogramму. Он — у островов Воронина, выбирается обратно из тяжелых льдов. Очевидно, не сладко и «северный вариант», о кото-

ром говорил капитан Миловзоров. Но кто может поручиться, что за два дня до прихода «Сибирякова» на север там не было возможности пробиться дальше по курсу?

28 августа

Утром слышу разговор возле своей каюты:

— Какое сегодня число?

— Двадцать восьмое.

— Уже двадцать восьмое!

— Не уже, а еще! «Уже» звучит панически, а «еще» — обнадеживающе.

Слабый ост-зюйд-ост. Ясная видимость. Блестят заснеженные льды, они искрятся на солнце миллионами огоньков. Смотреть больно. Все люди в дымчатых очках бродят по льду, точно слепые. Льды не распускает, а сплачивает плуце прежнего. Впереди нас стамухи — льдины, сидящие на мели, а за ними — разводья. Значит, там мели, и «Литке» не рискует приближаться к тем разводьям. Около концевых судов возится «Садко». «Литке» идет на помощь к «Садко». За целый день оба ледокола никак не могут присоединить к каравану концевые суда, застрявшие во льдах в полумиле от нас. Вспоминаются слова летчика Козлова:

— Ух, и много же льдов в этом году! Ух, и много!

Да, действительно, многовато. Вот тебе и «домашнее Карское море», как называли его оптимисты.

О новостях в Арктике узнаем по УКВ — ультракоротковолновому телефону на судах. Часто слышим переговоры полярников, находящихся на разных кораблях.

В пресных озерах на льду команды стирают белье. Открылась полярная прачечная «Свой труд». Моряки пять минут стирают белье, пять минут прыгают возле него на льду, чтобы согреться. Жители северо-востока — чукчи, глядя на них, вообразили бы, что это какой-нибудь «танец стирки». Но здесь кругом нет никого на сотни километров. Берега безлюдны и далеки от нас. Студеная вода знобит руки. Ветер слабый, до пяти метров в секунду, и со-

бирается слабеть, как говорят сводки погоды, а не усиливаться. Леды поджигает течением.

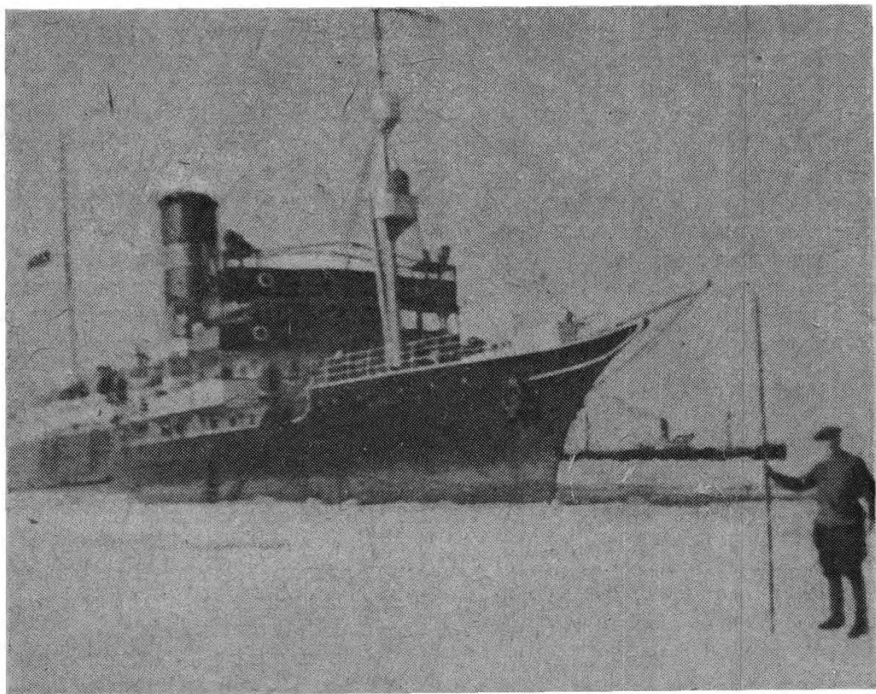
На «Анадыре» деятельно готовятся к пушкинскому вечеру. Вместе с руководителем научной группы на «Анадыре» С. Я. Миттельманом мы разрабатываем программу вечера. Это, пожалуй, будет первый пушкинский вечер в Арктике.

На льду волейболисты, пользуясь

ные миражи — дневные сновидения. Остров, поднятый рефракцией, растет неустойчиво на наших глазах. Вот он поднялся в небо и отделился от земли, повис над горизонтом. Ледяные дворцы вырастают перед нами.

Длинные вереницы гусей тянутся к югу, а наш путь — на север, к семьдесят восьмой параллели, и оттуда — к Дежневу и во Владивосток.

Фото Л. Лимчера.



Караван «Литке» в ледовом дрейфе

ясной погодой, растягивают сетку и играют так же оживленно и весело, как где-нибудь в Москве на спортивной площадке. Это тоже, пожалуй, первые волейболисты на дрейфующем льду в Арктике.

31 августа

Вот уже две недели, как мы видим опостылевший нам остров Скотт-Гансена. Нас то уносит от него в ледовом дрейфе, то подтаскивает снова. Целыми днями не сходят с горизонта чудовищ-

ные миражи — дневные сновидения. Остров, поднятый рефракцией, растет неустойчиво на наших глазах. Вот он поднялся в небо и отделился от земли, повис над горизонтом. Ледяные дворцы вырастают перед нами.

Длинные вереницы гусей тянутся к югу, а наш путь — на север, к семьдесят восьмой параллели, и оттуда — к Дежневу и во Владивосток.

и мятый давними штормами лед. Мы думали пройти напрямик к «Литке», а с него на «Ермак». Но нам пришлось кружить и кружить, обходя озера на подтаявшем льду и большие разводья. Подмокшие подметки сапог заледенели и скользили по снегу, как навощенные лыжи, затрудняя наше продвижение. Лабиринты среди озер и путаные кривые улицы разводий отвели нас далеко в сторону от «Литке» и «Ермака», затем снова повернули к «Литке». С флагамана нам навстречу вышли доктор Лимчер, Марк Трояновский и летчик-наблюдатель Камразе. Нас разделяло небольшое разводье, и в Карском море мы беседовали, стоя на краях обломков ледяных полей. Лимчер сказал нам достоверно, что вызван «Красин», у «Ермака» не в порядке две машины, летит к нам Молоков. Решено во что бы то ни стало пробиваться вперед!

Мы распростились и пошли в разные стороны. Наш путь теперь лежал к «Ермаку», но вскоре мы убедились, что и к нему подойти было невозможно, не пускали разводья. Была бы с нами легкая чукотская байдара из моржевой кожи, мы долго не думали бы. Нам же пришлось взять направление сначала на «Садко», стоявший за «Ермаком». До «Садко» льды свиду были «честные». Но это только показалось нам издали. По мелко-битому льду мы подошли к небольшому полю. Третий час мы в дороге. На «Анадыре» попивают чай и думают, небось, что и мы занимаемся тем же у капитана Воронина. Мы же пока пьем воду с небольших озер на льду и благословляем ее. Есть правило — не пить в походе воды, чтобы не уставать еще больше. Но студеная вода соблазнительна на вкус. На пароходах вода обычно в рейсе бывает подсолена после ряда перекачек из цистерны в цистерну, и вода со льдины поэтому приятна, как нарзан.

Почти у самой цели нас отделило от «Садко» большое разводье, и мы принялись искать «катер». Так называл Бочек каждую небольшую льдину, на которой, как на плоту, можно было, работая шестом, переплыть разводье. Капитану удобнее, чем мне, потому что он

легче меня на целый пуд. Лыдина, державшая капитана, уходила подо мной сразу в воду, как только я ступал на нее. На полузатопленном «катере» я совершал свой переход через разводье.

Мы поднялись на «Садко», а с него перешли на «Ермака» и зашагали весело по палубе ледокола. Капитана Воронина мы застали в кают-компании. Вместе с подошедшим начальником морского управления Главсевморпути Крастиным он тепло приветствовал нас.

На столе в его каюте лежало несколько последних номеров полярной газеты «Сквозь льды», издававшейся на «Ермаке». Из радиорупора слышался голос:

— Халло! Халло! Говорит радиостанция ледокола «Ермак». Сейчас в нижней кают-компании начинается показ звукового фильма «Мы из Кронштадта». Просим всех свободных товарищей в нижнюю кают-компанию!

Воронин вынул штепсель из радиорозетки и продолжал с нами разговор. Мы обменивались новостями.

На столе у гостеприимного хозяина появился боржом, шоколадные конфеты и малага. Мы принялись за боржом, чтобы утолить жажду, так мучившую нас после долгой ходьбы.

— Что будет с пароходами? — спросил Бочек. — Наступает сентябрь, а мы все стоим. Десятки судов в бездействии. Лучшие пароходы Союза!

— Я считаю, — решительно заявил Крастин, — что в этот небывалый ледовый год надо будет проташить на Север те суда, от которых зависит нормальная жизнь наших окраин, и в первую очередь пароходы, идущие к устьям Лены и Колымы.

— А как они пойдут обратно? На восток или на запад? — спросил Бочек.

— Это покажут обстоятельства. Полагаю, что «Ермак», взяв уголь на Диксоне, вернется снова сюда и будет пробиваться вместе со «Сталинградом» и новыми пароходами в море Лаптевых.

— Тяжелый год, — сказал капитан Воронин, покручивая ус.

Человек устал от бесконечного дрейфа во льдах у Скотт-Гансена, Маркгама и Вардропера.

— И «Ермак» наш стал не тот. Вы, небось, слышали. Столько льда я ни разу не видал, сколько ни плавал в Карском море, — снова заговорил капитан. — На нашем пути стоят не отдельные перемычки, а сотни миль невозломанного льда.

и капитан Бочек. — Повидимому, единственной разумной тактикой для сохранения судов и топлива является тактика Шмидта — выжидание радикального изменения ледовой обстановки.

Отливом раздерегало лед, но мы захватили с собой доску, любезно предло-

Фото Л. Лимчера.



Караван «Литке» в Карском море

На диване в каюте капитана нежилась красивый пушистый белый кот, напоминавший маленького песца. Кот дремал в уголке. Вот уж кому не думалось ни о чем.

— Пора! — заторопил меня Бочек. — Начинается время отлива, появятся разводья, тогда нам будет трудней, чем на переднем пути.

Это предупреждение подействовало на меня оживляюще. Воронин проводил нас до самых сходен.

— А все же я не теряю надежды. — сказал нам на прощанье капитан «Ермака». — Штормовые ветры восточных румбов по-коренному могут изменить положение в благоприятную сторону.

— Я тоже так думаю, — подтвердил

женную нам Ворониным и, когда встречали разводья, перекидывали ее, словно мостик, со льдины на льдину. Немного подморозило. И наши сапоги не уходили глубоко в снеговой покров льда. Итти было легче. Мы быстро вернулись на «Анадырь». Вернулись туда, как в родной дом. Приятно было слышать даже мычанье коров. Товарищи обступили нас и стали расспрашивать о новостях.

Ночью получил радиogramму от жены капитана Бочека, где она сообщала о своей болезни и о том, что не получает никаких известий от мужа. Очевидно, наши радиogramмы с «Анадыря» доходят до материка плохо.

4 с е н т я б р я .

Мы недалеко от мыса Вега. Льды. Туман. Вост холодный норд-вест. До мыса Челюскин осталось всего миль сорок. Мы — в горле пролива Вилькицкого, близ самой северной оконечности Евразии. Как случилась эга необычайная сказочно-быстрая передвижка кораблей? Промелькнули берега Таймырского полуострова. Позади уже сотни миль. И все это в два дня! Так быстро действие происходит лишь на экране.

В канун сентября начальник Главсевморпути, находившийся на флагмане «Литке», послал в разведку «Сибирякова» и «Седова»: одного — к острову Уединения, другого — вдоль берега Таймырского полуострова. Чтобы обеспечить ледокодами все сквозные и лено-колымские суда, несколько пароходов, следовавших в Нордвик, были возвращены в свои порты отправления.

С борта «Анадыря» мы видели иногда Шмидта, ходившего по запорошенному спардеку «Литке». Флагман обдумывал создавшееся положение. Как самую последнюю меру он предполагал использовать северный вариант к Северной Земле с запада историческим путем «Сибирякова», впервые обогнувшего этот неизвестный до того архипелаг. Взоры моряков всего каравана невольно были обращены к «Литке» — своему водителю. Кораблям грозили зимовка или поворот.

Ожидались слабые прижимные ветры зюйд-вестовой четверти. И тем более неожиданным было решение Шмидта вывести караван «Литке» под самый берег, отойти еще дальше от кромки льдов, от чистой воды, лежавшей на западе. «Литке» пошел на восток под берег, грудью пробивая дорогу своему каравану. Душу щемило при мысли, что «Литке» зря пошел с кораблями на восток. Целые сутки протаскивал пароходы флагман сквозь льды, удаляясь от кромки, от чистой воды. Но и под берегом, куда, наконец, пробился с караваном «Литке», не было ни прогалин, ни разводий. Здесь, окруженные льдами, стояли недвижно шхуны «Капитан Воронин» и «Капитан Поспелов». Вер-

нее, вместе со льдами они дрейфовали у берегов. Только позднее мы все узнали о прозорливости смелого решения Шмидта.

В самый канун сентября капитан Бочек указал мне на горизонт:

— Смотрите, облака растут с берега, с востока. Будет восточный ветер. Помните замечательного предсказателя погоды, колымского партизана Мохнаткина? Примета верная!

Капитан Бочек плавает двадцать семь лет по морям и океанам. Полжизни провел человек на кораблях, штормовал, пробивался в тайфунах, пурге и льдах, ходил в тропики и на Север. Морскую беспокойную жизнь начинал на паруснике и плавал на нем девять месяцев кряду — это была тяжелая, но хорошая школа для моряка. Тропический ливень Бочек сменял на слепящую метель, тайфуны — на дикие штормы Арктики..

Флагманский метеоролог Радвиллович полушопотом сообщил начальнику Главсевморпути, что намечается перемена ветров в благоприятную сторону.

И верно. 1 сентября подул слабый сст-норд-ост, отжимной ветер. На кораблях говорили только об этом. Говорили таючись, будто опасались вспугнуть, отвернуть в сторону благоприятный ветер.

Заклинали:

— Ну, хоть бы денек, ну, хоть бы денек он продержался!

И он продержался и стал набирать силу. Ветер начал свою ледокольную работу. Лед отошел от берега. Образовался канал шириной в Москва-реку. «Литке» дал сигнал готовить машины к походу. На судах тревожно зазвонили машинные телеграфы. Караван пошел вперед, и береговая прогалина ширилась. Арктика открывала нам свой шлагбаум. Стоявшие неподалеку зверобойные шхуны ринулись вперед за «Литке».

Вот показался весь в тяжелых льдах караван «Ермака». Дедушки ледокольного флота не было с караваном, он бункеровался на Диксоне. Видно было в бинокль, как выбивались пароходы изо льдов, как ледокол «Ленин»

ходил и окалывал каждый корабль. Это была тяжелая работа. А «Литке» летел тем временем со своим караваном по чистой воде. Командиры наших «сквозняков» свистели в машинные отделения, приказывая держать полный пар в котлах и прибавить к полному ходу наиболее возможное количество оборотов. На «Литке» взвился сигнал, он говорил о том же: дать самый полный ход! Маневр Шмидта блестяще оправдывался.

— Подорвали на когтях, — сказал мне Егор Михайлов при встрече на полубаке.

Но видя, что я не понял его, он пояснил:

— На когтях — значит не на всю лапу, — так зверь бежит, когда ему очень надо.

Близ мыса Стерлегова над караваном повиражил летчик Анатолий Дмитриевич Алексеев — полярный небожитель, ветеран Карского моря. Ночью слышно было по судовым радиостанциям, как он докладывал Шмидту о результатах авиаразведки. Единственный путь к мысу Челюскин, по мнению Алексеева, проходил в шхерах, через пролив Матисена, по которому не плавали еще большие корабли. День был холодный, ветренный, но радостный. Впервые после длительного дрейфа суда шли полным ходом.

Караван «Литке» прорвался к проливу Вилькицкого. Здесь ветрами уплотнило лед. Он дрейфовал по нужному для «Литке» курсу. Вместе со льдом шли своей дорогой в вынужденном дрейфе корабли. Кругом все белело от заснеженных льдов. «Анадырь» несло со льдом вперед кормой. Утром вставали и не узнавали берегов. Другие мысы высались перед кораблями. Сам океан двигал корабли на восток.

В ночь на 5 сентября ветер отошел к норду и стал сжимать лед. Лдины вылезали из воды и становились на-попа. Люди готовили бутылки с аммоналом для подрывных работ. Слышно было поскрипывание бортов. Тишину Севера потревожили взрывы аммонала. Разбросанная во льдах колонна дрейфовала все еще по курсу со скоростью одной

мили в час. Как переменчивы ветры в Арктике! 3 сентября ветер резко перешел к весту. Крупными хлопьями повалил снег, застывая временами горизонт. Вмиг забелела верхняя палуба «Анадыря», и в белесой мгле исчезла сразу вся колонна судов. В разводьях появились снежура и «сало». Началось быстрое льдообразование. Температура упала до нуля. Нарастал молодой лед толщиной до пятнадцати сантиметров. Ветром стало его уплотнять, что затрудняло наше продвижение. Вся колонна остановилась при плохой видимости. Нас начало дрейфовать в глубину залива Толля.

О караване «Ермака» нам ничего не было известно. Куда девались следовавшие за нами шхуны, мы также не знали. Очевидно, они спрятались от норд-веста под защиту какого-нибудь острова.

Дрейфуем со скоростью одной мили в час. Значит, наш «ход» прежний. Как только улучшится видимость, «Литке» продолжит борьбу за достижение мыса Челюскин.

«Литке» приткнулся к мели в заливе Толля, но скоро снялся. Нас протащило за ночь миль двадцать по курсу. Арктика пока добра: открыла нам ворота. Но куда? Быть может, в ловушку.

Сегодня снова дрейф, а вчера еще работали переменными ходами машины, звенели машинные телеграфы. Путь по разводьям был извилист. Иногда флагман давал сигнал колонне остановиться. По всему горизонту тянулся лед. Суда догоняли друг друга.

Утром прибежал в кают-компанию помполит Борисов, радостный и возбужденный:

— Осталось всего сорок миль до Челюскина!

Наши гидрологи работают посменно, днем и ночью. Чертят ледовую карту и занимаются в своей лаборатории, сооруженной на корме парохода.

5 с е н т я б р я

Утром весь лед вокруг нас сильно уплотнился. Не видно ни одного разводья. Бочек надеется на сильные приливо-отливные течения, — они разбе-

рут лед, и мы двинемся снова. Я сказал об этом старшему механику «Анадыря» Миронову.

— Все это очень хорошо, но ведь сегодня уже пятое сентября, пятое сентября, — повторил он с грустью. — Если бы мы были сегодня в Провиденции, а то ведь только еще у Челюскина...

Только и слышишь разговоры на палубе:

— Возим или прорвемся?

6 с е н т я б р я

Несколько судов скренило от сильного сжатия. На кораблях засуетились люди. Спокойно прошагал корабельный инженер, осанкой и ростом напоминающий сказочного богатыря. Он неторопливо спустился на лед с матросами. Обошел по корпусу судна. Дал несколько указаний. Послышались взрывы. Размельченный лед высоко взлетел в воздух. Поползли трещины в наседающем поле. Отдельные льдины торосились под самым бортом «Анадыря». Бочек выслал на лед штурманов Рудных, Матиясевича и Олькина с аммоналом. Рудных взрывает под правым бортом «Анадыря», Матиясевич — под кормой. Олькин помогает обоим штурманам...

Не впервые они подрывают полярный лед. Олькин зимовал на «Урицком» в дрейфующих льдах Восточно-Сибирского моря. Матиясевич вместе с Рудных зимовал в Чаунской губе с экспедицией Бочка в 1932 — 33 годах. Штурманы работают уверенно и деловито. Никакой суеты. Поджигают бикфордов шнур неторопливо, словно закуривают папиросу. Привязав к доске литровую бутылку, начиненную аммоналом, штурман вставляет в бутылку бикфордов шнур, поджигает его и опускает бутылку в воду. Над водой поднимается пар. Матиясевич длинной жердью глубже заталкивает бутылку под лед, чтобы разрушительней была сила взрыва. Ему кричат с парохода:

— Беги! Беги! Сейчас взорвет!

А он продолжает толкать жердью бутылку в прорубь. Пар над прорубью становится все сильнее. Вот Матиясе-

вич отходит от проруби. Идет ровно, неторопливо, не сгибая головы.

— Вот у нас какие штурмана! — с гордостью говорит старый боцман, наблюдающий с борта парохода за взрывными работами.

Взрыв потрясает борты «Анадыря». Трещины лучами ползут по льду. Огромные льдины переворачиваются, показывая нам свои подводные бледно-зеленые части. «Литке» тем временем раскашивает лед вокруг кораблей, которым угрожает наибольшее сжатие. С полного хода ледокол набегает на лед и, протаранив его своим острым носом метра на три, дает задний ход, чтобы сделать повторный разбег. «Литке» утюжит лед. Упорная работа молодого капитана Хлебникова вызывает всеобщее восхищение. Суда выпрямляются. Арктика вынуждена разжать свою цепкую лапу.

— Самолет! Самолет! — кричат на корме ледокола.

Это оказался над караваном, как верный друг, самолет Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова. Пилот сделал круг, салютуя кораблям, прорвавшимся первыми в трудный год так далеко на север. Вахтенный штурман «Литке» в ответ трижды отсалютовал гудком. На самолете, конечно, не слышали гудков ледокола, но отчетливо видели три облачка пара, взвившегося высоко к небу, — горячие приветы от моряков воздушникам.

— Идите на север, там полынья и открыта дорога к чистой воде! — радировал Молоков.

Вслед за Молоковым над расположением кораблей прошел самолет Анатолия Дмитриевича Алексева. И он рекомендовал подняться на север.

Сжатие прекратилось. «Литке» строил свою колонну в кильватер. Ледоколу помогал начинавшийся зюйд-ост. На станции Челюскин зажгли яркий опознавательный огонь. Чорт возьми, как радостно и победно горел он на самом краю мира! Мы долго видели его в ночи. Даже здесь, в такой дали, мы не были одиноки. Советские полярники выполняли завет вождя: держали Северный путь в сохранности. «Литке» вхо-

дил в разреженный лед. Огонек Челюскина удалился. Караван продолжал свое изумительное шествие среди льдов, во тьме, прорезанной лучами мощных прожекторов.

Когда «Литке» пробивал судам дорогу, излюбленным местом капитана Хлебникова была наблюдательная бочка на фок-мачте. Отсюда он высматривал льды, искал среди них лазейки. Часто внизу, под фок-мачтой, слышно

пришлось бы пробиваться сквозь тяжелые льды и потерять не менее суток. Потерянные сутки могли обернуться где-нибудь в Чукотском море в зимовку для всего каравана.

На «Анадыре» с большим успехом прошел пушкинский вечер.

7 сентября

«Анадырь» уходил в полярный рейс, когда «АНТ-25» совершал свой знаме-

Фото Л. Лимчера.



По дрейфующему льду.

было, как высоко в бочке пел песни капитан флага. Это значило, что дело идет хорошо: есть дорога по разводьям, отысканным моряком.

У мыса Челюскин караван «Литке» не остановился. Начальник Главсевморпути передал по радио привет всей зимовке Челюскина и сообщил, что за ними скоро придет пароход со сменой. Я вез из Москвы на мыс Челюскин газеты и журналы для зимовщиков. Передать их не удалось, ибо для этого

нитый беспосадочный перелет Москва—остров Удд. И на «Анадыре» матросы говорили:

— Наш рейс сталинский: Ленинград—Владивосток без посадки!

И «Анадырь» шел на восток без посадки.

Зюйд-ост понемногу открывал разводья. Они обнадеживающе зачернелись кругом. «Литке» входил в разреженный лед. Мыс Челюскин был пройден. А сколько мысов было еще впереди...

Винты кораблей вертятся на полный ход. Опять с мостика свистят вахтенному механику, чтобы давал возможно больше оборотов. «Анадырь» не хочет отставать от быстро идущего флагмана. «Лок-Батан» наступает нам на пятки. Черноморец капитан Кучеров тоже не хочет отставать от дальневосточников и северников.

Полосы рассеянного льда и заряды тумана сопровождали караван в течение всего дня. За сутки прошли полтора миль. Давно мы так не ходили. Шхуны «Капитан Воронин» и «Капитан Поспелов» оказались несколько впереди нас, но попали в тяжелую ледовую обстановку. В кают-компании «Анадыря» часто говорят о них с восхищением.

8 сентября

Утром караван стал склоняться вслед за «Литке» к юго-востоку, держа курс на соединение с пароходами «Искра» и «Ванцетти», идущими из Владивостока на запад сквозным рейсом. Мы выясним у них о положении в восточном секторе Арктики, они узнают у нас о том, что делается в Карском море.

Шли в тумане, лавируя среди льдов. Ночью все суда, кроме концевоего, зажгли яркие гакбортные огни. Только они и виднелись в темноте ночи. Капитаны не уходили с мостиков. Поход ночью среди льдов был опасен: можно было врезаться в корму впереди идущего корабля или в стамуху¹⁾.

Шедшее впереди «Анадыря» судно замедлило ход, не предупредив об этом. Бочек заметил, что перед носом «Анадыря» вырастает из темноты силуэт судна, дал «полный назад» и приказал рулевому положить руль лево на борт. Сила инерции тяжело груженого «Анадыря» была настолько велика, что, несмотря на полный задний ход, судно продолжало двигаться вперед. У капитана оставались два выбора: либо ударить в борт впереди идущего корабля, либо в соседнюю льдину. И «Анадырь» прошелся левой скулой по льдине. В трюме № 1 появилась течь. Матрос,

измерявший воду в трюмах, заметил резкое ее прибавление в первом номере. Штурманы Рудных и Матияевич вместе со вторым механиком Козловым спустились в трюм и быстро обнаружили пробойну. Был сломан один шпангоут, лопнул стрингер, выбита заклепка.

Все суда, кроме флагмана, подошли к большому ледяному полю и стали на ледяные якоря. Водолазы спустились под воду, осмотрели скулу «Анадыря». Пробойна не представляла опасности для судна, — только раз в сутки после того работала спасательная помпа.

С борта «Анадыря» миль за двадцать увидели высоко приподнятые и опрокинутые рефракцией мачтами вниз силуэты двух пароходов. Это были «Искра» и «Ванцетти». К ним навстречу вышел «Литке». Он привел их к ледяному полю, сам стал рядом с «Ванцетти». «Искра» подошла к «Анадырю». Пароходы несли в своих трюмах большой груз угля. Караван «Литке» приступил к бункеровке. Это освобождало нас от намеченного захода в бухту Тикси за углем и позволяло сэкономить два-три дня в рейсе.

Шмидт отменил намечавшийся было поход к нам «Красина» и разрешил ему оставаться в восточном секторе Арктики, чтобы содействовать полному успеху восточных операций.

Во время бункеровки у Бочка оказалось свободное время, и мы пошли с ним к капитану «Искры» Федотову. Тот с добродушной усмешкой рассказывал о том, как царапался во льду на своей «Искре».

Пошли разговоры о ледаколыщиках, и капитаны признали, что Хлебников — капитан «Литке» — смело и деловито управляет своим ледаколом.

Вечером, мгlistым и холодным, мы шли с Федотовым на «Литке».

В кают-компании пили чай.

У биллиардного стола летчик Головин сражался с корабельным инженером. Радист Гиршевич показался в дверях, пылливо обвел всех взглядом и, не давая секретаря экспедиции Федорова, передал ему радиограмму, исписанную столбиками цифр. Федоров пошел в свою

¹⁾ Льдина, сидящая на мели.

каюту расшифровывать, или, как он говорил, «колдовать». Это колдование длилось часами. И затем поздно ночью слышался скрип шагов секретаря по трапу в каюту Шмидта.

Я заночевал на «Литке» в каюте летчиков и кинооператора Трояновского.

— Так вы летите или не летите? — спросил Трояновский Головина.

— Вы все ехидничаете, — обиделся пилот.

— Нет, зачем же, я просто интересуюсь, буду ли я вас завтра снимать или займусь другой работой.

Авиаразведка интересовала всех. Первая попытка взлететь у Скотт-Гансена не удалась Головину из-за тумана. Это было еще совсем недавно. Но разговоры о полетах были темой каждого дня и давно наскучили неповинному в частых туманах и сплоченных льдах Головину.

В тот день прилетел летчик Черевичный к ледяному полю, куда заведены были якоря с кораблей нашей колонны.

На 9 сентября назначен полет «Ш-2» Головина.

9 сентября

Утро выдалось непроглядно-туманное. Черевичный улетел еще вчера, и во время. Следом за его отлетом место стоянки судов накрыло густым туманом. Черевичный все выпрашивал на пароходах «бензинцу». Но у нас не было с собой авиационного бензина, а до «Литке» было мили две по торосистым льдам.

Где-то в небе сквозь серую пелену просвечивало тусклое солнце, и возможно, что за небольшим пятном тумана, в котором стояли корабли, было синее море, яркое небо и близкий светлый осенний день. Но мы не видели его. Головин проснулся необычно рано, отдернул занавеску, глянул в иллюминатор, плюнул с досады и заснул с огорчения до обеда. Полет не состоялся.

На «Искре» маленький бурый Мишка. «Искра» стоит борт о борт с нами. Мишку купили в Петропавловске-на-Камчатке, для забавы команды, за двести рублей. Потешный звереныш косо-

лапит по палубе, по трапам, все обнюхивает, выпрашивает лакомства у команды. Все свободные люди охотно бегают за ним и занимаются, как с ребенком. Его любимое занятие — ходить по узкому планширу и, дойдя до конца, поворачиваться на 180°. Не боится четвероногий акробат сорваться с большой высоты в воду. Бродит по всем судам, за исключением «Литке», до которого далеко. Мишка не боится собак и даже попугивает их, дает сдачи, вызывая смех у матросов.

Как только «Искра» дала сигнал к отходу, Мишка, будто ждавший этого, мгновенно перекинулся на «Анадырь». Моряки говорили, что он испугался гудков. За ним погнались несколько человек с «Искры». Медвежонок не давался, кусал руки своим преследователям. Его ухватили за загривок, тогда он поднял передние лапы и норовил поцарапать своих соплавателей. Но все же как он ни упирался, а был водворен на старое местожительство, где его и привязали в наказание за попытку к бегству. Нам долго было слышно, как он жалобно голосил.

11 сентября

Чем дальше мы уходим на юго-восток, навстречу ветру, тем лед становится разреженней, и вот, наконец, перед нами просторы открытой воды. При подходе к ней мы с Мироновым смотрели, как билась зыбь у самой кромки льда. Это напоминало сильный прибор где-нибудь у берегов Камчатки. За кромкой виднелся лишь рассеянный лед. Он вздымался на широко шагавшей волне. Вода в море потемнела, и мы увидели давно забытые пенные гребни на маковках волн. «Анадырь» стал килевать. Мы уже отвыкли от этого во льдах, где не было никакой качки. Иван Лазаревич Сорока — третий штурман — свистел в машину, чтобы давали побольше оборотов.

— Вышли на чистую воду!

Теперь темой постоянных разговоров была уже чистая вода. Ее все славословили.

Капитан Сиднев на «Смоленске» шел в это время проливом Лаптева по чистой воде. Шхуны «Капитан Воронин» и «Капитан Поспелов» были освобождены зюйд-зюйд-остом из ледяной ловушки и быстро продвигались вперед. Ледокол-ветер был им верным помощником.

«Литке», проводив «Искру» и «Ван-цетти», искал нас в тумане. «Анадырь» вел кильватерную колонну, часто давая туманные сигналы. Сигнальщики переговаривались флагами. Радисты не снимали наушников, слушая суда по УКВ.

В тумане перед нами часто вставали льды. «Анадырь» обходил их. Но вот лед разлегся по всему туманному горизонту. «Анадырь» дал сигнал судам замедлить ход.

— Это для «Анадыря» не лед, — деловито, гордясь своим пароходом, сказал матрос Егор Михайлов. — «Лидка» увидела бы такой ледок, сейчас — пять гудков, и становись на якоря в ожидании улучшения обстановки. А для «Анадыря» это что... Для «Анадыря» это — семечки!

На «Анадыре» все — патриоты своего корабля.

Зыбь уменьшается, но ветер дует с той же силой, значит, скоро встреча со льдом. И верно. Вот «Анадырь» уже приказывает снова уменьшить ход судам.

Ледовая сводка принесла благоприятные вести. Тяжелей семи баллов льда в Чукотском море у берегов нет. Если ветер, изменившись, не наделает бед каравану ко времени подхода к мысу Шелагскому, то победа будет за нами.

Радист Круковский — заядлый курильщик — часто показывается из радиорубки, чтобы выбросить с подветренной стороны полную пепельницу окурков за борт.

— Какие новости в эфире? Далеко ли от нас «Литке»?

— Рядом. Бьет по ушам. Забывает все станции. Ищет нас в тумане, — отвечает радист.

Мы видим уже огни ледокола. Он идет на наши прожектора и становится вскоре в хвосте колонны. До встречи со льдами Хлебников предложил «Анадырю» следовать головным.

На зыби встречаются отдельные льдины, они опасны, как тараны. Идем средним ходом. Впереди малые глубины. Льдам временно конец до самого мыса Баранова, до Чукотской земли. Теперь начинается обычное морское плавание, с той лишь разницей, что мы не встретим ни одного маяка, ни одной мигалки, ни одного ревуна, предупреждающего о мелях. Во льдах по стамухам мы хоть знали о том, что приближаемся к мелям. А здесь нет и стамух, нет никаких ограждений в этом чортовом море.

14 сентября

Караван «Литке» первым в 1936 году прорвался в море Лаптевых. Целую неделю шли и стояли во льдах и туманах. Днем не было видно солнца, а ночью звезд и луны. Судоводители не могли поэтому точно определить местонахождение своих кораблей. Едва различался в тумане гакобортный огонь впереди идущего судна. Из мглы неожиданно вырастали полосы льда. Колесо штурвала ложилось резко на левый или правый борт. Ветры рассеяли лед по морю Лаптевых, и мы встречали не раз ледовые языки.

В ночь на 14 сентября, при подходе каравана к зоне дельты Лены, опасность увеличилась из-за неточно нанесенных на карту отмелей и островов. Почти на каждом из них, пунктиром обведенном на карте, значилось: П. С. (положение сомнительное). Суда не знали точно своего места в море. Карта неточно показывала острова и берег материка. Если «Анадырь» или «Литке» сядут здесь на мель, то это может повлечь за собой операции всей нашей колонны. А сегодня — 14 сентября: близок конец навигации на востоке Арктики.

«Литке» выслал вперед суда с меньшей, чем он, осадкой, а сам идет среди колонны. Идут средним и малым ходом. На «Анадыре» матрос каждые десять минут забрасывает лот, чтобы узнать глубины моря. Передние суда часто поднимают сигнал об опасности, и «Литке» и «Анадырь» шарахаются в сторону от подступающих мелей.

Вчера ненадолго выглянуло солнце.

Бочек, Матиясевич и Смесов взяли за секстансы и логарифмические таблицы, чтобы определить точку «Анадыря» в море Лаптевых. То же делалось и на других судах каравана. У каждого судна разные точки. Мы знаем свое место лишь приближенно.

В кают-компани стало оживленней. Снова Чулков громко приветствовал всех, входя в кают-компанию в часы общего сбора. Потирая радостно руки, он с улыбкой шел к своему месту за столом рядом с помполитом и капитаном. Матиясевич в шутку сказал как-то, что Чулков — барометр «Анадыря». Если он потирает руки и громко всех приветствует, — это верный показатель чистой воды и полного отсутствия льдов. Доктор Митников попрежнему в одном кителе без ватника, несмотря на прохладу Арктики, выходил на мостик для научных работ.

После долгого плавания во льдах и туманах и по чистой воде мы, наконец, увидели мыс Святой Нос и Кигилях. «Литке» принял сначала Кигилях за Святой Нос и резко повернул на норд, но потом, осмотревшись, лег на прежний курс. Мы давно не видели земли, от самого мыса Челюскин, и неотрывно любовались в бинокли высокими горами. Горбатый мыс смотрел сурово. Яркое солнце освещало далекою и высокую гору Кигилях на Малом Ляховском острове. От Святого Носа до Малого Ляховского по карте тридцать две мили, а Кигилях был виден отчетливо даже без бинокля. Только в Арктике бывает такая исключительная видимость. Мы расставались с морем Лаптевых и входили в пролив Лаптева. Перед нами лежало Восточно-Сибирское море.

При выходе из пролива мы увидели редкое зрелище: нам открылась далекая гора на острове Котельном.

Ночью вспыхивало северное сияние. По приметам поморов северное сияние предвещало близкие морозы. К утру стали выходить на большие глубины. И вода изменила свой цвет. Вместо грязной она стала настоящей морской, ярко-зеленой. Утро было теплое, радостное, солнечное. Люди без шапок выбегали на палубу постоять хоть немного под луча-

ми солнца. До полярной ночи оставалось теперь уже недолго.

15 сентября.

В солнечный яркий день белым облаком лежал туман на посиневшей воде. Береговой ветер отгонял его далеко в море. Мы вошли в туман; заряды его стали попадаться чаще и чаще, и опять, как недавно, гудели корабли, вторя флагману, чтобы не потеряться.

Нет льдов. Выпущен лаг¹⁾, бездействовавший на «Анадыре» от самого острова Белого в Карском море. Льдом могло срезать этот дорогой прибор.

Буфетчик Семен Ильич упал в трюм во время последней погрузки угля и слегка зашиб пятку. Он успел уже поправиться и теперь заботливо накрывал в кают-компани стол. Затем Семен Ильич направился в каюту капитана на приборку.

— Вы все еще хромаете? — спросил его капитан.

— Отшиб пятку, никак не заживает.

— Жаль, что вы отшибли только одну, а не обе, — улыбаясь, сказал капитан.

— Почему? — смутился буфетчик.

— Тогда бы у меня до конца рейса была бы чистота и порядок в каюте. Мою каюту убирала вместо вас Катя, и я не узнавал помещения, будто поменял пароход.

Семен Ильич шел в свое третье плавание. Профессию буфетчика он выбрал несколько неожиданно для самого себя. Работал он парикмахером, с самого детства. Один знакомый из отдела кадров порта посоветовал ему пойти в дальнее плавание. Буфетчик из Семена Ильича получился неплохой, а уборщик — никакой. Семен Ильич постоянно твердил капитану, что отмыть ванну в капитанской каюте невозможно. В СССР нет таких средств. Семен Ильич успел сходить уже один раз в Англию из Ленинграда и стал «западником». Ложки и ножи в кают-компани «Анадыря» изрядно почернели. Семен Ильич за-

¹⁾ Лаг — прибор, измеряющий пройденное судном расстояние.

явил, что для белого металла в СССР нет такого чистода, как в Англии. Европа пленила Семена Ильича своими чистотами и гуталином, дающим исключительный блеск. Но достаточно было Кате, тихой и скромной женщине, заняться капитанской каютой, как заблестела ванна, засверкала посуда в буфете, засияли ножи и ложки, и все это при помощи отечественных материалов и заботливых рук.

Семен Ильич не забывал на «Анадыре» своей основной профессии. По вечерам в его каюту набивался народ постричься и побриться. В Ледовитом океане он был, вероятно, единственным профессионалом-парикмахером и работал, действительно, как мастер.

Литкенцы получались согласно определению сзади «Анадыря» на тридцать шесть миль. «Литке» запрашивал не раз по УКВ нашу точку, сверяя ее со своей.

Ночью снова играло северное сияние в форме радуги.

16 сентября.

Утром прошли остров Четырехстоловой. Четыре каменных столба — кекура — стоят, словно сооруженные человеком обелиски. Над солнцем, как нимб, сияет золотой большой круг. Моряки говорят, что это к ветрам. С севера подгоняет рассеянный ледок. Длинный караван гусей пролетел низко, почти над самой водой, направляясь к материковому берегу с Медвежьих островов. Еще совсем недавно с устья Колымы, с займки Сухарной, промышленники ездили на Медвежьих острова «брать» медведей — на медвежью охоту.

Вечером встретили впервые после моря Лаптевых обломки ледяных полей, чему мало обрадовались. Отдельные торосы, освещенные солнцем, походили на высокие скалы. Ветер стал заходить к норду. К 21 часу совершенно стемнело.

Снегопад застит порой даже свет ярких прожекторов. Навигаторы полагают, что колонна «Литке» проходит сейчас Чаунскую губу. После двухдневного плавания в тумане и метели корабли не

знают точно своего места и рискуют вылезть на грунт.

— Вот это и есть полярная лирика! Тот, кто не плавал в Арктике, никогда этой лирики не поймет, — говорит капитан Хлебников на мостике «Литке», ведя колонну вперед в этом снежном смятении.

Где-то позади нас — зверобойные шхуны. Они запрашивают радиостанцию «Анадыря» о нашем месте, не зная точно своего. Слышна близкая работа радиостанции «Красина». У него сильный остовый ветер.

18 сентября.

К утру стихла метель. Ветер разредел льды. Выглянуло солнце. Открылись высокие, выбеленные снегами горы Чаунской губы и мыса Шелагский. В полдень на ледяном горизонте показался ледокол «Красин» — лидер восточного сектора Арктики, шедший к нам навстречу под командой капитана Белоусова. С борта «Литке» на «Красин» временно перешел Отто Юльевич. Теперь без него на «Литке» так же, как и на «Анадыре», — никаких новостей, кроме «бакового вестника». Метель, бушевавшая вчера на северо-западе Чукотки, сделала берега совершенно зимними. На открытых пространствах воды появилась шуга, она шелестела при ходе судна и звенела, напоминая звук разбиваемого стекла.

— Два дня поработает свежий нордвест, все здесь скует, — говорит Бочек, прислушиваясь к шелесту шуги.

Беседовал сегодня по УКВ с синоптиком Радвилловичем. Он обещает зюйдвест и заштиление.

Температура воды и воздуха упала. Началось усиленное образование льда. По всему Северному морскому пути суда продолжают бороться за выполнение своих заданий. «Искра» и «Ванцетти» с помощью ледокола «Ленин» пробилась уже в Карское море к архипелагу Норденшельда. Стоят у острова Тыртова. «Сталинград», «Правда» и «Рабочий» прибыли в Тикси — устье Лены. Одновременно туда зашли с грузами для Якутии «Володарский» и «Беломорка-

нал». Новые большие пароходы «Игарка», «Моссовет» закончили выгрузку у мыса Челюскин и 17 сентября снялись в бухту Тикси. Столь поздние грузовые операции у самой северной оконечности Евразии произведены впервые. Прорвутся ли обратно корабли из Ледовитого океана? Четырнадцать судов идут сквозным полярным рейсом на запад и восток Советского Союза! Решено: все суда, идущие в Колыму, сделать «сквозными», направить в обратный рейс на восток, учитывая тяжелую обстановку на западе.

19 сентября

Все утро шли в тумане среди льдов. Навигаторы «Анадыря» считают себя у мыса Биллингса. «Красин» ушел от нас на розыски «Смоленска», сокрытого в тумане. Через несколько часов услышали гудки «Красина» и «Смоленска». На «Красине» отличные навигаторы, разыскали нас в этой полярной мгле, среди льдов. На «Смоленске» много пассажиров, возвращающихся из Нордвика, куда не доставили грузов с запада. «Смоленск» проходит за самой кормой «Анадыря». Анадырцы узнают на встречном пароходе знакомых дальневосточных моряков и машут им кочегарскими сетками и беретами.

Пять длинных сигналов. Колонна продолжает путь на восток. Вдруг видим «Литке». Он приближается к нам полным ходом, гарцуя по льдам. Хлебников кричит Бочеку в рупор с мостика:

— Иду к «Лок-Батану». Пока мы здесь стояли на льдах и тумане, он нашел времячко — разобрал свою машину. Вот же черноморцы, — придется брать теперь на буксир и тащить до тех пор, пока не соберут машины.

«Анадырь» роздал последний груз пресной воды, припасенной со льдин в море Лаптевых. Теперь попостимся.

Темнеет уже к восьми вечера. Снова содрогается «Анадырь», шевеля лед. Но льды заметно редеют, «Анадырь» прибавляет ход. Кругом, насколько можно видеть, — чистая вода. С мостика просят старшего механика дать самый полный пар. И вот из тумана растут суда.

Полный задний ход! Кочегары мигмом открыли сифон и травят пар в атмосферу. Оказывается, передние суда, не предупредив об этом, замедлили ход перед показавшимся снова льдом. Чтобы не врезаться в колонну, «Анадырь» резко повернул в сторону.

— Лучше удариться о льдину, чем о судно, — говорит капитан Бочек.

На «Анадыре» звенит в буфете по-суда.

— Дорога — все ухабы да ухабы, и чего только смотрят дворники! — ворчит кочегар на полуоте.

20 сентября

Солнце выглянуло из-за туч. На «Анадыре» успели определиться. Мы в 32 милях от мыса Блоссом (остров Врангеля). Бочек одну минуту видел высокие горы Врангеля в окне облаков. Четыре года назад он летал здесь с летчиками Бердником и Левченко и видел эти же горы. Он узнал их сразу. Мы слышали у себя, как Шмидт говорил с Хлебниковым по УКВ. Польшня к острову Врангеля, очевидно, сместилась. Летчик Каминский, облетавший Чукотское море, указал, что в середине пролива Лонга есть большая польшня с мелко-битым льдом. Шмидт избрал курс в сторону острова Врангеля. К трем часам дня лед значительно поредел. На отдельных льдинах заметны ясные отпечатки лап медведицы и медвежонка, бродивших здесь по свежей пороше в поисках тюленя. Чулков говорил, что видел сегодня рано утром медведя.

Показался мыс Якан. Входим в Чукотское море.

В это время в кают-компании пьют чай. Бочек, обращаясь к буфетчику Семену Ильичу, улыбаясь, говорит:

— Зимовать не будем!

— Почему вы так уверены? — спрашивает буфетчик.

— Смотрите сами! — указывает капитан на висящую грушу электрического звонка. Она раскачивается над столом в кают-компании из стороны в сторону, как маятник.

— Зыбок! Значит, льдам конец. «Анадырь» выходит на свободу!

Вечером все суда ощущали значительную качку. Крупная мертвая зыбь шла от оста. Здесь были недавно сильные остовые шторма. Зыбь вздымала обломки рассеянного льда. Под самым бортом парохода мы долго любовались стадами моржей, отдохавших на льдинах. Звери тесно прижались друг к другу. Некоторые звери, выбрав небольшие льдины, катались на спине, махая лапами.

Наша колонна идет с двумя ледоколами — «Красиным» и «Литке». Мы — в середине пролива Лонга. Идем с песнями. Но, если нас догонит норд-вест, хватит обоим ледоколам работы.

21 сентября

Ночью машины работали малым ходом. «Сталинград» радировал Бочеку, что вышел из Тикси и запросил сообщить подробно о пройденном пути, начиная с Кольмы до пролива Лонга.

«Красин» ведет колонну в лед. На крутой зыби лед мельчит сам себя и может нанести кораблям непоправимый вред. Льды работают, как жернова, и могут протаранить не только борт судна, но и его днище. Суда идут за флагманом в кильватер. Удары льдин становятся все сильнее и сильнее. Тогда на «Красине» поднимается сигнал: «Судам угрожает опасность». Заработало «камбузное радио». Говорят, что мы снова встретили непроходимый лед. На самом же деле «Красин» вздумал бункероваться со «Смоленска» и затащил всю колонну в лед, где предполагали в «тихой» обстановке проделать эту операцию. «Литке» приказал «Анадырю» выходить из льда. Катастрофа предотвращена. Колонна — снова на чистой воде. Мы расстаемся с «Красиным».

22 сентября

Вест-норд-вест. Зыбь несколько улеглась. В восемь часов утра миновали предполагаемое место гибели «Челюскина». В честь корабля, погибшего за освоение Арктики, на всех судах салютовали флагами и гудками.

Мы приближаемся к Дежневу, самому восточному мысу Евразии. Шхуны

идут вместе с нами, немного позади. Они прошли, как и мы, Северный морской путь в одну навигацию и теперь подняли паруса, экономя топливо. На «Капитане Воронине» командует Пудовкин, на «Капитане Поспелове» — Фонарев. Шхуны войдут в этом году в состав зверобойного флота Дальнего Востока. Они сделали неплохой рейс.

Теперь ни им, ни нам не страшен норд-вест.

Ночью видны ходовые огни всей большой колонны судов. Идем самым полным ходом.

Разговоры теперь уже не о зимовке, а о том, сколько миль остается до Дежнева.

Туча «поцелуйных» радиogramм наваливается на радиорубки всех судов колонны. Каждый несет своему радисту белый листок с одними и теми же словами:

«Проходим Дежнев. Зимовать не будем. Вышли из Ледовитого. Целую. Люблю...».

Адрес флагмана даже в Чукотском море был короток и необычен: «Диксон Литке». И в Беринговом море «Литке» поддерживал связь с Москвой через далекий остров Диксон. Известный полярный радист сибиряковец-орденоносец Гиршевич обеспечил ледоколу изумительную двухстороннюю оперативную связь с Москвой. Гиршевич впервые в Арктике провел великолепный опыт связи корабля с Москвой, минуя все промежуточные станции, кроме Диксона.

Темной каменистой громадой вырастает Дежнев. Тому, кто хоть раз становился на зимовку у чукотских берегов, особенно дорог этот обрезной черный мыс, словно спина исполинского зверя, выступающий из морской воды на ледяном рубеже Советской страны. За Дежневым — свобода. Здесь, у Дежнева, — победа советских моряков, ученых и летчиков. Льды кончились, сверкнув на солнце в последний раз.

24 сентября

Пришли в «Провидение».

На «Анадырь» пришел чукча с детьми. Гостей повели в столовую пить чай.

Михаил Забродин подарил гостям весь свой запас трубочного табаку. Примеру Забродина последовали другие матросы и коچهгары. На столе перед чукчей образовалась вскоре целая гора из пачек табаку и папиросных коробок.

Бочек узнал, что в бухте Лаврентия работает врач Елизавета Петровна Кузьмина. Три года назад она пришла к Бочеку—начальнику экспедиции на «Литке», лечила здесь капитана Николаева и прислала ему в подарок живого петуха.

Капитан Бочек в ответ посылает ей теперь, через три года, фруктовые консервы, шоколад и вино.

На горах в «Провидении» почти не осталось за лето снега. На капитанском мостике штурман Матиясеви́ч разорвал и выкинул за борт висевшее там расписание условных сигналов, выработанных для ледового плавания. Льдов больше не будет, и это расписание ни к чему. Теперь каждое судно пойдет из «Провидения» самостоятельно. Кильватерной колонны не будет. Не будет и сигнальных переговоров.

У всех приподнятое, праздничное настроение. Радостно звучат голоса. Кок Жора весело рассказывает на камбузе, как он прыгал на парашюте.

— Зачем прыгал? — спросил его пекарь Михаил Забродин. — Поварам ведь это не обязательно?

— Весь СССР парашютизмом занимается. Чем же я хуже других! — деланно-обидчиво заявил Жора.

— Ну, и как? — спросил его Забродин.

— Первый раз прыгнул удачно. Поврешилось. Прыгнул второй раз, повредил малость ногу. И по своей вине. Все сделал, как говорил инструктор, развернулся по ветру, выбрал площадку для приземления, а попал одной ногой в ямку, другой о кочку. Две недели бюллетенил, в больнице лежал. Домой вернулся с тросточкой. Иду, прихрамываю. Жена встречает:

— Жора, милый, что с тобой? Опять компанию водил?

Я скрыл от нее свои прыжки, но пришел товарищ и все выболтал жене. Та попытывается:

— Жора, как же это?

Говорю: моя дорогая, летел, что ангел, упал, что чорт! Она меня даже не заругала. Наоборот, стала ко мне относиться с небывалым уважением. Я теперь каждому коку буду советовать для поправления семейных взаимоотношений непременно прыгать с самолета. Это здорово приподнимает авторитет мужчины.

Ленинградские моряки говорят о предстоящей поездке в Ленинград, дальневосточники — о встрече со своими близкими во Владивостоке. Старший механик «Анадыря» обещал своей жене, что вернется в этом году домой во Владивосток, и бесконечно рад, что сдержал слово. Рад и тому, что в машине «Анадыря» ни одной поломанной части. У Миронова неплохие помощники, и сам он любит свой пароход.

Двадцать второго сентября колонна «Литке» обогнула мыс Дежнев. Сквозной полярный рейс был закончен в одну навигацию, несмотря на рекордно тяжелый ледовый год. Исполнились пророческие слова гениального Ломоносова. Строгая природа не скрыла места входа «с берегов вечерних на восток». Колумб российский прошел между льдами, презирая рок. В одну навигацию сквозным рейсом с одного края Ледовитого океана в другой впервые пробились четырнадцать советских судов.

Поговорка парусных моряков говорит, что на деревянных судах плавали железные люди. Ныне на советских железных кораблях в сквозной полярный рейс ходили люди великой Сталинской эпохи. Только в эту эпоху могла так победно завершиться героическая северная экспедиция.

За рубежом

ЯПОНСКАЯ РАЗВЕДКА

Ал. Хамадаи

1. Система всеобщего шпионажа и доноса

Шпионаж и разведка занимают исключительное место во всех областях японской политики. «Военная разведка, политический и экономический шпионаж предшествуют, готовят почву для осуществления японских захватов на азиатском материке» — пишет известный шанхайский журнал «Чайна Уикли Ревью». Характерно, что почти все книги, написанные иностранными авторами и посвященные современной Японии, прежде всего отмечают «высокую степень развития» шпионажа в Японии и вне ее пределов¹⁾.

Грандиозных размеров достигает шпионаж внутри самой Японии. Шупальцы политической полиции проникают, присасываются к самым различным слоям населения страны. Все области жизни — труд, быт, культура — подчинены полицейскому контролю. В стране господствует система слезки и доноса. В школах поучают детей: сообщайте в полицию все, что вам кажется подозрительным, даже если это касается ваших родителей. Детей поощряют к шпионажу и доносам, рисуя им картины «гибнущей» и «спасенной империи».

¹⁾ См. книгу английского профессора Т. О'Конроя «Японская угроза» и книгу французской журналистки Андре Виолис «Японская империя». Обе книги переведены на русский язык.

Особую ненависть правящие классы Японии культивируют среди населения в отношении иностранцев. Каждый шаг иностранца, живущего в Японии, каждое его слово немедленно становится известным полиции. Дело дошло до того, что, как рассказывает в своей книге Конрой (стр. 69), в одном из полицейских участков Токио было вывешено следующее официальное извещение: «Караберу, Форбс» (караберу означает: «тщательно следи, следуй за каждым движением и наблюдай»). Форбс — бывший американский посол в Японии! Конрой приводит в своей книге выдержку из объявления полицейского управления Токио, в котором указывается: «Полицейские власти Токио охотно будут получать тайные сообщения от граждан». Комментируя это объявление, Конрой отмечает, что оно «означает создание общенациональной системы шпионажа, доноса и полицейского наблюдения» (стр. 23). Известный японский деятель Нитобэ (долгое время занимал пост заместителя генерального секретаря Лиги наций, недавно умер) вынужден был в минуту откровения заявить:

«Нужно пожалеть тот народ, у которого каждый третий человек является шпионом, вымогателем и может грозить и убивать, народ, который может быть обращен в шпионов и террористов, если доносчик получит над ним власть» (Конрой, стр. 201).

Система всеобщего шпионажа и доноса, терроризирующая население страны, возведена в Японии в степень государственного идеала.

В наименьшей мере развиты японский шпионаж и разведка за пределами империи, главным образом в сопредельных странах. Центральными объектами зарубежного шпионажа и разведки являются Китай, США, Англия, Советский Союз. Огромная армия японских шпионов и разведчиков орудует почти во всех странах мира, даже в таких отдаленных от Японии и, казалось бы, не представляющих для нее непосредственного военно-политического интереса, как Иран, Афганистан, Турция, Греция. Шпионы и разведчики действуют в этих странах под самыми разнообразными личинами — дипломаты и парикмахеры, священники и военные атташе, коммерсанты и фотографы.

Руководство шпионажем и разведкой за рубежом в основном сосредоточено в генеральном штабе армии. 2-й отдел генштаба направляет, регулирует и организует всю шпионскую, разведывательную деятельность¹⁾. Функции этого органа не ограничиваются только военной разведкой. Он координирует также политической и экономического шпионаж, организацию заговоров, подготовку кадров для самых «тонких» отраслей своей деятельности. Кроме того, он финансирует и контролирует работу соответствующих гражданских ведомств и так называемых «общественных» организаций. К категории последних принадлежит наиболее крупная и мощная фашистская террористическая организация «Кокурюкай» (в переводе означает «За Амур»), которая широко известна под названием «Черный дракон».

„Черный дракон“

По значению и масштабам своей деятельности эта организация заслуживает более подробной характеристики. Впер-

¹⁾ Здесь необходимо отметить, что руководство военно-морской разведкой сосредоточено в морском генеральном штабе и совершенно не зависит в своих действиях от генштаба армии.

вые «Черный дракон» появился на политической сцене Японии в 1901 году под маркой ура-патриотической, крайней националистической организации, во главе с реакционерами Мицуру Тояма и Риохей Уцуда, связи которых с генштабом уже тогда не вызывали никаких сомнений. «Программа» этой организации преследует цели максимального содействия японским империалистическим захватам на азиатском материке.

Огромную роль «Черный дракон» сыграл в эпоху русско-японской войны, организуя шпионаж, разведку и диверсии в тылах царской армии. В этой связи следует отметить, что небезызвестный эсеровский провокатор Азеф долгое время был агентом «Черного дракона». После русско-японской войны политическое влияние «Черного дракона», его оперативная деятельность достигли огромных размеров. Зарубежная шпионско-диверсионная сеть этой организации, действующей по поручениям и в тесном контакте с генштабом, насчитывает несколько тысяч агентов. Организация располагает специальными курсами, школами, институтами, в которых сосредоточено дело подготовки шпионских кадров.

Школы «Черного дракона» прошли и многие нынешние политические и военные деятели Японии. Бывший японский премьер Коки Хирота начал свою политическую карьеру в качестве рядового агента «Черного дракона» в Корее и Манчжурии, будучи еще студентом, в 1904—1905 гг. Об этом подробно писал журнал «Чайна Уикли Ревью» в 1934 г. Сам Хирота в своих воспоминаниях, опубликованных несколько лет назад в одном из японских журналов, не только подтвердил эти сообщения, но и призывал японскую молодежь следовать его примеру. Арита — бывший министр иностранных дел в кабинете Хирота — прошел точно такую же школу. Огромное большинство японских дипломатов, в том числе Мусякодзи (нынешний посол в Германии) и Ота (бывший посол в Москве) тесно связаны с главой «Черного дракона» Мицуру Тояма.

Внутри страны «Черный дракон» пользуется исключительным влиянием

на весь ход политических событий. Он является родоначальником всех крайне реакционных, военно-фашистских террористических организаций современной Японии, их основным руководящим центром. Глава «Черного дракона» — глубокий старец (около 80 лет) Мицуру Тояма — почти официально именуется японской и иностранной печатью «диктатором за кулисами», «тайным правителем» Японии. Вот его краткая, но весьма выразительная характеристика, данная французским журналом «Ле докуман» (апрель 1936 г.):

«Пора поговорить о Тояма. Его жизнь является цепью неслыханных авантур. Он считает своим идеалом японского национального героя Хидеёси и корсиканца Наполеона. Он вышел на сцену в 1894 г. Он потребовал от правительства объявления войны Китаю. Но, так как это не делалось с быстротой, на которой он настаивал, было совершено покушение на жизнь бывшего тогда премьер-министром Окума. Война началась...

...Он вымогает огромные суммы, используя их для своей организации. Он не считается с тайным советом при императоре, он издевается над полицией, он игнорирует власть, он вызывает беспорядки в Китае, Британской Индии. В Японии он свергает премьеров и министров, назначает своих сторонников. На его счету бесчисленное множество убийств. Его рука чувствуется в военном восстании офицеров в Токио 26 февраля 1936 г., которое явилось ответом на успехи умеренных на парламентских выборах. Тояма, руки которого обгажены кровью, воплощает средневековый дух Японии. Он превратил политические убийства в священную практику. У него видные ученики: знаменитый Того (ныне покойный), бывший премьер Инукай, который был убит по его же приказу, барон Хиранума (ныне председатель тайного совета), звезда которого сейчас поднимается, теперешний премьер Хирота (в феврале 1937 г. вынужден был выйти в отставку. — Ал. Х.), генерал Доиха-

ра — «любимец старца» — и сотни других».

Наиболее тесную связь осуществляет «Черный дракон» с официальными военными органами и офицерскими организациями. Он воспитывает для военного ведомства кадры шпионов, разведчиков, подрывников, террористов. Зарубежная сеть «Черного дракона» настолько переплетается с явной и секретной агентурой японской правительственной военно-политической разведки, что представляется невозможным установить границу и определить «сферы влияния» официальных и неофициальных шпионов. Однако несомненно, что вся зарубежная деятельность «Черного дракона» направляется и финансируется генеральным штабом, куда стекается добытая информация и куда сходятся все нити шпионажа и разведки за рубежом.

Шанхайский журнал «Чайна Уикли Ревью» в специальной статье, озаглавленной «Коки Хирота и японская дипломатия «Черного дракона» (март 1934 года), между прочим указывает на источники финансирования этого японского шпионского центра:

«С момента своего основания, — пишет журнал, — организация «Черного дракона» сконцентрировала всю свою деятельность на том, чтобы добиться аннексии Манчжурии и консолидации японского господства в Китае и на Дальнем Востоке. Полагают, что материальные средства «Черный дракон» получает из специального военно-разведочного секретного фонда. Согласно данным, оглашенным в парламенте, деньги, получаемые из этого фонда, превышают 7 миллионов иен в год. Так как теперешний министр иностранных дел Хирота (до назначения премьер-министром Хирота занимал пост министра иностранных дел. — Ал. Х.) является видным членом «Черного дракона», то надо думать, что эта организация пользуется и секретными фондами министерства иностранных дел, что тоже составит около 2.500 тыс. иен в год. Имеются еще и другие тайные фонды...».

Методы

Японская разведка работает по строго разработанной системе и весьма определенными методами. Как правило, японцы осуществляют широкую вербовку агентов, однако затем для работы отбираются лишь немногие. При наборе агентов для работы в Китае японские разведывательные органы сталкиваются с большими затруднениями, так как только немногие японцы умеют свободно писать, читать и говорить по-китайски, хотя японские и китайские иероглифы одинаковы. Дело в том, что китайская грамматика представляет собой полную противоположность японской. Очень часты случаи, когда японцы (мы имеем в виду весьма небольшую прослойку высокообразованных японцев) умеют читать по-китайски, но не всегда умеют писать. Разговорная китайская речь еще труднее. Китайский язык однокорен, японский же нет; даже китайцы из северных провинций не понимают китайцев из южных провинций.

Принцип подбора шпионов для Китая среди японцев, насколько это можно было проследить по иностранной печати, заключается в следующем. Вербуются те, кто знает китайский язык, страну и ее обычаи; преимущество получают лица, родившиеся в Китае и долго проживавшие там. Вербовка среди китайцев — преимущественно тех, кто учился в Японии или родился в Японии. Расчет в первом случае — большое знание страны, скрадывание акцента в разговорной речи, некоторая ассимиляция, порой позволяющая агенту выдавать себя за китайца, родившегося или жившего в Японии. Во втором случае — длительная обработка во время пребывания китайца в Японии и т. д.

Наряду с этим разведывательные органы весьма охотно принимают на работу японцев — буддийских священников, которые, как правило, хорошо знают китайский язык, знакомы с историей и культурой Китая. Этим агентам весьма помогает глубокое знание буддизма, так как в некоторых провинциях Китая буддийские священники пользуются исключительным влиянием среди населе-

ния. Заслуживает внимания и принцип подбора агентуры для работы в странах Европы и Америки. Непосредственно японцы ведут работу в этих странах в редких случаях. Как правило, их агентура, например, для Англии — либо американцы, либо немцы, либо французы. Конечно, при всем этом предпочтение отдается англичанам. В Америке — американцы, англичане, немцы, французы, итальянцы.

Для шпионской, подрывной, разведывательной работы в СССР вербуются белогвардейцы и подлые троцкисты, согласно «принципу»: максимальное озлобление против советской власти и готовность на предательство интересов народов Советского Союза. Этот «принцип» был широко продемонстрирован на процессе антисоветского троцкистского центра.

В арсенале японских шпионов и разведчиков находятся самые различные средства «работы»: шантаж, подкупы, террор, отравления, грабежи, убийства, взрывы, поджоги, организация крушений поездов и т. д. и т. п. Японская практика в Китае, Англии, США и в других странах дает яркие примеры использования всех этих средств.

2. Японский шпионаж в Британской империи и Соединенных Штатах

Главное внимание, как мы уже это отмечали, разведывательные органы и «Черный дракон» (по существу «Гражданский» сектор 2-го отдела генерального штаба) уделяют шпионажу и подрывной деятельности в США, Китае, Британской империи и Советском Союзе. На службе органов официальной разведки и «Черного дракона» находятся и иностранцы, люди самых различных национальностей и профессий: англичане (например, Требиш-Линкольн, бывший член английского парламента, известный под кличкой «Монах Чжао Кун»), индусы (например, Пратап, известный в качестве «оппозиционного деятеля» Индии), китайцы, американцы, немцы, поляки, русские белогвардейцы и т. д.

Деятельность «Черного дракона» в Индии и других английских колониях

приняла настолько большие размеры, что, как заявляет «Чайна Уикли Ревью», «британское правительство считает в настоящее время более полезным молчать об активности «Черного дракона» в Индии и других восточных владениях Англии, прибегая к иным средствам борьбы».

Но не только в Индии орудуют японские шпионы. В Австралии, Сингапуре, Новой Зеландии и, наконец, в самой Англии щупальцы японской разведки присосались к важнейшим государственным учреждениям. Главным объектом японской разведки в Британской империи являются военно-морской флот и военная промышленность. Токийский морской генеральный штаб регулярно получает не только рапортчики о выполнении тех или иных военно-строительных программ Англии, но и детальнейший обзор состояния различных отраслей военной и судостроительной промышленности.

Японское морское министерство систематически получает точные копии всех секретных документов британского адмиралтейства.

«Подобная информация, — пишет журнал «Чайна Уикли Ревью», — стоит огромных сумм и энергии. Но это факт, что такая информация находится всегда в распоряжении японской разведки, обладающей большой агентурной сетью. «Интеллидженс Сервис» (английская разведка) предпринимает исключительные контрмеры. Несомненно, «Интеллидженс Сервис» располагает не менее важными данными о японских планах...

Поединок между английской и японской разведками носит обостренный характер. Японцы утверждают, что они лучше организовали разведку, заимствуя наиболее ценное из английской и германской систем разведывательной службы... Во всяком случае в Азии японская разведка обгоняет своего английского соперника. В этом помогает ей расовая принадлежность. Как бы англичанин ни старался, ему трудно превратиться в китайца. Японцы же часто очень похожи на китайцев. Японцы и китайцы

принадлежат к одной расе — это большое преимущество для японской разведки. Не менее важную роль играет и знание языка. Изучение китайского языка трудно даже для японцев и почти недоступно англичанам.

...Японская разведка весьма прочно обосновалась в английском Гонконге. Она неотступно следит за Малайским полуостровом, Сингапуром и Индонезией...».

Журнал приводит любопытнейшую выдержку из речи японского вице-адмирала Имамура, прибывшего с официальным визитом в Австралию (английский доминион). На секретном собрании японских резидентов в Сиднее Имамура заявил: «Мы просим вас, наших соотечественников, посвятить всю свою энергию вашей стране, поддерживайте теснейшую связь с вашим консулом, который будет всегда благодарен вам за любую информацию, которую вы сумеете раздобыть и доставить ему».

Комментарии к этому вполне ясному заявлению излишни.



Японский шпионаж в США носит еще более активный характер, нежели в Британской империи. Во всех важнейших пунктах страны находятся официальные и неофициальные японские шпионы, «наблюдатели», «исследователи» и т. п. В свое время иностранная печать отмечала не лишенный интереса факт: на одной из улиц Нью-Йорка большое помещение занимается учреждением, на маленькой вывеске которого написано: «Военное министерство Японии. Исследовательское бюро в Нью-Йорке». Точно такое же бюро содержится в Сан-Франциско (США, Калифорния) военно-морское министерство Японии. Формально эти бюро «изучают» американское народное хозяйство, фактически они являются шпионскими центрами. Иными словами, японский шпионаж и разведка приобрели в США вполне легальные условия для своей деятельности.

В 1936 году в США был раскрыт целый ряд крупных японских шпионских организаций. Объектом шпионажа всех этих организаций являлись американский военно-морской флот, кораблестроительная промышленность и военно-морские базы. Американец Гарри Томсон, бывший морской офицер, подкупленный японскими официальными представителями в США, собирал сведения о состоянии отдельных военных кораблей. Он похищал судовые журналы, сигнальные коды, планы и секретные шифры. Все эти документы передавались им японскому морскому офицеру Миязаки, находившемуся в составе японского посольства в США. После ареста Томсона американскими властями Миязаки тайным образом покинул пределы Соединенных Штатов.

Вскоре после разоблачения Томсона был арестован другой американец, также бывший морской офицер, Джон Фарнсуорс. Из сообщений американской печати выясняется, что Фарнсуорс — шпион более «крупного масштаба», нежели Томсон. Он непосредственно был связан с японским морским атташе в США и его помощниками. Фарнсуорс находился на японской секретной службе в течение нескольких лет. Формула обвинения Фарнсуорса гласит, что он и японские официальные представители «сознательно, незаконно и за деньги вошли в заговор друг с другом и с другими лицами для передачи японскому правительству документов, относящихся к национальной обороне США, в целях причинить ущерб США к выгоде Японии».

Характерно, что в обвинительном заключении по делу Фарнсуорса, вопреки обыкновению, названы полностью имена японских дипломатов, связанных с обвиняемым в шпионаже Фарнсуорсом.

Как сообщает американская печать, Фарнсуорс, используя свои связи в военно-морских кругах США, получил доступ к секретным документам. Ему удалось похитить секретные наставления по тактике морского боя американского флота и передать их японским «дипломатам». Точно таким же путем он раздобыл секретные данные о мощностях ар-

тиллерии на всех кораблях американского флота, о мощностях и состоянии морской авиации и целый ряд других исключительно важных военных данных.

Фарнсуорс — шпион с многолетним опытом, обладающий огромной памятью и большими военными и техническими познаниями. Ему достаточно было, как сообщала иностранная печать, один раз взглянуть на ту или иную конструкцию машины или на чертежи, чтобы затем точно воспроизвести их. Эти качества Фарнсуорса высоко ценились японской разведкой, которая широко эксплуатировала его. Японская разведка при помощи Фарнсуорса постоянно находилась в курсе всех военных тайн США. Это обстоятельство вынудило военно-морские власти США, сейчас же после ареста Фарнсуорса, пересмотреть тактику морского боя, изменить все секретные коды, шифры и т. д.

В феврале 1937 года американская газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» сообщила о раскрытии в Гаванне (остров Куба) японского шпионского центра во главе с японцем Осава. На допросе Осава вынужден был признаться в том, что возглавляемая им группа японских разведчиков занималась «добыванием военно-морских секретных планов США». На квартире у Осава были обнаружены планы военно-морских гаваней Нью-Йорка и Норфолька (штат Вирджиния), американские секретные шифры и подробный план американской военно-морской базы на Кубе — Гуантанамо. Из показаний Осава выясняется, что вместе с ним шпионажем занимались официальные дипломатические представители Японии в США. Рядовые японские шпионы, входившие в группу Осава, выдавали себя за японских крестьян-эмигрантов.

Японские разведчики принимают самые разнообразные личины для того, чтобы обеспечить себе условия для «нормальной деятельности» на территории США. Члены американского конгресса (парламента) Даймонд и Сирович выступили недавно с заявлениями, в которых потребовали от правительства США принять меры против... японских рыболовов. Оказывается, эти

«рыбаки» все свое время посвящают фотографической съемке американского побережья Тихого океана и Аляски, составляют карты, зарисовки и т. д. «Япония, — заявил Даймонд, — знает о береговой линии Аляски и об Алеутских островах столько же, сколько и мы, а возможно, и значительно больше».

Исключительное внимание японская разведка уделяет Панаме. В данном случае Японию не столько интересует Панама, сколько знаменитый Панамский канал. Дело в том, что этот канал дает США возможность, в случае японо-американской войны, в кратчайшие сроки перебросить флот из Атлантического океана в Тихий. Японцы тщательно, самым кропотливым образом создают в зоне Панамского канала такие условия (насаждая разведчиков-диверсантов), чтобы в момент войны немедленно вывести канал из строя. Такая операция, в случае ее удачного выполнения, нанесла бы тяжелый удар США. Последствия такой операции могут оказаться роковыми для тихоокеанской эскадры американского флота, которая осталась бы отрезанной на долгое время от атлантической эскадры США.

Форт Рандольф, как известно, является наиболее важным стратегическим пунктом в системе обороны Панамского канала. Газета «Панама-Америкен» сообщает, что этот форт кишит японскими шпионами под маской скромных парикмахеров и портных. «Эта японская оккупационная армия, — пишет газета, — вооруженная, как может показаться на первый взгляд, бритвами, швейными иглами и рыболовными крючками, вдвое многочисленнее, чем это официально известно. Она в 10 раз подвижнее, чем это может представить себе средний американец. Она достаточно многочисленна, чтобы разрушить канал в течение часа в любую избранную для этого ночь, несмотря на все предосторожности, предпринятые нашими генералами и адмиралами...

И если вы полагаете, — заканчивает газета, — что они не совершат этого перед объявлением войны, то вы сошли с ума!»

Тема Панамского канала широко раз-

вита в японской литературе последних лет. Разрушение этого канала возводится в героическую степень. В некоторых книгах авторы откровенно живописуют о том, как японские шпионы и диверсанты взрывают этот канал в момент начала японо-американской войны, когда атлантическая эскадра США устремилась к нему, торопясь на помощь тихоокеанской эскадре.

3. Китай в сетях японской разведки

Многотысячная разведывательная агентура японского генерального штаба и «Черного дракона» разбросана по Китаю. Японские агенты выступают здесь в виде военных и дипломатических представителей, буддийских монахов, торговцев, контрабандистов, владельцев опиекурилен и т. д. Особенно много в Китае агентов «Черного дракона». Зачастую они находятся на государственной китайской службе. В этом отношении представляет интерес выдержка из японской газеты, которая свидетельствует о связях главы «Черного дракона» Мицуру Тояма в правительственных кругах Китая.

«Мицуру Тояма, — пишет газета «Нироку» от 12 ноября 1936 г., — озабоченный состоянием японо-китайских отношений, решил посетить Нанкин. Тояма имеет специальную связь с руководителями нанкинского правительства с давних времен. Среди теперешнего руководящего состава нанкинского правительства имеется еще много людей, пользующихся покровительством г-на Тояма. Министр иностранных дел Арита (подал в отставку в феврале 1937 г. вместе со всем кабинетом Хирота. — Ал. Х.) и другие выражают г-ну Тояма благодарность и возлагают большие надежды на его работу в Китае».

Среди японских разведчиков следует отметить старого японского агента, белогвардейца атамана Семенова, руководящего всей шпионской и диверсионной деятельностью белогвардейцев в Манчжурии. Во Внутренней Монголии (провинции Чахар, Суйюань) практически шпионаж возглавляет лидер одной из буддий-

ских сект — японец Отани (действует через ламаистское духовенство). Его непосредственный начальник — Ясугуро Садзакки (клички: «белобородый отшельник», «король Монголии») — руководит шпионажем и диверсиями во Внутренней Монголии, провинциях Ганьсу, Нинся, Синьцзяне, Тибете и в других сопредельных странах. Недавно в помощь этому шпионскому «королю» был назначен известный японский разведчик «доктор» Морисима. Этот «доктор» ныне возглавляет японскую военную миссию в Калгане (главный город провинции Чахар).

Во всех без исключения городах Китая находятся японские разведчики. Формально они заняты совершенно невинным делом — фотографы, парикмахеры, монахи, лавочники, содержатели публичных домов, опекурилен. Фактически они тщательно изучают свои районы, собирают информацию, составляют подробные военно-географические карты, фотографируют важнейшие стратегические участки. Более крупная агентура выступает в качестве представителей «культурных» обществ, торговых фирм. Так, например, было в крупном центре Хэнаньской провинции — Чженчжоу. Раскрытая в этом городе в конце 1936 г. японская шпионская организация, подготавливавшая отрыв провинции Хэнань от Китая, прикрывалась вывеской «культурной ассоциации». Как выяснилось затем, эта «культурная ассоциация» собирала сведения о китайской армии, организовала «движение за автономию Хэнаня», подготавливала взрывы мостов, разрушение железных дорог и располагала, наконец, секретной радиостанцией, при помощи которой передавала всю шпионскую информацию в штаб квантунской армии (японская оккупационная армия в Манчжурии).

Там, где не помогают угрозы и подкупы, японские разведчики прибегают к более «сильно действующим средствам». Японская агентура сумела прибрать к своим рукам известного князя Внутренней Монголии Де Вана. Однако дальнейшая вербовка агентов наткнулась на упорное сопротивление группы монгольских князей, не пожелавших доброволь-

но лезть в японское ярмо. Эта группа состояла из князей Со, Эрек Сечена и Шалабу Дорчжи. В момент подготовки японского наступления на Суйюань в октябре 1936 г. внезапно «умирает» Эрек Сечен, затем Шалабу Дорчжи. Незадолго до этого — загадочная смерть князя Со. Суйюаньская газета «Баоу-жибао» сообщает, что эта группа князей была настроена резко антияпонски. Газета добавляет, что князья были отравлены...

Секретный доклад японского разведчика

Перед нами исключительный документ — секретный доклад¹⁾ генерал-майора Мацумуро, представленный им конференции японских военных агентов в Китае, созданной штабом квантунской армии. На конференции, которая состоялась в октябре 1936 года в Чаньчуне (столице Манчжоу Го), участвовали представители токийского генерального штаба.

Для того, чтобы правильно оценить значение этого доклада, необходимо сказать, что представляет собой его автор. Генерал Мацумуро — опытный японский разведчик, большую часть своей жизни уделивший «специальной работе» в странах Дальнего Востока. Проведя много лет на службе 2-го отдела генштаба, он, что вполне естественно, стал «большим знатоком Китая и Монголии», как и аттестует его газета «Джапан Таймс». В 1936 году Мацумуро после длительного «ознакомительного путешествия» по Монголии и Китаю был назначен начальником «специальной службы» (главный орган японской разведки в Китае) штаба квантунской армии. Он заменил на этом посту небезызвестного генерала Доихару. Последнее обстоятельство свидетельствует о той большой роли, которую играет Мацумуро в японской внешней политике.

¹⁾ Американский журнал «Чайна Уикли Ревью», издающийся в Шанхае, опубликовал в номере от 13 февраля 1937 года значительную, наиболее важную часть «Меморандума генерал-майора Мацумуро». Этот документ, как указывает журнал, получил большое распространение в Китае в виде специальной брошюры.

Меморандум генерала Мацумуро целиком посвящен Китаю.

«Совершенно очевидно, — указывает этот разведчик, — что территории, захваченные нами с целью получения сырья, должны быть тесно связаны с нашей империей. Отсюда — оккупация Манчжурии, вслед за мукденским инцидентом (по японской версии — взрыв полотна ЮМЖД возле Мукдена. — Ал. Х.) 1931 года. Если наша манчжуро-монгольская политика вообще что-нибудь означает, то она направлена к тому, чтобы вслед за первой территорией (Манчжурия) захватить вторую (Монголия), исключительное стратегическое значение которой заставляет нас непрерывно действовать в этом направлении.

...В последнее время начата подготовка специальных агентов, которые, однако, неохотно едут в Монголию из-за трудных условий жизни...

Посылкой нашего авангарда разведчиков вглубь Северного Китая мы добиваемся того, что различные про-японские элементы действуют в разных пунктах. Этим самым мы постепенно получаем контроль над всеми военными властями в Северном Китае. Для того, чтобы испытать местных чиновников, мы занимались контрабандой и подкупами...».

Откровенность японского разведчика заслуживает внимания. Он, не маскируясь (опубликование меморандума, конечно, не входило в расчеты Мацумуро), описывает методы, используя которые японцы подготавливают новые агрессивные выступления. Из этой части меморандума Мацумуро становится ясной очередная задача японских империалистов — захват Внутренней Монголии и Северного Китая. В начале своего меморандума Мацумуро усиленно подчеркивает значение этих китайских территорий в качестве крупнейших источников сырья и рынков сбыта. «Население, — указывает Мацумуро, — которое составит основу наших будущих рынков (если мы будем считать провинции Хэбэй, Шаньдун, Шаньси, Чахар, Суйюань, Шэньси и Хэнань), достигает 100 млн человек, т.е. втрое боль-

ше, чем в Манчжурии. Кроме того, Северный Китай является главным поставщиком сырья для всего Китая: уголь, железо, хлопок, нефть и пшеница».

Много внимания Мацумуро уделяет той благоприятной обстановке, в которой орудуют японские шпионы и разведчики в Северном Китае. И, следует отдать ему должное, его замечания соответствуют действительности.

«Нашим подданным, — подчеркивает он, — занимающимся определенной деятельностью (шпионажем. — Ал. Х.) в Северном Китае, редко приходится быть объектами преследований. Китайские чиновники редко протестуют даже по поводу незаконной деятельности наших агентов. Японские консульства почти никогда не получают таких жалоб от китайских властей. Деятельность наших агентов сыграла очень большую роль. Она выявила податливость и неспособность китайских чиновников к сопротивлению, что, однако, вызывает недовольство широких масс. С тех пор как Манчжурия оказалась под нашим контролем, мы прекратили в ней активную деятельность. Но в Северном Китае, где наши агенты действуют гораздо смелее и более беззаочно, чем это было в Манчжурии до мукденского инцидента, дело обстоит иначе. Приток этих агентов из Манчжурии в Северный Китай принесет должный эффект...».

Мацумуро, как это показывает вторая часть его меморандума, прекрасно понимает, что прямой военный захват Северного Китая и Внутренней Монголии (за исключением тех территорий, которые уже контролируются японцами) создаст гигантские затруднения японскому империализму. Дело в том, что безудержная японская агрессия и политика попустительства китайских властей вызвала в стране всенародное антияпонское движение, все более превращающееся в единый национальный фронт борьбы с иностранными поработителями. Опытный разведчик не может не учитывать этот грозный фактор, могущий опрокинуть все японские захватнические планы.

Вот почему Мацумуро предлагает но-

вый подрывной план — предварительную подготовку захвата Северного Китая шпионами, прояпонскими агентами. Он использует уже новые методы агрессии: насыщение всего аппарата власти этой части Китая японскими ставленниками.

Мацумуро без всякого стеснения указывает, что «если Японии нужен предлог для нового вторжения в Китай, то его очень легко найти. Это делает особенно смешным ту необычайную осторожность китайских властей, которые стараются избежать какого-либо оскорбления Японии». Но он же сам отвергает этот, излюбленный японцами, метод захватов. В специальной главе меморандума Мацумуро подробнейшим образом излагает содержание нового курса японской агрессивной политики в Китае.

«Наши задачи в Китае, — читаем в этой главе, — должны руководиться принципом номинального китайского контроля. Основой этого принципа является отказ от оккупации вооруженными силами новых территорий Китая, так как это может вызвать только новые осложнения для нас. Наиболее верный путь — поставить пользующихся влиянием китайцев во главе многочисленных автономных и независимых государств. В первой стадии это обеспечит для нас север и северо-запад Китая... Север и северо-запад Китая, которые образуют внешний барьер для Манчжоу Го, могут служить буферной зоной, имеющей большое военное значение.

Создание таких зон означает, во-первых, предъявление Китаю одного территориального требования за другим. Это должно проводиться до окончательного подавления стремления Китая добиваться возвращения потерянных территорий. Наконец, когда север и северо-запад Китая будут под нашим контролем, мы сможем продвигаться в восточную, центральную и южную части Китая. Это окончательно подчинит нам Китай и постепенно разрушит его национальное правительство. Тогда можно будет создать по

всему Китаю отдельные независимые государства под японским контролем. Эти планы имеют много шансов на успех в Китае. Их можно сформулировать как победа без войны».

Заканчивая эту главу, Мацумуро приходит к следующим практическим выводам.

«Мы должны, — отмечает он, — пользоваться теперь новыми методами в нашей деятельности и добиваться следующих целей: I. Контроль над различными местными правительствами и оказание им помощи в деле подавления антияпонских элементов. II. Строго следить и мешать стремлению к объединению страны, осуществлению планов национальной самообороны, созданию единого антияпонского фронта, а также мешать образованию единого фронта между отдельными группировками, возглавляемыми Фын Юй-сяном, Ян Си-шаном, Чжан Сюэ-ляном и китайской красной армией».

Программа генерала Мацумуро, как это явствует из приведенных нами отрывков, отличается от подобных японских документов целым рядом новых элементов. Японские империалисты не могут не считаться, как мы это уже отмечали, со значительными изменениями, происшедшими в политической обстановке Китая в течение последних двух лет. Новая обстановка вынуждает японцев приспособляться к ней, искать новых форм агрессии, которые облегчили бы им осуществление планов закабаления китайского народа.

Генерал японских разведчиков Доихара

Среди известных современных международных шпионов и разведчиков крупное место, несомненно, занимает японский генерал Кендзи Доихара. Это один из учеников Мицуру Тояма. Звезда Доихары вспыхнула на дальневосточном горизонте несколько необычно. В короткий промежуток времени он сделал «большую карьеру». Еще в 1930 году Доихара был незаметным, сереньким японским майором. Но покровительство Тояма открыло перед ним широкие

перспективы. Первое крупное дело Доихары — организация восстания войск китайского генерала Ши Ю-сяна в Бэйпин-Тяньцзинском районе (Северный Китай). Восстание было подавлено, но Доихара успел зарекомендовать себя способным разведчиком-организатором.

В 1931 году Доихара возглавляет крупнейший центр японской разведки в Манчжурии — харбинскую военную миссию. Одновременно он получает чин подполковника. В сентябре 1931 года Япония начинает вооруженную оккупацию Манчжурии. Доихара появляется в Тяньцзине, «похищает» бесславного потомка последней китайской династии Генри Пу И, привозит его в Манчжурию и объявляет «императором Манчжоу Го». Доихара производится в полковники и назначается начальником японской военной миссии в Мукдене. Начинается лихорадочная работа по формированию «правительства Манчжоу Го», куда входят все завербованные в свое время Доихарой китайские продажные чиновники. Доихара понимает, что в такое правительство следует ввести хотя бы одного популярного в Манчжурии деятеля. Он остановил свой выбор на генерале Ма Чжан-шане, продолжавшем еще оказывать сопротивление японским оккупационным войскам. После длительной обработки генерал Ма получил предложение, как подробно сообщала об этом дальневосточная печать, занять в новом «правительстве» пост военного министра. Одновременно Ма получил 1 миллион иен. Деньги генерал Ма взял, но в правительство не вошел и продолжал борьбу с японскими войсками.

Вот как изображает этот скандальный для японской разведки провал уже цитированный нами журнал «Чайна Уикли Ревью»: «Доихара был сильно скомпрометирован скандалом, разразившимся в связи с попыткой подкупа китайского генерала Ма Чжан-шаня, выступившего против японцев на реке Нюни (в Северной Манчжурии). После поражения, которое потерпел Ма Чжан-шань, Доихара передал генералу один миллион иен с тем, чтобы он перешел на сторону японцев и занял пост военного министра в правительстве Манчжоу Го. Од-

нако, получив деньги, Ма опубликовал заявление, в котором разоблачил японские интриги и заявил о своей преданности Китаю».

Это был первый крупный провал Доихары, которого вслед за этим перебросили в Японию. Однако всеильные покровители не оставили Доихару в «бедѣ». Он получил командование бригадой и чин генерал-майора. Небезынтересно будет отметить то обстоятельство, что Доихара провел зиму со своей бригадой в северных, наиболее холодных, районах Японии. Японская печать, сообщая о переброске этой бригады на север, писала, что «бригада генерал-майора Доихары будет тренироваться в холодных и снежных районах страны для специальной закалки солдат».

Вскоре Доихара вновь появляется в Манчжурии. Но теперь уже в качестве начальника управления «специальной службы» (главная разведка) квантунской армии (японская оккупационная армия в Манчжурии). На новом посту Доихара широко проявляет свои способности — вся японская разведка в Китае, Манчжурии, Тибете, Монголии. Синьцзяне теперь находится под его начальством. Он посещает Северный Китай, и на политической сцене появляются «хэбэй-чахарский политический совет», затем «автономное государство Восточного Хэбэя» его «личного друга» Инь Чжу-гена. Он побывал во Внутренней Монголии, и вскоре князь Де Ван заявил, что «китайское иго больше нетерпимо для монголов».

Между инспекционными поездками генерал Доихара организует отряды диверсантов из русских белогвардейцев, обучает их (он хорошо знает русский язык) и перебрасывает на границы СССР с заданиями взрывать железнодорожные мосты, узловые станции, устраивать крушения поездов, поджигать, убивать и грабить. Он действует еще тоньше, приказывая белобандитам оседать на советской территории на годы и ждать войны, чтобы подрывать тылы. Точно такое же задание выполняли на территории СССР и гнусные троцкистские шпионы-диверсанты, руководимые японским генштабом.

В начале 1936 г. Доихара совершает длительную поездку в Южный Китай. И еще не высохли чернила на его докладной записке в токийский генштаб, как милитаристы Южного Китая начинают генеральскую войну против Нанкина. Он устраивает это для того, чтобы отвлечь внимание от Северного Китая и тем самым облегчить захват его японскими войсками. Однако эта провокация не дала значительных результатов. Вскоре Доихара производится в генерал-лейтенанты и получает командование отдельными частями первой японской дивизии в Токио, а затем назначается командиром 14-й дивизии.

Доихара является крупнейшим и опытейшим японским разведчиком. Иностранная печать называет его «дальневосточным Лоуренсом». Однако несомненно, что Доихара — более крупная фигура, упорный и последовательный поджигатель «большой войны» на азиатском материке. Доихара в течение пяти-шести лет проделал невероятную в условиях империалистической армии карьеру (от майора до генерал-лейтенанта). Достаточно привести такой типичный для японской армии пример: известный военно-фашистский террорист Айдзава, убивший в августе 1935 г. японского генерала Нагата (начальник военного отдела военного министерства), прослужил в армии 25 лет, прежде чем получил чин подполковника!

Доихара создал в Манчжурии большой налаженный аппарат разведки, огромную сеть шпионов и диверсантов. Атаман Семенов, царский генерал Кислицын под руководством учеников Доихары генерала Андо, майора Оноуци, капитана Судзуки обучают в специальной харбинской школе озверелых белогвардейцев диверсионной, подрывной «грамоте». Отряды белобандитов перебрасываются затем японцами на территорию СССР. Так было совсем недавно. Осенью 1936 г. японцы перебросили в СССР банду белогвардейских диверсантов, деятельность которой была пресечена органами НКВД. В ноябре 1936 г. ее судили в Хабаровске. Японские шпионы-белобандиты получили по заслугам, так, как и должны были по-

лучить остервенелые враги народов Советского Союза.

4. Троцкистская агентура японского генерального штаба

Суд над предателями социалистического государства, заклятыми врагами народов СССР, продемонстрировал перед всем миром, что троцкизм есть международная шпионско-диверсантская агентура фашистских генеральных штабов. Показания подсудимых по делу антисоветского троцкистского центра, помимо всего прочего, нарисовали чудовищную картину их гнусной шпионско-разведывательной работы, проделываемой в порядке подготовки Японии к «большой войне». Готовясь к этой войне, японские империалисты, как это показал процесс, делали ставку на троцкистских шпионов, террористов и предателей, подрывавших оборонное могущество СССР изнутри. Гнусные «троцкистские Иуды, продававшие родину за 30 серебрянников, да и то фальшивых» (Вышинский), всячески способствовали тому, чтобы в случае столкновения с империалистической Японией добиться военного поражения СССР.

Не случайна японский генштаб, подбирая кадры шпионов и диверсантов для подрывной работы в СССР, остановил свой выбор на троцкистах. Кто другой, кроме этих трижды предавших и трижды продавших родину троцкистских подлецов, мог стать раболепным холуем японских генералов? Только они, сжигаемые лютой ненавистью к советской власти, могли хладнокровно и расчетливо обречь народы и богатства социалистического государства на поток и разграбление японо-германских империалистов. В своем докладе на пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года товарищ Сталин дал меткую характеристику современному троцкизму. «С о в р е м е н н ы й т р о ц к и з м, — указывает товарищ Сталин, — есть не политическое течение в рабочем классе, а беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, шпионов, убийц, банда

заклятых врагов рабочего класса, действующих по найму у разведывательных органов иностранных государств». (Подчеркнуто нами. — Ал. Х.)

Японский генштаб бросил свою троцкистскую шпионскую агентуру на важнейшие участки народного хозяйства Советского Союза — железнодорожный транспорт и тяжелую промышленность. Разрушению железнодорожного транспорта СССР японская разведка (точно так же, как и германская) придавала исключительное значение. Она исходила при этом из того, что разрыв железнодорожного сообщения между Дальне-Восточным краем и центральными районами СССР резко ослабит боевое питание ОКДВА и тем самым значительно уменьшит мощь сопротивления частей Красной армии японскому налету на советскую территорию. Наряду с этим японская разведка ставила перед своей троцкистской шпионской агентурой и другие задачи. Среди них следует отметить задание организовать еще задолго до начала войны крушения воинских эшелонов, отправляемых на советский Дальний Восток, причём обязательно с человеческими жертвами. Это делалось, прежде всего, для того, чтобы искусственно вызвать деморализацию бойцов Красной армии и населения страны. Еще более гнусные преступления подготавливались троцкистскими бандитами по заданиям токийского генштаба к моменту начала войны. Японо-троцкистские диверсанты замыслили бактериологическую войну в глубоких советских тылах с тем, чтобы вызвать в рядах Красной армии и среди населения страны острозаразные, истребительные эпидемии.

«Князев показал, — отмечает в своей речи государственный обвинитель прокурор Союза ССР тов. Вышинский, — что по соглашению с этим самым господином Х... он давал и выполнял задания на случай войны организовать поджоги воинских складов, пунктов питания, пунктов санитарной обработки войск. Князев подтвердил, что японская разведка особенно резко

ставила вопрос об организации диверсионных актов путем применения бактериологических средств в момент войны с целью заражения острозаразными бактериями поездов под воинские эшелоны, а также пунктов питания и санитарной обработки войск». (Подчеркнуто нами. — Ал. Х.)

Это далеко еще не полный список злодеяний, замышлявшихся против народов Советского Союза японскими империалистами и их троцкистскими наемниками. Японский генштаб пустил в ход свои старые, испытанные методы шпионажа и диверсии. Он не делает никакой принципиальной разницы между обычными шпионами, разведчиками и троцкистами. Да и какая может быть между ними разница? Быть может, лишь в том, что троцкистские бандиты в своей подрывной работе шли еще дальше японских и белогвардейских профессиональных убийц, шпионов и диверсантов. И если обычный шпион мог «подвести» своих хозяев, то троцкисты действовали с собачьей преданностью. «Связь (троцкистов. — Ал. Х.) с японцами, — как показал Князев, — не будет являться индивидуальным актом, а она вытекает из методов борьбы той организации, с которой я связан». Так тесно переплелись интересы троцкизма с интересами иностранных разведок, агрессивных антисоветских сил. Шпионаж, диверсия, убийства из-за угла, холуйское прислужничество перед империалистами в деле колониального закабаления народов СССР — вот во всей своей наготе отвратительная, поганейшая природа троцкизма.

Процесс антисоветского троцкистского центра вскрыл, между прочим, методы, используя которые, японская разведка проникла на территорию СССР и развернула свою «миролюбивую» работу. В 1930 году в СССР была приглашена группа японских специалистов-железнодорожников для технической

консультации. Эта группа «специалистов», осевшая на Казанской жел. дор., по существу, оказалась разведывательной группой японского генштаба. Начальником Казанской железной дороги в то время был Князев, которого токийские «специалисты» и завербовали в первую очередь в агенты японской разведки. Примерно таким же путем был завербован и другой троцкистский выродок — Турок.

Вскоре получив санкцию троцкистского центра, шпионы Лившиц, Князев и Турок вплотную приступили к осуществлению пресловутой «японизации» железных дорог. Они точно выполняли задания «г-на Х...», организовывали крушения воинских эшелонов, разрушали паровозное и вагонное хозяйство СССР. Один только Князев, этот шпионский изувер, непосредственно организовал 13—15 крушений, как он заявил на допросе. В результате этих крушений в течение 1935 и 1936 г. было убито 63 и ранено 154 человека.

Во время одного из крушений, на станции Шумиха, погибло 29 красноармейцев и еще 29 было жестоко искалечено. Подлые троцкистские диверсанты, выполняя приказы своих японских хозяев, стремились нанести удар в спину Красной армии, деморализовать ее бойцов. Одновременно Князев и Лившиц похищают секретнейшие государственные документы и передают их японской разведке. Лившиц при этом цинично заявляет, что он исходил из «интересов поддержания связи с японцами».

Японцы оплачивали эту «связь». Турок и Князев получили за свою кровавую диверсионную работу 35 тысяч рублей. Получали не только они. Представитель японской разведки пресловутый г-н Х... говорил Князеву: «...троцкистская организация ведет сейчас работу в Советском Союзе, пользуясь помощью Японии. Мы взаимно помогаем друг другу, следовательно, то, что мы будем просить от вас, является не чем иным, как ответом на ту помощь, которую мы оказываем троцкистской орга-

низации». (Подчеркнуто нами. — Ал. Х.).

Троцкистские агенты японского генштаба использовали все средства для того, чтобы полнее выполнить задание своих хозяев. Шпион Лившиц подробно рассказывал на суде, как он злобно саботировал снабжение промышленных центров углем, подвергая порче и умышленно задерживая вагонный порожняк. Он с горечью признался, что попытка сорвать весеннюю посевную кампанию, саботируя налив нефти на Северо-Кавказской железной дороге, не удалась благодаря бдительности уполномоченного Совета труда и обороны.

И когда троцкистским бандитам что-либо не удавалось, их весьма своеобразно «подбадривали» японцы. Они все (и японцы, и троцкисты) прибежали к взаимному шантажу и угрозам. Так, японская разведка грозила Князеву разоблачением его троцкистской подрывной работы. И, наоборот, троцкистский бандит Турок, сам будучи японским шпионом и диверсантом, шантажировал Князева, угрожая разоблачить его принадлежность к японской разведке. И вся эта банда вместе трусливо пряталась от ответственности перед трудящимися массами нашей страны за свои злодейские преступления. Они сваливали на ни в чем неповинных людей свою вину за крушения (например, на ученицу-стрелочницу Чудинову, мастера Николаева, машиниста Федорова). Организуя крушения, они всячески стремились оставаться безнаказанными. Князев сам составлял акты о крушениях и составлял их, конечно, так, чтобы он и его банда выходили сухими из воды.

Троцкисты, поставившие перед собой задачу реставрации капитализма в СССР, намеревавшиеся отдать советских рабочих и колхозников в кабалу помещикам и фабрикантам, в то же время распродавали нашу страну налево и направо. Они отдавали германским генералам цветущую Советскую Украину, а японским баронам — Приморье и Приамурье. Глава всей этой предательской банды, Троцкий, вел соответствующие переговоры с германским и

японским правительствами, что подтвердили в своих показаниях почти все обвиняемые. Обер-бандит Троцкий отдавал японо-германским генералам советские территории за то, чтобы они помогли ему свергнуть советскую власть и превратить СССР в гигантскую колонию империалистических держав.

Широко известно, что японские империалисты лелеют планы «мировых завоеваний». Они мечтают о покорении Китая и господстве над всем тихоокеанским бассейном. Но осуществлению этих планов мешает наличие могущественной и в то же время мирной державы — Советского Союза. И троцкисты приходят японцам на помощь. Они говорят им: берите Приморье и Приамурье, захватывайте, закабаляйте Китай. Больше того, они разжигают японо-американскую войну и предлагают японцам то, в чем они ощущают недостаток, — нефть. Они отдают японцам сахалинскую нефть и обещают дальнейшие поставки нефти во время японо-американской войны. Троцкистские выродки, опричники фашизма в антисоветском остервенении отдают империалистам все то, что добыто и завоевано тяжелой борьбой и упорным трудом народов Советского Союза.

У генерала Доихары, как показал процесс антисоветского троцкистского центра, оказались еще и такие агенты, которых не надо было обучать шпионажу, диверсиям и вредительству. Перед судом советского народа стояли матерые троцкисты — шпионы, диверсанты, бандиты. Банда гнусных троцкистских выродков действовала по заданиям японо-германских кровавых обер-шпионов, господ Гимmlера, Доихары и других, всемерно способствуя подготовке антисоветской войны и поражению СССР в этой войне. Подлые изменники расчищали японским баронам и германским фашистским генералам путь к колониальному закабалению народов Советского Союза.

Процесс антисоветского троцкистского центра в Москве показал всему миру подлинных поджигателей новой кровавой бойни и их гнусных троцкистских пособников. На этом процессе было до-

кументально установлено, кто стоял за спиной троцкистских шпионов и диверсантов. И германское, и японское правительства всячески пытались отвертеться от изобличающих их неопровержимых улик. И все же, несмотря на строжайшую цензуру, руководящие органы печати этих стран, одержимые антисоветским бешенством, выболтали то, от чего так тщательно пытались отмежеваться их правительства.

Орган японского министерства иностранных дел «Джапан Таймс» 28 января 1937 г. откровенно писал в передовой статье:

«То, что обе страны, Германия и Япония, естественно, стремятся получить всякую информацию о СССР, могущую иметь военную ценность, должно быть принято как факт. Если бы они не делали этого, то были бы дураками и не выполняли бы своего долга перед государством и страной. Возможность вооруженного столкновения с Советским Союзом когда-то в будущем не может быть с уверенностью исключена, хотя надо надеяться, что этого не произойдет. Поэтому государства, перед которыми стоит такая перспектива, обязаны готовиться всякими возможными путями к обеспечению победы при столкновении. Это — признанный и законный путь деятельности правительств во всех странах». (Подчеркнуто нами. — Ал. Х.)

Из этого положения газета делала тот вывод, что, поскольку дело обстоит таким образом, то «ни Япония, ни Германия не приобретут ничего особенно хорошего от того, если будут обижаться на показания, данные перед Военной коллегией Верховного суда СССР».

Это признание руководящей японской газеты нельзя не оценить по достоинству. Поджигатели войны, прижатые к

стене неумолимыми фактами, подтвердили подлинность этих фактов. Они признали, что троцкистские бандиты действовали по поручению фашистских генеральных штабов Берлина и Токио.

Сессия японского парламента (февраль — март 1937 г.) дала новые высокоавторитетные подтверждения того, что презренная банда троцкистских выродков находилась на службе японского генерального штаба. Известная буржуазная токийская газета «Мияко» поместила в номере от 20 февраля 1937 г. информацию о секретном заседании пленума бюджетной комиссии японской нижней палаты. Как выясняется из этой информации, Асида — депутат парламента от партии сейюкай — обратился к военному министру генералу Сугияма с запросом: «Известна ли армии провозоспособность Сибирской железной дороги?». Сугияма ответил положительно на этот вопрос, отказавшись лишь огласить провозоспособность железной дороги. Вслед за этим Асида спросил военного министра, каким образом ему стало известно о провозоспособности Сибирской железной дороги.

«В России, — ответил генерал Сугияма, — имеются элементы, находящиеся в оппозиции к нынешнему правительству, и именно через них мы и знаем».

Нет необходимости говорить, что номер газеты «Мияко», в котором было помещено это сообщение, конфискован японскими властями. Это только подтверждает правильность сообщения «Мияко». Член японского правительства, один из его фактических руководителей, официально признал в парламенте, что троцкистские контрреволюционеры состояли на службе у японского генерального штаба.

Всему миру хорошо известны те кровавые диверсантские поручения, которые давал японский разведчик «господин Х...» своей троцкистской агентуре: взрывать фабрики, шахты, устраивать крушения воинских эшелонов, заражать

эти эшелоны бактериями и т. д., и т. п. И троцкистская банда точно выполняла эти дьявольские задания японского генштаба.

Генерал Сугияма сделал весьма ценное признание. Какие бы меры теперь ни предпринимали японские власти, это признание станет известным всему трудящемуся человечеству, борющемуся против угрозы новой войны.



Гнусная подрывная атака японогерманских агрессоров и троцкистской шайки убийц и шпионов разбилась о сплоченность народных масс Советского Союза, преданных делу социализма. Чем выше и крепче здание социализма, тем яростнее злоба врагов нашей родины. Вот почему в своем замечательном докладе, сделанном 3 марта 1937 г. на Пленуме ЦК ВКП(б), товарищ Сталин предостерегал всех партийных и непартийных большевиков от самоуспокоенности, от гнилой теории о том, что «большевиков много, а вредителей мало».

«Что троцкистских вредителей, — говорил товарищ Сталин, — поддерживают единицы, а большевиков десятки миллионов людей — это, конечно, верно. Но из этого вовсе не следует, что вредители не могут нанести нашему делу серьезнейший вред. Для того, чтобы напакостить и навредить, для этого вовсе не требуется большое количество людей. Чтобы построить Днепрострой, надо пустить в ход десятки тысяч рабочих. А чтобы его взорвать, для этого требуется может быть несколько десятков человек, не больше. Чтобы выиграть сражение во время войны, для этого может потребоваться несколько корпусов красноармейцев. А для того, чтобы провалить этот выигрыш на фронте, для этого достаточно несколько человек шпионов гденибудь в штабе армии или даже в штабе дивизии, могущих выкрасть оперативный план

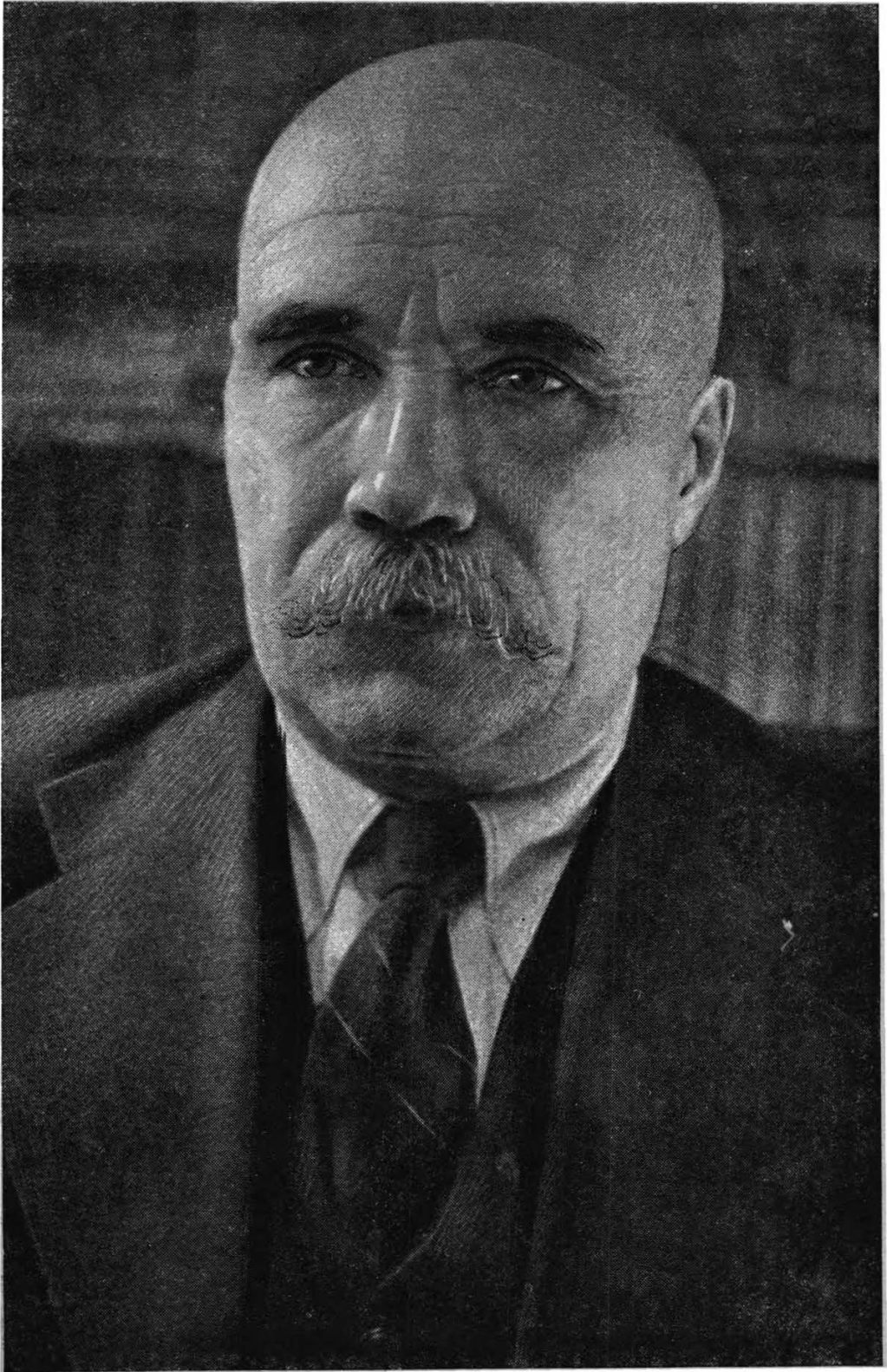
и передать его противнику. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого требуются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько человек. Таких примеров можно было бы привести десятки и сотни».

И, еще, товарищ Сталин отметил:

«Помнить и никогда не забывать, что пока есть капиталистическое окружение, — будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, засылае-

мые в тылы Советского Союза разведывательными органами иностранных государств, помнить об этом и вести борьбу с теми товарищами, которые недооценивают значения факта капиталистического окружения, которые недооценивают силы и значения вредительства».

Эти слова товарища Сталина должны стать нерушимым законом бдительности для всех партийных и непартийных большевиков.



А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ.

Дорогой Алексей Сильч!

Редакция «Нового мира» искренне и горячо приветствует Вас по случаю шестидесятилетия со дня Вашего рождения и тридцатилетия Вашей литературной деятельности.

Совершив за свою жизнь множество морских и океанских рейсов, объездив почти все страны мира, хорошо изучив на собственном опыте жизнь и быт моряков дореволюционной России, Вы создали много ярких реалистических произведений, беспощадно разоблачающих казарменный дух и гнилые устои царского морского флота, возвеличивающих героев из народа.

В своей замечательной и всемирно известной «Цусиме», напечатанной в «Новом мире», Вы ярко и талантливо, в стиле социалистического реализма, изобразили историческую трагедию русско-японской войны, вскрыли социальные причины крушения царизма, показали и возвеличили героев революции. Ваша «Цусима» — это разрушительная торпеда, пущенная в корабль капитализма, в фашистских поджигателей войны. «Цусима» убедительно доказывает всем трудящимся, всем честным солдатам и офицерам капиталистических стран, что уничтожение войны и освобождение человечества от ужасов капитализма возможно только на пути революции, на пути превращения войны империалистической в войну гражданскую.

Горячо желаем Вам, дорогой Алексей Сильч, крепкого здоровья и творческого вдохновения. Желаем Вам новых больших успехов.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».

Литература и искусство

1. В. КРАСИЛЬНИКОВ—Творчество А. С. Новикова-Прибоя. 2. П. РОЖКОВ—„Головоногие человеки“ и „вдохновенные гуси“. 3. Платон КЕШЕЛАВА—Пушкин и Грузия. 4. Б. БРАЙНИНА—Новелла о любви. 5. Х. ХЕРСОНСКИЙ—Фильмы о Пушкине.

1. ТВОРЧЕСТВО А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ

В. Красильников

Глава I

Цусимой пробужденный

В 1903 г. в газете «Кронштадтский вестник» была помещена статья матроса А. Новикова, обращенная к товарищам, с просьбой заниматься самообразованием, идти учиться в воскресные школы. «Статья была длинная, темпераментная» — вспоминает о ней 60-летний автор «Цусимы», сохранивший ко дню юбилея всю неугасимость молодости. Статья шла вразрез со всем режимом матросской службы в царском флоте, где «культработа» сводилась к отстаиванию церковных служб и где баталера Новикова, единственного из 900 человек команды броненосца «Орел» рискнувшего написать пьеску к масляничным дням, старший офицер хотел наказать двумя сутками ареста за «литераторство». В 1906 году появился (в газете «Новое время», куда был направлен без ведома автора) первый очерк Новикова, позднее переработанный в рассказ «Между жизнью и смертью». Литературный стаж автора «Цусимы», таким образом, равен 31 году, но только после Октябрьской революции началась его систематическая писательская работа.



«На литературный путь меня натолкнула биография таких писателей, как Решетников, Кольцов, Суриков, Максим Горький. Ознакомившись с их жизнью, я понял, что можно быть писателем без высшего учебного заведения, и начал мараить бумагу». «Марал бумагу» на первых порах Новиков-Прибой больше всего для товарищей своих — матросов.

По их просьбам он писал письма предметам их любви, обязательно с лирикой и в возвышенном стиле. По существу, эти послания были первыми опытами начинающего писателя. Но по настоящему «окрылила», пробудила в Новикове художника слова цусимская катастрофа. Она снабдила его материалом такой силы, что он мог повторить о себе известные толстовские слова: «Не могу молчать!». В рассказе «Мой первый гонорар» замысел написать «Цусиму» объясняется автором, как долг перед коллективом участ-

ников боя, как долг перед народом. «Друг наш Алеша! — говорили матросы Новикову-Прибою на пирушке, устроенной по случаю и на средства его первого литературного гонорара: — больше пиши! Опиши нашу жизнь, все наши страдания, пусть все знают, как наши товарищи умирали при Цусиме!» Понятно поэтому, почему в

числе первых рассказов автором был написан «Между жизнью и смертью», рассказ о гибели броненосца «Бородино» и о спасении единственного из 900 человек команды, марсового Ющина. Примечательно, что повествованию марсового Ющина предпослана яркая беседа русских пленных с японцами о потерях флотов. Эта беседа, а также стремление рассказчика сделать историю гибели своего броненосца лишь частью общей картины катастрофы, попытки его понять и оценить тактику японцев («такова, стало быть, тактика их была, все, стало быть, переднее судно старались разбить»), говорят о том, что Новиков-Прибой уже в 1906 году пытался ставить вопрос о корнях трагедии около острова Цусимы. Задача художественно рассказать о цусимской катастрофе Новиковым-Прибоем ставилась уже в месяцы пребывания в японском плену¹⁾. При собирании воспоминаний русских пленных, спасшихся участников Цусимского сражения, он интересовался не только фактами, но и тем, что они (сами рассказчики) переживали. Изображению настроений марсового Ющина, как и всей команды броненосца «Бородино», уделено в рассказе «Между жизнью и смертью» очень много внимания. Интересно, что Новиков-Прибой при собирании материала прибегал к тому методу, который применяется и сейчас при собирании материалов для «Истории гражданской войны». В числе помощников автора «Цусимы» было до пятнадцати товарищей, участвовавших в беседах и собиравших воспоминания. «Рукописей у меня накопился целый чемодан» — говорит Новиков-Прибой в автобиографии.

Ответственность за создание «Цусимы», как выполнение долга перед народом, сознавалась Новиковым-Прибоем всю жизнь. После сожжения разъяренной толпой в японском лагере военнопленных чемодана с рукописями он вновь, при первой возможности, приступает к собиранию воспоминаний.

¹⁾ Вспомним, что в дни плавания Новиков-Прибой вел дневник.

Еще в японской тюрьме, спасаясь от гнева своих обманутых товарищей, он «начал восстанавливать погибшие материалы «Цусимы» по памяти. В лагере эта работа продолжалась». Когда Новиков-Прибой возвращается в Россию из японского плена, он «больше всего беспокоится о своем цусимском материале. Вдруг генералы вздумают произвести обыск в наших вагонах (в это время в Сибири свирепствовали карательные отряды генералов Рененкампа и Меллер-Закомельского)». В 1906 г., на основании собранного материала, он приступает к созданию первых работ о Цусимском бое. Это были две небольшие книжечки очерков — «За чужие грехи» и «Безумцы и бесплодные жертвы», изданные книгоиздательством «Оса» в 1907 г. В них матрос А. Затертый (таков был первый псевдоним Новикова-Прибоя) резко бичевал самодержавную систему. «Стоило посмотреть изнанку военноморских дел, чтобы ужаснуться перед позорной картиной страшных злоупотреблений и возмутительных хищений народных богатств. Тут открывалась бездна зла и гнусного разврата, какое-то темное царство». Командование эскадры было изображено в очерках в виде скопища гнуснейших представителей привилегированных классов, «ненавидевших матросов до того, что при одном только созерцании их у них от нахлынувшей злобы багровело лицо, а глаза наливались кровью». Как видим, очерки были написаны неопытной рукой. Автор чаще прибегал к публицистике, чем к художественному показу, но книги таили в себе такой заряд ненависти, что были немедленно изъяты из обращения, а автор был вынужден эмигрировать за границу, оставив «родное детище», т.-е. записи о Цусиме, в надежном убежище у брата в деревне. Возможность работать над материалами была отнята на двадцать лет (см. предисловие к роману).

Цусимская трагедия пробудила в Новикове-Прибое художника. Она дала ему не только материал, она написала его слово любовью и ненавистью,

она заставила его прочесть все, что только было написано русскими и иностранными авторами о Цусимском сражении, чтобы выступить во всеоружии обвинителем помещичье-крепостнической системы, родившей цусимскую катастрофу.

Глава II

Дореволюционные повести и рассказы

Автор этой статьи и вся советская критика без оговорок причисляли Новикова-Прибоя к писателям-маринистам, видели в нем преемника традиций Станюковича. Такая оценка нуждается не только в уточнении, ибо, как увидим ниже, для автора «Цусимы» характерно преодоление традиций Станюковича. Названная оценка нуждается в расширении. Творчество Новикова-Прибоя никогда не замыкалось в рамки только морских тем. Из двух областей российской дореволюционной действительности черпал Новиков-Прибой материал для своих первых рассказов и повестей — из матросской жизни и из жизни деревни. При всей разнородности материала из этих двух областей в нем есть и общее, характерное для всех ранних произведений будущего автора «Цусимы»: о чем бы он ни писал, везде он показывает жизнь в динамике, показывает борьбу.

Первым произведением, открывающим книгу «Морских рассказов» — первый том собрания сочинений Новикова-Прибоя, — является рассказ «По-темному». Он дает все необходимое для определения характерных тенденций дореволюционных произведений Новикова-Прибоя из матросской жизни (рассказ «По-темному» был одобрен в 1910 году М. Горьким и направлен им для напечатания в журнал «Современник»).

Прежде всего, выбор героев, ориентировка на волевой характер революционеров-подпольщиков. В героиню рассказа «По-темному» избрано «существо, потерпевшее крушение от норд-остной бури». В переводе на простой язык это — матрос, участник революции 1905 г., «хорошо известный полиции»

и разыскиваемый ею повсюду. В условиях усиленной слежки, провала товарищей герой не падает духом, упорно ищет просвета, цепляясь за малейшую возможность выхода из затруднительного положения. Не падают духом положительные герои всех ранних произведений Новикова-Прибоя. Пойманные за чтением «крамолы», они ставят в смешное положение фельдфебеля Кривую Рожу, думавшего выслужиться доносом (рассказ «Одобренная крамола»); приговоренные к расстрелу (в рассказе «Бойня»), они призывают расстреливающих повернуть штыки против врага. Их стремления продолжать борьбу, вера в лучшее будущее заставляют их настроения родственными настроениям только одной политической партии — той, которой руководил Ленин.

Что внушает героям Новикова-Прибоя уверенность в лучшем завтрашнем дне, помогает им крепко держаться? — Сочувствие и прямая поддержка масс. Услышав, что Митрича — героя рассказа «По-темному» — хотят вздернуть, кочегар Трофимов, впервые в жизни увидавший его, волнуется за него, как за родного. Он предлагает Митричу ехать по-темному, всю дорогу кочегар и его товарищи оберегают Митрича от Ершова, «подводилы естественной». Больше того. Кочегары собирают всей компанией Митричу денег на первые дни жизни в Лондоне.

Не приходится удивляться крепкой дружбе героев раннего Новикова-Прибоя с трудовой массой. Ведь эти герои, как и их создатель, — плоть от плоти трудовой массы, ее актив, раньше других прошедший школу политической борьбы. Матросы Новикова-Прибоя прежде всего большие люди, с трогательной отзывчивостью к чужим страданиям и горестям. В рассказе «Попался» матрос второй статьи Круглов подкармливает (из нищенского жалованья) старушку-булочницу. Она ходила в экипаж торговать, а теперь занемогла и лежит одна. В рассказе «Подарок» боцман Груздев, «мужчина здоровый, жилистый, точно скручен-

ный из стального троса», выпросив у старшего офицера подкинутого на судно ребенка, не может налюбоваться на него и, урча, точно довольный медведь, обещает новоявленному своему сыну славную морскую карьеру. Острые на язык, падкие на соленую шутку, герои Новикова-Прибоя проявляют трогательную заботливость друг о друге.

Ставя борьбу в центре изображения матросской жизни, Новиков-Прибой выступает в ранних рассказах разоблачителем «типичных обстоятельств» царской России. Отдельные сцены дают яркое представление о старой казарме, методах «учебы» матросов, отношениях начальства к ним. Вот один яркий штрих из рассказа «Словесность»: «На этот раз инструктор Храпов особенно казался нам злым. Дело в том, что утром, понадеявшись друг на друга, никто из новобранцев не принес ему чаю. Это его взорвало. Желая нас наказать, он приказал привязать к чайнику длинный шнур, и мы все, сорок человек, уцепившись за него, отправились на кухню за чаем». Если советская литература имеет сейчас солидный ассортимент подобных картин прошлого, то в дореволюционной обстановке лишь «Поединок» Куприна выполнял — и то мимоходом — функцию правдивого показа солдатчины. Но Куприну солдат Хлебников был нужен для поручика Ромашова, для выявления мучительных переживаний мыслящего представителя офицерской касты. Новикова-Прибоя прежде всего волнуют переживания самих матросов, принужденных стоять во время уроков словесности «на морских шкафиках, выкрикивая, по приказу унтера:

— Я дурак второй статьи, я — дурак первой статьи, я — глуп, как пробка».

Кроме матросских рассказов, в 1912 году при непосредственном руководстве со стороны М. Горького¹⁾ Новиков-Прибой написал две повести

из крестьянской жизни: «Порченый» и «Лишний». Деревня в острых социальных конфликтах: черносотенцы, нажившиеся на еврейских погромах, революционно настроенная беднота, — все это вышукло обрисовано в повести «Порченый». Уже одно появление унтера Петра Колдобина настораживает. «На круглом с заплывшими черными глазами лице густо распушились большие усы, а от них, вплоть до висков, простирались кудрявые бакенбарды. Заметив выбегавших из избы людей, он задрал кверху голову, удивленно посмотрел на них и, точно маршируя, двинулся навстречу». Каждая новая сцена вплетает в образ царского унтера отталкивающие черты. Автор как будто не вмешивается в трагедию, развертывающуюся в крестьянской семье, он не употребляет страшных слов, но от замечания: «раза два он прошелся перед пастухом, поплевал в кулак и, нацелившись, размахнулся», от сцены издевательств над женой и ребенком — по-настоящему жутко. В повести «Лишний» изображена трагедия русского воина, геройски защищавшего «престол, царя и отечество» и оказавшегося инвалидом, лишним для всех, включая и родную семью. В дореволюционных рассказах и повестях Новикова-Прибоя налицо колоритный народный язык героев, интересное развитие сюжета (особенно в повести «Лишний»), но язык автора, особенно в описаниях, часто протоколен, образы героев недостаточно глубоки. Показательно, что по сравнению с рассказами 1906 — 1910 гг. крестьянские повести Новикова-Прибоя, связанные с писательской учебой у М. Горького, обнаруживают значительный шаг вперед.

Глава III

Послеоктябрьское творчество

После Октябрьской революции творчество Новикова-Прибоя развертывается в двух основных планах, намеченных еще в дореволюционных произведениях. Повести «Море зовет», «Женщина в море», «Подводники», «Коммунист в походе» и др. углубляют тенденции «Мор-

¹⁾ С мая 1912 г. до мая 1913 г. Новиков-Прибой по приглашению М. Горького жил на Капри.

ских рассказов». Рассказы «Вековая тяжба» и «Зуб за зуб», являясь как бы развитием повестей «Порченный» и «Лишний», повествуют о деревне, пробужденной Октябрьской революцией. Годы социалистического строительства, борьба за кадры, рост нового человека обогатили творчество Новикова-Прибоя третьим планом — темой о перековке людей (рассказ «В бухте Отрада», повесть «Ухабы», роман «Соленая купель»).

Для послеоктябрьских морских повестей Новикова-Прибоя характерно изображение волевых передовых матросов в условиях империалистической и гражданской войн, в обстановке социалистического строительства. Герои с их мыслями и чувствами поставлены в тесную взаимосвязь с коллективом. Это усиливает реалистическую силу образов, помогает читателю четче осознать значение их революционной борьбы с самодержавием и борьбы за советский флот в годы социалистической стройки. В героях послеоктябрьских морских повестей автор подчеркивает революционную романтику души, мысли и чувства больших, душевных людей. Углубление характеров, создание более широкого фона — таков шаг, и значительный шаг, вперед художника в морских повестях по сравнению с морскими рассказами. Наиболее значительны из послеоктябрьских морских повестей «Подводники», «Коммунист в походе» и «Ералашный рейс». Изображая впервые в мировой литературе быт и работу экипажа подводной лодки, — людей, лишенных солнца (во время плавания), — писатель создал самую солнечную, пронизанную любовью к жизни книгу. Солнце как бы переселилось в экипаж «Мурены», — таким концентратом бодрости, веселья и неослабеваемой активности изображены представители экипажа, в частности герой-рассказчик. На практике империалистической войны (в которой участвует «Мурена») экипаж убедился, что «для власти (капиталистической) человек — пустяк: новые люди народятся по очень дешевой цене». От этого любовь матросов к жизни, к борьбе за подлинное челове-

ское счастье усилилась. В «Подводниках» особенно убедительно показано, как происходил рост политического сознания матросов в царском флоте. Нобранцам из деревни старшие, у которых «широкие ладони, с острыми пальцами в заросших шрамах, с избитыми кривыми ногтями», разъясняют, почему «у многих крестьян нет никакой скотины, кроме вшей». Один из таких старших, резких критиков самодержавной системы, воплощен в интересном образе радиотелеграфиста Зобова. Зобов умеет на типичных примерах матросской жизни вскрыть противоречия помещичье-буржуазного общества. У Зобова, если хотите, можно прямо поучиться искусству политической пропаганды.

«Коммунист» в походе» — повесть о героизме советских моряков, попавших в крыло циклона на Северном море. «Коммунист» изнемогал. Дифферент на нос увеличился. В буржке волны гуляют, разломали все перегородки». Многие молодые за ночь стали седыми стариками, но... все-таки «Коммунист», сильно израненный, медленно вошел в Кильский канал. В порту команда узнала, что во время урагана погибло три парохода и два парусника. В повести изображен героизм целого коллектива без различия палуб. И героизм показан будничным, всегдашним. «Одного матроса забило в штурмовой полупортик — он удержался чудом, ухватившись за пожарный водопровод, а все туловище болталось у него за бортом. Его вытащили товарищи. «Буря — это тебе, брат, не тетка родная. Тут гляди в оба!» Матросы покашляли, освобождая легкие от горечи и соли, и снова взялись заканчивать свою работу». Как это все просто: «покашляли» — и снова за дело.

«Ералашный рейс» — повесть о героизме и о трусости, об энтузиастах, преодолевающих трудности, и о людях-крысах, покидающих корабль, как только появилась течь. Машинист Самохин, бывший командиром матросского отряда в годы гражданской войны, «всыпавший кое-кому столько перцу, что небо с овчинку показалось», представлен попавшим в безвыходное поло-

жение: он остался на судне, севшем на подводные камни, — один в полном смысле слова. Все, в том числе и капитан, сбежали... Показательна мотивировка Самохина — он остался потому, что «не было команды». И вот, переждав бурю, он ведет судно в порт, совмещая

в себе капитана, машиниста и рулевого, и приводит его. В истории победы Самохина нет ни тени натяжки, победа обеспечена твердой волей, страстной любовью к своему делу и совершенным овладением техникой — качествами, без которых немислим образ нового человека. Поведение капитана Огрызкина, «любившего ковырять в своих пожелтевших зубах спичкой, потом старательно нюхавшего ее», представляет, наоборот, типичную иллюстрацию бюрократического отношения к делу. «Огрызкин не любит моря» — вот причина резкого осуждения капитана автором, в Огрызкине Новиков-Прибой совершенно справедливо увидел типичное перерождение капиталистического общества и зло поиздевался над ним.

Для изображения волевого характера в морских повестях Новиков-Прибой выработал определенную манеру портретной живописи: «По палубе, от носа до кормы, прогуливался человек средних лет в черном суконном бушлате, в черных брюках. Это был шкипер баржи... Высокая, стройная фигура, крутая грудь, загорелое лицо с тяжелыми челюстями. В походке его было что-то твердое и упрямое, что бывает у людей, чрезвычайно уверенных в себе» (повесть «Ералашный рейс»). «На минуту мое внимание задерживает матрос, подметающий палубу. Это Джим Гарритон, нанявшийся вместе с нами на судно, человек старый, изломанный, с морщинистым лицом, заросшим колючими, как жнитво, волосами. Только из-под густых бровей, поблескивая, молодо смотрят ястребиные глаза» (повесть «Море зовет»). Награжденный упрямой походкой или «ястребиными глазами» герой упрямой походкой проходит через страницы повести, его поведение почти всегда до конца соответствует внешнему облику. Это не значит, конечно, что писатель создает схемати-

ческого, лакированного человека. Нет, мелочи и разносторонние черты, неснижающие социального смысла образа, он показывает, но с таким расчетом, чтобы они не могли заслонить основного содержания характера.

Женские образы обычно играют служебную роль в произведениях Новикова-ПрибоЯ, и отсюда поверхностность их обрисовки, подчеркивание «капризности и таинственности». Герой повестей Новикова-ПрибоЯ знает женщин, главным образом, по минутным встречам на берегу, по мимолетным свиданиям сегодня, редко повторяющимся завтра. В результате создается образ какой-то стандартной особы, «ростом среднего калибра, но проворной, как мадагаскарская ящерица, в голубом платье, с ярко цветистым шелковым шарфом на шее» Она может счастливо процветать под любым небом — солнечной Италии (рассказ «Под южным небом»), хмурой Англии («Море зовет») или России («Подводники»). К ней нужно смело подкатиться с правого траверса, отбарабанить по-матросски: «позвольте покрейсировать вместе с вами!», и пусть она итальянка, синьора Тереза, а вы владимирец, рулевой Петрован Силкин, Тереза понимает комплименты Петрована: «Ты сияешь, как это море. Если бы ты только открыла для меня люк своего сердца, я бы сгорел от счастья». Амалии, Терезы, Полины в повестях Новикова-ПрибоЯ похожи друг на друга, они играют служебную роль. Но стоило буфетнице Тане стать «женщиной в море», т.е. отправиться с матросами в плаванье, и оказалось, что не «капризность и таинственность», а любовь к делу и подлинная культурность — вот существенные черты женщины в изображении Новикова-ПрибоЯ.

Прислушаемся к языку героев морских повестей, он оправдывает наше внимание. Только наследники дядей Митяев и Минаев, приклеивших к Плюшкину прозвище «Заплатанный», могут обозначить человека «Ходячим дузырем», «Порченым», «Шалым», «Босым черепом» или «Камбузым тюленем». Долголетний стаж матросов делает обычной такую узорную речь: «Пра-

вильно, норд-ост вам в спину»; «Темно, как в брюхе акулы»; «Хорошая книга — вентиляция для мозга»; «Гулять под ручку с такой королевой — да тут сердце от счастья может лопнуть, как цистерна от воды». Рядом с обогащением литературного языка профессионально-производственной речью матроса следует отметить наличие крестьянских сравнений: «Подул норд-вест, порывистый, как молодой жеребенок», «Сердце хотело женской ласки, как пересохшая земля теплого дождика»; «Не для того я из армии убежал, чтобы прятаться, как налим под камнем».



В цикле рассказов о деревне выделяется «Зуб за зуб» — рассказ о партизанском движении в сибирской деревне. При всем обилии художественного материала на эту тему Новиков-Прибой нашел новые детали прежде всего для пригвождения к позорному столбу колчаковских исполнителей воли Антанты. Рассказ вводит читателя в атмосферу героической борьбы сибирских партизан с колчаковцами, дает яркий образ руководителя отряда, прозванного Отпетым, потому что его поп отпел живого по приказу капитана Прибылева.

В произведениях, затрагивающих тему перековки людей, Новиков-Прибой смело ставит и разрешает вопрос о влиянии труда и трудовой среды. Искренно верующего миссионера Лутатини он превращает в безбожника (роман «Соленая купель»), капитана первого ранга, командира линкора дореволюционного русского флота, делает советским специалистом (повесть «Ухабы»). В правдивость перестройки бывших людей веришь до конца, ибо найдены такие характерные подробности, которые весь процесс душевной ломки художественно оправдывают. Гуманизм матросов, их любовь к своему человеку — вот что в изображении Новикова-Прибоя перевооружает сознание Лутатини и капитана первого ранга. Лутатини видел, что «старый повар, этот пустой и смешной человек, урывал от

офицерского стола лучшие куски и посылал их больному китайцу». В особенности Лутатини был ошеломлен, когда узнал, что первым бросился за ним в океан его недруг, угольщик Вранер. Учась у матросов любви к своим товарищам, Лутатини и капитан учатся и ненависти к представителям помещичье-буржуазной власти, для которой человек — пустяк.

В романе «Соленая купель» Новиков-Прибой подошел вплотную к изображению матросской жизни в империалистических странах. Эта жизнь является такой же гнусной, как и жизнь русского матроса в царском флоте. Правда, цепи, которыми прикованы моряки к торговым иностранным судам, выглядят «культурнее» кандалов русской плувучей тюрьмы. Называются они «контрактом», «неустойкой», «штрафом», но что толку из названия, если контракт, подсунутый пьяному матросу шанхаером, становится документом, защищаемым правительственной властью! В отношениях офицеров к матросам также нет главного — человечности. Эксплоатация — юридически в меру контракта — превращается в эксплуатацию в меру возможностей эксплуатируемого. Поэтому среди иностранных матросов Новиков-Прибой нашел и без натяжки изобразил людей, близких героям дореволюционных своих морских рассказов — «По-темному», «Одобренная крамола», «Бойня».

Глава IV

„Цусима“

Первое издание первой книги «Цусимы» вышло в 1932 г. И хотя после этого «Цусима» переиздавалась десятки раз, она еще не вполне закончена автором. В журнале «Знамя» (книга 7-я за 1936 г.) опубликована глава «Адмиральский вестовой»¹⁾, включаемая в новое издание 1937 г. Подготовлена к печати еще глава о судьбе команды крейсера «Измурд», превратившейся по

¹⁾ Очень важная глава для понимания психологии Рождественского.

приказу командования в погонщиков скота для сухопутной русской армии. Можно без преувеличения сказать, что «Цусима» стала делом всей жизни Новикова-Прибоя.

«Цусима» прежде всего представляет образец монументального, исторически правдивого, глубоко эмоционального повествования. Она — результат собственных воспоминаний Новикова-Прибоя и воспоминаний товарищей, результат огромного труда автора над материалом архивов, над художественной и научной литературой о русско-японской войне. Наконец, и в этом главное, «Цусима» — результат марксистско-ленинской разработки материала художником слова. Совершенное овладение материалом дало возможность ему выбрать такие факты, стороны и детали, которые в подлинном смысле слова дают убийственную характеристику самодержавной системы и ее представителей, в первую очередь адмирала Рожественского.

В подходе к историческому материалу, в отборе фактов Новиков-Прибой показал в «Цусиме» высокое мастерство социалистического реалиста. «Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия» — писал В. И. Ленин в статье «Разгром» (Собр. соч., 3-е изд., том VII, стр. 336). Эта ленинская оценка, взятая эпиграфом ко второй части книги, направляла мысль художника. Исторические частности негодной постановки военно-морской службы, сцены самодурства и хамского угнетения матросов выросли на страницах «Цусимы» в символические образы всей самодержавной России — колосса на глиняных ногах. Вот один из примеров: броненосец «Орел», перегруженный, не может выйти из родных русских вод, и командующий Балтийским флотом, адмирал Бирлев, отдал распоряжение: «Выв-ызвать ком-ман-ду и пр-аскачать судно». Могли ли четыреста человек раскачать броненосец, весивший не менее 15.000 тонн? — комментирует адмиральское распоряжение автор «Цусимы». «Это было так же нелепо, как если бы четыреста тараканов вздумали раска-

чать корыто, наполненное бельем и водой». В «Цусиме» много таких примеров, свидетельствующих о полной непригодности «боевых» царских адмиралов, кстати, никогда ни в каких сражениях не участвовавших, плодивших в эскадре подхалимов и трусов, не обдумавших ни одной мелочи многомесячного плавания эскадры, поставивших русский флот, как хорошую мишень, под японские снаряды. Слишком много таких примеров, можно бы сказать, если бы не изображалась царская Россия. Отсюда огромное значение «Цусимы». Про нее с полным правом можно говорить, что она вводит читателя в эпоху, знакомя его со старой казармой, с «культработой» в царском флоте, с «традициями» адмиралов, классовым составом офицерства и т. д., и т. п. В качестве художественного произведения, правдиво показывающего существенные стороны самодержавной России, «Цусима» принадлежит к разряду произведений, которые дают для понимания эпохи больше, чем многие исторические и экономические исследования.

Новиков-Прибой написал «Цусиму» от первого лица, сделав себя одним из героев. «Несмотря на обильный материал, книга была бы написана по-другому, если бы я сам не пережил Цусиму и не испытал всех ужасов этой беспримерной трагедии». В этих словах предисловия убедительная мотивировка мемуарного построения. Поэтому нам кажется бесплодной дискуссия, которая велась в советской критике (в ней приняла участие, как увидим позднее, и английская печать), о жанре «Цусимы». Нельзя не видеть, что мемуарность произведения усилила убедительность книги, повысила ее эмоциональную напряженность. Советский читатель именно потому, что он имеет дело с баталером Новиковым, политическим, переведенным с крейсера «Минин» на броненосец «Орел» (под японские пули), особенно глубоко переживает вместе с рассказчиком трагедию плавания и боя.

В изображении сражения, в характеристике каждого русского судна Новиков-Прибой обнаруживает мастерство в

развитии сюжета. По справедливому замечанию английской газеты «Бирмингем пост»: «Несмотря на разнородный материал и перенесение действия с корабля на корабль, книга остается единым целым». Многие исторические детали плавания, в особенности картины и детали боя, подняты на высоту символически разоблачающей художественной правды. Таков эпизод с матросом, цепляющимся за свинцовый гроб с телом контр-адмирала Фалькерзама. Такова сцена гибели крейсера «Владимир Мономах», уходящего «в глубину сияющего моря под пенные петухов», любовно разводившихся его командиром и погубивших корабль (во время сражения из-за шума крыльев и гомона птичьих голосов нельзя было разобрать ни одной команды).

Одной из самых важных сторон «Цусимы», как художественного произведения, является правдивая обрисовка людей как нижней палубы, так и верхней. В изображении матросских чаяний и настроений, их растущего недоверия к самодержавию и ненависти к офицерству, в обрисовке героической борьбы с японцами автор «Цусимы» — подлинный и большой психолог. Он нашел яркие краски для закрепления в слове той гаммы чувств, которая, начиная с гуальского инцидента, владела сознанием большинства матросов и привела к политическому их прозрению. В сценах недовольства (на броненосце «Орел») матросская масса — грозная сила, она еще — «фронт, но уже представляющий беспорядочную ломаную линию», когда «резкий и смелый призыв одного из матросов к расправе может бросить всех остальных в круговорот событий».

В первых изданиях Новиков-Прибой не объяснял, почему такого человека не нашлось. В издании 1935 года (Гослитиздат) все поставлено на историческое место. Оказывается, вопрос о восстании на эскадре обсуждался группой подпольщиков, среди которых был и баталер Новиков, но решили поднять восстание по приходе во Владивосток, после сговоренности с сухопутными войсками.

Новиков-Прибой нашел правдивое

объяснение тому на первый взгляд странному факту, что, несмотря на едва не разорвавшийся заряд ненависти к офицерам, многие матросы сражались и умирали героями. «Осколками снаряда был тяжело ранен штатный сигнальщик, латыш Визуль. Он хотел было бежать на перевязку, но кто-то из офицеров приказал ему сообщить сигналом о смерти командира. И молчаливый Визуль, зная, что никто из матросов не может этого выполнить, бросился к ящику с флагами и начал их набирать. В ноге у него глубоко засел горячий осколок, на одной руке не доставало пальца, на другой была пробита ладонь. Боль заставила его стиснуть зубы, искривила лицо, на фалах, при помощи которых он поднял флаги к реемачты, остались следы крови. Однако задание было выполнено, и лишь после этого он, бледный, шатаясь и хромя, направился к фельдшеру». Визуль не объясняет, отчего выполнение задания было для него важнее жизни, он — «молчалив». Но текст Новикова-Прибой делает ясным, что героизм Визуля и многих других матросов опирается на любовь к товарищам, к народу.

Упрек автору «Цусимы» в отсутствии ярких образов революционных моряков нужно признать справедливым с известными ограничениями. Развернутость образа инженера Васильева не может быть опровергнута. А ведь Васильев — тоже моряк. Нужно признать слабость образов революционных матросов. Например, явно не дорисован машинист Цунаев, прозванный «чугунным человеком». Он спрашивал разрешения у баталера Новикова кинуть бомбу в кают-компанию на броненосце «Орел». Его готовность действовать показывает сложившийся героический характер, но, очевидно, Новиков-Прибой не имел в руках материала для того, чтобы развернуть образ Цунаева. В «Цусиме» дан целый ряд тепло очерченных фигур политически прозревающих матросов. Такими Бакланов, Воеводин, Вася Дрозд и др., вышедшие из цусимской катастрофы сознательными революционерами (исключая Васи Дрозда, убитого во время боя).

В обрисовке образов Рождественского и Бирилева Новиков-Прибой обнаружил мастерство вдумчивого художника. Он сумел придать историческим фигурам всю силу типичных характеров, порожденных помещичье-крепостнической системой. Лакейство Рождественского — одна из пружин,двигающих придворной жизнью царской России. Рыскание Бирилева за звездами, для которых у него уже не хватало места на груди, — это явление той же науки «прислуживаться», которой учил Фамусов в 20-х годах XIX века. Овладев в совершенстве искусством хамить по отношению к низшим и одновременно «сгибаться в перегиб» перед высшими, Рождественский и Бирилев прекрасно «передают свой опыт» подчиненным. Сколько их, способных учеников, пригвождено к позорному столбу автором «Цусимы»! Старший офицер Курош, лейтенант Вредный, мичман Воробейчик! И, главное, ученики — такие же трусы, как и учитель адмирал Рождественский. «Мичман Воробейчик получил рану в мякоть ноги. Он сел на палубу и, перекосив нежное, как у девушки, лицо, завопил: носильщики! Прибежали два матроса и уложили его на носилки. Он все время стонал и говорил, что сейчас умрет. Его торопливо понесли на перевязочный пункт. Но когда приблизились к люку и начали спускаться с верхней палубы по трапу, разорвался снаряд. Один из носильщиков был убит, другой — тяжело ранен. Мичман Воробейчик вскочил и теперь уже без посторонней помощи, дико взвизгивая, помчался вниз судна. На пути он столкнулся с писарем Егоровым, чуть не сшиб его с ног и полетел дальше. Метался он и в операционном пункте, топча тяжело раненых, пока его не схватили санитары. Опускаясь на палубу, он заскулил: ой, умираю!».

Инженера Васильева, стоявшего во главе группы подпольщиков, пропагандировавших революционные идеи, Новиков-Прибой не только показал, но и объяснил. Он связал его с тем новым офицерством, вышедшим из трудящейся интеллигенции, которое в силу услож-

нения военной техники набиралось в военный флот из технических учебных заведений. Принятое в штывки офицерами-белоподкладочниками, это новое офицерство поневоле обращало свои взоры в сторону матросов. Автор «Цусимы» показал и правдиво объяснил также героизм тех немногих командиров и офицеров, которые действительно — кто исходя из присяги, кто из ненависти к врагу, а кто из поэмы — действительно храбро сражались с японцами.

Хочется еще сказать об одной стороне «Цусимы», о которой не писали. «Цусима» — не только книга о морском сражении, где погибло свыше 5 тысяч русских, она — и книга путешествий. Читатель бродит вместе с матросами «по узким переулкам туземного поселения, между бамбуковых хижин, построенных на сваях высотой в 1—2 метра». Вместе с баталером Новиковым он насыщает свою любознательность пейзажами острова Мадагаскара, сценами из жизни сакалавов, индусов и т. д. Горячим сочувствием к эксплуатируемым туземцам насыщены эти сцены. Матросы едва не набросились на мичмана Воробейчика, когда по его вине чуть не погиб черномазый мальчишка, бросившийся за серебряным франком в море. Читатель «Цусимы» ошутимо видит море и незабываемые пейзажи. «На минуту мое внимание привлек обрезок луны. Он был похож на золотой козырек. Из-под него, внося смутное беспокойство, смотрела на нас звезда, словно сверкающий зрачок в дрожащих, паутинно-тонких ресницах».

Глава V

Английская и американская печать о «Цусиме» Новикова-ПрибоЯ

28 июля 1936 г. в Лондоне в издательстве «George Allen Unvin Ltd» вышла «Цусима» Новикова-ПрибоЯ в переводе Eden и Cedar Paul.

Без преувеличения можно утверждать, что появление романа явилось событием в культурной жизни Англии. Еще задолго до выхода из печати книга анон-

сировалась в газетной прессе; лишь только она вышла — о ней стали писать и пишут почти все английские газеты, как центральные, так и местные.

Отметим прежде всего добросовестность английской критики. За исключением отзывов, опубликованных в «Йоркшайр пост» и «Арми энд нэйви газет», бесцеремонная резкость которых почерпнута из мутных антисоветских источников и о которых мы будем говорить ниже, все статьи проникнуты уважением к работе автора «Цусимы».

«Книга, как оказывается, лежала в виде рукописи лет двадцать; во многих отношениях она отличается свежестью и прямою, доказывающими, что она была, очевидно, написана еще тогда, когда все это было еще свежо в памяти автора» — так воздала должное искренности и исторической правдивости романа Новикова-Прибоя «Ливерпуль пост» (19/VIII — 36 г.). Газета «Дейли уоркер» (29/VI — 36 г.) дополнила: «Цусима» — весьма точный отчет о битве, основанный на пережитом самим автором, на рассказах матросов других судов флота, на официальных версиях Японии и России и на архивах русского адмиралтейства». К этому отзыву присоединился и такой военно-морской специалист Англии, как вице-адмирал Усборн, в «Сандлей таймс» (от 23/VIII — 36 г.); «Цусиму» он назвал «единственным в своем роде о том, проливающим свет на личность офицеров и матросов».

Особенно ценно, что добросовестность не изменила и тем английским критикам, которые спешат предупредить о своем несочувствии «крайне левым убеждениям» автора. Некоторые из них пытаются сделать скидку на политические взгляды Новикова-Прибоя, которые «заставили его несколько преувеличить царящий повсюду беспорядок», но, — вынуждены добавить они, — «нарисованная автором картина носит на себе отпечаток действительности» (Литературное приложение к «Таймс» от 1/VIII—36 г.).

Наиболее интересна в этом отношении статья, помещенная 4 сентября 1936 г.

в «Нортерн уиг»: «Политические симпатии автора на стороне революции, а его переживания во флоте еще более укрепили его приверженность к крайне-левым убеждениям. Учитывая то, что он видел, слышал и пережил в пути и в бою, удивляться не приходится. Одной истории Балтийского флота¹⁾ достаточно, чтобы вынести приговор царскому режиму». То же утверждает и «Нортерн эхо» (Дарлингтон, от 19/VIII — 36 г.): «Не следует забывать, что Новиков-Прибой пишет для советского читателя, но трудно отделаться от того, что он рисует здесь картину, которая дает почти исчерпывающие объяснения катастрофе при Цусиме».

Добросовестность изучения текста «Цусимы» и материалов к ней помогла ряду английских критиков правильно осмыслить идейную направленность романа, оценить его как «отчет свидетеля об одном из самых нелепых и трагических морских событий в истории. Если бы эта книга была повествованием о фантастических происшествиях в Бедламе, вряд ли она могла быть более ужасающей» («Ньюз кроникл» от 29/VI—36 г.). В заметке, озаглавленной «Безумие загубило флот», «Глазго бюллетень» от 30/VIII—36 г. пишет: «С доверчивостью дурака Рождественский вел свою неуклюжую, нескладную и явно никудышную эскадру прямо в западню. В самом деле, русский флот был побежден еще до первого выстрела». Знаменателен эпитет «дурак» по отношению к Рождественскому, он взят автором заметки непосредственно из текста романа. Большинство газет согласно с мнением героя «Цусимы», инженера Ваенльева, относительно причин поражения русского флота. «Для японцев битва была практическим занятием по стрельбе в цель. Для русских — длительной агонией, прелюдией к верной и ужасной смерти. Цусима была гигантским жертвоприношением невежеству и звериной жестокости старо-

¹ Разумеется, очевидно, Гулльский инцидент.

го режима» — констатирует «Дейли геральд» (от 30/VIII—36 г.). Наиболее откровенно выразила свое согласие с автором «Цусимы» «Нью стейменен» (от 29/VIII—36 г.): «Если есть еще люди, верящие, что царский режим следовало сохранить, эта книга обязана их разубедить, если только они не предпочитают остаться неразубежденными».

К осуждению царского режима присоединилась и «Ньюз кроникл»: «Как бы там ни было, мы здесь можем узнать, до какого идиотизма может дойти режим военного абсолютизма при условии, если самодовольство и заносчивость придадут ему иллюзию божественной поддержки, а знание рассматривается как преступление, тогда как взяточничество и продажность встречаются на каждом шагу». «Ливерпуль пост» вынуждена назвать посылку эскадры Рожественского в Тихий океан «колоссально честолюбивой авантюрой царского режима». Точки над «и» поставила «Дейли уоркер» (от 29/VII), заявив: «Сейчас на Тихом океане обратное положение, ибо Япония представляет отсталый фактор, а будущее за Советским Союзом».

Ряд английских критиков, признавая, что «картины «Цусимы» носят на себе отпечаток действительности», не прочь ухмыльнуться над стратегическими и тактическими познаниями автора. Мотивировка их проста: Новиков-Прибой — бывший матрос, житель нижней палубы, во время сражения он мог только эпизодически наведываться из лазарета (куда он был прикомандирован на броненосце «Орел») на верхнюю палубу. В Литературном приложении к «Таймс» (от 1/VIII—36 г.) один рецензент, не прибегая к документам, утверждает, что «морские термины часто грубо искажены». Хороший отпор таким нападкам на жителя нижней палубы дал вице-адмирал Усборн: «Для морских специалистов книга изобилует полезными сведениями по части командования, стратегии и тактики. Книга займет свое место в каждой морской библиотеке... Многим морским офицерам за всю свою жизнь так и не приходится участвовать в большом морском бою; им приходится лишь

в воображении переживать тот кульминационный момент, к которому они готовятся в течение всей своей карьеры... Вот почему я без всякого колебания говорю, что каждому морскому офицеру необходимо прочесть эту книгу, ибо она многому его научит».

Проблема художественности «Цусимы» оживленно дискутировалась в английской критике. Прежде всего споры шли по вопросу о жанре книги. «Дейли уоркер» объявила без обиняков: «Цусима» ни в какой мере не является беллетристкой. Это весьма точный отчет о битве». (Эта оценка не помешала газете признать роман Новикова-Прибоя «одной из наиболее интересных советских книг, когда-либо переведившихся на английский язык»). «Необычайной летописью» назвала произведение Новикова-Прибоя «Глазго бюллетень». Но убедительнее звучат и многочисленные статьи, называющие «Цусиму» «простым, живым человеческим рассказом о неумолимой трагедии» («Дейли геральд») или «повестью о смеси героизма и растерянности, храбрости и зачерствелости» («Бирмингхем пост» от 4/VIII—36 г.).

Статьи, назвавшие «Цусиму» отчетом, по вполне понятным соображениям не занимаются анализом художественной стороны произведения. Но зато эту тему подняли и довольно подробно развили защитники «Цусимы». Их разбор никак нельзя обвинить в недооценке. «День за днем мы плывем вместе с обреченным флотом, кое-как продвигающимся вперед. Описание происшествия в Доннер-Бенк, этот поразительный случай проявления нервозности на море, дано необычайно ярко, равно как и все повествование, а когда начинается сама битва, автор не щадит нас и описывает все ужасы современного морского боя» — так написала о силе отдельных картин «Цусимы» «Нью-стеменен». «Бирмингхем пост» увидела «основную ценность книги в том, что рассказы многих людей с разных кораблей сплетены в единое цельное повествование. Несмотря на разнородный материал и перенесение действия с одного корабля на дру-

гой, книга остается единым целым». В «Обсервер» (Лондон, от 2/VIII—36 г.) сэр Арчибалд Херд дал простор своему восторгу перед трудом Новикова-Прибоя, названным им замечательным литературным достижением: «Цусима» — блестящая вещь, по стилю которой можно подумать, что автор все время простоял с записной книжкой в руке, записывая дословно все разговоры адмиралов, капитанов, лейтенантов и остальной команды. Трудно решить, сколько здесь правды или вымысла, ибо Новиков — это в своем роде Бодуэлл с ярким воображением, острым умом и бойким пером и, кроме всего прочего, он упорно собирал материал по своей теме». «Листенер» (Лондон, от 10/IX — 36 г.), сопоставляя «Цусиму» с книгой Ремарка «На западном фронте без перемен», называемой «литературным шедевром», выводы делает в пользу труда Новикова-Прибоя: «В то время как в блестяще написанной книге Ремарка реализм подан в виде художественного вымысла, Новиков-Прибой пишет о подлинных событиях, о личных переживаниях оных и своих товарищей».

Справедливость требует остановиться на двух отрицательных оценках «Цусимы», напечатанных в «Йоркшайр пост» (Лидс, от 16/IX—36 г.) и «Арми энд нейви газет» (Лондон, от 13/VIII — 36 г.). Уже первые строки статьи в «Йоркшайр пост» обнаруживают, из каких мутных источников почерпнул сотрудник газеты свое вдохновенное негодование. «Примечание переводчика гласит, что свыше полутоа миллионов экземпляров этой довольно непривлекательной книги распродано в СССР. Тем самым читатель уже подготовлен к тому, что книга окажется полна чрезвычайно примитивной пропаганды, но тем не менее после нее остается чрезвычайно неприятный вкус во рту». На вопрос, откуда сие, критик «Йоркшайр пост» откровенно объясняет: «Книга частично состоит из ехидных сплетен с нижней палубы об офицерах, частично из критики стратегии (основанной, поскольку дело касается самого сражения, на эпизодических визитах автора из лазарета на верхнюю палубу), частично же из пере-

житого самим автором и его товарищами. поведение которых неизменно напоминает скорей животных, чем людей... Автору действительно удалось доказать, что ни офицеры, ни царский строй не ответственны за катастрофу с флотом, обслуживаемым столь жалкими командами». Как видим, не напрасно написала «Нью стеменен» о людях, которые «предпочитают остаться неразубежденными в необходимости уничтожения царского режима». Есть еще такие мастодонты и в английской консервативной критике. Хорошо, что их остаются единицы, — может с облегчением сказать советский писатель. Разве не разоблачают «ехидные сплетни» этих мастодонтов о «Цусиме» Новикова-Прибоя заявления «Лойдз лист энд шиппинг газет»: «Картина, нарисованная «Цусимой», достаточно безотраднa, но тот факт, что, несмотря на все, многие корабли не захотели сдаться и пошли ко дну с развевающимся флагом, как бы доказывает, что боевой дух людей был в общем не так уж плачевен». Вот что по этому поводу напечатала «Дерби ивнинг телеграф» (от 18/IX—36 г.): «Люди шли навстречу своей судьбе, они боролись, страдали и терпели, как герои. Какой бы бесславной ни была эта битва для командиров, все же в отношении величия человеческого жертв для рядовых русских она была несомненно овеяна славой».

Отрицательное суждение «Арми энд нейви газет» несколько сдержанней «Йоркшайр пост»:

«Как и многие современные русские писатели, автор этого личного отчета о путешествии флота адмирала Роже-стенского на Дальний Восток и гибели его при Цусиме больше интересуется показом гнусности царского режима в России, наглости, бездарности и продажности русских морских офицеров того времени, чем добавлением чего-то нового к истории описываемых им событий... Дословно приводимые разговоры команды, которыми автор пересывает свое повествование, возможно, помогают ставить точки над «и» для читателей-марксистов, но для менее пристрастных лиц они мало способствуют повышению

интереса к этой книге». Хорошо ответили «пристрастному лицу» из «Арми энд нейви газет» английские критики из «Найроби стэндард» и «Бирмингхем пост». Вот что написала «Найроби стэндард» (Британская Австралия, от 28/VIII—36 г.): «Мне кажется, что автор старался быть справедливым. Хотя он рисует нам многих из русских офицеров в весьма жалком виде, все же он воздает должное доблести некоторых из них». В таком же духе высказалась и «Бирмингхем пост»: «Цусима» — это повесть о смеси героизма и растерянности, храбрости и зачерствелости.

В заключение отметим сожаление многих английских критиков о некотором сокращении романа, произведенном издательством. (Из романа выпущены все примечания, которые дают особенно яркое представление о грандиозности работы Новикова-Прибоя над архивным материалом, книгами о Цусиме, письмами и воспоминаниями участников.)

Работа переводчиков заслужила одобрение всей английской критики. Вице-адмирал Усборн отмечает, что «английский язык «Цусимы» красив и читабелен».

Мы пока имели дело с английской печатью метрополии. Английская колониальная печать также не скупа на рекомендации «Цусимы» читателям. «Все четыреста страниц — увлекательный и ценный материал для чтения» («Сидней морнинг геральд», Австралия, от 10/X—36 г.). Некоторые статьи выдвинули ряд новых мыслей, провели ряд новых содержательных аналогий. Например, в статье «Цейлон обсервер» (Коломбо, от 5/XII—36 г.) читаем: «В опубликованном Новиковым-Прибоем отчете о том, что он и другие видели и испытали в те знаменательные майские дни 1905 г., он сочетает необычайную тщательность ученого с мастерством прирожденного писателя. Результат — это не ортодоксальная история Цусимы и не роман, построенный на этом материале, а человеческий документ, исторически верный и все же более увлекательный, чем вся-

кая беллетристика». (Разрядка моя. — В. К.) Та же газета в статье, опубликованной 13/IX—36 г., сопоставила «Цусиму» с знаменитой кинокартиной «Бой» по роману Клода Фаррера, который рисует этот же морской бой с точки зрения японцев. Результаты сопоставления — в пользу Новикова-Прибоя: «Достаточно сказать, что человек, написавший неприкрашенный, но отнюдь нигде не холодный отчет о фактических событиях, создал более волнующее полотно, чем роман даровитого писателя или фильм законченного мастера кинематографии». «Натал уутнес» (Питер-Мариц-Бург, от 6/X—36 г.) сочла необходимым в связи с «Цусимой» возродить понятие морского эпоса. «Морской эпос — этот термин стал таким избитым, что он уже потерял всякий смысл, но мне хотелось бы, чтобы его до меня никто не изобрел, ибо тогда я смог бы применить его здесь. «Цусима» — это произведение такого же порядка, что и путешествия Марко Поло и путешествия Кука. «Цусима» — это одна из великих мировых книг путешествий». «Нью инглиш уикли» характеризует «Цусиму», как «удачный пример коллективного творчества», разумея, очевидно, собрание Новиковым-Прибоем материала воспоминаний цусимцев. (Между прочим, заметим, что более 270 участников Цусимы состоит в систематической переписке с ее автором.) Любопытно, что об этой творческой истории романа в мировой печати сделано только одно замечание «Нью инглиш уикли».

Американская критика (надо иметь в виду, что в Нью-Йорке издание «Цусимы» вышло несколькими месяцами позднее лондонского, и поэтому отзывы опубликовано пока значительно меньше) в основном вторит похвальным оценкам английской. Для «Нью-Йорк сэн» (31/XII—36 г.) «Цусима» — правдивый рассказ одного из уцелевших участников одной из величайших морских битв в истории». «Нью-Йорк поблишер уикли» называет «Цусиму» «прекрасным эпическим произведением, богато насыщенным человеческим интересом и исторически являющимся одной

из наиболее выдающихся книг, опубликованных за декаду». Есть попытки и в американской критике сослаться на «пристрастность» автора. Но вынуждена признать «Нью-Йорк таймс» (от 2/II—37 г.): «Презрение автора по адресу умственных способностей своих властителей впоследствии было ратифицировано самим временем».

Некоторые американские критики лучше своих английских собратьев по перу уяснили идейную направленность «Цусимы». Во всяком случае их формулировки точнее и острее. «Эта удивительная книга антиимпериалистична по своему духу» — заявила «Уор телеграмм» (Нью-Йорк, от 13/II—37 г.).

Единственный отрицательный отзыв (из десяти) опубликован в «Нью-Йорк геральд трибюн» (от 6/II—37 г.). Автор его считает «Расплату» капитана Семенова — лакея Рождественского — книгой, пользовавшейся справедливой славой; в ней, по его мнению, «все уже было сказано. Новое, внесенное Новиковым-Прибоем в изображение цусимской катастрофы, явно преувеличено или же не обосновано». Но больше всего не нравится критику «Нью-Йорк геральд трибюн», что «Цусима» может вдохнуть в свой народ дух военного патриотизма». Конечно, о новом качестве этого патриотизма, о том, что Новиков-Прибой «Цусимой» укрепляет готовность защищать социалистическую родину, американский критик умолчал.

Глава VI

Народный писатель

Русская классическая литература была «сухопутной». Пушкинская поэзия неоднократно обращается к морю, противопоставляя «свободную стихию» пленнику самодержавной России, но она не воспела «Адриатические волны». Классическая проза обошла морскую тему начисто, хотя царская Россия имела морские границы на тысячи верст. Од-

нажды симбирский дворянин Иван Андреевич Гончаров совершил и описал «Путешествие на фрегате «Паллада», но в книге есть все, кроме моря. И неудивительно: в бурю Гончаров беспокойно томился в четырех стенах кают-компании, прислушиваясь «в недоумении к свисту ветра» и почти не рискуя «пойти наверх, на улицу», как назвал он верхнюю палубу. Нет в «Путешествии» и русского матроса. Станюкович, по существу, — родоначальник морской темы в русской литературе, он правдиво отобразил характерные стороны пловучей тюрьмы, какой был дореволюционный царский флот. Но Станюкович писал о матросе, а не от лица матроса.

В лице Новикова-Прибоя матросы России нашли своего изобразителя и выразителя. Он передал и передает в своих произведениях матросскую ненависть к самодержавию, накопившуюся веками с первого восстания при царе Алексее Михайловиче. Он изображает тесную связь матросов с трудовой Россией, их любовь к морю, к борьбе со стихией, любовь к технике, которой вооружает моряка человеческий разум. Новиков-Прибой — подлинный народный писатель, ибо его герои, как и он сам, — плоть от плоти трудового народа. В положении матросов империалистических стран Новиков-Прибой обнаружил те же самые характерные черты пловучей тюрьмы, какой он изобразил российский дореволюционный флот. Поэтому такие произведения, как «Соленая купель», «Цусима», вооружают революционным сознанием трудящихся всего мира.

Гордясь успехами своего родного писателя, советский народ в день шестидесятилетия автора «Цусимы» имеет основание надеяться на то, что Новиков-Прибой создаст новые большие произведения, повествующие о революционном флоте, о героях наших сталинских дней, о героях Красной армии и Красного флота.

2. „ГОЛОВОНОГИЕ ЧЕЛОВЕКИ“ И „ВДОХНОВЕННЫЕ ГУСИ“¹⁾

П. Рожков

Доклад тов. Сталина и заключительное слово на Пленуме ЦК, а также решение Пленума по докладу тов. Жданова имеют громадной важности политическое значение для всей страны, для каждой организации, для каждого партийного и непартийного большевика. Новый закон нашей жизни — Сталинская Конституция — властно диктует необходимость радикального изменения методов работы различных наших организаций. Необходимо широко и последовательно развивать советскую, профсоюзную и комсомольскую демократию. А для этого необходимо, «чтобы партия сама проводила последовательную демократическую практику», чтобы «критика и самокритика развивалась в полной мере, чтобы ответственность партийных органов перед партийной массой была полная и чтобы сама партийная масса была полностью активизирована» (из резолюции Пленума по докладу тов. Жданова).

На Пленуме ЦК партии и многочисленных собраниях широких активов, обсуждающих итоги Пленума, были вскрыты и вскрываются серьезные недостатки нашей работы, вскрываются новые формы классовой борьбы, методы приспособления врагов народа — троцкистских и иных двурушников. Зажим самокритики, семейственность и групповщина — вот что облегчало и облегчает подрывную антисоветскую работу контрреволюционных троцкистов и правых. «Чаще всего, — говорил тов. Сталин в заключительном слове на Пленуме, — подбирают работников не по объективным признакам, а по признакам случайным, субъективным, обывательски-мещанским. Подбирают чаще всего так называемых знакомых, приятелей, земляков, лично преданных людей, мастеров по восхвалению своих шефов — безотносительно к их политической и деловой пригодности.

Понятно, что вместо руководящей группы ответственных работников получается семейка близких людей, артель, члены которой стараются жить в мире, не обижать друг друга, не выносить сора из избы — и время от времени посылать в центр пустопорожние и тошнотворные рапорта об успехах».

Подобную нездоровую обстановку очень ловко использовали и используют троцкистские и иные двурушники. Они ловко используют артельную семейственность, атмосферу холуйства и подхалимства. «В атмосфере подхалимства враг народа чувствует себя, как рыба в воде. Подхалимством, этой «пищей богов», он старательно подкармливает благодушных начальников. Он открыто не критикует мероприятий партии и советской власти. Он даже не выступает против отдельных недочетов. Он все хвалит, приветствует, благословляет. Аплодисментами он прикрывает свои гнусные контрреволюционные дела» (передовая «Правды» от 28 марта 1937 г.).

Надо прямо признать, что наша литература весьма мало занимается разоблачением троцкистских и всякого рода иных двурушников, разоблачением беспринципных приспособленцев, героев холуйства и подхалимства. В этом отношении вновь изданные (в виде «Маленькой трилогии») повести Ф. Gladкова «Головоногий человек», «Непорочный чорт» и «Вдохновенный гусь» имеют большое и злободневное политическое значение.

В повести «Головоногий человек» разоблачается «штопор-грызун» — ловкий карьерист и авантюрист Ковалев, действующий в области профдвижения. Директору предприятия, старому члену партии Мухину, стоит огромного труда разоблачение Ковалева. Ковалеву удается на время изолировать Мухина, дискредитировать его во мнении масс. Метод работы Ковалева — приспособленчество, аллилуйщина, подхалимство, клевета: «Выступал он в прениях и на

¹⁾ «Маленькая трилогия» Ф. Gladкова. Гослитиздат, Москва, 1936 г.

фракции, и на пленуме. Любо-дорого послушать. Гладко, умно, с экскурсами в Ленина, Энгельса, Маркса. Вспоминал кстати остренькие словечки Плеханова и Ильича. И держал себя в меру гордо, независимо, и каждое его слово дышало великой преданностью партии и глубоким знанием профдвижения...».

Руководителей, болеющих идиотской беспечностью и замирающих от лести, Ковалев брал подхалимством: «С твоим умом и опытом, товарищ Паклин... С твоим организаторским талантом... с твоим огромным авторитетом среди рабочих масс... зная, что ты, товарищ Паклин, твердо и четко проводишь директивы... под твоим руководством, товарищ Паклин, я вырос до неузнаваемости» и т. д., и т. п.

В рассказе «Непорочный чорт» выведен некий Соска — ханжа, подхалим, приспособленец, клаязник и склочник. Этот «герой» изображает из себя партийную Немезиду, «тягуче, поучительно, безапелляционно, нудно» разглагольствует он о коммунистической морали и тому подобных материях. Разумеется, этот «моралист» против всякой самокритики: «Товарищи, хотя у нас и демократический централизм и внутрипартийная демократия, но, товарищи (очень внушительно и угрожающе), ...всякая критика — это дезорганизация партии и руководящих органов. Предлагаю бюро сделать соответствующее внушение и разъяснить товарищам их обязанности, как членов партии... Критика — это волянка, буза. Узнают беспартийные и сами станут бузить. Партиец должен быть в узде, тогда, тогда крепче узда будет и на беспартийных...». И еще: «Это, товарищи, буза... поползновение... необузданность... истинный партиец должен знать, что важнее всего молчать, чем уметь говорить. Уж очень мы много говорим, очень много знаем... Очень всего непроизвольно касаемся... Узды не чуем... не об'езжены...».

Читая другим фарисейскую «мораль», сам Соскин — образец нечистоплотности: «Жил он очень сурово, нищенски, нечистоплотно. В комнате было душно и смрадно. Постель не убиралась. Ни простыни, ни одеялки не было — на-

крывался он или пальто или полушубком. Уборщицы плевались, их мучило, когда они выметали сор из его комнаты...».

Весьма характерно: Соска, как правило, всегда отождествляет себя с партией. Всякого несогласного Соска немедленно зачисляет в противники партии. «При каждом удобном случае, когда ему кто-нибудь не нравится или что-нибудь было не по нем, — а раз не по нем, значит против партии, — он обязательно брал на заметочку: вынет грязенький блокнотик и старательно, очень медленно заносит обгрызочком карандаша всякую всячину в свой кондурт...».

Старая работница Анюта весьма метко говорит о людях, подобных Соске: «Такие люди — опасны. Они всякое дело замораживают одним взглядом. Достаточно столкнуться с ним, как сейчас же почувствуешь, что начинаешь коченеть. Это вот от них — и формализм, и бездушье, и наплевательство. Они жить бодро и работать весело мешают».

Особенно злободневен рассказ «Вдохновенный гусь», в котором весьма рельефно обрисован троцкистский двурушник — редактор газеты Будаш (псевдоним — «Монолит»). Герой рассказа, старый большевик Мухин, говорит о статьях Будаша: «В статьях была какая-то наигранная ловкость мозга, и чувствовалось, что этот мозг, в сущности, занят другими вопросами...». В своих речах на собраниях Будаш сыплет каскадами «ослепительного и темпераментного оптимизма», «красивой архиреволюционной фразеологией». Держит себя «с достоинством», «с такой великолепной наглостью».

На одном из собраний Мухин слышит позади себя реплику по адресу Будаша: «Ведь вот шарлатан! Сейчас свирепо крушит оппозицию, а сам вчера еще трепался в ее шайке... Выходит, значит, трибун, а в подстрочном примечании — прыгун». Мухин метко замечает, что Будаш «может при другом ветре повернуть в другую сторону и сделать это без зазрения совести. Ведь он же беспринципен. Он потому и жонглирует идеологией, что ему наплевать на

идеологию. Ведь, по существу, за этой его нахальной развязностью и ультра-революционной бравадой нет ни капли нашего классового духа. Это ловкость игрока... Это — вдохновенный гусь».

Повести Гладкова, вновь изданные в сборнике «Маленькая трилогия», очень метко бьют по приспособленцам, карьеристам и авантюристам, по холуям и подхалимам. Симптоматично то, что бывший рапповский критик, троцкист Селивановский, в свое время утверждал, что повести Гладкова «Головоногий человек», «Вдохновенный гусь» и др. — это «апофеоз бессмысленности и случайности общественной жизни» (см. сборник «С кем и почему мы боремся», стр. 112). В том же духе обрушивался на Ф. Гладкова рапповский критический журнал «РАПП».

«Ф. Гладков, — писал «РАПП», — хочет бороться с болезненными явлениями партийной жизни, с проникающими в ряды партии мещанскими, авантюристическими и приспособленческими элементами. Это очень похвальное намерение. Что этого Ф. Гладков хочет и упорно хочет, — об этом свидетельствует довольно точное возвращение его внимания к этой теме... Но благими намерениями, говорят, ад вымощен. Для того, чтобы намерение проявило свою «благодать», надо его выполнить. Вот тут-то и появляется большой знак вопроса: на свою ли мельницу Гладков льет воду? Замахивается он на врагов, а попадает...».

Почему же Гладков льет воду не на нашу мельницу? Оказывается, потому, что он не следует «диалектическим» рецептам Авербаха, Селивановского и др. «Ф. Гладков не смог диалектически подойти к большой проблеме борьбы с чужеродными элементами, проникающими в партию...».

Метафизичность творческого метода Гладкова сказалась и в том своеобразии системы противопоставлений, какая есть в рассказе «Вдохновенный гусь»... Умение видеть и показать в любом отрицательном явлении, еще вчера или позавчера бывшем положительным...—...вот

что характерно для пролетарского писателя... Во «Вдохновенном гусе» авантюрист Будаш подавил собою все, и писатель не видит и не показывает никакого выхода» и т. д., и т. п. «РАПП» утверждал, что, якобы, «этот самый гусь загородил собою всю коммунистическую партию» (см. журнал «РАПП», № 2 за 1931 г., стр. 199—203).

Бормотание «РАПП» о метафизичности повестей Ф. Гладкова, безусловно, вздорно. Как видим, Гладков не понравился «РАПП» своей своеобразной системой противопоставления характеров: авантюристам, двурушникам и подхалимам типа Ковалева, Соски и Будаша Гладков противопоставляет честных членов партии — Мухина, Анюту и других. А это как раз и идет вразрез с «диалектико-материалистическим» методом Авербаха и Селивановского то-есть с троцкистской теорией «живого человека», согласно которой вместо резкого противопоставления положительных и отрицательных героев в произведении должно быть сожительство «добра» и «злого» в одном и том же герое (например, протiwоестественное, эклектическое сожительство авантюризма, карьеризма, троцкизма и партийности). Совершенно ясно, что прав тут Ф. Гладков, а не журнал «РАПП» (в котором большую роль играли троцкистские критики — Селивановский, Трощенко и др.). Совершенно ясно, что наскоки «РАПП» на Гладкова, попытки оклеветать его разоблачительные повести были неслучайными. Подвизавшиеся в «РАПП» троцкисты, вроде Макарьева, Селивановского, Мазнина, Трощенко и др., в образе «вдохновенного гуся» и «головоногого человека» узнавали самих себя, а отсюда их нападки на Гладкова, свирепое шельмование Гладкова.

Утверждение журнала «РАПП» о том, что у Гладкова «вдохновенный гусь» и другие авантюристы «загородили собою всю коммунистическую партию», что «авантюрист Будаш подавил собою все и писатель не видит и не показывает никакого выхода», — это утверждение «РАПП» является клеветой на Ф. Гладкова. В своих повестях

Ф. Гладков отчетливо видит выход, и у него разного рода «головоногие» и «вдохновенные» проходимцы не заслоняют собой партии, а изображаются как осколки враждебных классов. «Мы призваны к творчеству жизни, — пишет Гладков, — к коренному переустройству всей системы хозяйственных и общественных отношений. Мы молоды, полны сил и энтузиазма. Но в наши дни величайшей борьбы за переустройство мира гнилые пережитки, люди прошлого, напряженно, упорно, отчаянно борются за свое право на жизнь. Они отравляют атмосферу своим смрадным дыханием, вносят сумятицу в нашу созидательную работу. Основа их жизни: теряя все в прошлом, я должен перевоплотиться в новых условиях в «нового человека» и взять от жизни сторицей то, что утрачено за рубежом настоящего. Отсюда — карьеризм, хамство, наплевательство, авантюризм, демагогия, уголовщина... Эти грибки, эти каракатицы, живущие в темных углах

нашей жизни, сосут наши молодые соки, гадят, вредят, действуют обманом, провокацией, подлостью, постоянно перевоплощаются в новые формы, чтобы быть неуловимыми». «И что особенно важно, эти храбрые рыцари («вдохновенные гуси» и «головоногие») скачут из троцкистского стана, выползают из зиновьевского омота...».

Гладков глубоко уверен в том, что партия рабочего класса разоблачит этих рыцарей, и он призывает к борьбе со всяким бездушным формализмом, с аллилуйшиной и подхалимством, призывает к созидательной и творческой работе: «Жизнь попрежнему богата, разнообразна, искрометна, полна напряжения, горения, беспокойства и творческой энергии. Надо только уметь жить, т.е. неустанно бороться, накаляться докрасна, не угащать в себе созидательного пафоса... Диалектика нашей жизни обязывает тебя быть не простым исполнителем, а подлинным творцом и строителем нового мира».

3. ПУШКИН И ГРУЗИЯ

Платон Кешелав

I

Передовая часть грузинского общества знала Пушкина, как поэта, еще до приезда его в Грузию, — до 1829 г. Автор этой заметки совсем недавно приобрел и передал Музею писателей Грузии рукописную тетрадку переводов произведений Пушкина на грузинский язык. Личность переводчика еще не установлена, но дата переводов — 1828 г. Пушкина начали переводить на грузинский язык за год до приезда его в Тифлис.

Первые переводчики Пушкина — передовые люди тогдашней Грузии. Поэт Александр Чавчавадзе (тесть Грибоедова), литератор Соломон Размадзе и другие, которые получили образование в России, знали Пушкина наравне с русскими читателями.

Приезда Пушкина в Тифлис с нетерпением ждали не только личные друзья

поэта и русские читатели, но поэты и читатели «Грузии печальной».

Пушкина давно тянуло на Юг — на Кавказ, в Грузию. И вот 27 мая 1829 г. он приехал в Тифлис. Пушкин не застал там своих личных друзей и знакомых, не застал и брата, они были в действующей армии. Чиновники самодержавия обращались с поэтом грубо, за ним была установлена слежка.

Появление автора «Кавказского пленника», «К Чаадаеву» и «Вольности» в Тифлисе было событием. Все хотели его видеть, с ним беседовать. Две недели пробыл в Тифлисе Пушкин. Его очаровали не только майские солнечные дни Грузии, ароматные вечера Тифлиса, но и грузинское народное творчество, — песни и пляски запечатлелись в памяти гениального поэта. Одну песню на слова Д. Туманишвили «Ахлад агнаго суло», которая очень понравилась поэту,

дословно перевели и передали ему. Пушкин взял ее с собою.

Поэт понял и полюбил не только грузинскую музыку, про которую писал: «Голос песен грузинских приятен» («Путешествие в Арзрум»). Он увидел и трагическое положение порабощенной Грузии и очень метко охарактеризовал двумя словами, назвав ее «Грузией печальной», наперекор всем, которые характеризовали Грузию «легкой и веселой, страной экзотического кинжала и вина», не замечая ее печали.

Пушкин, лучший поэт эпохи, метко отметил не только судьбу Грузии, но и всех кавказских народов, которые стонали тогда под игом царского самодержавия, и вместо похвал победам царской армии на Кавказе поэт оплакивал тяжелое положение горцев:

Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.

(«Кавказ».)

Конечно, это не могло быть напечатано, когда Булгарин писал:

«Мы думали, что великие события на востоке, удивившие мир, стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов. Мы ошиблись! Лиры знаменитые (читай — лира Пушкина.— П. К.) остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии опять явился Онегин, бледный, слабый...».

Конечно, казенно мыслить и чувствовать Пушкин не умел, он видел социальную неправду и выразил сочувствие угнетенным. Этим он стяжал себе неуваждаемую славу и любовь грузинского народа.

Пушкин убедился, что его в Грузии поняли, и на прощальном вечере сказал: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего. Я вижу, меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым» (из воспоминаний И. Палавандова).

II

Из русских поэтов Пушкин — первая любовь классиков грузинской поэзии XIX столетия. Образность, ясность, му-

зыкальность, идейная насыщенность и социальная заостренность гениальной поэзии Пушкина пленяли поэтов и читателей. Оптимизм и жизнелюбие Пушкина всегда чаровали грузинскую молодежь.

Допушкинскую русскую поэзию читатель Грузии не чувствовал, не чувствовали ее и классики грузинской поэзии. Державин и Жуковский не имели никакого влияния на грузинскую поэзию. Даже Тютчева в Грузии хорошо знают только поэты и специалисты-литературоведы. Допушкинские поэты не доходят до массового грузинского читателя. Пушкина же любят не только поэты, — его и читатели чувствуют и любят, как своего родного поэта.

Бесспорно, что классики грузинской поэзии — поэты Гр. Орбелиани, Нико Бараташвили, Ал. Чавчавадзе — читали Пушкина в оригинале, и Грузия эпохи этих поэтов хорошо знала пленительную поэзию автора бессмертных произведений. И влияние Пушкина на романтиков Грузии начинается позже. Эпоха Ал. Чавчавадзе и Н. Бараташвили еще не свободна от иранского влияния, но с этой эпохи подготавливается почва для влияния европейских поэтов.

Поэты-классики второй половины XIX в. — Илья Чавчавадзе, Ак. Церетели, Важа Пшавела — сразу почувствовали, что Пушкин — это здоровое жизненное начало в русской поэзии. Они учились в русских университетах и горячо воспринимали мысли передовых русских критиков — Чернышевского, Белинского и Добролюбова. Влияние Пушкина на грузинскую поэзию — глубоко органическое, ничего общего не имеющее с заимствованием. Они учились у Пушкина ясности, жизненности, народности. Они учились у Пушкина, как все талантливые поэты учатся у классиков, но сами оставались оригинальными творцами.

Четыре года, проведенных поэтом И. Чавчавадзе в Петербургском университете, сыграли решающую роль не только в жизни этого могикана грузинской литературы и мысли второй половины XIX в., но и для всей грузинской культуры.

«Эти четыре года, — говорит И. Чавчавадзе про годы, проведенные в России, — фундамент жизни, истоки бытия, трудно проходимый мост между тьмой и светом, проложенный судьбой». И. Чавчавадзе, вернувшись на родину в 1861 году, сразу объявил войну тому архаизму, который господствовал в Грузии, и начал новую эпоху в грузинской поэзии. Подобный путь проходит и Акакий Церетели. Годы учения двух грузинских классиков в России — это годы, когда русская поэзия была проникнута духом Пушкина, а в Грузии готовилась почва для новой поэзии. По их стопам пошел оригинальнейший поэт Важа Пшавела.

Важа Пшавела остро чувствовал силу поэзии Пушкина. В Пшави, в семье крестьянина селения Чаргали, для братьев Разикашвили — поэтов Важа, Тедо и Бачана — Пушкин был авторитетом и мэтром наравне с Руставели.

III

К столетней годовщине со дня рождения Пушкина, 1899 г., вышли два сборника произведений поэта на грузинском языке. Эти две книжки вместили почти все переводы Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Скупой рыцарь» перевод поэта Р. Эристави, «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» и стихотворение «Я помню чудное мгновение» — Мих. Туманишвили, «Обвал», «Анчар», «Цветок», «Сон» — Ал. Чавчавадзе, «Пророк» — И. Чавчавадзе, «Дар напрасный, дар случайный» — Гр. Орбелиани, «Памятник» — Ак. Церетели, «Всадник» — Г. Эристави, «Выстрел» — Ан. Пурцеладзе, «Гробовщик» — В. Жгенти и несколько мелких стихотворений в переводе поэтов М. Гуртели, С. Гургенидзе, Шио Мгвимели и др. В этой же книге краткая монография о жизни и творчестве Пушкина известного литературоведа Гр. Кипшидзе.

Вторая книжка намного меньше — «Пророк», «Обвал» в переводе поэта И. Чавчавадзе, «Не пой, красавица, при мне» — Ар. Ахназарова, который недавно перевел «Утопленника».

Очень интересны переводы первого

рабочего поэта Грузии Иосифа Давиташвили (умер в 1887 г.), который удачно перевел «26 мая 1828 г.», «Элегию», «Памятник» и «Я помню чудное мгновение». Книжка открывается краткой биографией Пушкина.

Один перечень имен известных переводчиков Пушкина на грузинский язык дает представление о том, как интересовались творчеством Пушкина в Грузии в XIX в. Много было переведено и в начале XX в. Но особенный и всеобщий интерес проявила к Пушкину Великая Октябрьская революция, которая открыла широчайший путь грузинскому народу для освоения не только грузинских, но всех классиков мировой литературы.

IV

С расширением издательского дела в Грузии при советской власти широчайшие массы получили возможность знакомиться с поэзией Пушкина на родном языке. А поэты советской Грузии в деле перевода пушкинских произведений проявили исключительную трудоспособность.

Если до революции перевод пушкинских произведений на грузинский язык носил неорганизованный и случайный характер, то теперь работа над переводом его поэзии носит систематический и организованный характер.

За последние годы переведены и изданы поэмы: «Кавказский пленник», «Цыганы», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан» в переводе поэта В. Рухадзе; «Медный всадник» и «Песнь о вещем Олеге» — поэта В. Гаприндашвили; «Евгений Онегин» — поэта Гр. Цецхладзе. Том лирических стихотворений и мелких драм вышел в переводе поэта Павле Яшвили. Существует несколько переводов «Бориса Годунова». Переведена «Пиковая дама» — М. Патаридзе, «Капитанская дочка» и др. Переведено множество мелких стихотворений поэтами: С. Чиковани, К. Чичинадзе, К. Надирадзе.

Поэт-литературовед И. Гришашвили подготовил к печати интересный библиографический труд о переводах Пушкина

на грузинский язык за 100 лет. По его сведениям, в Грузии 76 переводчиков Пушкина.

V

Пушкин по-новому зазвучал по всей Грузии. Не только «слух», но и поэзия

его дошла до глухих уголков далекой Грузии. Он навсегда «будет любезен» нашему народу.

Любимый поэт классиков грузинской поэзии уже предстал перед рабочими и колхозными читателями советской Грузии во всем своем величии — «к нему не зарастет народная тропа».

4. НОВЕЛЛА О ЛЮБВИ

Б. Брайнина

I

«Тайна отношения между человеком и человеком находит свое недвусмысленное, решительное, открытое, явное выражение в отношении между мужчиной и женщиной... В этом отношении проявляется в чувственном, наглядно-фактическом виде то, насколько стала для человека природой человеческая сущность или насколько природа стала человеческой сущностью человека» (Маркс). Вопросы любви, семьи, быта — центральная тема великих мастеров новеллы — Чехова и Мопассана. Гениальные писатели изобразили тяжелую «участь человека» в буржуазно-дворянском обществе. Мертвое равнодушие к страданиям других, интрига, зависть, пошлость. Гибель лучших. Торжество низменных чувств. Гедонизм Мопассана тонет в беспросветном пессимизме, светлый лиризм Чехова — в скорби о человеке.

Мопассан рассказал о трагедии отца, узнавшего, что любимый им ребенок не его («Отец»), об ядовитых копиях, где убивают детей («Бродячая жизнь»), о матерях, совершающих детоубийство («Ребенок», «Мать уродов»), об обольщенной служанке, которая становится проституткой. Везде и всегда неразрешимая трагичность любви. («Вдова», «Мисс Гарриет», «Исповедь».)

В рассказе А. Чехова «О любви» молодая, красивая, умная женщина выходит замуж за неинтересного человека, почти старика, а он, вялый, ненужный, скучный, верит в свое право быть счастливым, иметь от нее детей. В жизни

всегда происходят такие «ужасные ошибки». Когда же возникает большое, подлинное чувство, «что-то ненужное, мелкое и обманчивое» губит его.

В рассказе «Дама с собачкой» семья, жена, дети, работа — все это чужое, ненужное — «внешняя жизнь». «Какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме, или в арестантских ротах». Герою и героине (двум влюбленным) приходится прятаться, обманывать, жить, «как пойманным птицам, в разных клетках», и нет возможности найти выход, освободиться от «этих невыносимых пут».

Если наиболее честные, лучшие в большинстве случаев гибли в конфликте с окружающим, то черствые, лживые, беспринципные благоденствовали, выработывая и изощряя в себе хватку хищника и фарисея.

В небольшой новелле «Супруга» Чехов с исключительной силой мастерства создал образ такого рода хищницы:

«У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты лица, но более выразительные и смелые, чем у матери; это уже не хорек, а зверь покрупнее. А сам Николай Евграфович глядит на этой фотографии таким простаком, добрым малым, человеком-рубахой; добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и он наивно верит, что эта компания хищников, в которую случайно втолкнула его судьба, даст ему и поэзию, и счастье, и все то, о чем он мечтал, когда еще студентом пел песню: «Не

любить — погубить значит жизнь молодую...».

Честный, умный Николай Евграфович попадает в рабство к своей супруге. В результате жизнь его безнадежно, неоправдимо разрушена, разбиты и осмеяны надежды на счастье, потеряно здоровье, от совместной жизни осталось отвратительное воспоминание истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменнической лжи.

Налицо унизительная эксплуатация чувства любви, нежности, страсти, преданности. Ловкие расхитительницы человеческих чувств воспитывались веками, они — достойное детище вполне определенных общественных отношений. Не даром внимание наших классиков не раз останавливалось на этом типе женщин: Полозова в «Вешних водах» Тургенева, Элен в «Войне и мире», Маша в стихотворении Некрасова и пр., и пр.

Представители критического реализма с болью говорили об уродствах любви; повинувшись правде жизни, они изображали большие чувства в конфликте с окружающей средой. Мы не знаем классических произведений о счастливой до конца любви.

Декаденты и символисты уже не воюют с уродствами любви, наоборот, они всячески поэтизируют окружающую их гниль, с особым удовольствием вдыхают мертвенный запах этой гнили, потому что сами они порождение буржуазного общества, дошедшего в своем разложении до предельной черты. Каменский повествует о том, как офицер в течение минимального количества времени соблазняет четырех женщин («Четыре»). Сергеев-Ценский весьма сочувственно изображает женщину, которая от скуки связывается то с учителем, то со штабс-капитаном, то со следователем («Скука»). Арцыбашев со смаком повествует о том, как студент хочет изнасиловать курсистку.

Лучший из символистов, Александр Блок, восстает против этого «яда нигилизма» и «мистического хулиганства». Блок с отвращением говорит о «тяжелой поступи похотливого чудовища», об эротических произведениях, где все

«грязно, нелепо, сально». И в то же время блоковская «легкая плоть», мечта о Той (с большой буквы), о Прекрасной Даме, которая поведет «туда», в «иные миры», — следствие того же буржуазного декаданса, той же катастрофической утраты любви к подлинной, к реальной жизни. И «легкая плоть» Блока, и «тяжелая поступь похотливого чудовища» Арцыбашева и др. — это прежде всего не живая плоть, это полнейшее безверие, безнадежность, пренебрежение к живым человеческим чувствам.

Чехов писал к А. С. Суворину (27 декабря 1889 г.): «Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыш, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке».

II

Особое место в нашей советской литературе занимают рассказы о любви А. Толстого. Здесь налицо лучшие традиции классического реализма. Прекрасные женские образы, правдивое, сильное и в то же время целомудренно-сдержанное (без всяких натуралистических излишеств) изображение больших и глубоких чувств, отвращение к вывернутым людям, эгоистам и хищникам, к уродствам любви, — вот чем близки и интересны современному читателю рассказы Алексея Толстого.

Когда А. Толстой складывался как писатель, тема о любви была основной, с одной стороны, у декадентов и символистов, с другой — у так называемых «неореалистов» (по существу тех же декадентов) — Арцыбашева, Каменского, Сергеева-Ценского и др. Алексей Толстой занимает свою художественную позицию. Для него вопросы пола — тоже основные вопросы, он посещает знаменитые среды Вячеслава Иванова, исповедует философию символизма, но его художественный метод идет вразрез со всякой мистикой декаданса, со всем, что уродует, извращает жизнь. Его образы всегда из живой плоти, его слова в совершенстве ясны, конкретны, весо-

мы. И это на протяжении всего творческого пути.

В свое время советская критика (совершенно справедливо) упрекала А. Толстого в сменеховстве, в шпенглеризме, в непонимании движущих сил революции.

Но почти никто не говорил о тяге А. Толстого к прекрасному человеку, к «великолепным людям», от которых горячее, веселое здоровье идет, «как от железной печки», о его страстном презрении к гнили и мерзости старого мира, к людям с пустыми глазами, без дум, без страсти. Эта любовь подлинного художника-реалиста к здоровью, красоте, силе и была той несомненной счастливой особенностью, которая способствовала А. Толстому включиться в активное строительство культуры социалистической родины.

Рассказ «Без крыльев» датирован 1914 — 1927 гг. Это единственный рассказ (II и III томы), к которому автор возвращается через большой промежуток времени.

События разворачиваются в дореволюционные времена, в те застоявшиеся, скучные, покрытые ряской, времена, когда жизнь человеческая расплывается, как салное пятно на бумаге. Читатель узнает грустную историю женщины, историю, столь типичную для былых времен.

«Меня выдали замуж семнадцать лет из последнего класса гимназии. А ему было сорок. Мне все говорили: муж — значит навсегда. Взяли дурочку семнадцать лет и сунули в постель к чужому человеку: лежи, терпи, старайся, чтобы он к тебе не охладел. И божий, и человеческий закон тебе это велит». Она терпела, она была покорной рабой до той минуты, пока муж, присяжный поверенный Притыкин, в приливе цинической откровенности не рассказал ей, что изменяет чуть не каждый день с ее же знакомыми, подругами. Она почувствовала к нему непреодолимое отвращение, перестала допускать к себе. «И тут-то началась ревность. Что он мне говорил, как он насильничал». Начинаются побои, истязания, истерики. Из-

мятая, растоптанная, истерзанная женщина бежит из дома. И никакой помощи, никакого сочувствия, ни единого доброго человеческого слова. Везде то же пошлость, похоть, то же неуважение к человеку. Выхода нет. Обезумевшая от горя и унижения, женщина возвращается домой.

В этом рассказе очень ядовито высмеян писатель-мистик Семен Семенович Кашин. «Вы крылатая, вы необычайная... Я не спал всю ночь. Казалось, будто весь дом полон вашего дыхания. Благоухания. (Шаг вперед и шаг назад). Это был сон в летнюю ночь. Капля с волшебного цветка упала на веки Титании. Она заснула, и мир преобразился. Мир стал волшебным. (Маша двинулась, он загородил ей дорогу.) Сжальтесь. Во мне воздвиглась за эту ночь совершенная красота (он так и сказал: воздвиглась)».

Автор показал, какая трусливая, гаденькая похоть, жестокое неуважение к женщине скрывается под этой цветистой «романтикой», под мистической истерикой этих излияний... По существу писатель-мистик Кашин ничем не отличается от присяжного поверенного Притыкина, поучающего свою жену: «Хоть бы ты обольстила кого-нибудь. В женщине игра важна, изломы».

В рассказе одинаково дискредитированы и «тяжелая плоть» Арцыбашева, и «легкая плоть» декадентов-мистиков. Автор встает на защиту женщины, на защиту простых, настоящих человеческих чувств.

И это мы наблюдаем в целом ряде рассказов. Учитель Солонин («Утоли моя печали», 1915 г.), указывая на толстый журнал, говорит: «Так вот один здесь пишет: сам ты зверь, жена твоя — самка, а любовь — инстинкт. Скажем, я согласился с таким своим определением... Теперь другой режет напрямки: все равно ни для чего хорошего не доживешь, пускай пулю в лоб... А третий, совершенно непонятно для чего, уныние и скуку напускает на меня, — дышать нельзя».

Дышать нельзя живому, здоровому человеку, когда пошлость и похоть воз-

водятся в своего рода жизненный идеал.

В рассказе «Граф Калиостро» с омерзением и страхом изображена «бездушная мечта» о том, чего быть не может: о неживой женщине, о мистической красавице. Автор превращает эту мистическую даму в пошлую жеманницу, отвратительную кокетку. Смердом мертвечины веет от нее.

Эротической мистике — «гнусному чародейству», «бездушной мечте», — всей этой «пакости» противопоставлено «счастье живой любви», человеческая страсть и нежность.

Мастерски уничтожает Алексей Толстой выхолощенного интеллигента, «лишнего человека» — пустоцвета в личной и в общественной жизни.

В рассказе «Человек в пенсне» (1916 г.) показан не пошляк-самец и не слугитель «нездешней мечты», а просто отчаянный эгоист, нелепый книжный человек, циник и позер. Стабесов утратил живое чувство жизни, его ничто не увлекает, ничто не задевает, ему наплевать на весь мир. Его волнуют только мысли о собственной старости (а ему всего 32 года), о том, что через каких-нибудь 20 лет он, возможно, как личность существовать не будет, т.-е. умрет, и пр., и пр.

Автор поселяет этого «героя» в Крыму, где прелесть, теплота жизни, блеск солнца, плеск воды, запах морского ветра. Рядом, на соседней даче, живет молодая, красивая, нежная женщина. «Герой» начинает испытывать чувство любви к своей соседке, иными словами, говорит неестественным голосом, с огромным усилием складывает в уме фразы, в которых желает выразить чистые намерения, и в результате ведет себя с ней нелепо, грубо-похотливо. И женщину, имевшую несчастье полюбить «человека в пенсне», ждавшую хоть скупого слова любви к себе, настоящего слова и настоящего чувства, вместо любви охватывают презрение и ненависть.

Для читателя ясно, что «человек в пенсне» только так и может относиться к женщине, что его «личная жизнь» —

прямое следствие его общественной непригодности.

Герой рассказа «Подкидные дураки» во многом напоминает «человека в пенсне». Здесь действие разворачивается не в 1916 г., а в эпоху нэпа. Перед нами опять совершенно опустошенный человек, безнадежный эгоист, у которого в душе хоть шаром покати. Он исполняет какие-то общественные обязанности, где-то служит, а в «личной жизни» — попойки и женщины. У него когда-то была умная, честная, любящая жена. Он нелепо, цинично оскорбил ее, и она ушла. В результате: погибшая любовь, «общая проплеванность всего существа», ощущение нелепости, дикости, катастрофичности своего существования.

Если во всех рассмотренных рассказах творческое внимание автора по преимуществу останавливалось на фактах попрания прекрасного чувства любви, то рассказ «Любовь» — апофеоз любви взаимной любви двух равных и очень родных людей. Этот рассказ, датированный 1915 г., можно поставить в ряду лучших классических произведений на тему о любви. Образы двух влюбленных, Маши и Егора Ивановича, с начала до конца выдержаны в трогательных, нежно-лирических тонах.

Маша приехала в провинцию к отцу и сестре, чтобы «пожить чистенько». Светская жизнь в столице, банкеты и рестораны сушили сердце, делали «мутной кровью».

Маша встречает Егора и сразу чувствует, что он какой-то свой, близкий. Их взаимная любовь, честная, сильная, рушит все препятствия.

«— Родная моя, дитя мое...

Иным он не мог выразить волнения и радости от того, что Маша с ним, и чувствуют, и дышат они согласно, как один человек. И все, что живет, и чувствует, и дышит, — способно на такую радость и полноту».

И все же эта полная и радостная любовь кончается катастрофой. Муж Маши, профессор, человек с холодными выпуклыми глазами, похожий на хищную птицу, убивает счастливых любовников. Жена Егора — особая формация образа

женщины-хищницы. Она отличается, например, от чеховской Ольги Дмитриевны изощренностью методов хищничества; ее хищничество прикрито декадентскими настроениями, различного рода «тонкими» переживаниями, омерзительной «красотой» разлагающейся буржуазной культуры.

Муж Маши и жена Егора — это те хищники, те жестокие эксплуататоры чувства любви, те ненастоящие, вывернутые наизнанку люди, которых всегда с презрительным пренебрежением изображает А. Толстой.

Такого рода хищники, эгоисты, бездушные приспособленцы были всегда мишенью лучших художников нашей классической литературы. Люди, уродующие чужую жизнь, губящие лучшие порывы, лучшие чувства, вставляли на пути смелых и благородных, безжалостно губили их, превращали любовь в трагедию.

III

В «Неопалимой купине» Ромэн Роллан писал:

«Дети, лишенные ласки, девушки, лишенные надежды, женщины, соблазненные и обманутые, мужчины, разуверившиеся в дружбе, в любви и в вере, — скорбное шествие несчастных, пришибленных жизнью людей. Но самое ужасное — не нищета, не болезнь, а жестокость людей друг к другу» (подчеркнуто мной. — Б. Б.).

Это «самое ужасное» — следствие кагастрофической разобщенности и эгоизма, бесперспективности и безрадостности, обесцененности человеческой личности в капиталистическом обществе. В наше время, в нашей стране, когда человеческое в человеке поднято на такую высоту, тема взаимоотношений между людьми, в частности между мужчиной и женщиной, приобретает особое значение. Наша действительность создает все возможности, чтобы личная жизнь человека была достойной, честной, красивой, чтобы любовный союз был союзом равных и сильных, чтобы подлинная любовь обращалась не в трагедию, а в

большую человеческую радость. Так называемая «личная жизнь» должна показать, насколько для современного человека стала природой человеческая сущность, насколько удалось победить в себе наследие старого мира. Проклятое наследство живуче. От старого мира досталось нам немалое количество унижений и позора в отношениях между мужчиной и женщиной. Вся эта пакость нет-нет, да и даст себя знать, нет-нет, да и оставит грязный след в сердце нового человека.

Для тех, кому все «так просто в этом мире», жалобы на «неудачную жизнь» покажутся кощунственным поклепом на нового человека, отголоском чеховщины, упадочничеством и пр., и пр. Но ведь в сложной, большой нашей жизни встречаются хорошие люди, хорошие общественники, у которых личная жизнь все же неприбрана, неумела, сера. По какой-то странной нерешительности, робости, или кто его знает, почему, пройдет вот человек мимо своего счастья. В большинстве случаев он, конечно, не опустится, не пропадет. Но горечь несправедливой утраты все же наложит свою печать. Неудача в «личном» почти всегда тормозит, отнюдь не повышает, а именно понижает способность человека работать и жить.

«Никто не вправе жертвовать своими обязанностями во имя сердца. Но зато, исполняя свой долг, надо признать за сердцем право быть счастливым» (Ромэн Роллан). В нашей стране столько забот уделено человеку, все во имя человека, все для человека. Но груз привычек, чувствований, традиций прошлого еще дает себя знать. И сколько еще неудач, сколько неумеющих быть счастливыми!

Сквозь «личную жизнь» можно подчас великолепно разглядеть общественную ценность человека. Бездушное отношение к женщине — это не только личное дело, отсутствие глубоких и сильных чувств — это не личное дело, эксплуататорски-хищническое отношение к мужу, жене, другу — это не личное дело. Не может быть хорошим гражданином страны Советов какой-либо мо-

дернизированный Санин или модернизированная «супруга» из чеховского рассказа. Никакая мимикрия, самая отчаянная способность этих наследников старого мира приспособляться, не скроет их подлинной сущности. Их общественный крах в условиях советской действительности неизбежен.

С убеждающей искренностью показал Ник. Островский в романе «Как закалялась сталь», каким должен быть человек в личной жизни. Павел Корчагин любит своего брата «суровой любовью без признаний», он любовно заботится о своей старухе матери. И эта любовь к родным, к девушке, к музыке приобретает у Корчагина особое благородство, ни с чем не сравнимую теплоту, которая свойственна человеку, живущему большими идеями, человеку с душой революционера-борца. В частной жизни Корчагин все тот же большой, настоящий человек, — от него буквально отскакивает все мелкое, мещанское, обывательски-недостойное.

Личная жизнь — самая отсталая, самая неблагополучная тема нашей литературы. Повелось почему-то изображать различного рода «глуповатых бодряков», которые с молодецким задором отмахиваются от «проклятых вопросов»; для них все просто и понятно. А любовь? А личная жизнь? Это ясней всего, проще простого. Только так называемые «гнилые интеллигенты» имеют право тосковать, любить, мечтать об «одной единственной», ревновать, чувствовать одиночество. Для упрощенного, выдуманного, мнимо-«нового» человека вопрос разрешается приблизительно так: разлюбила — не надо, всегда найдется не хуже, а много шансов, что и лучше; личная жизнь — нечто вроде придатка слепой кишки: заболел — немедленно вырезать, и дело в шляпе. Личное и общественное представлялось двумя антиподами, чем-то вроде противоборствующих сил. Если победит положительная сила (общественное) — хорошо, если отрицательная сила (личное) — плохо.

Легкомысленное, непростительное упрощение человека! Клим Самгин легко

усваивал чужие мысли, когда они упрощали человека. Упрощающие мысли очень облегчали необходимость иметь обо всем свое мнение. Клим Самгин всех формаций упрощали человека потому, что не уважали его, и чувства их (и личные, и общественные) были одинаково дрянны и пошлы.

Не образы отлакированных счастливых, а изображение сложности и глубины человеческих исканий, человеческой борьбы за себя, за других, за свою страну, за свое счастье заставит с волнением и любовью читать ту или другую книгу.

IV

Жизнь Советской страны развивается под лозунгом: внимание к человеку.

За последние два года в нашей советской литературе одной из центральных тем становятся вопросы семейно-бытовые. Жанр классической семейно-бытовой, психологической новеллы как бы воскресает снова. Но это уже зародыш и принципиально иного жанра, питаемого новой философией, новой культурой, новым отношением к миру. С этой точки зрения интересно рассмотреть новеллы некоторых наших молодых писателей.

В новелле Мих. Подобедова «Один день» («Молодая гвардия», № 6, 1936 г.) секретарь краевого комитета, большевик Владимиров, живет полной и радостной жизнью. У него большая, интересная работа, у него хорошая, умная жена, у него чудесный трехлетний сынишка, прозванный «Солнышко».

В новелле Н. Кауричева «Сын» («Молодая гвардия», № 5, 1936 г.) молодой ученый Андрей Голованов едет в экспедицию. «И вот вся огромная страна — как родной дом, и не знаешь, который угол теплее и ближе...». В одной из глухих деревушек он встречает случайно своего сына от женщины, с которой был близок еще во время гражданской войны. Проснувшееся отцовское чувство и нежность к когда-то любимой женщине заставляют его соединить с ней жизнь.

Бодрость и радость бытия, любовь к жизни — этими настроениями пронизаны рассказы.

К сожалению, слащавость, словесная невыразительность, немотивированность, неестественность в развитии действия в большой мере присуща этим новеллам.

Желая передать радостное мироощущение секретаря краевого комитета, Мих. Подобедов пишет: «Ему хотелось запеть что-нибудь веселое, без слов, но понятное, как пение сына». Нам представляется, что, говоря о мироощущении большого и сложного человека наших дней, писателю следовало бы забыть затасканные до дыр «поэтичности» вроде «песни без слов» и пр. Удручает бедность языка, отсутствие выразительных, «своих» слов. Н. Кауричев заканчивает рассказ так: «Он подумал, что в будущем гудки автомобилей надо настроить на разные голоса певчих птиц, и на улицах зазвенят пеночки, малиновки, синицы, защелкают соловьи».

Неожиданность в повороте сюжета, сжатость и быстрота действия в подлинно художественной новелле всегда естественны, рассказ разворачивается в соответствии с характером и обстоятельствами. Этого нет в новеллах Кауричева и Подобедова. Так называемый «эффект неожиданной развязки», «фейерверочный конец» здесь крайне наивен, пришит белыми нитками. Немотивированно, неестественно, почему ученый Андрей Голованов бросает свою «умную, интересную, молодую жену», с которой «жил дружно», почему бросает свою большую научную работу. Почему все «это отодвинулось, заслонилось более значительным». И, самое главное, какова же сущность этого «более значительного»? Хорошая мысль рассказа о большом и ответственном чувстве отцовства уснащена слащавым бодрячеством, кругленьким, легким благополучием. У нас люди не расстаются с любимой работой, с женой-другом (даже во имя сына) просто, весело и приятно, как будто едут в выходной день с товарищами на рыбную ловлю. «Приезжай к нам ловить рыбу. Помнишь, как в девятнадцатом году мы с тобой ловили

на «дорожку» нельму на этой превосходной реке...» — так заканчивает герой письмо к товарищу, где сообщает о коренном изменении своей жизни.

И еще: непонятно, почему надо было выпасть из окна трехлетнему сыну, чтобы у отца, большевика Владимирова, появилось желание поговорить на дому «по душам» с товарищем, который начал проводить в работе ошибочную линию. Может быть, автор хотел сказать, что личное горе и радость смягчают душу. Но даже эта столь неоригинальная мысль выражена здесь крайне туманно и наивно.

Сентиментальность в дружественном союзе с трескучей фразой, с манерничаньем, с погоней за «красивеньким» иногда приводит к карикатурной реализации правильного, бесспорного замысла. В новелле «Ритурнель» В. Ясенева («Солнечная сторона», Гослитиздат, 1936 г.) замысел автора, повидимому, был таков: искусство и любовь не должны быть выброшены из жизни советского молодого человека. Комсомолец-ударник Ширвид в начале рассказа весьма недоволен, что за окном играет гармошка, что он одет в праздничный костюм, что ему предстоит провести день с любимой женщиной, которая «хочет помаковать шоколадные плитки стихов, шипучий хмель симфонического оркестра». Считая музыку чем-то утонченно-изысканным, присущим исключительно людям, привыкшим к роскоши и безделью, он «глушит» ударами рычажка раковину, в которой слышится «чувственно-расслабленное меццо» песни Сольвейг. В результате молодой человек отказывается от встречи со своей возлюбленной, о чем и предупреждает ее по телефону.

Этот молодой человек перерождается и начинает признавать любовь и музыку только после рассказа престарелого ветерана революции о том, как ветеран в дни своей молодости вместе с невестой наслаждались пением канарейки. Когда невеста умерла, он всю привязанность перенес на птичку. «Потом настали дни горячих уличных боев. В часы коротких передышек Преван бегал до-

мой, чтобы сменить птичке корм и воду. Иногда он приносил ее к своим товарищам. Слушая ее пение, раненые улыбались. Видя это, Преван все реже и реже уносил ее домой. В одну из жарких перестрелок канарейку убили». После такого трогательного рассказа молодой человек немедленно покупает «большой букет, в середине которого пылал огнем странной формы цветок», и спешит к той самой возлюбленной, от встречи с которой отказался в начале рассказа.

Но хуже всего, когда писатель становится жалким эпигоном декаданса. Нездоровая эротика, кликушечий апофеоз «голового человека» — инстинкта, фокусничанье со словом, тяга к путаной, неясной символической, псевдосложным психологическим вывертам влечет за собой полную утрату художественного слуха и зрения.

В новелле «Необыкновенная девушка» («Октябрь», № 1, 1935 г.) Сергей Алексеев повествует от первого лица о встрече одинокого неудачника с прекрасной, «необыкновенной» девушкой. Действие происходит в наше время. Девушка — работница с фабрики. Чтобы сделать эту девушку обаятельной и «необыкновенной», автор начинает фокусничать «необыкновенными» эпитетами и сравнениями, взятыми напрокат из третьесортных модернистических новелл. В рассказе есть и другая работница, героиня аморальная и демоническая. Она пылает неукротимой и преступной страстью к тому же самому герою-неудачнику. Ночью она врывается к нему. Герой спасается бегством. Пылая мстостью, демоническая работница симулирует изнасилование.

Кому нужны эти до смешного ложно-эффектные положения? Что общего они имеют с нашей действительностью? Что общего они имеют с подлинной литературой?

Но есть примеры еще более разительные. «Рассказ о перелетных птицах» Ник. Строковского («Октябрь», 1935 г., № 12) своей невероятной манерностью, жеманством, нелепыми потугами к сложному психоанализу напоминает па-

родию на декадентско-импрессионистскую любовную новеллу. Но автор, к сожалению, пишет вполне серьезно, даже «лирически-прочувствованно», — он ютнюдь не собирается пародировать. Рассказ начинается эффектным эпизодом о перелетных птицах, о гибели прекрасного вожака-самца. Мертвую птицу находит герой, тоскующий тридцатипятилетний мужчина. На лапке у птицы обнаружено кольцо...

А дальше? Тоскующий, отцветающий герой влюблен в «нее», 19-летнюю девушку. «Он видел синие глаза, всю девическую фигурку, и хотелось постонать, как в ранней юности». Герой «понимает всю осложненность своих желаний», он «испытывает неловкость от запоздалого цветения». «Жизнь птиц уже давно не казалась инженеру чужой, он видел гораздо больше, чем прежде». В результате такого рода «исключительных» переживаний герой пишет своей возлюбленной: «Птицы улетают, когда их попускает инстинкт. Они летят осенью к теплу, на юг. У нас гораздо все сложнее. Вот уже год меня зыбит тревога...».

Все это и пошло, и безграмотно. И хуже всего, что атрибутами «осложненных желаний» и «запоздалых цветений» автор наделяет советского инженера-энтузиаста. Дама же его сердца — советская «курсистка» в «красной беретке». И такого рода подтасовки, фокусы с переодеванием преподносятся вместо живых образов людей нашей страны.

Интересен по замыслу рассказ П. Русина «Неизвестный день» («Новый мир», № 4, 1936 г.). Единство человеческой жизни (личного и общественного) — тема рассказа. Главный герой, чертежник Голубев, показан преимущественно в личной жизни, в быту: в его взаимоотношениях с любимой девушкой, с соседями, с прислуживающей ему старушкой, с дворником и т. д.

Русин изображает ничтожного человека, жалкого нахлебника, эгоиста, для которого работа, труд — лишь средство зоологического, утробного благополучия. Поэтому к Виктору Голубеву так и липнет вся плесень быта, он гаденький,

маленький и в общественном, и в личном, во всех смыслах, во всех планах.

Любимая девушка уходит от Голубева. Она видит всю мелочность его чувств. Вместо любви ее охватывает презрение. Ей не по пути с мелким себялюбцем. Для советской девушки немислим любовный союз, который корнями ушел в старый, собственнический мир.

К сожалению, в этом рассказе, написанном в хорошей реалистической манере, автор увлекается изображением внешне-комических положений.

Отсюда далеко не всегда удачный тон рассказа: вместо юмора или иронии — подчас водевильное остроловие.

Следует сказать вообще о недостаточной культуре короткого рассказа у наших молодых писателей. Между тем спрос массового читателя на короткий рассказ чрезвычайно велик. «Очень вас просим, попросите наших писателей, — пишут колхозники, — чтобы писали короткие рассказы, которые сразу можно было бы прочесть. Ведь так хорошо Чехов писал такие рассказы. Романы с длинными продолжениями утомляют. А в журналах все продолжения и продолжения. Пока получишь вторую часть, первую забудешь» (группа колхозниц бригады Елены Тужиковой, село Незнамово, Кораблинская МТС).

«Короткие рассказы, по-моему, труднее писать. В романе писатель наговорится вволю. За немногие интересные места ему прощаешь неинтересные, скучные и путаные главы. А в маленьком рассказе ошибки далеко не спрячешь, укрыться некуда» (селькор А. Г., Азово-Черноморский край).

Когда речь заходит о культуре маленького рассказа в современной литературе, нельзя обойти молчанием вопрос об учебе у Чехова. Чехов неоднократно говорил, что надо писать так, чтобы не было «ничего лишнего». «Знаете, как нужно писать, чтобы вышла хорошая повесть, — в ней не должно быть ничего лишнего. Вот как на военном корабле на палубе: там нет ничего лишнего. Так следует делать и в рассказе». Чехов был враг всякой напыщенности, искусственности, всевозможных «эффектных коле-

нец». Он постоянно требовал обычных сюжетов, композиционной четкости и простоты. Обращаясь к молодым писателям, Чехов поучал: «Зачем это писать, — недоумевал он, — что кто-то сел на подводную лодку и поехал искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни. Все это неправда, и в действительности этого не бывает».

Жизненная правда, подлинный реализм, непревзойденная по мастерству сжатость и точность языка и композиции — вот тот идеал, к которому должны стремиться наши молодые писатели.

В небольшом рассказе писатель должен быть особенно чуток к слову, к малейшим оттенкам слова. Сжатость и быстрота действия — результат большой художественной культуры, напряженного труда писателя. Один из современников Чехова писал о нем: «Работал он с тщательностью ювелира. Его черновик я принял однажды за нотный лист — до такой степени часты были зачеркнутые жирно места. Он кропотливо отделывал свой чудный слог и любил, чтобы было «густо» написано: немного, но многое».

По свидетельству Дженнингса, О. Генри «трудился, как невольник, над словарем. Он пристально всматривался в каждое слово, смакуя каждый новый его оттенок».

Не только чуткости к слову, тщательной работы над словом, не только умения дать интересный, органически развивающийся сюжет нет у ряда молодых писателей, но в их новеллах поражает подчас банальность, сентиментальность, литературщина, погоня за пустой и трескучей фразой.

Особенно губельно сказывается на некоторых писателях влияние декадентской литературы.

Здоровая, горячая кровь классических произведений, традиции классической новеллы — вот достойное наследие для молодых советских новеллистов.

Перед писателем столько тем, такое сокровище человеческого героизма, ума,

кое-что существенное из истории формирования сознания пятнадцатилетнего юноши?.. Что же сказать про очень одностороннее, далеко не в основных и решающих чертах, освещение воспитательной роли лицея и про полное игнорирование сценаристом той огромной роли, какую сыграло в эти годы для Пушкина печатание стихотворений в «Вестнике Европы», в «Российском музее» и в «Сыне отечества», общение с лучшими поэтами своего времени и вступление в широкие литературные бои?

Из сценария А. Слонимского почти нельзя понять, в связи с чем быстро развивался год от году поэтический дар Пушкина и почему и чем его поэзия отличалась от стихов других поэтов его времени.

Отношения между лицеистами Пушкиным, Пушиным, Кюхельбекером, Иличевским, Дельвигом, Комовским и Горчаковым показаны очень поверхностно. Много веселого школьного озорства, невинных молодых и литературных забав. Но нет ни лицейских чтений, ни журналов. И мало показаны глубокие различия во взглядах и нравах приближенных к царскому двору лицеев, среди которых группа, близкая Пушкину, отличалась тем, что искренно и решительно ставила перед собой гуманистические задачи и освободительные идеалы гражданственности. Не показано влияние Малиновского, бывшего директором лицея в течение двух с половиной лет, противника абсолютизма и аристократии, народолюбца, внушавшего воспитанникам веру в силу, достоинство и одаренность русского народа, русского крестьянина. Не показано общение Пушкина с педагогами либерального направления, влияние лекций вольнолюбивого Куницына. Борьба Пушкина с бюрократической системой воспитания сведена к тому же озорству и проказам да к стихам о вольности. А между тем Пушкин проявил большую твердость характера, отстояв свою самостоятельность в столкновениях с умным директором Энгельгардтом и другими воспитателями,

которые пытались превратить даровитого и смелого юношу в послушного, благонамеренного молодого человека.

Не видно из сценария и того, что юноша Пушкин, обладая чрезвычайной памятью и очень много читая, великолепно знал русскую и французскую литературу.

Наконец, очень мало места уделено в сценарии Петербургу со всеми противоречиями, которые через десяток лет привели к восстанию декабристов и поставили на Сенатской площади русский абсолютизм лицом к лицу с поднявшими на него руку пробуждавшимися общественными силами.

Встречи Пушкина с Чаадаевым построены в сценарии чисто иллюстративно. Чаадаев говорит о том, что его отечество в Европе, там, где движется и развивается свободная человеческая мысль: «В России я чужой, мне здесь нечего делать». Пушкин слушает и ничего не отвечает. Позже, в гостиной у Чаадаева, Пушкин читает свою «Вольность»:

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира, трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите.
Восстаньте, падшие рабы!

И теперь Чаадаев слушает «неподвижен, как каменное изваяние», — подчеркивает сценарист.

Даже в лучших моментах сценарий несколько наивен и часто неубедительно скользит по поверхности явлений, не раскрывая их, а иллюстрируя.

Мог ли такой многое упрощающий сценарий раскрыть глубокий рост сознания и поэтического гения Пушкина? Сценарист не объяснил, как и почему во взглядах юного поэта происходила довольно энергичная эволюция от преклонения перед Александром I до критической и прямо враждебной оценки «кровавых венценосцев». Сценарий не дает нужного представления о том, почему Пушкин, выходя из лицея, уже был славной надеждой передовых людей России.

Ал. Слонимский пишет в предисловии к сценарию, что хотел «угадать за эмоционально напряженной музыкой лицейского стиха живой образ молодого поэта и живой трепет окружавшей его исторической действительности». Но что остается в сценарии за вычетом того, о чем уже было сказано?.. Поверхностный показ дворца и лицей, знаменитая встреча Пушкина с Державиным, веселое общение с гусарами и — как единственное сквозное действие всего фильма — платонические отношения Александра и крепостной актрисы Наташи.

Правда, этот трогательный мальчишеский роман дает сценаристу возможность отчасти показать отношение юного Пушкина к «простонародью», подчеркнуть, что поэт с юности был всем сердцем на стороне народа и негодовал:

Увы! Куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор —
Неволи немощные слезы.

Но самый выбор романа с девушкой-актрисой, как главного и, пожалуй, единственного в лицейские годы сюжетного мотива, получившего в сценарии развитие и завершенность, не является ли доказательством того, что А. Слонимский пошел по не совсем правильному, по наиболее легкому пути?

Не сказывается ли здесь недоверие к художественным средствам кинематографа? Некоторая консервативность драматургической мысли, искавшей облегчения задачи, а не разрешения ее во всей сложности? Неумение найти сложную драматическую и образную форму для глубокого и всестороннего раскрытия характера и поведения великого поэта в его юности? О его мысли, о драматизме его развития, о глубоком происхождении его страстной поэзии, явившейся результатом не только напряженных лирических чувств, но и высокого ищущего разума и взаимодействия со средой, рассказано в сценарии далеко не достаточно.

Фильм «Юность поэта» в постановке молодого режиссера Народицкогo уси-

лил лучшие лирические черты сценария, но не мог восполнить его пробелов. Большая художественная удача фильма — исполнение роли Пушкина учащимся одной из московских школ Вал. Литовским. От этого неподражательно, искреннего исполнения веет подлинной свежестью, лирикой и пылом юности. В. Литовский почувствовал эмоциональный образ поэта, ему веришь, когда у него на полянах и под сенью царскосельских лип рождаются стихи, веришь его чувствам и его порывистой задумчивости, веришь и его портретному сходству, словам и движениям.

Романтику поэтической юности и колорит лицейской жизни уловили и режиссер, и художник, и оператор Сигаев, и композитор Кочуров.

Непосредственное эмоциональное впечатление от фильма порой заставляет до некоторой степени прощать серьезные недостатки сценария. Этому способствует также игра В. Гардина (губернёр Мейер), Таскина (директор Фролов), Ивашевой (Наташа). К большому сожалению, лицейские товарищи Пушкина получились совсем бледными, а некоторых просто невозможно узнать и запомнить (Кюхельбекер, Дельвиг). Из лицейстов типичнее, пожалуй, Горчаков и Пущин, впрочем, роли всех их бездейственны. Но общие веселые и поэтические товарищеские эпизоды, — неповиновение на молитве, пирушка и особенно прогулка со сплетенными руками и песня перед расставанием, — живо передают дух радостной, горячей и отзывчивой юности. Фильм, хоть и достаточно наивен, но подкупает искренностью, неподдельным чувством молодости и любовью к Пушкину.

М. Блейман и И. Зильберштейн воспользовались для сценария о Пушкине описанными поэтом путевыми впечатлениями от поездки в Арзрум. Фильм поставлен режиссером М. Левиным.

Опальный поэт, чьи вольнолюбивые стихи и дерзкие эпиграммы уже полтора десятка лет заучивались наизусть всеми

передовыми людьми России, уехал в 1829 году «без дозволения начальства» в Закавказье. Из Тифлиса он перебрался в главную квартиру командующего действующей армией генерала Паскевича. Николай I, «освободивший» Пушкина из его последней ссылки в селе Михайловском, держал в унижительном плену его перо. Призрачная свобода, предоставленная коронованным цензором поэту, обернулась тягчайшей тюрьмой для его поэтического гения. Пушкин находился под бдительным надзором всесильного Бенкендорфа, предвзвешенной цензуре которого подлежала каждая строка, написанная поэтом. В Петербурге были недовольны, что в армии Пушкин встретился с декабристами, обреченными императором на смерть от турецких пуль. И сам он вел себя так, что не без основания вызвал подозрение, не ищет ли он намеренно смерти, или не ждет ли только случая для бегства через фронт за границу. Императорские шпионы следили за каждым шагом и словом поэта. Пушкин за границей со своим пламенным обличением и свободолюбием, независимый от императорской цензуры, был бы страшным врагом. Слежка связала поэта. Ему пришлось оставить армию и вернуться в столицу.

Через пять лет Пушкин напечатал свое «Путешествие в Арзрум». Авторы сценария поступают правильно, пытаются раскрыть за подцензурными строками «Путешествия» глубокие переживания поэта, о которых он вынужден был умолчать в печати. Но в своем стремлении подчинить Пушкина одной идее — бегству из России — сценаристы искажали действительность и обеднили образ поэта. В дальнейшем, после коллективной доработки и дополнений к сценарию, этот недостаток был в значительной мере преодолен. Но все же и готовый, выпущенный фильм страдает существенной неполнотой и схематичностью.

В угоду мелодраматической сюжетной «заманчивости» авторы сценария поставили раскрытие образа Пушкина, по существу, в зависимость только от

двух сюжетно противоположных лагерей. С одной стороны, трагедия его друзей и единомышленников, в роли которых, не без некоторого исторического преувеличения, показаны все встречающиеся поэт декабристы. С другой — царские клеветы, шпион Бутурлин, бездарный солдафон Паскевич и чиновники, проворовавшаяся «мелкая сволочь», встречающая Пушкина в Грузии пьяным «азиатским» обедом. А в конце сценария, как символ рока, появлялся везжавший на тройке в Россию Жорж Дантес. Пушкин в сценарии был совершенно изолирован от его интересов к грузинской культуре, от трагедии покоренного, истерзанного русской армией Кавказа, вообще от народной жизни и от всего, что, кроме декабристов, соединяло его с Россией и с жизнью. Желание Пушкина бежать из полицейского плена было неправильно представлено, как продиктованное ненавистью к России в целом. Поэт в сценарии говорил декабристу Вольховскому: «Я ненавижу... Ненавижу мое отечество с головы до ног». И ничто не говорило о горячей любви поэта к родине и ее народу. Сценарий заканчивался фразой поэта, сказанной с той же ненавистью: «Любезное отечество...». Занятый только одной мыслью, одержимый только одним чувством ненависти и отчаяния, Пушкин в сценарии был слеп или почти слеп ко всему остальному. Иные непосредственные его впечатления от окружающего были показаны чрезвычайно бедно и невыразительно.

Пьяный «азиатский» обед чиновников правильно заменен в фильме встречей Пушкина в Тифлисе с культурными представителями грузинского общества. Этот новый, вписанный в сценарий эпизод, хотя бы вкратце, показывает, что грузины видели в поэте не только национального, но и великого общенародного поэта и что Пушкин живо интересовался грузинской культурой, песнями, поэзией. Но в дальнейшем путешествии по Кавказу и в Армении Пушкин в фильме остается совершенно одиноким, и нет той жадной и пытливей заинтересе-

сованности всем, что он наблюдал. Его впечатления и интерес к окружающей жизни показаны очень мало и бледно. Пушкина сопровождает следующая за ним позади на коне безмолвная фигура кавказца-проводника или телохранителя. Она несколько не заменяет хотя бы тех встреч, о которых упоминает сам поэт в своем «Путешествии». Он рассказывает о теплом приеме его в Карсе одной армянской семьей. Общительный юноша из этой семьи взялся быть проводником поэта. «Мой армянин, — пишет Пушкин, — толковал мне, как умел, военные действия, коим он сам был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он с охотой согласился.. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце, с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях».

Пушкин непосредственно столкнулся с иллюзиями армянской молодежи, верившей, что Россия, освободив армян из-под турецкого ига, создаст лучшие условия жизни для армянского народа. И сам поэт мечтал о просвещенной роли России на Востоке, гордился распространением русского влияния, ненавидя вместе с тем тупых проводников царской политики. На деле он наглядно убеждался в том, что царская Россия несет народам Кавказа новый гнет. Он с горечью говорит: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги». В сознании Пушкина все это усиливало глубокие противоречия в отношении его к «любезному отечеству». Но всего этого нет в фильме. Полнота мысли и чувств Пушкина ускользают от авторов сценария. Они отрывают Пушкина от его сложных впечатлений и дум, отрывают его от конкретно-исторической действительности. Ставят его над средой и эпохой. Зачем? Мы любим подлинного, живого Пушкина и любим, прежде всего, за

полноту, естественность и многообразие его духовной жизни, выраженной так ярко в его реалистической поэзии и... до сих пор не раскрытой с достаточной правдивостью и полнотой в фильмах, посвященных его жизни.

Несколько промелькнувших кадров показывают убитых и умирающих в Арзруме, от чумы армян, турок и русских, плач и страх женщин, грабеж армянских дворов русскими солдатами, под заглушающий грохот барабанов вступающего войска. Они не раскрывают мыслей и чувств поэта. Противоречивое отношение поэта к завоевательной войне и колониальной политике России на Кавказе остается в фильме совершенно невыясненным. Пушкин просто бежит с отвращением и горечью из армии, как бежал из России. Он готов бежать от всего куда угодно — под пули или к туркам, или обратно в постылую столицу... Унижение и смерть посланных под турецкие пули друзей — декабристов Гурцева (Бурцева) и Чернышева — довершают его горькие мучения. С тоской он едет назад в Россию.

В фильме «Путешествие в Арзрум», как и в «Юности поэта», внимание обращено, главным образом, на эмоциональный характер и внешний образ поэта и гораздо меньше на его интеллектуальное содержание. Но, когда не раскрыты мысли человека, невозможно верно и полно передать и его чувство. И, что главное, из этого образа Пушкина снова нельзя убедительно вынести, что же, собственно, сделало его великим народным поэтом, кроме крайней впечатлительности, свободолюбия и страстности. Но вот в фильме «Путешествие в Арзрум» Пушкин читает декабристам отрывки из трагедии «Борис Годунов» — в этот момент артисту Д. Журавлеву, исполняющему роль Пушкина, ближе, чем где-либо в сценарии, пришлось соприкоснуться с подлинным великим поэтом. И образ приобрел и серьезность, и большую глубину. Страсть и поэтическое чувство подчинились мысли. Прекрасно прочтя отрывок, Журавлев — Пушкин неизмеримо вырос по

сравнению со многими сценами, в которых он порывисто эмоционально и пластически выразительно движется, «как живой Пушкин», но, поневоле следуя внешним и односторонним эмоциональным мотивам сценария, более поверхностно мелодраматичен, чем правдиво трагичен.

Впрочем, внешне, в движении, образ Пушкина везде хорошо прочувствован и передан Журавлевым, несмотря на неполное портретное сходство. Убедительно, тонко и умно исполнена К. Хохловым роль Гурцева. Очень выразителен Бутурлин в исполнении Л. Колесова. Бедна музыкальная сторона фильма, и несколько примитивно олеографично его «живописное» оформление. В стиле постановки вообще есть дурная оперность и дешевая аляповатая «декоративность». Особенно неприятны намалеванные декорации вместо улиц и цветущих садов Тифлиса. Псевдонародностью и псевдоэтнографичностью окружена встреча Пушкина с грузинами. Как будто дело происходит на эстраде в ресторане.



В общем итоге,—как видит наш читатель, глубоко заинтересованный в ярком художественном раскрытии на экране исторического образа Пушкина,—наши ожидания удовлетворены к столетию со дня смерти поэта далеко еще не достаточно. О жизни и творчестве гениального национального поэта, поднявшего в своей поэзии так высоко чувство человеческого достоинства, любовь к жизни и свободе народа, можно и необходимо еще сделать новые большие художественные кинопроизведения. Эта задача отнюдь не исчерпывается той или иной юбилейной датой. Любовь народов Советского Союза к Пушкину показывает, что он, независимо от юбилейных дат, каждый день для миллионов людей дорог и близок как интимный друг, как современник.

Поражает отсутствие советских фильмов на сюжеты художественных произведений Пушкина, кроме устаревших, слабых—«Капитанской дочки», «Коллежского регистратора» и «Дубровского», искажающих идеи и образы поэта.

Библиография

1. Массовые издания произведений Пушкина—Гл. Глебов. 2. К. БАТЮШКОВ. „Стихотворения“—С. И. З. Т. ТАБИДЗЕ. Избранные стихи—Г. Ломидзе. 4. Поэты советского Дагестана—Роман Фатуев. 5. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. „Искать, всегда искать!“—Панфилова. 6. Биографические повести для детей—Таратута. 7. ЖОРЖ САНД. „Консуэло“—С. Иванов. 8. ГЕТЕ, ИПОЛИТ ТЭН, ФРОМАНТЕН, ЭМИЛЬ ВЕРХАРН, А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ. „О Рембрандте“—З—ов и Л—в.

Массовые издания произведений Пушкина.

В серии массовых изданий¹⁾ Гослитиздатом выпущены «Драмы Пушкина» под редакцией, с предисловием и примечаниями А. Языкова (М., 1936, тираж 200.000).

Редактор этого издания находился в исключительно благоприятных условиях: он имел возможность использовать тексты VII тома полного собрания сочинений Пушкина, выпускаемого Академией наук СССР. Академический текст драматических произведений является лучшим из существующих. И потому задача Гослитиздата заключалась в том, чтобы воспроизвести его с возможной точностью, не «исправляя» Пушкина, а поясняя в необходимых случаях особенности пушкинского правописания. К сожалению, этого сделано не было.

Пушкин при жизни немало пострадал от издателей и редакторов, печатавших его произведения с ошибками. Он неоднократно протестовал против слишком вольного обращения с текстом. Одним, «не находившим толку» в некоторых поэтических выражениях, поэт писал: «чтож делать, а напечатать уж так». Других просил: «не обижайте моих сирот-стишенок опечатками и т. под.». Через сто лет эти слова приходится переадресовать Гослитиздату и А. Языкову. В гослитиздатском тексте драм — огромное количество искажений и ошибок. Их настолько много, что невольно создается впечатление наплевательского отношения редактора как к литературному наследству великого поэта, так и к массовому читателю.

В связи с этим мы вынуждены детально разобрать текст каждого из драматических произведений Пушкина, усердно «отредактированных» А. Языковым.

«Борис Годунов». Пропущено посвя-

щение Н. М. Карамзину. На стр. 60, в сцене «Граница Литовская», пропущена ремарка: (1604 года, 16 октября). Искажены следующие слова (ниже мы приводим слова в следующем порядке: первое — из гослитиздатского текста, второе — подлинное пушкинское, в скобках обозначены страницы): «во след» — «вослед» (7), «Попржнему» — «По прежнему» (7), «Не чисто» — «Нечисто» (9), «Воздвигнется» — «Воздвигнётся» (11), «на коленях» — «на коленах» (13), «слюной» — «слюней» (14), «доходит» — «доходят» (16), «житий» — «житие» (19), «К заутрене» — «К заутренни» (22), «келье» — «кельи» (22), «неразумын» — «не разумен» (23), «упреком» — «упрек» (25), «не чиста» — «нечиста» (25), «Подай-ко» — «Подай-ка» (30), «Чудова монастыря» — «Чюдова монастыря» (32), «Да, помнится, 20» — «Да, помнится, двадцать» (33), «ждут» — «жгут» (37), «Вокруг него» — «Вокруг его» (45), «Царский» — «царской» (49), «Его ж» — «Егож» (50), «московский» — «московской» (51), «польский» — «Польской» (51), «содрогалась» — «содрогалась» (53), «в праве» — «выправе» (54), «девочки» — «девочке» (56), «ней же» — «нейже» (57), «Итак» — «и так» (58), «приемыш» — «примыш» (58), «моей» — «моею» (59), «помощь» — «помочь» (61), «грешному» — «грешнику» (63), «верхом» — «верьхом» (68), «главой» — «главою» (81), «впрочем» — «впрочем» (83).

Ошибок в пунктуации сделано 276! Вот только три примера из многих: «Да, вызовешь! а как дойдет до драки», — «Да, вызовешь. А как дойдет до драки» (74), «А русские... Да что и говорить» — «А русские... да что и говорить...» (83), «Слышишь? визг! это женский голос! Взойдем!» — «Слышишь? визг! — это женский голос — взойдем!» (88). В словах «Правитель» (8, 11), «Вече» (17), «Музы» (50), «Отечество» (60), «Анафема» (69), «Юродивый» (69), «Дума» (72) затла-

¹⁾ См. «Новый мир», кн 1 за 1937 г.

ные буквы не сохранены. На стр. 75, третья строка сверху, выпала буква «В». На стр. 68 дан неточный перевод некоторых французских выражений. «Un bougre qui a du poil au sue» — точнее «отчаянный головорез», чем «храбрый пареп»; «sur les derrières de l'ennemi» — «в тылу у неприятеля», а не «на задах неприятеля».

Сцены «Ограда монастырская» и «Замок воеводы Мнишка в Самборе», исключенные Пушкиным из печатной редакции «Бориса Годунова», не приведены. Между тем сцены эти, вполне законченные, имеют большое художественное значение. Их надо было дать в приложении.

«Скупой рыцарь». Пропуск: «Его к весельям, балам и турнирам» — «Его к весельям, к балам и турнирам» (103). Искажения: «венецианский» — «венецианской» (89), «нетрудно» — «не трудно» (90), «недорого» — «не дорого» (90, 91), «притти» — «придти» (91, 100), «дырвые» — «диравые» (100), «незванный» — «незваный» (100), «Отнимает» — «отымает» (105). Ошибок в пунктуации — 22. «Нимфы», «Музы», «Гений», «Добродетель», «Труд», «Злодейство» (98) воспроизведены без сохранения заглавных букв. «Моцарт и Сальери». Искажения: «Ниже» — «Нижé» (108), «скрипач» — «скрыпач» (109, 111), «Мадонну» — «Мадону» (110), «Внезапный» — «Незапный» (111), «Восьмнадцать» — «Осьмнадцать» (112), «внезапные» — «незапные» (112). Ошибок в пунктуации — 6. На стр. 109 перепутано место ремарки — (Старик играет арию из Дон Жуана; Моцарт хохочет), которая должна находиться после слов «Из Моцарта нам что-нибудь!», а не перед ними.

«Каменный гость». Имя «Дон Гуан» произвольно передано редактором на «Дон Жуан». Искажения: «подмышкой» — «под-мышкой» (118), «истинно-прекрасного» — «истинно прекрасного» (119), «не дурна» — «недурна» (122), «Восьмнадцать» — «Осьмнадцать» (127), «лелеять» — «лелеить» (127), «постель» — «постелю» (129), «тщедушен» — «щедушен» (132), «Эскурьялом» — «Ескурьялом» (132), «ласковые» — «ласкового» (137), «Притти» — «Придти» (138, 140, 146), «Не правда» — «не правда» (144), «Я долго был усердный ученик» — «Я долго был покорный ученик» (146), «выйти» — «выдти» (147). Ошибок в пунктуации — 95. Вот несколько примеров: «Ай, ай! Жуан...» — «Ай! Ай! Гуан!...» (129), «Мое давно, давно отвыкло. Завтра» — «Мое давно, давно отвыкло — завтра» (136), «Скучна вам будет. Бедная вдова» — «Скучна вам будет: бедная вдова» (140), «Сюда вы! Здесь» — «Сюда вы; здесь» (146). Заглавные буквы в словах «Лукавый» (119), «Восторг» (124), «Музыка» (124), «Вента» (130), «Небу» (132), «Счастье» (135), «Небом» (142), «Разврата» (146), «Искуситель» (146) — не сохранены.

«Пир во время чумы». Неточно изпечатан подзаголовок трагедии (Из Вильсоновой трагедии the City of the Plague); надо

(Из Вильсоновой трагедии: The City of the Plague). Искажения: «жестокый» — «жестокой» (152), «проказницы-зимы» — «проказницы зимы» (154), «так же» — «также» (154), «девы-розы» — «Девы-Розы» (155), «коленах» — «коленях» (156), «итти» — «ити» (156), «поздно-слышу» — «поздно слышу» (156). Ошибок в пунктуации — 43.

«Русалка». Пропуск: «Я каждый день о мщеньи помышляю», — «Прошло семь долгих лет — я каждый день О мщеньи помышляю...» (179). Искажения: «То все-таки» — «То всё-таки» (158), «целуешь» — «цалуешь» (161), «Итти» — «Идти» (162), «все» — «всё» (163), «по» — «пó» (163), «нежданной» — «нежданой» (164), «пó-локоть» — «по локоть» (165), «змея» — «змия» (166), «Весёлой» — «Веселой» (173), «сыплются» — «сыплятся» (174). Ошибок в пунктуации — 80. На стр. 180, после текста «Русалки», редактор решил от себя поместить целую строку точек. Он, повидимому, хотел таким способом подчеркнуть, что «Русалка» поетом незакончена. Но об этом ведь уже два раза сказано в предисловии (стр. 3 и 5).

«Сцены из рыцарских времен». Пропуски: «Всякое состояние имеет свою честь и выгоду» — «Всякое состояние имеет свою честь и свою выгоду» (186), «этот поход стоил двух замков» — «этот поход ему стоил двух замков» (201). Искажения: «благодарностью» — «благодарностию» (184), «Экий» — «Экой» (187), «Достань же себе лошадь» — «Достань ка себе лошадь» (191), «верхом» — «верьхом» (193), «все» — «всё» (196), «все-таки» — «всё-таки» (197), «верхами» — «верьхами» (199), «Lumen coeli» — «Lumen coelum» (204), «песнею» — «песнию» (205). Ошибок в пунктуации — 36. На стр. 207, после текста, по соображениям, указанным выше, также зря помещена строка точек.

Во всех драмах крайне неряшливо воспроизведены ремарки в некоторых случаях они даны в скобках, как везде у Пушкина, но большей частью — без скобок. Совершенно непонятно, чем при этом руководствовался редактор.

Краткий цифровой итог таков: в текстах драм, «редактированных» А. Языковым, имеются 6 пропусков, 117 искажений слов и 558 ошибок в пунктуации! Печальный итог... Прекрасное начинание Гослитиздата испорчено безобразным, безответственным отношением редактора к порученному ему делу.

Не лучше обстоит дело с предисловием и примечаниями к «Драмам» Пушкина.

Драматические произведения Пушкина — это подлинная революция в русской драматургии.

Классическая драма, придворный театр были созданы в ту эпоху, когда высшее французское и русское дворянство являлось законодателем в области искусства и литературы (XVII—XVIII вв.). Напудренная и наармяненная Мельпомена, «пудренная питтика», по выражению Пушкина, отвечали вкусам и потребностям придворного дворянства.

«Великие перемены», происходившие в первой трети XIX в. в России, определялись кризисом крепостной системы, ростом социально-экономического значения «третьего состояния», широким распространением освободительных идей, демократизацией художественных вкусов. В связи с этим в пушкинское время изменяются и требования, предъявляемые к литературе вообще и к драме в частности. Пушкин, обладавший огромным историческим чутьем, становится не только выразителем художественных требований времени, но и родоначальником новой русской литературы.

В области «драматического искусства» Пушкин стремится покончить с традициями французского классицизма, с зависимостью драмы от «придворного обычая», с «не человеческим образом изъяснения». Он хочет заставить драму «отстать от подобиюстрастия», отвыкнуть от «аристократических своих привычек». Русской драме нужно, — утверждает Пушкин, — «выучиться наречию понятному народу», понять «страсти... народа», «струны его сердца», «перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади».

Понять всю глубину жизни народа, «отразить в зеркале поэзии» его «особенную физиономию», его характерные свойства, черты, стремления, сделать понятным народу, донести до народа драматическое искусство — вот в чем исторический смысл борьбы Пушкина с придворной драмой, с «пудреной пиитикой».

В этой борьбе Пушкин в качестве боевого лозунга выдвигает имя Шекспира. Почему именно Шекспира? Потому что он видит в нем «истинного гения трагедии», обладающего «смелостью изобретения создания» и «жизненной непринужденностью». Он высоко ценит в Шекспире «вольную и широкую кисть», «вольное и широкое изображение характеров», «необыкновенное составление типов и простоту», «удивительное... разнообразие». Он называет великого английского поэта «гениальным мужичком». И заявляет: «Я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина».

«Народные законы», формулированные Пушкиным, отвергают практику трех единств и теорию правдоподобия французской драматургии. Классическим единствам и классическому правдоподобию поэт противопоставляет единство интереса, единство впечатления, определяемое «человеческим смыслом», внутренней правдой драмы. Сплеченным классическим типам, олицетворяющим добродетели и пороки, — исторически-конкретного человека со всей его сложностью и противоречивостью, с его личной и социальной судьбой. Схематическому «единству» характера — «разнообразный и многосторонний характер» реального человека.

Так Пушкин, заменяя внешнее, условное правдоподобие внутренней, безусловной прав-

дой и преодолевая «не человеческий образ изъяснения» созданием простой и точной поэтической речи, проложил через толщу классических традиций путь к подлинному реализму, к народному искусству.

Вместо того, чтобы рассказать о значении борьбы Пушкина за народную драму, определить роль пушкинской драмы в русской литературе, разъяснить, что понимал поэт под «народными законами драмы Шекспировой», А. Языков подносит массовому читателю нечто маловразумительное. «В построении «Годунова» Пушкин, нарушая установленные до него Сумароковым, Княжнинным, Озеровым формы (!) классической исторической драмы, следовал, по его словам (!), «системе отца нашего Шекспира». Он укоротил стих, во многих местах заставил своих героев говорить прозой и притом не возвышенной речью, не «высоким штилем», считавшимся обязательным для исторической драмы, а обыкновенным (!) разговорным языком» (стр. 4). По А. Языкову выходит так: дело, сделанное Пушкиным, заключалось в том, что он нарушил установленные русскими драматургами XVIII в. формы и изменил построение драмы. Это, мягко выражаясь, — поверхностное утверждение. Пушкин боролся не с «формой» Сумарокова и др., а с большой исторической и литературной традицией, порождавшей эту «форму», — традицией, шедшей от французских драматургов и связанной со старым взглядом на искусство. По существу, это была борьба в литературе мировоззрений двух различных исторических эпох. «Нарушение» Пушкиным классической «формы» явилось следствием нового взгляда на сущность драмы, новых художественных идей, новых общественных целей.

Приводя слова Пушкина о «системе отца нашего Шекспира», А. Языков ни словом не обмолвился о том, что это за система и почему поэт называет Шекспира «отцом нашим». Ни слова нет о «народных законах драмы Шекспировой» и о противопоставлении их Пушкиным «придворному обычаю» французских драматургов. Таким образом суть дела остается вне поля зрения и А. Языкова, и читателя предисловия.

Весьма неточно пишет автор о «высоком штиле» и «обыкновенном разговорном языке». «Высокий штиль», «считавшийся обязательным для исторической драмы» (подразумевается, очевидно, классическая), А. Языков напрасно связывает с прозой: классическая историческая драма была драмой в стихах. Эти «высокие» стихи Пушкин иронически называл «почтенными». Что же касается прозаических сцен «Бориса Годунова», то в них поэт с великим искусством достиг просторечия. Но это отнюдь не значит, что прозаическая речь в «Борисе Годунове» является «обыкновенным (кстати — как и обыкновенным, для кого обыкновенным? — Г. Г.) разговорным языком».

А. Языков не случайно допускает ошибку в вопросе о форме и «построении». В заключительных словах предисловия он делает такое обобщение: «Художественность изображения, верное историческое чутьё, глубина психологического анализа в соединении с совершенством формы (!) ставят драмы Пушкина в ряды лучших классических произведений драматической литературы» (стр. 6). Отделение «совершенства формы» от «художественности изображения» в корне ошибочно. Поэтическая форма не есть нечто «самостоятельное», могущее «соединиться» или не «соединиться» с «художественностью изображения». Понятие «художественность изображения» включает в себя в качестве неразрывного целого содержание и форму. Напомним, кстати, что художественное совершенство поэтического произведения Пушкин видел в определенной гармонии «звукóв, чувств и дум», в полноте «смысла, точности и гармонии».

Не свободно предисловие и от мелких фактических ошибок. Михайловское принадлежало не поэту (стр. 3), а его отцу С. Л. Пушкину. Выговор Бенкендорфа последовал не «за непредставление им (Пушкиным) на просмотр рукописи «Бориса Годунова», которую Пушкин читал вслух нескольким друзьям» (стр. 3—4), а за то, что он читал трагедию, предварительно не прошедшую через цензуру (письмо от 22 ноября 1826 г.).

Трудно придумать более вульгарное «разъяснение» образа Дон Гуана, чем то, которое дает А. Языков в примечаниях. Он утверждает, что «в основном (?) Дон Жуан — представитель отживающего дворянства, для которого единственным «занятием» в жизни является любовь» (стр. 220). Что это значит «в основном»? А не «в основном» — «представителем» кого является Дон Гуан? Буржуазии? Наделие Дон Гуан чертами упадочничества, превращение его в какого-то жалкого «профессионала» любви — неправильно. Дон Гуан мужественен и умен. В нем сильные страсти. Это — полнокровный образ, стоящий в ряду мировых образов — Дон Кихота, Фауста, Тартюфа, Фальстафа.

Борис Годунов говорит у Пушкина: «Пора презреть мне ропот знатной черни...» Эти слова очень важны для правильного понимания пушкинских высказываний о черни. А А. Языков дает «разъяснение», неправильно ориентирующее читателя в пушкинском словопотреблении: «Чернь — низшие классы общества, толпа» (стр. 209).

Наконец, несколько странно звучит чересчур «реалистическое» указание А. Языкова на «местожительство» Муз — «жили в Греции на горе Парнасе» (стр. 216)!

Несравненно лучше изданы «Сказки Пушкина» (Л., 1936, тираж 350.000), снабженные вступительной статьей и примечаниями Вас. Гилпиуса.

В книгу вошли все сказки поэта, кроме неоконченной сказки о медведе. Текст дан по второму изданию полного собрания сочинений

Пушкина в шести томах (ГИХЛ, 1934). Видна внимательная работа над текстом: он воспроизведен не механически, а с исправлением ошибок. Так, например, в «Сказке о золотом петушке» восстановлено правильное чтение стиха: «Но с царями плохо вздорить» (вместо измененного поэтом для цензуры — «Но с иным накладно вздорить», напечатанного в шестигтомнике). Кроме того, ряд слов дан в исправленной редакции, совпадающей с редакцией Б. В. Томашевского (в однотомнике): «враженек» (40) вместо «враженок», «укоризною» и «дешевизною» (41) вместо «укоризной» и «дешевизной», «Он в другой раз» (42) вместо «Он и другой раз», «травую» (42) вместо «травой», «зарек» (55) вместо «зарёю», «Видны» (59) вместо «Видно», «концы своих владений» (65) вместо «конец своих владений», «проходят» (67) вместо «проходит». Но одновременно следует отметить и несколько допущенных неточностей: надо «заскрипела», а не «заскрипела» (7), «всё время», а не «все время» (7), «добра-коня» — «добра коня» (8), «на море» — «на море» (11), «Шлет царю-де» — «Шлет-царю де» (19), «нехудо» — «не худо» (20), «вареную» — «варену» (36), «Балдушка» — «Балдушка» (38), «всё море» — «все море» (40). Имеются также ошибки в пунктуации.

Датировка сказок отсутствует. Между тем читателю, конечно, интересно знать, когда какая сказка была написана Пушкиным.

Статья Вас. Гилпиуса «Сказки Пушкина» рассказывает об отношении поэта к народной сказке, о стиле пушкинских сказок, об их политической заостренности. Статья написана просто и понятно для массового читателя.

К сказкам приложен портрет Пушкина. Фамилия художника не указана.

Практический вывод из всего сказанного напрашивается сам собой: Гослитиздат обязан проявлять настоящую заботу о качестве массовых изданий произведений создателя русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы.

Г. Л. Глебов.

К. Батюшков. — «Стихотворения». Под редакцией Б. Томашевского и с его статьей. Изд. «Советский писатель». («Библиотека поэта» — малая серия). 1936 г. Стр. 236. Цена 2 р. 50 к.

29 мая 1937 г. исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения Батюшкова. В юбилейные пушкинские дни мало кто вспомнил о Батюшкове, «учителе Пушкина в поэзии», который, по словам Белинского, «много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтоб имя его произносилось в истории русской литературы с любовью и уважением» (Белинский).

Батюшков вошел в литературу в период борьбы двух направлений — карамзинистов и пушкинских.

Он в самом начале своей литературной деятельности стал ярким карамзинистом. Первое опубликованное им стихотворение («Послание к стихам моим») было резким вызовом, сатирой на реакционеров, выпадом против самого Шишкова. За этим стихотворением появляется ряд других и, наконец, едкая сатира на бездарных стихотворцев из лагеря Шишкова—«Видение на берегах Леты», создавшее автору популярность и вызвавшее среди шишковистов раздражение и негодование.

Борьба Батюшкова за новый литературный язык выражалась не только и не столько в направленности его стихов против консервативных элементов в литературе, сколько в самом содержании и форме его произведений. Батюшков приблизил русский литературный язык к обычному разговорному языку, реформировал самую структуру стиха. Он шел по стопам Ломоносова, родоначальника русской поэзии. Он требовал «писать так, как говоришь», он стремился к «простоте» речи, к «ясности», он вводил в литературу живой народный говор.

Сущность и смысл своей реформистской деятельности Батюшков обрисовал в своей речи при вступлении в «Московское Общество любителей русской словесности»: «Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам».

Роль Батюшкова в области создания нового литературного языка чрезвычайно красочно выражена Пушкиным: «...Батюшков-счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского...».

Творческая деятельность Батюшкова продолжалась недолго. Первое его стихотворение «Послание к стихам моим» появилось в январской книжке журнала «Новости русской литературы» за 1804 г. В 1817 г. он выпускает книгу своих «опытов» и с этого момента почти перестает писать. Он сам в конце 1821 г. заявил в своем обращении к читателям, что за последние шесть лет он ничего не писал и не печатал. Это отвечает действительности. В период 1818—1822 гг. ни в одном журнале не было опубликовано ни одного нового произведения Батюшкова. А в 1822 г. наследственная неизлечимая душевная болезнь выводит его из строя в тридцатипятилетнем возрасте—за 33 года до физической смерти.

Творчество Батюшкова таило в себе большие противоречия. Все его творчество является противопоставлением своего скудного быта—блестательной роскоши высшего дворянского слоя. Его основной темой была тема трагической участи поэта. В интимных письмах к друзьям подтверждает он это направление. Нотки байронизма сквозят в его лирике, и, несомненно, только быстро развившаяся болезнь помешала ему полно-

стью вырядиться в тогу байронизма. Тяга к Байрону проявилась и во время болезни, когда Батюшков в письме к Байрону, в ту пору уже умершему, обращается с просьбой прислать учителя английского языка для того, чтобы «читать ваши произведения в подлиннике».

Батюшков вступил на литературное поприще под знаком резкой борьбы с шишковистами, под знаком борьбы за европеизацию России. Но война 1812 г. приводит его к неправильным выводам. Он соглашается с мнением, что французские книги «достойны костра». Он вступает в армию, совершает с ней заграничный поход и по возвращении пишет статью «Нечто о морали, основанной на философии и религии», в которой порывает с «заблуждениями юности», с философией Волтера и Руссо. Он доходит до утверждения того, что «настоящая мораль должна быть основана на небесном откровении». В его стихотворениях постепенно нарастает пессимизм. И одно из самых последних его стихотворений, «Изречение Мельхиседека», написанное уже в преддверии страшной болезни, дышит безысходностью, трагическим отчаянием.

«Он был сын своего времени,— вот где причина его недостатков: средствами своей природы он был уже далее своего времени; но мыслью, сознанием он шел за ним, а не впереди его... Превосходный талант этот был задушен временем» — говорил Белинский. И сам Батюшков понимал это и расценивал свое творчество как «слабые начинания». Он понимал, что средства его в поэзии велики, возможности громадны. Но использовать эти средства и большие возможности он не смог. «Что говорить о стихах моих! Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было».

Пушкин был серьезнейшим критиком Батюшкова. Он оставил свои заметки на полях «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова. В этих заметках Пушкин жестоко критикует ряд отдельных произведений Батюшкова.

То немногое, что оставил Батюшков, заставляет считать его одним из виднейших русских поэтов. Необычайно гармоничны стихи его: «Стих его часто не только слышим уху, но видим глазом: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки» — говорил Белинский. И в тех же заметках на полях, где Пушкин резко критикует отдельные стихи Батюшкова, мы видим и буквально восторженные отзывы величайшего русского поэта.

Против строк Батюшкова:

Красавица стоит безмолвствуя в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах... —

Пушкин записывает: «Вот стихи прелестные собственно Батюшкова — вся строфа прекрасна».

Пушкин читает:

Где вы, отважные толпы богатырей,

Вы, дикие сыны и брани и свободы...

и замечает: «Живо, прекрасно». «Прелесть и совершенство — какая гармония» («Письма друга»), «Прелесть» («Разлука»), «Звуки итальянские! что за чудотворец этот Б.!', «Гармония», «Прекрасно», «Сильные стихи» — такова положительная критика Пушкина.

Нельзя сказать, что Батюшкову везло с пзданием его сочинений. Если не считать трех прижизненных изданий его стихотворений, за дореволюционное столетие вышло только одно собрание сочинений его, правда, капитальное (в 1887 г., к столетию со дня рождения поэта). Три больших тома, с ценной монографией Майкова, с тщательными и обильными примечаниями и комментариями. После Великой Октябрьской революции Батюшков издавался дважды — в издании «Академия» (1934 г.) и в рецензируемом издании.

Последнее издание включает избранные произведения Батюшкова, и следует отметить, что выбор произведений поэта сделан не совсем удачно.

В сборнике отсутствует «Элегия из Тибула» — одно из лучших творений Батюшкова, включающее такие чудесные стихи:

При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной

Подрута в темну ночь зажжет светильник ясный

И, тихо вретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.
А ты, склоняя слух на сладки небылицы,
Забудешься, мой друг; и томные зеницы
Закроет тихий сон, и пряслица из рук
Падет... и у дверей предстанет твой
супруг,

Как небом посланный внезапно добрый
Гений.

А в то же время включено в сборник совершенно неудачное произведение «Последняя весна».

Ничем нельзя объяснить и отсутствие в сборнике «Послания к стихам моим» — интересного в качестве первого опубликованного произведения поэта, резко направленного против шишковистов.

Полагаем, что в сборник должны были быть включены и коллективные стихи Батюшкова, Жуковского, Плещеева и Пушкина: «Писать я не умею» и «Вяземскому».

С. И.

Т. Табидзе. — «Избранные стихи». 1936 г. Гослитиздат.

Когда советская литературная общественность познакомилась со стихами П. Яшвили, Т. Табидзе, Г. Леонидзе, В. Гаприндашвили, Н. Мицишвили, она была удивлена и очарована своеобразием их поэтического

тверчества. Вокруг прошлого поэтов родилось много догадок и кривотолков. Один из критиков, Д. Мирский, стал даже утверждать, что грузинский символизм есть фантастическое измышление критики и что ничего подобного на деле никогда не существовало. Критик явно впал в заблуждение. В своем суждении он исходил из творческого сегодня, совершенно забыв о прошлом. Не зная реальных фактов, критик смазывал те трудности, тот богатый противоречиями творческий путь, который привел лучших представителей грузинского символизма к сегодняшнему дню.

В предисловии к своей книге Тициан Табидзе говорит об ошибочности и ложности положений Д. Мирского. В одном из стихов он откровенно заявляет:

Не к чему лгать, признаю обвинение.

Сердце влекли дадаистические рощи,

Было мучительно мне раздвоение,

А покаяние — чище и проще.

В сборнике Тициана Табидзе помещены избранные стихи, написанные между 1917 и последними годами. Они выражают различные этапы роста личности поэта и сильно отличаются друг от друга по глубине понимания социальных явлений, по художественному мастерству.

Наиболее ранние стихотворения относятся к тому бурному времени, когда на фронте рвались снаряды и кровью обагралась земля, когда вставшая на дыбы Россия готовилась к решительному бою с черными силами контрреволюции. Поэт тогда замыкался в скорлупу маленьких, незначительных переживаний своего «я». Он опускал занавеси на окнах, он не хотел видеть того, что происходило вне его личных ощущений, он, говоря словами А. Белого, «фейерверком слов наполнял пустоту, его окружающую».

Если, опустив 1918—19—20 и последующие годы, перейдем к 1926 г., то увидим, что во взглядах Т. Табидзе на мир изменилась очень мало. «Скифская элегия», написанная в 1926 году, есть отступление вглубь истории. Она могла быть написана всегда, во все времена. Ей не хватает простора, чувства новой социалистической действительности; нейтральные стихи выполняли роль временного прикрытия. Поэт хотел выиграть время. Он чувствовал необычность нового, но в то же время это новое было покрыто туманом, незнакомо. Что было делать? Он становился в сторону, в положение заинтересованного зрителя и ждет. Сказать, что Т. Табидзе всегда занимал подобные позиции, было бы неправильно. В первые годы революции поэт противопоставлял себя новому, социалистическому миру. Ему, как и многим поэтам, вышедшим из мелкобуржуазной интеллигентской среды, казалось, что «красный поток» захлестнет все высокое, любимое, дорогое.

В «Тифлисской ночи» Т. Табидзе частично рвет с традициями символизма, с миром богемы и делает попытку направить «свой челн» к берегам современности. Т. Табидзе убеждается в необходимости «снятия» прошлого. Однако, где тот новый, положительный идеал, который должен заменить старое? Поэт еще не видит этого идеала. Вернуться назад невозможно, идти вперед — нехватает отваги и смелости, — и остался он «гол, как новорожденный».

Вот, чем я стал и до чего дошел.
Как Шавнабада, черен и гол.

В «Саганлуге» повторяется тот же мотив:

Чем я владею сегодня,
Что завтра мне надо, беззаботен
И гол, словно склон Шавнабада.

Поэт дает обещание: «Я буду петь индустриальный вихрь и старый мир крушить, как плот дощатый», и он как бы просит поверить ему:

Но я не кончил. Я еще начну.
Еще надеюсь, все начнется снова.

Т. Табидзе переоценивает свое творческое прошлое. Голос его крепнет, чувства делаются ясными, хотя им нехватает еще цельности, конкретности, единства (например, «Окрокана»). На особое место следует поставить «Топорованскую легенду». В первой части стихотворения, где поэт говорит о любви девушки и юноши (юноша ночью, скрываясь от злой женщины, переплывает реку, девушка с противоположного берега освещает ему путь), изящность стиха, его напевность совершенно соответствуют избранной поэтом теме. Поэтическое чувство изменяет ему лишь там, где он возвращается к темам, ему мало известным. Хотя и здесь его стих приятен.

Стена поднялась за стеной,
Известка и песок,
Бетонный, каменный, стальной
Социализм высок.
Поет, цветет грузинский край,
Звенят кирка и лом,
И клич несется: «Наступай,
Товарищ, напролом».

Когда в сознании поэта происходит борьба между старым и новым и это новое еще органически кровно не преворилось в его творческом сознании, тогда остается место для пассивного, созерцательного отношения к действительности. Созерцательное отношение к действительности выливается в стихах Т. Табидзе в довольно своеобразную форму — в форму иллюстративного перечисления событий.

В поэме «Роальд Амундсен» поэт нашел правильный тон. Ему удалось отразить — в самых высоких, патетических тонах — незабываемую героиню советских полярников. Поэма написана ломаными, неровными, все ускоряющимися ритмическими стихами. Та-

кого рода неровность художественной формы обусловлена необычайностью и новизной чувств поэта, большой его скорбью и неповторимой радостью. В стихотворении сталкиваются два чувства — скорбь по поводу гибели Амундсена и гордость, вызванная героическими делами Чухновского и Самойловича. Читаешь «Роальда Амундсена», и перед глазами встает 1928 год — подвиг советских полярников, легендарный рейс ледокола «Красин». Так поэт-художник утвердил и оживил один из прекраснейших фактов героизма и самоотвержения советских людей.

В «Рион-порте» поэт воспевает непреклонную волю большевиков, подчиняющую себе стихийные силы природы и ставящую их на службу счастливой жизни человека. Перед этим невиданным размахом сталинского переустройства жизни бледнеют фантастические сказки народов мира. Поэт говорит с гордостью:

Мы самые волшебные легенды
На мною лет оставили позади.

В поэме Т. Табидзе обращается к любимому средству — к исторической параллели. Черный и безрадостный фон прошлого нужен ему для более осязаемого, ясного и видимого отображения величия социалистического Орпири. Поэт с особой непосредственностью и теплотой переживает тему Орпири. В стихотворении «Осень в Орпири», написанном еще в 1919 г., «мрачную грязь» Орпири, его «прогнившее тело» предпочитает он всем Пантеонам, всем землям. «Все ж Пантеонам, земле Дилубе предпочту я прогнившее тело Орпири».

В «Рион-порте» эта любовь возвышается до высокого гражданского чувства поэта. Он любит Орпири, как часть своей родины, где побежден страшный враг человечества — малярия и где жизнь стала солнечной и счастливой. Исполнилась и мечта детских лет поэта: «Свершилось все, о чем я грезил в детстве, в Орпири я увидел паруса». Паруса несут символический характер. Этим поэт как бы подчеркивает, что новое социалистическое строительство не есть для него что-либо чуждое, недоступное, но что оно есть осуществление его субъективных идеалов, грез и желаний.

О стихотворении «Родина» поэт в предисловии говорит, что «он приблизился к социалистическому реализму». В чем особенность этого цикла? У «Родины» нельзя отнять одного — большой сыновней любви к социалистической родине и здорового, восторженного фламандского жизнелюбия. Чувствуешь: человек, так любящий свою землю и жизнь, не уступит их никому. «Родина» безусловно входит в творческий актив писателя. Это подлинно большое художественное произведение, в котором поэт делает попытку овладеть огромной темой — темой родины в ее историческом развитии. Отдельные места сделаны с блеском.

В каждом дыхании, что вьется бушуй,
Цепкой лозой, муравьем-работягой, —
Ленина душу узнаешь большую,
Сталина нерв с многосильною тягою.

Но тема все же остается неразрешенной, неосвоенной. Поэт избегает широкого эпического раскрытия явлений. Несмотря на то, что в «Родине» есть «заинтересованность» предметом, сердечный восторженный подход к нему, поэма все же сохраняет какую-то сухость, потому что субъективное отношение дается здесь в виде формул и положений.

Любовь Т. Табидзе к жизни была уже не раз отмечена критикой. Следует указать еще на одно, не менее ценное качество — на внутреннюю, идейную честность поэта. Поэт прямо и откровенно говорит о своих взглядах и настроениях, понимаях. Поэзия никогда не была для него средством маскировки социально чуждых и вредных идей. Прекрасные слова Т. Табидзе о типе поэта сделались популярными в Советском Союзе:

Если мужества в книгах не будет,
Если искренность слез не зажжет,
Всех на свете потомство забудет, —
И маонщиков нам предпочтет.

Сборник снабжен предисловием В. В. Гольцева, содержащим ряд общих положений.

Несколько слов о качестве переводов. Дать разбор всех переводов здесь невозможно. Мы коснемся лишь тех случаев, в которых отступление от оригинала слишком очевидно. Здесь приходится в первую очередь выделить Бориса Пастернака. Если стихотворение «Меня разбойники убили на Арагве» (в сборнике помещено без заглавия, стр. 27—28) сравнить с подлинником, то легко убедиться, что перевод является лишь далеким отзвуком оригинала. Изменена лексика, выпущены авторские строки, неправильно понят текст, принцип прямого, отчетливого построения образов заменен туманными и неопределенными намеками. Сравним русский текст:

Иду со стороны черкесской
По обмелевшему ущелью,
Неистойвой морского плеска
Сухого Терека веселье.

Грузинский оригинал:

«Черкесия осталась у меня позади,
Приближаюсь к нашей стороне, к Дарьялу,
Пересохший Терек — капля одна,
Но морем захлестнет мне грудь.

В 1-й строке второй строфы вместо «перевернувшееся небо» должно быть: «опрокинулось мне на голову разодранное небо».

В 3—4-й строках вместо ничего не говорящего поэтического иероглифа:

И для тебя лишь сердце ширю
И переполненные очи —

стоят гораздо более сильные строки:

Тобой я полон по самое сердце,
И слез нахлынувший поток.

Первые две строчки последней строфы:

Свалиться замертво в горах
Нагим до самой сердцевины —

чистейшая выдумка Пастернака. Ничего подобного нет в оригинале.

В стихотворении «Стих-обвал» (которым открывается сборник) словесный материал Т. Табидзе переработан и деформирован. Например, риторического вопроса первой строфы «Что стих?» и ответа «Вот, что стих» в оригинале нет вовсе. Но это мелочь. Во вторую строку четвертой строфы вставлено выражение «большой оригинал». Вставлены и следующие невразумительные строки:

Он припасал стихи, как сухаря и сало,
И их, как провиант, с собой в дорогу
брал.

Не лишним будет заметить, что «сухари и сало» отнюдь не являются излюбленной пищей грузин. Грузины обычно берут с собой в дорогу хлеб и сыр.

Первая строка второй строфы начинается словами: «Под ливнем лепестков родился я в апреле». Метафора Т. Табидзе:

Я родился в апреле,
Из распутившегося цвета яблонь —

гораздо более оригинальна и свежа.

На большой высоте стоят переводы Н. Тихонова. Ему удалось справиться с трудной задачей: сохранить лексику, стиль и синтаксис Т. Табидзе и донести до русского читателя его подлинный поэтический голос.

Г. Ломидзе.

Поэты советского Дагестана. Составил Эфенди Капиев. Северо-Кавказское краевое государственное изд-во. 1936 г. Москва—Пятигорск.

В колхозе Хасав-Юртовской МТС было безобразное положение со скотом. Политотдельская газета помещала много заметок, но они не достигали цели. Тогда редактор обратился к кумыкскому поэту Аюдул Вагабу Сулейманову, и тот написал своеобразный стихотворный фельетон «Жалоба скота колхоза «Социализм» Хасав-Юртовскому политотделу».

«Это стихотворение произвело волшебное действие. Его прорабатывали в бригадах, обсуждали на собраниях почти во всех хасав-юртовских аулах» — так сообщает об этом переводчик стихотворения — Эфенди Капиев.

Большинство стихотворений Сулейманова посвящено колхозному быту. В рецензируемой книге он представлен двумя (не вошедшими в дагестанскую антологию) стихотворениями: «Жалоба» (перевод Эфенди Капиева) и «Журавли» (перевод Нат Славинской).

Сулейманов, как и большинство поэтов советского Дагестана, молод (родился в 1909 г.), а в книге молодежи отведено почетное место.

В предисловии Багау Астемиров говорит о творчестве молодых поэтов четырех национальностей Дагестана: кумыков Сулейманова и Ханмурзаева, аварца Гаджиева, тата Дадашева и недавно умершего лака Омаршева.

Из этого не следует, что у других национальностей Дагестана нет поэтов, обогативших родные литературы крупными поэтическими произведениями. Вспомним хотя бы Алибека Фатахова — первого лезгинского прозаика и поэта, написавшего поэму об индустриализации Дагестана («Ударник Гассан»), в сборнике он представлен двумя стихотворениями: «Война» (перевод Нат. Славинской) и «Ударники дорог» (перевод Н. Вержейской) и даргинца Р. Нурова, автора «Песни о гражданской войне».

В книге представлено творчество восьми национальностей — аварцев, даргинцев, кумыков, лаков, лезгин, татов, ногайцев, тюрков.

Поэты Дагестана, как можно видеть по стихотворению Сулейманова, с честью несут знамя советской поэзии. Советский Дагестан выдвинул Сулеймана Стальского. Можно утверждать, что дагестанские поэты — наиболее сильный отряд на всем Северном Кавказе. Сулейман Стальский в книге «Поэты советского Дагестана» представлен двенадцатью стихотворениями.

Другой народный поэт Дагестана — аварец Гамзат Цадасса — известен как поэт-сатирик. Его стихотворение «Недостатки Москвы по сравнению с горным аулом» очень своеобразно. Цадасса, попав впервые в Москву (в 1934 г. на съезд писателей), делится своими впечатлениями о ней:

Часто, Раджаб, о Москве ты мне плел
небылицы:
«Чудное место!», а все оказалось неправ-
дой, —

так говорит Цадасса своему другу Раджабу Дин-Магомаеву, аварскому прозаику. И дальше Цадасса выражает ироническое изумление по поводу целого ряда «недостатков Москвы»:

Я кизяка здесь на стенах нигде не
заметил,
Чем они топят зиму, уж, право, не знаю...
Слушай, Раджаб, где же клетки у них, —
непонятно,
Где же солому, корма и старье они прячут?

Цадасса дивится тому, что он «не слышит голоса здешних чаушей (глашатаев), созывающих народ на собрания», тому, что «люди здесь обходятся без ишаков».

Словно детишки, тут многие ходят с
цветами.
Нет, ты подумай. И это — солидные люди.

Перевод стихотворения «Недостатки» (Эфенди Капиева и Нат. Славинской) — один из удачных переводов в книге: он близок к подлиннику, сохраняет присущую стихам

Цадассы умеренную и умную иронию. Кроме «Недостатков» Гамзата Цадассы, даны еще два стихотворения: «Радиомачта на сакле соседа» (в очень слабом переводе Д. Гагуева) и «Чухто» (в переводе С. Олендера).

Третий народный поэт Дагестана — кумык Абдулла Магомадов — представлен всего одним мало удачным стихотворением «Дагестанец — старый крестьянин поет солнцу» (перевод Э. Левонтина).

Из молодежи, после Сулейманова, следует отметить Эчиу Гаджиеву, первую кумыкскую девушку-поэтессу. Ее небольшое стихотворение «Видела во сне» (перевод Нат. Славинской) искренне и свежо. Так же хороши и два стихотворения Султанат Саид-Гуссейновой: «Песня горянки» (перевод И. Блинова) и «Счастливым подругам» (перевод Эфенди Капиева). Второе стихотворение Саид Гуссейновой — своеобразная речь в стихах, произнесенная ею на 1-м краевом съезде торянок Северного Кавказа:

Даже солнце шлет привет, сверкая,
Осыпаясь золотом лучей,
Даже горы опустились ниже
Слушать, как о нас поет ручей.

Эти песни, пляски и улыбки,
Эта радость девичьих сердец —
Все тебе, великий наш учитель,
Для тебя, великий наш отец.

Наиболее удачными в книге являются переводы, сделанные Эфенди Капиевым («Недостатки Москвы» — Гамзата Цадассы и «Товарищу Сталину» — Сулеймана Стальского); С. Олендером («Сулак» — Загида Гаджиева и «Чухто» — Гамзата Цадассы); А. Чачиковым («О Ленине» — Умара, сына Керима, — Арашева). Последнее стихотворение почему-то напечатано без подписи переводчика. Это тем более вызывает недоумение, что перевод Умара, сына Керима (Арашева), был включен тем же составителем в «Дагестанскую антологию» за подписью переводчика. Чрезвычайно примитивен перевод Р. Ивнева — «Песня о Сталине» — Наби Ханмурзаева. Для того, чтобы подобрать рифму к слову «лезгин», он пишет «кубачинец» (кубачин звучит приблизительно так же, как немчин вместо «немец»). Плох перевод В. Бугаевского «На западе закат» — Абдуллы Баширова. Посредственен перевод стихотворения А. Зихутдина «Золотой родник»:

Сторбясь впятеро (?), идешь ты три версты.
Станем все друзьями техники труда,
Подчиним себе машинные стада.

Такие строки характерны для всего стихотворения. Переводчик (стихотворение подписано Эф. К., — нужно предполагать: Эфенди Капиев) слово «мектебе» в сноске объясняет «школа». Это неверно, точный перевод: мектебе — мусульманская духовная школа. Советскую же школу именовать мек-

тебе нельзя, а в стихотворении речь идет именно о советской школе.

Наши жены, дети в мектебе идут,
В руки новой жизни азбуки берут...

Если у автора (колхозника селения Кая-Кент) и было так сказано, то переводчику, особенно такому знающему и опытному, как Эф. Капиев, следовало бы это исправить.

Появление книги «Поэты советского Дагестана» — прекрасный подарок к XV-летию ДАССР. Жаль только, что книга вышла с опозданием почти на год и очень дорога — 4 рубля.

Издана книжка со вкусом. Обложка выполнена дагестанским художником Муэддином Джамалом.

Р. Фатуев.

С. Сергеев - Ценский. — «Искать, всегда искать!» Повесть. Книга 1-я. Гослитиздат, 1935 г., 334 стр.

Литературная критика не раз отмечала, что писатель Сергеев-Ценский долго и упорно не признавал творческих способностей революции и ее очевидных достижений. Он как-то внутренне застрял на настроениях обывательского недовольства и даже озлобленности.

Повесть «Искать, всегда искать» по первому впечатлению можно принять за попытку писателя приблизиться к советской современности. Идеологическая и художественная ценность этой повести и должна, очевидно, служить показателями искренности и успехов автора на пути этой перестройки.

Пока мы имеем дело с первой книгой повести. Композиционно она распадается на две самостоятельные части. Первая — «Память сердца» — печаталась ранее, до выхода повести отдельным изданием. Вторая — «Загадка кокса» — написана вновь. В конце ее вступает в действие одна из героинь «Памяти сердца». Таким образом намечается связь двух частей в дальнейшем. «Искать, всегда искать!» — этот общий заголовок формально объединяет поиски героиней «Памяти сердца» Серафимой Петровной близкого ей человека с поисками решения «Загадки кокса» молодыми аспирантами горного института. Каждый ищет свое. Вот первое, что можно сказать о смысле повести.

Учительница гимназии Серафима Петровна в июле 1917 года приезжает в Крым со своей трехлетней дочерью Таней. Здесь она случайно встречает только-что возвратившегося из ссылки и отдыхающего перед возобновлением революционной работы большевика Даутова. В обстановке гражданской войны Серафима Петровна теряет следы Даутова, но не бросает надежды найти его. В поисках ей помогает ставшая подростком Таня.

Тщательно создает автор страдальческий образ Серафимы Петровны. У Серафимы

Петровны нет корня в жизни. В прошлом опротивевшая гимназия, о которой она не может слышать равнодушно, в настоящем — неуютная революция, необходимость непривычными способами отстаивать свое существование — и бежать, бежать в поисках спокойного уголка. Во всех положениях Серафима Петровна изображается жертвой играющих ею сил. Эти слепые и страшные силы автор особенно ярко передает через детские восприятия Тани, сопутствующей матери в ее бесконечных метаниях. Революция в этих восприятиях выглядит только как нечто безликое и ужасное, коверкающее судьбу слабых людей.

«На одной какой-то станции, где они хотели сесть в поезд, ее чуть не раздавили. Ее уже сбили с ног. Она помнила, что лежала головой на холодном рельсе, а над ней по приступочкам вагона топтали солдатские сапоги, с которых капало на нее жидкой грязью... Потом она помнила «Грязи», большую станцию... и еще, что неизменно представлялось ей при слове «Грязи», — это кишки, намотавшиеся на буфера между двумя вагонами».

Сочувствие автора на стороне «гонимых и распираемых» людей. Он расписывает их страдания, но не видит никакого высокого смысла тяжелых испытаний годов гражданской войны и революции.

Даутов не удался Ценскому. В приемах и средствах изображения писатель невольно (и, конечно, не случайно) обнаружил непонимание самой сути большевизма. Даутов представлен узким, ограниченным фанатиком, и эти черты особенно сильно бросаются в глаза по контрасту с натурой Серафимы Петровны.

Излагая свое понимание большевизма, Даутов говорит: «Да, я фанатик! И все, кто хочет того же, что я, тоже непримиримые фанатики. Тем-то мы и сильные, что у нас есть фанатизм, а у наших противников только интеллигентская муть в глазах».

Первая часть повести оканчивается нестатейно введенным и очень примитивно сделанным авантюрным эпизодом с ошибкой Тани, принявшей какого-то Патуту за разыскиваемого Даутова.

Идеологические позиции автора со всей определенностью представлены в тенденциозно-фальшивом изображении продовольственного положения в 1930 году:

Таня стоит в очереди за хлебом.

«...Проходили татарки с грудными детьми, с черно-синими косами, с ямами под глазами и... они недавно стали такими».

Вот длинноухий мул провез мимо двуколку, полную яркой, сладкой на вид моркови из колхозного огорода в какой-то дом отдыха; потом туда же на большой вороной лошади... провезли мясо, баранину, тушек двадцать. Таня вспомнила, что не ела мяса уже с полгода, и отвернулась».

«...в дом отдыха на грузовике провезли мимо гору белого, мягкого на вид хлеба, и, получая тяжелый кусок черного для себя и матери, Таня сказала молодому татарину Мустафе, который развешивал хлеб:

— Прежде мама моя, как больная, получала белый по рецепту врача, а теперь...

— А теперь уголь по рецепту врача даем, — в чем дело? — дружелюбно подмигнул Мустафа. — Бери рецепт, — дадим уголь, платье себе гладь, пожалуйста, — что такого?»

Вторая часть книги, «Загадка кокса», подкупает выбором темы. В ней идет речь о молодых советских специалистах и научных работниках, занятых решением проблемы коксования донецких углей. Однако напрасно искать в этом произведении художественного показа того, как создавалась советской властью «собственная инженерно-техническая интеллигенция из рядов рабочего класса». Авторский интерес к этой теме лежит совсем в другой плоскости.

Автор показывает (в отличие от жертвенной судьбы Серафимы Петровны) формирование «сильной личности» из среды мелкобуржуазной интеллигенции. Леонид Слесарев с самого раннего возраста поставлен перед необходимостью активного приспособления в условиях гражданской войны и революции. И он обнаруживает величайшую жизненную цепкость. Еще в детстве он без труда овладевает искусством изготовления рыболовных крючков, футбольных мячей, извлечения из Днепра затонувших бревен и прочее. Он шьет обувь, делает лодки, кладет печи и работает батраком у кулака. И с такой же легкостью приходит к решению «загадки кокса». При этом Слесаревым не движут никакие общественные интересы. Он апатичен, и его упорство и успехи определяются только его природной жизненной цепкостью и умом.

Чтобы обнаружить высокие моральные задатки у своего героя еще в раннем детстве, Сергеев-Ценский вводит в действие философский персонаж — «дядю Черного». В 1918 году этот «философ» оказывается в эмиграции. В воспитательных целях «дядя Черный» называет двухлетнему Лене Слесареву различные картины мучительства явно патологического характера.

Живых людей нашей современности (речь идет о 1931—1932 гг.) вокруг Леонида у Ценского нет. Ни слова нет ни о партийных, ни о советских организациях. Есть, правда, комсомольцы, но это не знакомые нам типы советских юношей и девушек, а литературные мумии, которые изъясняются каким-то надуманным языком.

Зато фигура мелкобуржуазного вундеркинда Слесарева заслоняет собой все.

Типы профессуры как-то не воспринимаются индивидуально (кроме Лапина, пожалуй). Профессора сплошь реакционны, причем

реакционность эта какого-то обывательского сорта. Профессор Лапин, об аресте которого вскользь упоминается в конце книги, вовсе не показан как враг, вредитель, а просто как самовлюбленный обыватель от науки, который если и вредит, то уж во всяком случае без прямой политической цели.

Ланфилова.

Биографические повести для детей

«Я люблю их не только за их открытия и оказанные человечеству великие благодеяния. Нет. Они мне особенно дороги и близки как умные, чувствующие и страдающие человеческие существа. Я говорю живые, потому что образ каждого из них ярко живет в моей памяти и будет жить до тех пор, пока мой мозг не потеряет навсегда способности вспоминать» — так говорит о своих героях Поль де-Крюи, заканчивая книгу «Охотники за микробами».

Нам неоднократно уже приходилось упоминать на колоссальную роль биографии в деле воспитания. История сохранила нам немало свидетельств, как личный пример — виденный, рассказанный, услышанный — воодушевлял юношество и определял подчас его жизненный путь. Буржуазия это прекрасно учитывала, издавая для детей бесчисленные биографии полководцев, завоевателей и... жития святых.

У нас еще очень немного создано биографий для детей, но за один 1936 год вышли четыре новых биографических книги. Это очень мало по сравнению с тем, что еще нужно сделать, но совсем не мало по сравнению с тем, что было сделано раньше. Вышли в Детиздате ЦК ВЛКСМ книги А. Роскина — «Максим Горький», Н. Шпанова — «История одного великого неудачника» (Дени Папена), Выгодской — «История двора Деккера» и обработанная для детей книга В. Шкловского «Жизнь художника Федотова». Кроме этих книг, в серии «Жизнь замечательных людей» Детиздата переизданы: упомянутая выше книга Поля де-Крюи «Охотники за микробами», Выгодской «Алжирский пленник» (Сервантес) и А. Яковлева «Жизнь и приключения Роальда Амундсена».

Эти книги неравноценны по качеству, но в них абсолютно нет того, что отличало старую биографическую книгу, — чувствительности и сусальности. Сентиментальность, идеалистическое «возвеличивание индивидуальности, отсутствие реального окружения и обилие трогательных подробностей — вот что характеризовало старую биографическую повесть Авенариуса, Гранстрема и многих других. Социальные конфликты пресудомноительно обходились, историческая закономерность подменялась доминантной случайностью, а сусальность была главенствующим «творческим методом».

Однако, в полной мере избавившись от фальшивой чувствительности, наши авторы,

к сожалению, не пришли еще к тому, что должно было ее заменить, — не пришли еще к подлинному чувству, к высокой страстности. Об их героях читатель не скажет того, что он повторит вслед за Полем де-Кюри.

Образы героев Поля де-Кюри — образы отважных охотников за микробами, самоотверженных ученых — живут и в памяти каждого читавшего эту замечательную книгу.

Поля де-Кюри полностью владеет секретом мастерства создавать эмоциональный образ, отнюдь не в ущерб освещению всего значения научной деятельности его героя.

Ближе всех к созданию эмоционального образа героя подошел А. Яковлев. Читатель следит с неослабевающим интересом за жизнью отважного полярного исследователя. Автор сумел рядом деталей дать само становление характера Амундсена — его работу над собой, терпеливую и упорную борьбу за укрепление воли, здоровья, за овладение наукой. Вот мальчуган приучает себя спать с открытым настезь окном, вот он юношей вдвоем с товарищем переезжает на лыжах Хардангерское плоскогорье, вдохновленный примером Нансена, и т. п. Узнав, как складывался характер Амундсена, читатель с большим волнением следит за дальнейшей судьбой героя, сам участвует и переживает с героем его удачи и неудачи, заражается его мужеством и настойчивостью, предусмотрительностью и энтузиазмом.

Местами и Н. Шпанов дает почувствовать своего героя — гениального неудачника, изобретателя первой паровой машины — Дени Папена. Смерть Папена, человека, отдавшего самое дорогое, что у него было, — сына, только для того, чтоб продолжать свою работу, производит сильнейшее впечатление.

О Максиме Горьком Роскин рассказал очень честно и добросовестно. Книга богата содержанием, освещены почти все этапы пути развития Горького. Язык простой и строгий, в нем нет излишних украшений, нет также протокольной сухости, которая часто встречается в книге Шпанова, написанной очень неровно.

Страшна судьба замечательного русского художника-реалиста П. Федотова. Вся жизнь в нужде и смерть в сумасшедшем доме. Но книга Шкловского стоит между Федотовым и читателем, не давая им приблизиться друг к другу. Ребенок не сможет преодолеть частоколы парадоксов Шкловского, овраги разорванных ассоциаций.

Что же касается книг Выгодской о Сервантесе и замечательном голландском писателе, Эдварде Деккере, писавшем под именем Мультиатули, — что значит «многострадальный», — то приходится пожалеть, что автор чрезвычайно мало уделяет внимания изображению этих личностей как писателей.

«Алжирский пленник» просто кончается тогда, когда безвестный обнищавший испанский дворянин Мигель Сервантес, после долгих и горьких приключений — алжирского

илены, годов скитаний — начинает писать повесть о хитроумном идальго Дон-Кихоте Ламанском.

Немного больше внимания уделено судьбе Деккера—Мультиатули,—и надо сказать: это наиболее удачные страницы повести. Образ одинокого, замерзающего человека, самоотверженно исполняющего свой долг, — открыть правду о политике Голландии в Индии, — начинает проясняться перед читателем, но неожиданно опять наступает конец. А все 18 лет, проведенные Деккером в Голландской Индии, — его самоотверженная работа по защите туземцев от звериной эксплуатации как голландским, так и туземными правительствами, — лишь рассказаны автором, рассказаны сухо, с многочисленными отступлениями, равнодушно и слишком спокойно.

Во всех этих книжках особенно чувствителен недостаток, свойственный почти всем книгам Детгиздата, — это отсутствие примечаний, историко-литературного комментария, послесловий, библиографии и т. п.

Намного выиграли бы те же книги Выгодской, будь приложено к ним послесловие с дальнейшей историей судьбы героев. Список их книг. Их роль в литературе. Если дети и читают «Дон-Кихота», то книги Мультиатули неизвестны вовсе, и неизвестно, где искать о нем сведений. Примечания же иногда вовсе необходимы. Встречается, например, Сервантес с веселым нищим, бойким, ловким малым, который считает, что быть нищим лучше всего на свете. На вопрос, как его зовут, отвечает с достоинством: «Ласарильо, родом из Тормеса». И все. Но кто такой этот Ласарильо? И где о нем узнать, если даже «Литературная энциклопедия» ничего не смогла о нем рассказать и ограничилась ссылкой: «См. Роман. Раздел Плутовский роман». Так же необходимы примечания и к книге Шкловского, а библиография обогатила бы книгу Роскина.



В предисловии к книге о художнике Федотове автор дает страшную сводку: Пушкин, Лермонтов, Марлинский, Грибоедов, Чаадаев, Шевченко, Полежаев, Кюхельбекер — все погибли от столкновения с самодержавием, и приводит слова Ленина о «непримиримости самодержавия с какой бы то ни было самостоятельностью, честностью, независимостью убеждений, гордостью настоящего знания», — на этом фоне выпуклее становится Федотов, трагичнее его судьба.

Но эти слова Ленина можно отнести не только к царской России.—они характеризуют положение всех честных, независимых, гордых настоящим знанием людей в капиталистическом мире.

Изгнание из отечества, вечные поиски новой родины, борьба с жестокой нуждой, тяжелое, зависимое положение и, наконец, смерть в нищете, — такова жизнь Папена.

Изнанце из отечества, скитания, жестокая, униительная нужда, тюрьма, — таковы веки жизни Сервантеса.

Нужда, вечная борьба с начальством за справедливое и человеческое отношение к туземцам, замерзающий, одинокий и жестоко обманутый, — так сложилась жизнь благородного Мультиатули.

О Федотове уже говорили.

Постоянная зависимость и необходимость любым способом, вплоть до бегства от кредиторов, добывать деньги для экспедиции — у Амундсена.

Нищета, побои, тюрьмы, невыносимые жестокости на каждом шагу, преследования царского правительства — у Горького.

Читатель не сможет не задуматься над тем, как сложилась бы жизнь не только Горького, но и сотен, и тысяч сегодняшних музыкантов, писателей, художников, ученых и изобретателей, если б не социалистическая революция.

Каждый автор рецензируемых биографических книг показал социальную обусловленность трагичности судьбы своих героев.

Но недостаток всех книг, за исключением книги Шпанова, заключается в том, что герои не окружены тем, с чем их можно сравнивать. Выгодская ничего не рассказывает об испанской литературе, современной Сервантесу (есть только упоминание о Лопе де Вега). Она абсолютно ничего не рассказывает о голландской литературе, современной Мультиатули. Шкловский лишь упоминает Брюллова. Роскин рассказывает о писателях лишь постольку, поскольку они непосредственно сталкивались с Горьким. Мало рассказывает о полярниках и Яковлев. Эпоха и бытовое окружение служат фоном. Конкретного же окружения, связанного с деятельностью замечательных людей, авторы не дают. Между тем, успех книги Поля де-Крюи, помимо многих ее достоинств, обусловлен тем, что герои имеют исторически конкретную, профессиональную обстановку.

И, однако, наша биографическая книга — это не старая детская биографическая повесть, где виноваты были все, кроме настоящего виновника — строя эксплуататоров. В наших книгах этот виновник назван. Правда, Шпанов иногда подменяет художественный показ фразами из политэкономии. Выгодская, наоборот, старается дать эпоху мелкими, единичными фактами, не составляющими верного впечатления, Яковлев смягчает обстановку, сглаживает углы.

Но для того, чтоб наши дети учились ненавидеть эксплуататорский строй, чтоб они уважали и любили всех тех, кто прокладывает человечеству путь вперед, чтоб они еще больше гордились своей страной, — нашим книгам нужно больше страстности, наши писатели должны сами ярче гореть любовью к замечательным людям прошлого и ненавистью к их преследователям и угнетателям.

Гарамута

Жорж Санд.—«Консуэло». Перевод А. Бежкова. Изд. «Академия». 1936 г. Том I. Стр. 420. Цена 18 р. Том II. Стр. 438. Цена 18 руб.

Роман «Консуэло» основательно забыт нашим читателем. Поэтому сейчас, изданный «Академией», он является как бы новинкой.

Жорж Санд (1804—1876 гг.) — псевдоним знаменитой в свое время французской писательницы Авроры Дюдеван.

Первыми своими романами «Индиана», «Валентина», «Лелия», «Жак» Ж. Санд выступает с резким протестом против мещанских форм семьи, порабощающих, закабалющих женщину. Уже сама тематика ее первых произведений была по-своему революционна. А соединение такой тематики с блестящим талантом писательницы делало ее первые романы ярчайшей и сильнейшей агитацией за освобождение женщины.

В 40-х годах произведения Ж. Санд приобретают новый характер — характер протестов социального порядка (романы «Товарищ круговых поездок по Франции», «Мельник из Анжибо», «Грех госпожина Антуана» и др.). В этот период времени Ж. Санд, находившаяся под влиянием идей утопического социализма, встает на защиту угнетенных классов. В этот период ее мировоззрение — ярко революционно. Она протестует против права собственности: «Говорю вам, что я не признаю и никогда не признавала собственности» (из письма к А. Геру — 1837 г.). Ее идеалом является пролетариат: «Будущее должно бы принадлежать расе суровых пролетариев, гордых, готовых силою взять все права человека» (из того же письма).

Именно произведения этого этапа ее творчества создают писательнице огромную популярность. Из повести «Ян Жилка», написанной в этот период, берет К. Маркс цитату для последних строк своей «Нищеты философии».

И характерным для отношения К. Маркса к творчеству Ж. Санд является только-что опубликованное Ив. Поливановым сообщение («Лит. газ.» 22/1—37 г.) об обнаруженном им экземпляре «Нищеты философии» (изд. 1847 г.) с надписью К. Маркса: «Г-же Жорж Санд от автора».

Влияние Ж. Санд на русское общество, на русскую молодежь 40—50-х годов было необычайно велико. Свидетельство этому мы находим у таких современников, как Герцен, Огарев, Белинский, Тургенев и др. «Первой поэтической знаменитостью не только во Франции, но и во всей Европе» называл ее Белинский в 1847 году.

Во время французской революции 1848 года Ж. Санд примыкает к радикальной мелкой буржуазии, сотрудничает в «Реформе», затем в «Истинной республике». Всеми мыслями, всем сердцем она с революцией: «Да здравствует республика! Какие мечты, какой энтузиазм и, в то же время, какая выдержка, какой порядок в Париже! Приехав, я бегала по улицам, я видела последние бар-

рикады, которые убрали на моих глазах, я видела народ, великий, возвышенный, наивный, великодушный французский народ... Итак, надеюсь, что все мы встретимся в Париже, полные жизни и энергии, готовые умереть на баррикадах, если республика падет. Но нет! Республика будет жить, ее время пришло...» (из письма к Ш. Понси—1848 г.).

После разгрома июньского восстания Ж. Санд удаляется в свое поместье, и с этого момента ее творчество начинает терять революционное значение.

Две темы проходит в «Консуэло». Тема музыкальной проблемы в аспекте историческом и социальном и тема призвания артиста.

Музыкальная ореда всегда окружала Ж. Санд. Это музыкальное окружение особо усилилось в 40-х годах, когда она облизилась с такими талантами, как Ф. Лист, Шопен, Полина Виардо. Отсюда ее увлечение музыкой, увлечение сильное, страстное.

«Консуэло» — подлинное и могучее прославление музыкального искусства, талантливое возвеличение музыки над всеми другими видами искусств: «Справедливо говорят, что цель музыки — возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом человеческое чувство в сердце человека; никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, характер народа, его страсти, томления и страдания. Сожаление, надежда, ужас, сосредоточенность духа, энтузиазм, вера, сомнение, слава, спокойствие — все это и еще многое другое музыка дает нам и отбирает у нас в зависимости от своих или наших сил».

Любовь к музыке связана у Ж. Санд с большим, отнюдь не дилетантским, знанием истории музыки. Эту историко-музыкальную осведомленность писательница полностью вложила в роман. Персонажи романа — не вымышленные образы. Это композиторы, музыканты, певцы XVIII столетия, живые, действительно существовавшие люди. Вереница музыкальных деятелей проходит перед читателем: Порпора, известный итальянский композитор, Перголезе, комическая опера которого «Служанка-госпожа» сыграла огромную роль в развитии этого жанра во Франции и Италии, Скарлатти, выдающийся неаполитанский композитор, Гассе, оперы которого пользовались колоссальным успехом, знаменитые певцы Порпорино и Каффарелли, музыкант Марцелло, знаменитый немецкий композитор Иосиф Гайдн, десятки других музыкальных деятелей. И в большинстве их образы поданы биографично, без излишней выдумки. Так, например, детство и юность И. Гайдна даны почти дословно по биографическим материалам.

Историческая осведомленность автора и правдивость в воспроизведении образов делают роман «Консуэло» и в наше время не-

дурным пособием по ознакомлению с миром деятелей музыки этого столетия.

Ж. Санд в «Консуэло» ставит вопрос о музыке на новые для того времени социальные основы. Она говорит о народной музыке и музыке для народа. Это не случайно, это вытекает из всего мировоззрения писательницы, сложившегося в значительной мере под влиянием ее длительного, большого общения с поэтами из народа. Ее огромная переписка с поэтами-рабочими, поэтами-ремесленниками, постоянная помощь им, выискивание народных талантов становится истинным призванием ее жизни. В своих «Диалогах о пролетарской поэзии» она дает полную энтузиазма оценку творческих сил простого народа. Эту идею она проводит в «Консуэло» и в отношении музыки. Народные песни и мелодии — это «драгоценные образцы пламенного народного гения». В «Консуэло» любовь к народному творчеству олицетворяется в образе Альберта, полубезумного, гениального музыканта, импровизирующего на народные темы и идущего в конечном итоге (в романе «Графиня Рудольштадт», являющемся продолжением «Консуэло»), со своей музыкой в народ, в низы. Рассуждения в «Консуэло» о характере и ценности музыкального фольклора, о его необходимом и мощном влиянии на музыкальное творчество, о максимальном использовании его представляют большой интерес и в наши дни.

Вторая тема романа, и основная, — призвание артиста. Три образа артистов проходят в романе, окружают героиню романа Консуэло, пытаются влиять на Консуэло, увлечь ее по своему пути.

Порпора — артист, безумно любящий искусство, большой талант, но суровый, непреклонный, непримиримый. Его призвание — чистое искусство, искусство для себя. Его жизнь — непрестанная борьба с толпой, путь — скорбный и тяжелый.

Андзолето — птица небесная. Это тип прославленный поэтами. Свое призвание он осуществляет просто и непосредственно: «Целая жизнь животного созерцания, полная неведения и очарования, целый мир природных мелодий, светлых и легких, целое прошлое мира, беззаботности, физического движения, целомудрия без честности, без раздумья и набожности, без рефлексий».

Третий образ — Альберт, о котором мы говорили выше.

Скорбный путь Порпора не привлекает Консуэло, ибо такой путь, как бы искусственно созданный самим артистом, не оправдан никакой жизненной идеей. Ее не манит и путь Андзолето, хотя у Андзолето имеется такой мощный помощник, как любовь Консуэло к нему. На минуту, на мгновение Консуэло может увлечься этой легкостью и непосредственностью, но это — не ее призвание, не ее жизненный путь. Консуэло желала бы всю свою жизнь, всю свою душу, всю себя отдать искусству. Пройдя через все со-

бланы, открывающие путь к полнейшему удовлетворению честолюбия, к богатству, к славе, она избирает третий путь — путь Альберта, путь служения своим искусством народу. И в эпилоге романа «Графиня Рудольштадт» она вместе с обедневшим, полубезумным Альбертом находит призвание артиста в слиянии с народом, в служении народу, странствует по деревням, где Альберт проповедует поселянам грядущее равенство и братство народов.

Роман «Консуэло» вызвал жесточайшую критику буржуазных писак. «Консуэло» — это хаос..., в общем самый тягостный сон, какой только может быть» — говорил Э. Фаге. «... Фантастическая сказка, приукрашенная рассуждениями о музыке и народных песнях, где автор с упорством навязчивой идеи возвращается к бредням о земном матамсихозе, — таков этот рассказ, нескладный, разбросанный, порой с просветами, с прекрасными частностями, чтение которого раздражает и оставляет нас утомленным и разбитым» — писал Рене Думик. Но эта критика не повлияла на читателя, и «Консуэло» пользовался заслуженным успехом.

В России роман был принят по-разному, но интерес к нему был необычайно велик, длителен, полон в различных слоях русского общества XIX века. Герцена увлекает историческая часть романа: «Что за интересное восстановление жизни высшего общества в половине XVIII века...» — пишет он. Огарева привлекает прелестный образ самой Консуэло, и он дает любимой женщине имя героини романа. Луначарский писал, указывая, что длинноты многих произведений Ж. Санд отпугивают читателя, «а все же такой роман, как «Консуэло», представляет собой выдающийся образец романтики».

Длиннот и извилистостей в «Консуэло» много, может быть, больше даже, чем в других произведениях писательницы. Это признавала и она сама, когда в предисловии к изданию 1854 г. говорила: «Этот недочет, заключающийся не в бессвязности, а в превеличественной извилистости событий, был следствием моей обычной слабости — отсутствия плана».

Эти недочеты не помешали тому, что роман увлекает читателя, волнует его, заставляет думать. «Консуэло» нельзя, прочитав, отложить в сторону, забыть о нем. Писательница сумела сделать этот «музыкальный» роман увлекательным, ибо она знала запросы публики. В письме к Сент-Беву (1865 г.) она говорила: «Критика может сказать: «Умейте писать или не пишите». Она права. Но публика может сказать: «Будьте сами эвольнованы или не надейтесь эвольновать нас. И разве она не права?».

«Академия» хорошо сделала, что выпустила в свет эту книгу. Но советский читатель теперь вправе требовать и «Графиню Рудольштадт» — продолжение «Консуэло». Ибо только в этом продолжении логически раз-

решается основной вопрос — вопрос о призвании артиста.

Роману предпослана вступительная статья А. Белецкого, небольшая, но содержательная Даны необходимых комментарии. Хороши совершенно в тоне и духе романа, иллюстрации художника Бехтеева. Издан роман великолепно. Но цена (36 руб.) не рассчитана на массового читателя.

С. Иванов.

Гёте, Ипполит Тэн, Фромантен, Эмиль Верхарн, А. В. Луначарский.—«О Рембрандте». Предисловие и подбор И. Верцмана и Ю. Колпинского. Издательство «Искусство», М.—Л. 1936 г., Стр. 200+16 иллюстраций. Цена 3 р. 25 к., переплет 75 к. Т. 10.000.

Громадное значение Рембрандта в истории искусства общеизвестно. Творения великого художника, являющиеся вершиной мирового изобразительного искусства, представляют для нас не только источник эстетического наслаждения, но источник вдохновения, образец непревзойденного реалистического искусства, на котором учатся советские художники. В нашей стране имя Рембрандта получило всенародную известность и признание. Нет ничего удивительного поэтому, что появившиеся у нас в последние годы работы, посвященные гениальному художнику, оказались недостаточными для того, чтобы удовлетворить огромный спрос массового читателя к литературе о великом реалисте XVII века. Появление сейчас новой книги о Рембрандте следовало бы только приветствовать. Однако рецензируемая книга, представляющая собой сборник высказываний о великом художнике таких людей, как Гёте, Тэн, Верхарн и др., страдает рядом крупных недостатков. Составители сборника включили в книгу только те работы, которые по большей части уже давно и неоднократно переведены на русский язык. А между тем есть ряд весьма ценных и интереснейших исследований о Рембрандте, с которыми наш читатель не знаком, но которые представляют собой гораздо большее значение, чем, например, включенный в сборник отрывок работы Тэна. Таким образом, чего-либо нового для русского читателя, а тем более для специалиста, сборник не представляет.

Сами составители пытаются объяснить выбор статей для сборника (совершенно разнородных по взглядам и неравноценных по глубине) несколько наивно. Они говорят, что включают в сборник «самое значительное из литературы «прогрессивного направления» (стр. 5), а несколько ниже (стр. 9—10) показывают, из какой же литературы они производили отбор.

«Мы взяли Тэна, а не Гамана», «мы взяли Верхарна, а не Зиммеля», «мы взяли Фромантена, а не Гаузенштейна», так как Тэн лучше понял реализм Рембрандта, чем Гаман, так как Верхарн понял протест великого художника против окружающей его

среды, а Зиммель не понял, и т. д. Но что за странная и жесткая альтернатива стояла перед составителями: или Тэн, или Гаман, или Верхарн, или Зиммель? Мы не имеем ничего возразить против того, что из двух авторов, скажем, Тэна и Гамана, составители отдали предпочтение именно Тэну, но непонятно, почему составители так сужают число интереснейших высказываний и работ о Рембрандте из литературы так называемого «прогрессивного направления» (кстати, мы не можем отнестись фашиствующих Гаузенштейна и других представителей новейшего буржуазного идеализма в искусствознании к литературе «прогрессивного направления»). Почему составители так сужают богатейшую Рембрандтиану?

Если для людей, работающих в области искусства, сборник не содержит чего-либо нового, то для массового читателя высказывания о Рембрандте выдающихся и видных художников, писателей, критиков представляют безусловный интерес. Но об этом-то массовом читателе составители, видимо, и позабыли. Вместо того, чтобы предпослать сборнику статью с серьезным разбором и критикой печатаемых оценок Рембрандта, они дали малоговорящее предблговие на трех ли-

стах. А между тем хорошая, серьезная вступительная статья могла бы облегчить нашему массовому читателю нахождение «рационального зерна» в оценке Рембрандта и преодоление вульгарно-материалистических и откровенно идеалистических положений большинства авторов, извращающих творчество Рембрандта.

Не приходят на помощь массовому читателю составители книги ни пояснением многочисленных малопонятных слов, ни даже, в должной степени, приложенным иллюстративным материалом. В числе иллюстраций книги нет, к сожалению, изображения ряда значительных работ художника, которые разбираются в статьях сборника. Так, весь вошедший в сборник отрывок из Гёте — «Рембрандт-мыслитель» — посвящен произведению «Милосердный самаритянин». Однако составители не удосужились приложить к книге изображение этого офорта.

Исполнены иллюстрации плохо, расположение их случайное.

Советский читатель вправе потребовать от издательства «Искусство» более серьезного отношения к изданию работ о классиках реалистической живописи.

З—ов и Л—ов

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★ **Жан-Ришар Блок, Испания, Испания!** (Перевод с французского). Гослитиздат, 1937. Стр. 219. Цена—2 р.

Эта книга выдающегося французского писателя, активного деятеля народного фронта, только-что выпущенная во Франции, представляет собой горячий отклик на события в Испании. Автор, побывавший в Испании непосредственно после восстания, называет свою книгу «военными корреспонденциями». Первая часть книги — «Барселона, Валенсия, Мадрид» — составлена из публицистических очерков, рисующих Испанию в первые дни мятежа. Во второй части, под названием «Четыре месяца мученичества Испании», помещены так называемые «Комментарии», которые Блок печатал ежемесячно в передовом французском журнале «Эроп». В третьей части — статьи, воззвания и очерки, опубликованные автором после возвращения из Испании в газетах народного фронта.

★ **М. Горький. О Пушкине.** Под редакцией и с послесловием С. Д. Балухатого. Издательство Академии наук СССР. Институт литературы (Пушкинский дом). 1937. Стр. 128. Цена—1 р. 50 к.

В небольшой книге собраны разнообразнейшие высказывания А. М. Горького о творчестве Пушкина, извлеченные из неизданной черновой рукописи лекций Горького по истории русской литературы (читанных в 1909 году в Каприйской партийной школе для рабочих). К этому материалу присоединены

наиболее существенные высказывания Горького о великом поэте, разбросанные в критических и публицистических статьях, в мемуарах и письмах, а также в художественных произведениях.

★ **А. А. Блок. Стихотворения. Поэмы. Театр.** Под редакцией Вл. Орлова. Гослитиздат. Ленинград, 1937. Стр. 596. Цена—9 р.

Настоящий однотомник является первым научным изданием избранных произведений Блока. В книге представлены лирика, стихотворный эпос, драматургия. Помимо художественных произведений в однотомнике помещены автобиография Блока, ряд его статей, характеризующих идейно-творческую эволюцию и систему социально-политических и эстетических взглядов Блока, предисловия и примечания поэта к его книгам, планы отдельных художественных произведений, заметки к ним и т. п. Вступительная статья А. В. Луначарского и биографический очерк В. Орлова освещают жизнь и творчество А. А. Блока.

★ **В Парме.** Сборник произведений коми-литературы. Составил А. Попов. Перевод стихов И. Молчанова и Е. Сокола. Обработка фольклора Глеба Алексеева. Гослитиздат. 1936. Стр. 284. Цена—5 р. 50 к.

В сборнике представлены наиболее характерные произведения современных коми-поэтов и прозаиков и памятники коми-фольклора (песни, легенды, сказки). Собранный материал рисует жизнь народа коми в «тюр-

ме народов» — царской России, его участие в гражданской войне, борьбу с кулачеством, строительство колхозов, жизнь колхозников Юмн области и достижения этой области за последние годы.

★ **Сергей Клычков. Алмамбет и Алтынай.** Поэма. Гослитиздат. Москва. 1936. Стр. 167. Цена—4 р. 50 к.

Поэма Клычкова является своеобразной интерпретацией одной из глав крупнейшего киргизского эпоса — «Манаса» (в эпопее в целом несколько сот тысяч стихотворных строк). Произведение отражает сложную борьбу народов Центральной Азии в XIV—XVI вв., походы легендарного царя Манаса, старую культуру Киргизии, весь героический период ее развития. Первую часть этого огромного эпоса («Поход Манаса на Бейджин») Гослитиздат предполагает выпустить к 20-й годовщине Октября. Настоящая книга представляет собой вольную обработку подстрочного перевода небольшой главы эпоса — «Рассказ Алмамбета». Сюжет, события, вся канва повествования автором в основном сохранены.

★ **Г. Грекова. О счастье.** Повесть. Часть I. Гослитиздат. Москва, 1937. Стр. 224. Цена—3 р.

Настоящая книга — первое произведение писательницы. Повесть носит автобиографический характер. Автор рисует жизнь женщины, проделавшей замечательный путь: забытая, угнетенная батрачка, рабыня деспота-мужа, стала научным работником, свободной гражданкой Советской страны. 2-я часть книги выйдет в ближайшие дни.

★ **Леонид Завадовский. Золото.** Роман. Гослитиздат. Москва, 1937. Стр. 405. Цена—6 р. 50 к.

В романе изображена жизнь и работа Алданских приисков накануне первой пятилетки, показан процесс перевоспитания «старателей», политическая и культурная работа, развернутая среди них. Центральной фигурой романа является бывший «старатель», выросший на советском прииске в активного ответственного работника.

★ **Бела Иллеш. Все дороги ведут в Москву.** Перевод с венгерского А. Комаровой и А. Кочеткова. Гослитиздат. «Роман-газета» № 3. 1937. Стр. 96. Цена—50 к.

В романе Бела Иллеша рассказано, как строилось московское метро, как мобилизовались силы страны на строительство метрополитена. Автор показывает борьбу за овладение техникой, рост людей, строивших метро, — комсомольцев, инженеров, иностранных специалистов.

★ **Древнегреческая драма.** Сборник. Перевод, вступительная статья и примечания А. И. Пиотровского. Гослитиздат. Ленинград. 1937. Стр. 476. Цена—6 р.

В книге собраны образцы античной драмы. В сборник вошли знаменитые трагедии корифеев греческой драматургии — трилогия Эсхила «Орестея», посвященная борьбе материнского и отцовского права, «Царь Эдип» Софокла и «Ипполит» Еврипида. Жанровые комедии Менандра и Аристофана, включенные в сборник, изображают быт и политические распри Афин. Трагедии даны в новых переводах.

★ **Ромэн Роллан. Жан Кристоф.** Перевод с французского под редакцией А. Смирнова. Том I. Гослитиздат. Ленинград, 1937. Стр. 508. Цена—22 р.

Настоящее двухтомное художественное издание выпускается по типу парижского пятитомного издания этого же произведения Р. Роллана. Книга выпущена на прекрасной бумаге, большим форматом, полностью воспроизведены гравюры на дереве Франца Мазереля.

★ **Вильям Шекспир.** Полное собрание сочинений. Том V. Издательство «Академия». 1936. Стр. 638. Цена—20 р.

Изданный «Академией» V том сочинений Шекспира является первым вышедшим в свет из готовящихся к изданию восьми томов полного собрания сочинений Шекспира (под редакцией С. С. Динамова и А. А. Смирнова). В V том вошли четыре знаменитые трагедии Шекспира: «Гамлет», «Отелло», «Макбет» и «Король Лир». Трагедии изданы в переводах М. Лозинского, А. Радловой и М. Кузьмина. К каждому из произведений дан подробный научный комментарий. Все издание будет выпущено в 1937 году. (П том, включающий «Укрощение строптивой», «Двух веронцев», «Ромео и Джульетту», «Венецианского купца» и «Много шуму попусту», выйдет в ближайшие дни).

Редакция:
А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор **И. М. Гронский.**

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

ОПЕЧАТКИ

Во 2-й книге «Нового мира»
(в части тиража)

Страница	Колонка	Строка	Напечатано	Должно быть
18	правая	6 св.	подкрашешими	подкрашенными
31	»	2 св.	зеркале	занавесе
42	»	10 св.	буффа	буфф
78	левая	25 си.	Играют	Играет
103	»	22 си.	сказал	сказала
141	правая	4 си.	геворите	говорите
193	»	15 св.	Ефимке	Ефимке»
216	левая	14 си.	отступил	отступал
250	»	12 си.	сборы	сбор
251	»	1 св.	занятие	занятия
252	»	28 св.	лекции	селекции
254	»	3 св.	развитин	развитии
267	»	18 си	рубашки	рубашке

в 3-й книге «Нового мира»

Страница	Колонка	Строка	Напечатано	Должно быть
40		8 си.	наши	нашу
70	левая	13 си.	Хусап	Хусар
94	правая	20 си.	Конечно	Кончено
137	левая	13 си.	завернушись	завернувшись
145	правая	5 св.	сказать	сказал
191	»	8 св.	«... Кончить	«... кончить
191	»	12 св.	Росси	России
200	»	21 си.	одни	один
274	левая	5 св.	состояния	состоявия

